This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav4345.8.2

THE SLAVIC COLLECTION

Harvard College Library

GIFT OF

W. A. Gardner.
May 17, 1897.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

РУССКИХЪ АВТОРОВЪ.

СОЧИНЕНІЯ

НЕСТОРА КУКОЛЬНИКА.

Повѣсти и Разсказы.

II

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Печатано въ типографіи И. Фишона.
1852.

S. Law 4345.8.2

MAY 17 1897
LIBRARY.
Gift of
W. A. Gardner.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ 26 Іюня 1851 года.

Цензоръ *Ал. Крыловъ*.

ПРОКУРОРЪ.

I.

Было время зимнее, досужее... День такой коротенькій; мигнетъ глазкомъ, да и зажмурится, словно въ шутку свѣтло станетъ; солнца во всю зиму и въ поминѣ не было; между работниками ходили слухи, будто свейскіе Нѣмцы, не чѣмъ взять, такъ того, на питерское солнышко туманъ навели. И дѣлать-то нечего: ни каналовъ копать, ни липъ и дубковъ сажать, ни невскій флотъ къ морю неволить, ни кораблей спускать, да бѣлыми крылышками убирать, ни фонтановъ подъ Стрѣлинской Мызой проводить, ни домовъ строить; ничего дѣлать нельзя; просто такой гнилой досугъ, что со скуки плакать, а отъ лѣни спать приходится. То-то должно быть скучно батюшкѣ Петру Алексѣевичу!.. Какъ бы не такъ!

Государь давно уже за бумагами сидитъ; читаетъ, да надписываетъ резолюціи, а Александръ Ивановичъ у стола стоитъ: передъ нимъ корзина съ пакетами; знать почта. Онъ то все бумаги шелушитъ; на полу гора обвертышей, передъ Государемъ другая разныхъ писаній; Александръ Ивановичъ знай только подкладываетъ. Государь на окно глянулъ, потомъ на часы; стрѣлка, ро-

стомъ чуть не съ якорь, IV показываетъ. Да и у Александра Ивановича въ исподнемъ карманѣ куранты жалованой луковицы четыре проиграли — «Далеко еще до свѣта...» сказалъ Петръ Алексѣевичъ, и поѣлъ опять писать да читать. Прошелъ еще добрый часъ. Государь всталъ и снимая плафоръ, сказалъ въ полголоса: «Ухъ, уморился!

На немъ осталась канифасная фуфайка съ костяными пуговками... Скоро и работа кончилась. Румянцевъ нагрузилъ обвертышами ту же корзину, понесъ въ лакейскую мазанку, и бросивъ на полъ, сказалъ: «Вотъ вамъ затапливать печи, обувать свѣчи...» и воротился въ домикъ Государевъ. Государь на всѣхъ бумагахъ письменныя отмѣтки подѣлалъ, только двѣ отложилъ. Когда Александръ Ивановичъ воротился, Государь пересматривалъ отложенныя бумаги съ особеннымъ вниманіемъ.

— «Что ты будешь дѣлать?» сказалъ Государь съ примѣтною досадой: «Право, надоѣли! Видно, Черныševъ съ Крейцомъ въ адмиралитецъ-коллегіи ужиться не могутъ; обоихъ вонъ нельзя; люди на мѣстѣ и дѣло смыслятъ; одного вонъ, другой зачванится. Ахъ ты, Господи! Бѣда, право, доносъ за доносомъ, и объясняются безъ обиняковъ, такъ, даже не прилично! И всегда у нихъ размолвка оттого, что, оба на одну и ту же вещь съ разнаго бока смотрятъ. Будь у нихъ умный и толковый прокуроръ — и все бы пошло на ладъ. Не знаешь-ли ты, Александро, на это мѣсто человѣка честнаго и способнаго?..»

— «Гмъ! Честнаго и способнаго?» отвѣчалъ

Александръ Ивановичъ Румянцевъ, денщикъ Государевъ: «Способность и честность, Государь, не сворная пара; коли одна лошадка ретивая, такъ другая пристаетъ. — Есть у меня одинъ на примѣтѣ, — куда способенъ, а безъ батога честнымъ не будетъ. Развѣ изволишь, Государь, впередъ его порядкомъ напугать.»

— «Нѣтъ, Александро, изъ-подъ страха плохая честность. Нѣтъ-ли кого, другаго? Или прійдется самому искать?»

— «Самому, самому! У тебя, Государь, на это дѣло больше моего смѣтки. Иной разъ, право, такой вздоръ на мысль приходитъ.»

Александръ Ивановичъ улыбнулся, и поспѣшилъ принять важный видъ...

— «А что такое?..»

— «Да такъ! Иногда, грѣхъ вымолвить, подумаешь, не то чтобы колдовство, а такъ, маленько не чисто.»

— «Какъ не чисто?..»

— «Да иной разъ глядишь: моржъ морской, ну, хамъ хамомъ... Глядишь, годъ, другой пройдетъ, чудо — не служивый, какъ будто и родился на то мѣсто, куда ты его, Государь, поставилъ... Оно, скажешь, случай! Какой тутъ случай! Отчего-же я, что ни найму истопника, — или воръ или пьяница! Вотъ намѣдни, Чухонца надо было нанять, съ кунштамеры соръ вывозить; такого добренькаго нашелъ; гляжу, а онъ мнѣ изъ-подъ дождеваго стока и кадку со двора вывезъ. На Охтѣ ужъ догналъ! Поди, случай!»

Государь уже не слушалъ Александра Ивановича, разсматривая другую бумагу. Прочитавъ два раза сряду, Петръ Алексѣевичъ подалъ ее Румянцеву.

— «Прочти!» сказалъ Государь: «Что-бы это могло значить?»

— «Ума не приложу!» отвѣчалъ Александръ Ивановичъ: «Должно быть, ты, Государь, наскоро его воеводой назначилъ; не довольно поразсмотрѣлъ.»

— «Да гдѣ-же всякаго, словно въ школѣ, экзаменовать! Только это право странно: на Олонцѣ дѣлъ не мало, а у воеводы третій годъ въ канцеляріи нѣтъ чиновниковъ. Что пошлютъ изъ коллегіи въ Олонецъ нужныхъ людей, — мѣсяцъ, два пройдетъ, по рапортамъ гляжу: всѣ выбыли или перемѣстились... И это уже въ третій разъ!»

— «Въ третій разъ всѣ чиновники изъ воеводской канцеляріи въ отставку пошли!» воскликнулъ Александъ Ивановичъ, всплеснувъ руками: «Вотъ долженъ быть пила, сварливый хрычъ, брюзга, ябедникъ, или что нибудь и того хуже...»

Государь примѣтно измѣнился въ лицѣ, и сказалъ угрюмо: «Не гадай дурнаго, Александръ, а то я себѣ не прощу, что три года злу расти позволилъ. Лошадей! Одѣваться!..»

— «Куда ты это, Государь?»

— «Въ Олонецъ!»

— «Сей часъ?»

— «Сію минуту!»

—

II.

На самомъ концѣ мыса, образуемаго соединеніемъ рѣки Олонки съ Мерегою, въ многолюднѣйшей части города, стояла Богоявленская Олонецкая Ярмарка, уже дней пять. Купцы жаловались на морозы и на покупателей; не только сушеная рѣпа, главный продуктъ Олонецкаго Уѣзда, даже чернобурыя лисицы не шли съ рукъ. Многіе заключили, что должно быть войнѣ, и собирались въ обратный путь. Не знали только докладно, съ кѣмъ будетъ война: съ Султаномъ ли Турскимъ или съ Свейскимъ покойнымъ Королемъ, потому что Карлъ XII былъ въ Турціи, и во всей Россіи назывался покойнымъ. Полтавскую побѣду считали его смертію. Уже было часовъ одинадцать утра, а купцы и на сто рублей не наторговали. Съ горя почти всѣ отправились сводить барыши въ Заведеніе... Тогда еще роскошь не подточила патріархальныхъ нравовъ жителей Олонца: все заведеніе заключалось въ одной широкой избѣ. Въ углу стоялъ столъ съ чашками и чарками; на тарелкахъ и дощечкахъ лежало множество разстегаевъ съ соленою рыбою, и между ними три бутылки, больше ради украшенія, потому, что посѣтители заведенія болѣе придерживались штофнаго, нежели бутылочнаго. За столомъ, въ самомъ углу избы, была печь на нѣмецкій манеръ: съ исподу топилась, а на верху стояли кастрюли съ олонецкой рѣпой и разными рыбами. Заведеніе въ одно мгновеніе наполнилось купечествомъ, которое расположилось вокругъ стѣнъ на прилавкахъ. Буфетчикъ и половой были

въ ужасныхъ хлопотахъ, тѣмъ болѣе, что дурной торгъ Богоявленской Ярмарки дѣлалъ посѣтителей и взыскательными, и сварливыми. Хозяинъ, замѣтивъ съ чердачка, что гости съ площади повалили въ заведеніе, сошелъ внизъ, и появленіемъ своимъ разогналъ тучи неудовольствія и досады. «Семенъ Пафнутьичъ, Семенъ Пафнутьичъ!» кричали гости со всѣхъ сторонъ, отздравствовались и разсѣлись. Только и осталось два пустыхъ мѣста у окна, и то потому, что больно дуло изъ-за отклеившейся сахарной бумаги, замѣнявшей разбитое стекло. Вошелъ городской мѣщанинъ Рѣпкинъ, помолился на иконы, молча поклонился хозяевамъ, и сѣлъ подъ окно. Нечего дѣлать. Только и оставалось мѣста. Обтягивая поясъ, онъ съ досадою посмотрѣлъ на гостей и хозяина, и отплюнулся. — «Тьфу ты, брюква гнилая!» сказалъ онъ въ полголоса: «Знаемъ мы, братъ, твою рѣпу; у Савельевны откупилъ по поламъ съ гнилою, а продалъ три четверика сегодня; а у меня, поди, вся рѣпа на подборъ; просто сласть, не плодъ: вмѣсто сахара чаемъ прихлебывай, и здоровая вся, ни червинки, а поди, одной штуки не продалъ, окаянный ты барышникъ!»

Романъ Иванычъ Рѣпкинъ погрузился въ размышленіе. Вошелъ Иванъ Романычъ Брюквинъ, и помолясь на иконы и поклонясь хозяину, отправился было мѣста искать. Негдѣ присѣсть. Подъ окномъ Романъ Иванычъ сидитъ. Дуетъ, — не бѣда. Да Романъ Иванычъ врагъ; также на ярмаркѣ рѣпу продаетъ; по его милости Иванъ

Романычъ сегодня три четверика въ убытокъ продалъ, лишь бы торгъ отбить. Рѣпкинъ, видя, что кто то къ окну подходитъ, поглядѣлъ на Брюквина, и усмѣхнулся такъ злобно, такъ презрительно, что Иванъ Романычъ не вытерпѣлъ, поослабилъ поясъ, пріосамился и сѣлъ возлѣ подъ окномъ. Сосѣди отвернулись другъ отъ друга.

— «Постой же!» подумалъ Романъ Иванычъ Рѣпкинъ: «Пафнутьичъ, Семенъ Пафнутьичъ!» сказалъ онъ громко: «Нельзя-ли полынной поднести!»

— «Не важничай!» подумалъ Иванъ Романычъ Брюквинъ: «Эй, Семенъ Пафнутьичъ, прикажи-ко настойки! И на зубокъ чего нибудь...»

Поднесли обоимъ на одной жестянкѣ; чарки были перемѣнаны; оба схватили, и залпомъ выпили каждый не по своему заказу...

— «Тьфу ты!» сказалъ Рѣпкинъ: «Чужое пьетъ!»

— «Настойка-то видно лучше полынной...» замѣтилъ Брюквинъ..

— «Постой, постой!» подумалъ Рѣпкинъ, и сказалъ громко: «Теперь бы, Семенъ Пафнутьичъ, попробовать Изосимовскихъ пискарей!»

— «А мнѣ бы, прибавилъ Брюквинъ, мегрежской щуки отъ хвоста, да съ хрѣнкомъ. Раззорюсь, была не была, а ужъ не уступлю.»

Половой поставилъ столъ передъ сосѣдями, и подалъ рыбу.

— «Что это у тебя...» спросилъ Рѣпкинъ: «одинъ столъ на всю компанію?..»

Половой былъ малый проворный, шутникъ и

дерзкій такой; даже купцамъ, что пушнымъ товаромъ торгуютъ, и тѣмъ спуску не давалъ.

— «Кушайте, господа, на здоровье! Вонъ, Лука Алексѣичъ, не рѣпой, а мѣдью всякою торгуетъ, а тоже за однимъ столомъ съ другуми ѣстъ; на всякаго не припасешь.»

Не дожидаясь возраженій, половой отошелъ.

— «Постой, постой!» думалъ Романъ Иванычъ, убирая наскоро пискарей: «Эй, Пафнутьичъ, Семенъ Пафнутьичъ, того, сладкой...»

— «Тминной?» спросилъ хозяинъ.

— «Всякой!» отвѣчалъ Рѣпкинъ и улыбнулся.

— «Я тебѣ носъ утру!» почти ворчалъ Брюквинъ.: «Раззорюсь, въ пухъ раззорюсь, а ужь не уступлю!» и закричалъ: »Пива!»

— «Съ церемоніей?» спросилъ хозяинъ.

— «Съ церемоніей!» грубо отвѣчалъ Брюквинъ. Половой поднесъ на тарелкѣ бутылку пива съ двумя стаканами... Въ то же время Рѣпкинъ закричалъ: «Вина съ церемоніей!» Половой оскалабился и отвѣчалъ:

— «Ужъ спрашивали бы, что знаете; а гдѣ это вино подаютъ съ церемоніей? Вино не рѣпа.»

— «Зачѣмъ два стакана?» спросилъ гнѣвно Брюквинъ.

— «Затѣмъ, что безъ тарелки и безъ двухъ стакановъ церемоніи не бываетъ. Не изъ одного же стакана оба будете пить; а вино пьютъ рюмками, такъ церемоніи не нужно.»

Сосѣди замолчали, и спокойно допили каждый свой пай, покашливая, поглаживая себя по брюху, и

похваливая напитки. Только и слышно было: «Бэрхатъ, не пиво!» — «Важное вино, чай заморское!»

— «Что-жъ онъ не встаетъ?» подумалъ почти въ слухъ Иванъ Романычъ: «Опять важничаетъ! Я первый не встану.»

— «А небось я встану!» отвѣчалъ также про себя громко Романъ Иванычъ. — Оба прислонились къ стѣнкѣ, и упорствуя въ забавномъ соперничествѣ, вздремнули. Купцы, закусивъ и обогрѣвшись, разбрелись къ своимъ товарамъ; въ избѣ остались только два соперника, продавцы олонецкой рѣпы; они уже спали на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ; только у Романа Иваныча голова перевалилась на сторону сосѣда, такъ, что носъ пришелся прямо противу разбитаго стекла. Половой съ буфетчикомъ вышли на площадь, и глядѣли съ глупымъ любопытствомъ, какъ подъ церковью Рождества Богородицы ярмарка раскипалась.

— «Теперь-то самый торгъ идетъ, а наши-то спятъ! Какъ бы ихъ выжить, Ефимъ; можно бы и самимъ на ярмарку сбѣгать.»

— «А что въ самомъ дѣлѣ!» отвѣчалъ половой, поглядѣлъ на окно, и усмѣхнулся...

— «Чего?» спросилъ буфетчикъ...

— «Да ужъ была не была!» сказалъ Ефимъ рѣшительно, далъ щелчка въ носъ Роману Иванычу, и присѣлъ подъ окномъ.

Сколько упрековъ потерпѣлъ бѣдный Корнель за легкій ударъ по носу перчаткой, въ Сидѣ; и это всегда на позорищѣ дѣлается такъ деликатно; актеръ размахнется, а другой подставитъ руку; звонъ,

будто въ самомъ дѣлѣ крупно обошлись, а ни боли, ни безчестья; что же скажутъ Гг. читатели про моего Ефима, а еще пуще про Рѣпкина? Романъ Иванычъ вскочилъ отъ щелчка, слезы на глазахъ выступили; оглянулся: во всей избѣ кромѣ спящаго Ивана Романыча ни живой души; и боль и досада помутили разсудокъ Рѣпкина, и соперникъ его проспулся отъ сильныхъ и хлесткихъ поздравленій Романа Иваныча. Иванъ Романычъ, ничего не понимая, вцѣпился въ волоса Роману Иванычу; пошли въ потасовку, и вскорѣ вся ярмарка наполнила избу и окружила заведеніе. Съ трудомъ развели бойцовъ; откуда ни возьмись, явились подьячіе; горожане раздѣлились на двѣ партіи; стали писать челобитныя, и вся ярмарка отправилась въ воеводскую канцелярію.

—

III.

Рано поутру того-же дня, Олонецкій Воевода пришелъ въ узаконенный часъ въ воеводскую канцелярію. Сторожъ, Архипъ, зналъ воеводскую походку, и всегда отворялъ дверь въ самое то мгновеніе, когда Иванъ Михайловичъ протягивалъ ногу, чтобы толкнуть половинку, которую во всегданней плотности съ другой половинкой содержали два кирпича, привязанные къ веревкѣ съ блокомъ. Три года сряду Иванъ Михайловичъ каждый день говорилъ въ эту минуту: «Здравствуй, Архипъ!» и получалъ въ отвѣтъ: «Здравія желаю, ваше высокоблагородіе...» — «Что, никого не было?» —

«Никого!» Съ этимъ словомъ Архипъ принималъ воеводскую трость и шляпу, вѣшалъ на деревянные точеные гвозди; потомъ принималъ и туда же вѣшалъ шубу; между тѣмъ Иванъ Михайловичъ садился на большой ларь, и протягивалъ обѣ ноги... Архипъ снималъ съ нихъ длинные сапоги на волчьемъ мѣху, и ставилъ къ печкѣ, а за симъ уже Иванъ Михайловичъ отправлялся въ присутствіе. Воевода садился на свое мѣсто; прочія оставались незанятыми, потому что во всей канцеляріи не было ни одного чиновника; вынималъ очки, протиралъ ихъ большимъ цвѣтнымъ платкомъ, и принимался читать бумаги; но какъ на столѣ таковыхъ не оказывалось, то Иванъ Михайловичъ очки снималъ, платокъ прятадъ, и около получаса сидѣлъ въ размышленіи, изрѣдка поглядывая въ окно.

— «Архипъ! Поди сюда!» кликнулъ Иванъ Михайловичъ, и отставной бомбардиръ, на деревянной ногѣ, явился къ услугамъ своего повелителя. Архипъ носилъ свой старый артиллерійскій мундиръ; былъ крикъ на одинъ глазъ; сапоги и волоса всегда были смазаны свѣчнымъ саломъ; однимъ словомъ, Архипа можно было почесть образцемъ чистоты и опрятности...

— «Ну, такъ что?» спросилъ Иванъ Михайловичъ.

— «Не могимъ знать! Какъ прикажете!»

— «Ярмарка идетъ плохо?»

— «Говорятъ.»

— «Да, говорятъ.»

За симъ послѣдовало продолжительное молчаніе.

— «А что, Архипъ, былъ ты въ воскресенье у обѣдни?..»

— «И у заутрени былъ.»

— «Ходи, ходи, Архипъ! Богу молиться надо...»

— «Христіанское дѣло, ваше высокоблагородіе...»

— «То-то же...»

Молчаніе второе.

— «Ну, а не прочитать ли тебѣ, Архипъ, о Кончеозерскихъ Минеральныхъ Водахъ, что у насъ въ уѣздѣ? Самъ Государь изволилъ пользоваться ими, и приказалъ тѣ воды описать и напечатать книгой, для всеобщей извѣстности. Вѣдь это нашему уѣзду по всему государству честь. Не такъ-ли!»

— «Какъ же не честь!»

— «Такъ не прочитать ли тебѣ, Архипъ; а?

— «Не извольте, ваше высокоблагородіе, трудиться. Я уже эти маральныя воды наизусть знаю; двадцать разъ мы читали ихъ цѣликомъ, да малыми пріемами разъ со сто. Пускай, ваше высокоблагородіе, маленько позабудутся...»

«Экой ты какой, Архипъ! Вотъ Государь—царство къ ученью неволитъ, а вы такіе неблагодарные!»

— «Да воды-то я уже выучилъ; развѣ что другое ваше высокоблагородіе придумаете.»

— «Ну, хорошо, Архипъ, такъ генеральный регламентъ...»

— «Тоже знаю; да и что мнѣ; я бурмистеромъ не буду.»

— «Экой ты какой, Архипъ! А погляди, что тутъ въ зерцалѣ написано: Не смѣй никто отговариваться незнаніемъ законовъ.»

— «Да вѣдь, ваше высокоблагородіе, помилуйте, я не отговариваюсь. У меня все по закону, и еще ни одинъ проситель съ шляпой и съ тростью въ присутствіе не входилъ...»

Молчаніе третіе.

— «Послушай, Архипъ, разскажи пожалуй, какъ это тебѣ глазъ покривило и ногу оторвало.»

— Да я вашему высокоблагородію, надо быть, уже сотню разъ объ моей причинѣ докладывалъ: оскому набило, и вамъ прискучится...»

— «Да что будешь дѣлать, Архипушка? До окончанія присутствія куда еще далеко; не играть же въ молчанку. Разскажи, разскажи, Архипушка; ты, знаешь, такъ молодецки разсказываешь, что у меня старые кости отъ страха дрожатъ; я не знаю, будь я за три версты тогда отъ Нарвы, умеръ бы, право умеръ. — Пушки, пожалуй, и у насъ есть въ Олонецкой крѣпости, да слава Богу, не стрѣляютъ. Ужъ не знаю какъ-то Свейскому Королю на томъ свѣтѣ будетъ; и съ кѣмъ онъ не ссорился; и кого онъ не обидѣлъ; и у насъ подъ Нарвой всѣ пушки отнялъ; какъ это еще олонецкія остались...»

— «Да это сортъ другой, ваше высокоблагородіе.»

— «Вотъ что!.. Такъ разскажи пожалуй, какъ это было... Вы пришли было подъ Нарву, кажется, съ Государемъ...»

— «Позвольте, ужъ если разсказывать, такъ не прикажете ли про тотъ случай, что тому назадъ недѣли двѣ я вамъ докладывалъ; всего то, я думаю, разъ пять ваше высокоблагородіе про него изволили слышать. .»

— «Про пушкаря? Пожалуй, давай!..»

— «Надо быть это было давно, ваше высокоблагородіе; послѣ Нарвы будетъ съ мѣсяцъ, Государь въ Москву пріѣхалъ, да прямо въ Коломенское, чтобы народу не видѣть. Что тутъ бѣды! Не съ ружьемъ насъ Шведъ взялъ, а измѣной, дѣло извѣстное. Всю ночь насъ кололи, стрѣляли, въ полонъ, какъ сушеные грибы, одного къ другому вязали на веревочку. Глупое дѣло, ваше высокоблагородіе, измѣна.. Пожалуй, такъ, его взяла; да самъ-то измѣнщикъ по уши отъ стыда красенъ; и кого въ полонъ берутъ, и тотъ все таки не утерпитъ, скажетъ ворогу: чѣмъ не бось взялъ, измѣнщикъ? Право лучше въ полонъ итти, чѣмъ на такую побѣду. Какъ изволите думать, ваше высокоблагородіе?..»

— «Не знаю, любезный другъ, я военнаго дѣла не знаю; кажется, твоя правда. Ну, такъ Государь прямо въ Коломенское отъѣхать соизволилъ...»

— «Да ужъ я вамъ говорю. Думать въ Коломенскомъ попросторнѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Въ Кремлѣ всякое боярство; народъ на окна не наглядится; попы то и дѣло со крестами и со святою водою ходятъ; колымаги мимо оконъ такой стукъ творятъ, что упаси Господи; издали поду-

маешь, пушки везутъ; все одно что дразнятъ, потому что всѣ пушки Шведъ подъ Нарвою отобралъ, и объ этомъ-то и думалъ Государь; такъ чтобы колымаги обмана не наводили, въ Коломенское уѣхалъ. Слякоть такая была; погода сѣрая, гнилая; больно къ водкѣ клонило, а пушкарь Самсонъ и въ хорошее время чарки придерживался. Самсонъ, нельзя сказать, чтобы просто пушкарь былъ; а и еще... то есть пушкарь пушкаремъ, да и пушки отливать умѣлъ. А тутъ не то, чтобы новыя отливать, и старыхъ чинить не надо; всѣ забралъ Шведъ; ходилъ Самсонъ по Москвѣ безъ дѣла, да и набрелъ въ кумовья. Шелъ онъ по Пречистенкѣ...»

— «Какой это городъ, Архипушка?» спросилъ Иванъ Михайловичъ.

— «Какой городъ! Улица на Москвѣ.»

— «Не бывалъ, не бывалъ! Ну, такъ шелъ Самсонъ по Пречистенкѣ...»

— «Шелъ и встрѣтилъ другаго пушкаря изъ Нѣмцевъ, да у него жена была Русская, сына ему родила; вотъ онъ и зоветъ въ кумовья Самсона. «Некогда,» говоритъ Самсонъ: «Завтра опять на службу, говорятъ, мѣди подвезутъ...» — «А сегодня что-то будешь дѣлать? У насъ сборы не важные; пойдемъ!..» Пошли. Вотъ дорогой-то Нѣмецъ и говоритъ: «А откуда, Самсонъ, мѣдь привезутъ? Ты, видно, ничего не знаешь... Во всемъ царствѣ мѣди на подсвѣчникъ не осталось; все на пушки выдѣлали, и Король всѣ забралъ!..» — «Что ты врешь, кумъ?» — «Какое вру! Госу-

дарь и въ Москву не хотѣлъ заѣзжать, въ Коломенскомъ, запершись, все сидитъ, да думаетъ, гдѣ бы мѣди достать... Теперь по всѣмъ приказамъ по Москвѣ справки наводятъ.»— «Что ты врешь, кумъ! Ужъ коли Государь думаетъ, такъ зачѣмъ справки наводить...» Дошли они до дому, да сынка-то и окрестили. Какъ окрестили, тутъ и пошли крестины. Чарка за чаркой. Самсонъ все только на гнилую погоду жалуется; нализался и заснулъ; хозяинъ, по нѣмецкому норову, часомъ раньше въ уголъ повалился... Стало свѣтать. Вѣрно приходилъ праздникъ какой; по всей Москвѣ какъ грянули въ колокола, Самсонъ не выдержалъ, проснулся; голова кругомъ идетъ; въ виски словно пятикомъ жаритъ; глаза раздуло; а колокола все пуще; звонъ такъ и стелется; словно все небо дрожитъ. Домъ-то кума, какъ на бѣду, подъ самой колокольней стоялъ. «Не могу!» сказалъ Самсонъ, и выбѣжалъ на улицу. Глядь на колокольню, а противъ нее другая, черезъ улицу только; и тамъ и тамъ мальчишки одни передъ другими вызваниваютъ... «Эй, вы, сорванцы!» закричалъ Самсонъ: «Чему обрадовались? Ради небось, что пушки подъ Нарвой забрали? Долой!» А мальчишки пуще, а колокола громче, а звонъ надъ головой и подъ ногами ходитъ, Самсону итти мѣшаетъ; не знаетъ, куда ступить; будто провалъ подъ ногами... «Омутъ!» сказалъ про себя Самсонъ, и ну бѣжать, а ноги врознь... Кое-какъ проползъ въ другую улицу, а тамъ пять колоколенъ; онъ въ Кремль, а тамъ Иванъ Великій, слов-

но генералъ, командуетъ. «Э!» подумалъ Самсонъ: «Постойте! я же васъ уйму!» и давай улепетывать и все подъ заборами держится, видно для того, чтобы его колокола не видали... Шелъ, шелъ, и опомнился уже въ Коломенскомъ; весь трезвонъ въ голову перешелъ; чуть не развалится. Самсонъ прямо на царскій дворъ, и сѣлъ на каменной баляскѣ. «Вотъ, поди, какая благодарность!» говорилъ Самсонъ: «Самъ штукъ десять колоколовъ, больше будетъ, съ молитвами отлилъ. И какой звонъ, иные безъ серебра, а за серебряные почли; просто малина; я же ихъ сынками кликалъ; бывало иду мимо Николы, что на Курьихъ Ножкахъ, всегда скажу: «Здравствуй, сынокъ!» А они дѣти неблагодарные, отъ мальчишекъ заслышали, что я пьянъ, да и ну во весь городъ про меня разсказывать. Постойте же, пусть только Государь встанетъ. .» Самсонъ говорилъ, да безъ оглядки; хуже иного колокола глотку дралъ; въ теремѣ окно растворилось, и раздался голосъ, знаете, ваше высокоблагородіе, Государевъ голосъ; такъ, что у Самсона сразу голова перестала болѣть, за то языкъ отнялся. «Кто тамъ?» спрашиваетъ Государь.— Молчитъ.—«Отвѣчай!»—«Я»—«Кто я?» «Извѣстно кто!»—«Да говори, кто?»—«Я, твой пушкарь, Самсонъ!»—«Меди нѣтъ!» отвѣчалъ Государь съ досадой, и захлопнулъ окно... «Есть!» закричалъ Самсонъ, такъ, что безъ малаго въ Москвѣ было слышно. Какъ Государь заслышалъ, что есть, такъ у него сердечко и ёкнуло... И окна не успѣлъ отворить, кричитъ: «Поди, Самсонъ,

поди сюда!..» Откуда ни возьмись челядь надворная, и поволокла Самсона наверхъ... Государь былъ въ одномъ камзолѣ; жарко было и мѣди не было; лице у него было такое, словно небо у Шведскаго моря; онъ все ходилъ по горенкѣ и воду пилъ; прохлаждался, знаете. Самсона челядь къ стѣнкѣ прислонила и отошла...

— «Ну, зачѣмъ ты пришелъ?» спросилъ Государь на половину гнѣвно, наполовину ласково. — «Я?» сказалъ Самсонъ, да со страху и позабылъ, что хотѣлъ сказать Государю; а зналъ Самсонъ, что не приведи Богъ Государю подъ гнѣвный часъ попадаться; стоитъ зажмурясь; языкомъ безъ голоса мотаетъ, а голова словно сосновыя дрова такъ и растрескивается; только искры въ глаза сыплются. «Тьфу ты, Господи!» подумалъ онъ: «Вотъ причина; знать, еще я пьянъ...» да съ разу, такъ не подумавши, и брякъ: «Прикажи Государь, чего нибудь крѣпкаго поднести; опохмѣлюсь, такъ вѣрно припомню; не можетъ быть, чтобы я позабылъ; да крестины, Государь, все таки домовый праздникъ!» — «Подайте мастеру стаканъ пѣннаго!..» сказалъ Государь, и сталъ опять, по-прежнему, ходить по горенкѣ. Самсонъ выпилъ безъ приговорокъ, и началъ: «А гдѣ же, Государь, мои труды, гдѣ мои пушечки, что я словно изъ хлѣба выкаталъ?» — «Шведы взяли!..» коротко отвѣчалъ Государь. «Всѣ?» — «Всѣ.» — «Такъ стало быть надо новыя лить. — «Надо, да не изъ чего.» — Пушкарь усмѣхнулся. — «Что, ты шутишь со мной!» прикрикнулъ Государь, и Самсонъ опять къ стѣн-

къ прислонился. «Тьфу ты, причина!» подумалъ Самсонъ: «Ай да Нѣмецъ, ай да кумъ; уподчивалъ... Быть крестному-то семи пядей, о двухъ желудкахъ... Шутишь!.. Какія тутъ шутки, Государь! Ты и на мастерствѣ со мною не шутишь, такъ ужъ въ своихъ хоромахъ... Только право не могу... просить стыдно.» — «Что, еще развѣ чарку?» — «Коли милость твоя, Государь... Противу доброй хмѣли — чарка опохмѣлья — все равно, что чугунная пушка противу мѣдной, не во гнѣвъ будь сказано.» — «На!» сказалъ Государь: «только третьей не проси.» — «Самъ дашь, Государь!» отвѣчалъ Самсонъ, выпилъ и совсѣмъ отрезвился... Пріосамясь, Самсонъ выступилъ впередъ, поклонился и сказалъ: «Государь! У тебя пушки ни одной, а на Москвѣ колоколовъ черезъ чуръ много; по одному только съ колокольни долой, двадцать пушекъ будетъ, а по два, гдѣ по три — антилерія, вся антилерія... Имъ все одно — и въ одинъ звонить, а плохо прійдется если, не мы, а Шведы всѣ до одного московскіе колокола на пушки перелютъ; а вели батюшка Государь, по всему царству указомъ, такъ будущимъ лѣтомъ свейскую столицу съ мѣста сострѣлимъ. Третьей чарки не прошу, самъ порѣши, стоитъ ли?» — «Стоитъ...» сказалъ Государь. По лицу было видно, что Самсоновъ толкъ Царю понравился; онъ подошелъ къ столу, налилъ третью, поставилъ на подносъ, бросилъ туда же десять цѣлковиковъ, поднесъ Самсону, и сказалъ: «Спасибо, Самсонъ!» — «Не за что, Государь; это я съ сердцовъ сдѣлалъ; я го-

ворилъ колоколамъ: отплачу! Не послушались, такъ я ихъ въ некруты и отдалъ...»

Тутъ вдругъ воевода ни съ того, ни съ сего, будто осердился и сказалъ: «Смирно, Архипъ! Твоя рѣчь впереди. Ступай на мѣсто! Челобитчики идутъ.»

Не успѣлъ воевода этого вымолвить, какъ на улицѣ послышались крики, блокъ на канцелярской двери завизжалъ, и вошелъ въ присутствіе Архипъ съ докладомъ: «Горожане съ просьбами.»

— «Пускай по одному...»сказалъ Иванъ Михайловичъ, надѣвая очки.

— «Всѣ разомъ просятся.»

— «Да развѣ всѣ съ просьбами?»

— «Двое, а иные прочіе за свидѣтелей.»

— «Свидѣтелей на улицу; позовутъ, когда нужно.

Вошли Романъ Иванычъ и Иванъ Романычъ, избитые, исцарапанные; платье также было не безъ признаковъ удалой схватки; оба упали въ ноги воеводѣ, и заговорили разомъ. Нельзя было понять, о чемъ они просили, на что жаловались. Воевода молчалъ, и когда обидчики истощили всѣ свои обвиненія и оправданія, и подавали ему на колѣняхъ челобитныя, Иванъ Михайловичъ отодвинулъ ихъ рукою, и сказалъ гнѣвно:

— «Драться, пьянствовать! Вотъ я васъ! Архипъ, сбѣгай за городничимъ.»

— «Государь воевода, помилуй!» завопили челобитчики.

— «Да миловать-то мнѣ васъ не приходится. Ну, возьму я отъ васъ просьбы; я одинъ, у меня

чиновниковъ нѣтъ; кто ихъ запишетъ, кто ихъ къ докладу приготовитъ, кто ихъ будетъ слушать; кто приговоръ положитъ? А приговоръ,—извѣстное дѣло,— батоги.»

— «Пусть меня высѣкутъ...» сказалъ Иванъ Романычъ: «только бы и Рѣпкина отодрали.»

— «Пожалуй, да вѣдь по міру пойдешь; вотъ сейчасъ велю всю рѣпу подъ секвестръ, на казну...»

— «Да, рѣпа-то чѣмъ виновата?»

— «Не умничай! Законъ свое дѣло знаетъ. Домъ твой на казну...»

— «А Рѣпкина?..»

— «И его на казну!»

— «Пускай берутъ!»

— «Да ты еще рублей сорокъ приплатишь.»

— «А Рѣпкинъ?»

— «Нѣтъ, вѣдь не Рѣпкинъ, а ты искъ начинаешь.»

— «Не я, государь воевода; онъ, ей Богу, онъ...»

— Не слушай его, государь воевода, не я, а онъ; я насилу подъячаго сыскалъ, чтобы отписаться.»

— «Вотъ видишь, сорокъ рублей плати!»

— «Государь воевода! Ужъ если съ Рѣпкина ты сорока рублей взять не хочешь, такъ возьми съ меня одного, только Рѣпкина по приговору присуди...»

— «А, взятки! Въ тюрму, въ острогъ! Тамъ и сгніешь, а Рѣпкинъ на свободѣ по міру ходить будетъ.»

— «Да вѣдь не я истецъ. Я отъ иска отрекаюсь, а онъ на ябедѣ стоитъ; у него двоюродная сестра за подъячимъ...»

— «Врешь ты, озорникъ, я отвѣтчикъ, и ни какого иска не имѣю...»

— «Полно ссориться! Мнѣ некогда; дѣлъ много. Ну, кто зачинщикъ? Подавай челобитную!..»

Никто не рѣшался. Воевода поглядѣлъ на нихъ съ улыбкою, и продолжалъ:

— «Ну, что за охота ссориться! Одинъ другому торгу не отобьешь; рѣпа олонецкая всегда разойдется; сушеная не испортится; день, недѣлю лишнюю пролежитъ, и оба будете съ барышами, а вотъ изъ глупости, вы оба, по одному заведенію, больше барышей протранжирили. И прилично ли такимъ бѣднымъ горожанамъ пиво и вино пить? Вѣдь грѣхъ! Ваше дѣло—пѣнное, и то по воскресеньямъ, да послѣ трудной работы; а вы... Нѣтъ, родимые, если не помиритесь, то и тяжбы не будетъ, а безъ батоговъ не обойдется...»

— «Помилуй, государь воевода!»

— «Помиритесь, такъ помилую; да и то на кондиціяхъ, чтобы впередъ про ваши ссоры я не слыхалъ.»

— «Да я изуботычился....

— «А я раззорился.»

— «Все таки домъ и рѣпа остались. Ну, что-жъ миритесь, или нѣтъ? Право, некогда.»

Оба молчали и поглядывали искоса, не начнетъ ли мириться противникъ. Воевода изъ подъ очковъ наблюдалъ за ихъ нѣмымъ разговоромъ, и примѣ-

тивъ, что обоихъ въ краску бросило, сказалъ торжественно:

— «Ну, нечего дѣлать, коли не хотите сами, такъ я васъ помирю.»

Полагая, что тайный смыслъ сего предложенія заключается въ батогахъ, оба вскричали разомъ:

— «Миримся, миримся, государь воевода!» и стали другъ другу кланяться.

— «Поцѣлуйтесь!» сказалъ воевода. — Поцѣловались.

— «Три раза.» — Три раза.

— «Ну, теперь въ церковь Рождества Богоматери, да отслужите молебенъ, а чтобъ не убыточиться, вотъ вамъ полтина, пошли съ Богомъ!..» Челобитчики откланялись и вышли. На улицѣ ожидали ихъ свидѣтели, и закричали въ одинъ голосъ: «Ну, чья взяла?» Челобитчики разсказали. Свидѣтели остались весьма недовольны. «Экой воевода!» ворчали тихо: «Только и знаетъ, что на миръ сводитъ. И поссориться въ Олонцѣ нельзя... И самъ-то въ волчьей шубѣ ходитъ, а у городничаго, поди, и у самого и у жены и у дѣтей — шубки изъ черныхъ лисицъ...» Между тѣмъ Архипъ воротился отъ городничаго.

— «Ну, что?» спросилъ воевода.

— «Его благородію нельзя быть...» отвѣчалъ Архипъ.

— «А что?»

— «Да съ купцами завтракалъ, лежитъ.»

— «Погоди же: миръ хорошъ, да не со всякимъ;

съ нимъ я поссорюсь... Погляди, Архипъ, какіе это офицеры ѣдутъ...»

— «Батюшки свѣты!» закричалъ радостный Архипъ: «Государь, самъ Государь!..»

— «Государь!» воскликнулъ воевода и уронилъ очки: «Пойдемъ на встрѣчу, на крыльце...» Но пока воевода собирался, Государь вошелъ уже въ присутствіе .. На лицѣ Государя примѣтны были гнѣвъ и подозрѣніе; сбросивъ шубу на ларь, Онъ вошелъ въ присутствіе въ валеныхъ сапогахъ, и развертывая съ шеи родъ шали, или толстаго гаруснаго шарфа, спросилъ гнѣвно: «Гдѣ воевода?»

— «Здѣсь, Государь!» отвѣчалъ, дрожа, Иванъ Михайловичъ.

— «Одинъ?»

— «Одинъ.»

— «А гдѣ же твои чиновники?»

— «Въ отставкѣ!»

— «Въ отставкѣ?» почти крикнулъ Государь: «А покажи-ко дѣла!»

— «Дѣла?» запинаясь, спросилъ воевода: «Какія дѣла?»

— «Какъ какія? Тѣ, которымъ въ воеводской канцеляріи быть слѣдуетъ... Напримѣръ, челобитныя.»

— «Челобитныя?»

— «Ну, да!..»

Иванъ Михайловичъ совершенно смутился, поглядывалъ на Архипа, не выручитъ ли его изъ бѣды; подозрѣнія Государя оправдывались, гнѣвъ возрасталъ...

— «Ну, что же ты стоишь!» сказалъ Государь, топнувъ ногою: «Показывай дѣла!»

— «Ахъ ты Господи!» подумалъ Иванъ Михайловичъ: «Непоказать ли Ему старыхъ дѣлъ изъ архива, да Архипъ ключь потерялъ, уже больше года будетъ.» Иванъ Михайловичъ совершенно разстерялся, и только хлопалъ глазами, согнувшись кольцемъ...

— «Э, старый плутъ, ты отъ меня не отмолчишься...» сказалъ Государь, и собственноручно отстегнулъ кожаный клапанъ съ гвоздика, замыкавшій шкафъ. Тамъ, въ величайшей чистотѣ и опрятности, стояла запасная пара сапоговъ Архипа, его же амуниція и казенные подсвѣчники...

— «Гдѣ же твои дѣла?» еще разъ спросилъ Государь: «Говорю тебѣ, не отдѣлаешься; а я только за этимъ и въ Олонецъ пріѣхалъ...»

— «Ну...» подумалъ воевода... «Кончено! Изъ бѣды не выскочишь. Видно, злые люди постарались. Нечего дѣлать! Повинюсь, авось помилуетъ...» и съ этими мыслями, бухъ Государю въ ноги.

— «Ага!» сказалъ царь: «Давно бы такъ!»

— «Не буду!» завопилъ Иванъ Михайловичъ: «Не буду, только помилуй!»

— «О милости послѣ, а велика ли твоя вина? Разсказывай!»

— «Все разскажу, батюшка Государь! Право не буду! Не утаю ничего, хоть въ Сибирь посылай. Не я виноватъ, а глупость моя; ужъ это стало быть отъ рожденія Богъ смѣтки не далъ, а теперь право не буду; все по законамъ пойдетъ.»

— «Да разсказывай ты мнѣ о томъ, что я спрашиваю: плутовать умѣешь, а оправдываться трусишь; ну, видно, ты еще неважный ябедникъ, не изъ самыхъ злодѣевъ...»

— «Ябедникъ!» завопилъ Иванъ Михайловичъ «Какъ хочешь казни, только ябедникомъ не называй!..»

— «Покажи дѣла, я самъ разсмотрю...»

— «Да гдѣ мнѣ дѣлъ взять, коли ихъ нѣтъ, и въ три года ни одного не было!»

— «Какъ не было!» спросилъ государь, примѣтно изумленный неожиданнымъ отвѣтомъ.

— «Были бы, Государь, грудами были бы, когда бъ Ты Самъ не указалъ по всѣмъ тяжбамъ, искамъ къ миру клонить; такъ я и раздумалъ: двѣ стороны во всякомъ дѣлѣ; не могутъ быть обѣ правы; отыскать виноватаго не трудно, когда добрая воля есть; я обоихъ и выслушаю, бумаги пересмотрю, и знаю съ кѣмъ что говорить, а челобитень до времени не беру. Виноватъ, Государь! Чиновниковъ у меня нѣтъ; такъ я прежде должность стряпчаго справляю; потомъ виноватаго напугаю, праваго умилостивлю, да изъ присутствія обоихъ къ себѣ на домъ, пошлю за протопопомъ, да и поставлю изъ собственнаго жалованья мировую бутылочку; отъ одной рюмки такого вина, знаешь, Государь, право, всякій страхъ пройдетъ. Ты меня напугалъ только, Государь! Я съ разу не понялъ, а теперь вижу, что я дѣло дѣлалъ!»

Иванъ Михайловичъ всталъ самъ собою, выпрямился и смѣло смотрѣлъ въ глаза Государю. Память

добрыхъ дѣлъ воскресла и укрѣпила добродѣтельнаго воеводу. Государь глядѣлъ на него со слезами на очахъ.

— «Ну, воевода!» сказалъ Государь. «Помиримся? Чего хочешь, говори!»

Воевода посмотрѣлъ на часы и отвѣчалъ: «Время присутствія отошло; можно мнѣ и домой, жена къ обѣду блины готовитъ, а Архипъ за мировою сбѣгаетъ, такъ можетъ быть, не откажешь...»

— «Послушай, Воевода! Я самъ терпѣть не могу ссоръ и ябеды, а у меня въ адмиралитецъ-коллегіи каждый день Чернышевъ съ Крейцомъ ссорятся; теперь пойдемъ обѣдать, и выпьемъ мировую бутылочку, не за олонецкаго воеводу, я сюда другаго пришлю...»

Въ это время и Государь и воевода вышли на крыльце.

«Поздравь меня, Александръ!» сказалъ Государь: «Въ адмиралитецъ-коллегію знатнаго прокурора нашелъ! Иванъ Михайловичъ, помири мнѣ пожалуйста Крейца съ Чернышевымъ; право, спасибо скажу. Ну, Александръ, ступай съ нами; выпьемъ за новаго прокурора, Ивана Михайловича.»

— «Какъ? что?» спросилъ Александръ Ивановичъ.

— «Пойдемъ, пойдемъ!» отвѣчалъ Государь: «За обѣдомъ все разскажу»

АНТОНІО.

Величайшіе счастливцы, по моему мнѣнію, скрываются въ неизвѣстности: ихъ не замѣтитъ взоръ милостивца, минуетъ почесть, забываетъ или лучше, не помнитъ потомство. Ничтожество спасло ихъ отъ благодарности, славы и исторіи, и схоронило безъ монументовъ и похвальныхъ словъ. Поступки ихъ не были подчинены самовольной контроли крикуновъ, составляющихъ отъ *нечего дѣлать*, общественное мнѣніе, какъ журналисты составляютъ моды картинками повременныхъ изданій.

Завидная участь! Но есть родъ людей страннаго порядка, не менѣе счастливый, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ потомству: это люди съ огромною, посмертною славою и безъ исторіи. Они оставили великолѣпные памятники своихъ геніальныхъ способностей, но ни одного преданія о своей жизни. Одна невыгода: жизнь такихъ людей дѣлается добычею поэтическихъ сказаній, основанныхъ большею частію на личномъ характерѣ разскащиковъ и одно другому противорѣчащихъ до того, что, напримѣръ, Антоніо Аллегри да Корреджіо, по ихъ словамъ, былъ и богатъ и бѣденъ, женатъ на двухъ женахъ и холостъ, имѣлъ мно-

гихъ дѣтей и ни одного, родился и умеръ въ разныхъ годахъ, былъ и не былъ въ Римѣ, и т. д. Мало. Поэзія сочинила для него ростъ, лице, глаза, характеръ, языкъ; нанесла ему множество обидъ и оскорбленій, и наконецъ уморила подъ тяжестію мѣдныхъ денегъ. Со смертію, казалось бы, все должно кончиться. Нѣтъ; поэзія преслѣдовала дѣтей, и вотъ разсказъ, почти переписанный съ итальянской рукописи XVI-го столѣтія, какъ доказательство.

—

Не доѣзжая до Модены, можно сказать за нѣсколько шаговъ, на небольшомъ пригоркѣ стоитъ еще и донынѣ некрасивая австерія съ большою вывѣской. Дождь уничтожилъ даже слѣды красокъ, и только внизу на полиняломъ полѣ съ трудомъ можно разобрать MCCCCC(D)XXIV. Не смотря на совершенное отсутствіе изображеній, хозяева австеріи, одинъ другому наслѣдуя въ продолженіи четырехъ столѣтій, ни за какія благополучія не хотятъ смѣнить мѣдной доски, продолжаютъ называть ее *Золотымъ Рогомъ*, часто упоминаютъ о богинѣ Изобилія, а простолюдинъ, считая древность святынею, никогда не проходитъ мимо, не преклонивъ колѣна и не сотворивъ креста передъ вывѣскою *Золотаго Рога*.

Но, въ 1573 году, и австерія, и вывѣска еще были въ весьма хорошемъ состояніи; Модена кипѣла жизнію; каждый день новые гости; посольства, обозы, пѣшеходы часто у австеріи ожидали утра, многіе любовались изображеніемъ «богини Изоби-

лія»; многіе приходили въ австерію нарочно для прекрасной вывѣски. Дѣйствительно, живопись не лишена была нѣкоторыхъ достоинствъ, носила характеръ новой школы, недавно распространившейся въ Сѣверной Италіи, и считалась произведеніемъ самого Корреджіо. И неудивительно, что вывѣска съ такимъ знаменитымъ именемъ привлекала толпу любопытныхъ. Прошло не болѣе сорока лѣтъ послѣ смерти божественнаго Корреджіо: въ каждомъ трактирѣ утверждали, что Корреджіо былъ постояннымъ его посѣтителемъ; вывѣски съ его именемъ умножались, какъ ручники и копья въ монастыряхъ италіянскихъ; во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ были картины Аллегри, разсказывали анекдоты о великомъ мастерѣ; противорѣчіямъ не было конца: въ Пармѣ онъ былъ богачемъ, въ Моденѣ нищимъ, въ Корреджіо домовитымъ, счастливымъ семьяниномъ. Въ австеріи Золотаго Рога ни о чемъ болѣе не говорили, какъ о знаменитомъ творцѣ вывѣски.

Утро воскреснаго дня освѣщало шумную Модену; посѣтители въ этотъ день не засиживались въ австеріи: они спѣшили въ городъ, опасаясь опоздать къ обѣднѣ. Хозяинъ, плечистый, высокій мужчина, отпустивъ всѣхъ гостей, лежалъ подъ навѣсомъ, пристроеннымъ къ австеріи, откуда путешественники могли любоваться панорамою Модены и видомъ на озеро, которое, какъ въ золотомъ ковшѣ, колыхалось въ высокихъ скалахъ. Изрѣдка приподымался онъ поглядѣть на дорогу, и угадать въ далекой пыли богатаго всадника или

поселянскаго мула; привычное ухо по походкѣ узнавало бѣднаго пѣшехода, и Бартоло (хозяинъ) оставался недвижимъ. Вдругъ онъ услыхалъ пѣсню, которая заставила его содрогнуться, не по содержанію, — въ пѣснѣ не было смысла, — но по странному голосу пѣвца. И такъ близко! На небольшомъ лугу, передъ самымъ навѣсомъ, гдѣ стояли скамьи и столики, и распивалось дешевое вино. Какая-то злоба въ голосѣ; дикость, грубость, и вдругъ тоска черная, неисходная въ словахъ безсмысленныхъ! Бартоло вскочилъ, и съ высокаго навѣса громовымъ голосомъ закричалъ: «Кто тамъ?» Вмѣсто отвѣта, старикъ продолжалъ пѣсню.... На сердцѣ Бартоло стало еще страшнѣе, когда онъ увидѣлъ, за однимъ изъ столовъ, старика лѣтъ около шестидесяти, безъ шляпы; на плѣшивой головѣ торчало два три клока желтыхъ волосъ; весь лобъ въ крупныхъ и мелкихъ морщинахъ; уста неизмѣнно хранили злобную улыбку; глаза сѣрые, но блестящіе, бѣгали въ разныя стороны, какъ-будто вѣчно искали чего-то; одежды на немъ почти не было; какія-то лохмотья покрывали туловище; босыя ноги носили всѣ признаки далекихъ или по крайней мѣрѣ частыхъ путешествій пѣшкомъ и безъ обуви; нагія руки, прогорѣлыя отъ солнца, были протянуты вдоль стола и такъ же неподвижны, какъ и весь старикъ; только бѣгающіе глаза и уста, шевелившіеся отъ пѣсни, свидѣтельствовали о жизни страннаго посѣтителя. Бартоло долгое время не могъ произнести ни слова. Ему не въ диковину были посѣтители

разнаго рода: онъ видѣлъ на своемъ вѣку и разбойниковъ, и военныхъ грабителей, и нищихъ-мошенниковъ, и полу-умныхъ, но такой страшный старикъ никогда и не снился Бартоло. Опомнясь нѣсколько, и тихо творя молитву, сошелъ Бартоло внизъ, подвязалъ къ поясу ножъ, схватилъ дубину и вышелъ на свой лугъ съ повелительнымъ видомъ, но со смутою въ душѣ. Почти въ то же мгновеніе въ городѣ раздался въ разныхъ мѣстахъ благовѣстъ; старикъ вскочилъ изъ-за стола, бросился на колѣни и началъ громко читать молитву; въ словахъ молитвы было почти столько же смысла, какъ и въ пѣснѣ, но лице и глаза выражали искренность. Бартоло самъ невольно снялъ шляпу, преклонилъ по обычаю колѣно, обратился къ городу и сотворилъ краткую молитву. Почти въ одно время оба встали, взглянули другъ на друга и безмолвствовали. Злобная улыбка не оставляла старика, глаза бѣгали.

— «Что тебѣ нужно?» спросилъ наконецъ Бартоло.

Старикъ не отвѣчалъ, а приложилъ руку ко лбу, какъ-будто стараясь припомнить, что ему нужно?

— «Кто ты? откуда? зачѣмъ?» продолжалъ спрашивать Бартоло.

Старикъ расхохотался.

— «Кто я?» со смѣхомъ спросилъ онъ: «кто я? кто я?» И этотъ вопросъ былъ повторенъ нѣсколько разъ, и съ каждымъ разомъ старикъ становился мрачнѣе: «Не дай Богъ вспомнить! Только

животныя не узнаютъ дѣтей своихъ.... а впрочемъ, она невиновата; безплодная самка ласковѣе римской матроны.... Да кто же я? Пошли спросить въ ближнюю деревню у сестры моей.... Насъ было двое.... Можетъ быть, она проснулась.... Она все помнитъ.... все разскажетъ.... Нѣтъ! напрасно, не посылай: она ничего не разскажетъ.... Мы любили его....»

Во время этой рѣчи, злобная улыбка смѣнилась грустною; глаза перестали бѣгать; на лицѣ разлилось тихое пламя; старикъ вдругъ поумнѣлъ; взглянувъ на Бартоло и какъ-будто припомнивъ первый вопросъ, сказалъ тихо, почти шепотомъ: «Извини, хозяинъ! Мнѣ ничего не нужно...» и пошелъ по дорогѣ медленно, съ трудомъ передвигая дряхлыя ноги.

Бартоло, не смотря на званіе, въ которомъ рѣдко живетъ состраданіе, былъ человѣкъ набожный. Не накормивъ, отпустить нищаго, по справедливости, считалось тогда грѣхомъ смертельнымъ; разрѣшеніе такого грѣха дорого стоило прихожанамъ, и Бартоло поспѣшилъ удержать старика, усадилъ за столъ, вынесъ бѣлый хлѣбъ, домашній сыръ и стеклянный сосудъ съ туземнымъ плохимъ виномъ. Старикъ молча пожиралъ пищу и запивалъ виномъ. Бартоло считалъ долгъ свой совершенно исполненнымъ, вошелъ въ австерію, заперъ ее изнутри, и опять улегся подъ навѣсомъ.

Далеко на дорогѣ поднималась пыль; песочныя облака, приближаясь, дѣлались больше и больше;

вѣтеръ дулъ въ спину всадникамъ, и Бартоло, не смотря на всю зоркость и опытность глазъ, не могъ угадать ни достоинства, ни числа путешественниковъ. Уже у самой австеріи, на поворотѣ, пыль пошла въ сторону, и счастливый Бартоло увидѣлъ до двадцати всадниковъ въ богатыхъ костюмахъ: нѣкоторые были вооружены съ ногъ до головы, другіе вовсе безъ оружія и безъ бороды, иные только съ поясными ножами. Безбородые тотчасъ забѣгали и засуетились; успѣли узнать имя хозяина, что́ у него есть, чего нѣтъ. Бартоло, съ своей стороны, успѣлъ узнать, что ѣдетъ графъ ди Кастанеи изъ Пармы въ Модену съ порученіями и полномочіями отъ самого императора. Безбородые пажи поспѣшили овладѣть всѣми комнатами австеріи и бросились на старика. Страшный видъ его могъ испугать графиню Розалію ди Кастанеи, въ которую, между прочимъ, всѣ пажи были влюблены до безумія. Одинъ изъ нихъ схватилъ уже старика за руку, но старшій, изъ прекрасной фамиліи Константини, благовидный и статный юноша, маркизъ Лука, остановилъ шалуна.

— «Не троньте, синьоръ, бѣднаго старика; онъ уйдетъ и самъ.»

— «Когда кончу мой обѣдъ...» сквозь зубы сказалъ старикъ.

— «Это невозможно!» воскликнулъ маркизъ. «Графиня сейчасъ пріѣдетъ. Возьми свое вино съ собой, и окончи его гдѣ нибудь за кустомъ.»

Старикъ молчалъ. Бартоло подошелъ къ нему съ гнѣвнымъ видомъ, и сказалъ:

— «Ступай, ступай съ Богомъ! Возьми съ собою и стекло. Пригодится воды зачерпнуть на дорогѣ.

— «Хлѣбъ съ попрекомъ хуже яда...» сказалъ старикъ, подымаясь: «Иду, потому что ты въ своемъ домѣ хозяинъ. А жаль, что отъ добраго дѣла тебя могутъ отвлечь ливрейные мальчишки!...»

— «Ливрейные мальчишки! ливрейные мальчишки!» закричали пажи, и бѣдный старикъ былъ уже у воротъ низкой ограды, отдѣлявшей область австеріи отъ дороги. Въ самое то время поѣздъ графа появился у той же ограды; пажи бросились впередъ, а старикъ, измученный ихъ толчками, упалъ безъ чувствъ и загородилъ тѣломъ своимъ узкія ворота. Напрасно Бартоло старался оттащить его въ сторону. Кастанеи, примѣтивъ послѣдствія шалостей своихъ пажей, первый соскочилъ съ коня, гнѣвно взглянулъ на нихъ, и благородными руками помогалъ Бартоло.

«Воды!» закричалъ графъ.... Бартоло бросился въ австерію; дамы и рыцари окружили старика и старались помочь графу. Скоро очнулся старикъ, и дамы, съ крикомъ, безъ оглядки, убѣжали въ австерію отъ страшныхъ глазъ его. Припадокъ сумасшествія испугалъ даже графа. Старику казалось, что ангелы изгнали его изъ дома блаженства; потомъ ему казалось, что мачиха подкупила уличныхъ мальчиковъ убить его, и онъ схватилъ огромное бревно, котораго не поднялъ бы ни одинъ изъ предстоявшихъ рыцарей, и гонялся за пажами.

Послѣ многихъ выходокъ безумія, онъ бросилъ бревно за ограду съ необыкновенною силой, упалъ передъ графомъ на колѣни и залился слезами. Кастанеи не препятствовалъ слезамъ, и держалъ въ рукахъ своихъ горящую голову безумца. Когда онъ успокоился, графъ, съ помощію рыцарей, приподнялъ его, усадилъ на прежнюю скамейку и сѣлъ возлѣ. Опять то же странное, грустное спокойствіе воцарилось на лицѣ старика; опять то же упрямое молчаніе. Рыцари въ сторонѣ разспрашивали, что̀ случилось съ нимъ; Бартоло радъ былъ поразсказать повѣсть, съ прикрасами, выхваляя свою щедрость, но графъ прервалъ его разсказъ: «Хозяинъ! Вина, и чего нибудь закусить страннику». Принесли. Старикъ посмотрѣлъ на графа ласково, улыбнулся и началъ во второй разъ обѣдать. Желая возстановить общее спокойствіе, графъ приказалъ позвать пажей и просилъ за нихъ у старика прощеніе.

— «Дѣти, дѣти!» говорилъ старикъ: «Мы сами шалили...» и началъ смѣяться: «Да не долго; насъ умѣли унять...» и началъ плакать.

Графъ перемѣнилъ разговоръ. «Что̀ у васъ, хозяинъ, слышно хорошаго въ Моденѣ?»

Бартоло началъ разсказывать всѣ слухи, оставленные проѣзжими въ его австеріи; старикъ продолжалъ ѣсть, не обращая ни малѣйшаго вниманія на его разсказъ; но когда Бартоло коснулся вывѣски Золотаго Рога, старикъ поставилъ кубокъ, взглянулъ на хозяина, на вывѣску и затрепеталъ всѣмъ тѣломъ. Всеобщее вниманіе естественно

обратилось на него. Онъ глядѣлъ на вывѣску, протянувъ къ ней коричневыя руки; слезы лились изъ глазъ, уста были открыты. Послѣ минутнаго молчанія, онъ схватилъ за руку графа и на ухо сказалъ ему: «Не вѣрьте! Эта вывѣска моя, а отецъ мой поправилъ только лѣвую руку и прошелъ драпировку на правомъ колѣнѣ. Я не хочу, чтобы плохія произведенія сына вредили заслуженной славѣ отца!»

Эти слова въ высочайшей степени возбудили любопытство графа.

— «Не хотите-ли отдохнуть?» спросилъ онъ старика, который, казалось, дремалъ: такъ онъ погруженъ былъ въ грустныя размышленія!

Старикъ какъ-будто проснулся, всталъ, перекрестился, поклонился графу и хозяину.

— «Да, пора отдохнуть. Авось приснится что-нибудь лучше моихъ воспоминаній!.. Прощайте! Благодарю!.. »

— «Куда-же?» спросилъ графъ.

— «Тамъ, у ручья, я видѣлъ прекрасную рощу...»

— «Что вы? что вы? Въ ваши лѣта! Приближается зной: вы сгорите на открытомъ воздухѣ. Пойдемте лучше со мною!»

Старикъ повиновался, и чрезъ нѣсколько минутъ спалъ на походномъ тюфякѣ графа сномъ праведника.

Когда старикъ проснулся, графъ стоялъ надъ нимъ, облокотясь обѣими руками на спинку высокаго стула.

— «Каково почивали?

— «Сладко!» отвѣчалъ старикъ: «сладко!»

— «А что снилось?»

— «Отецъ. Мы съ нимъ помирились.»

— «Но онъ, я думаю, давно уже умеръ?»

— «Вчера!.. Я былъ на его погребеніи, на зло мачихѣ. Я оттолкнулъ ея дѣтей отъ дорогой могилы, и собственными руками набросалъ землю на гробъ Антонію Аллегри. Вся Корреджіо плакала со мною. Священникъ отъ слезъ не могъ читать молитвъ. Одна она не плакала: злоба въ ней была сильнѣе печали!..»

Старикъ закрылъ лицо руками; мгновеніе, — онъ отеръ кулакомъ градъ слезъ; еще мгновеніе, — онъ сталъ веселъ, любовно смотрѣлъ на графа и опять заговорилъ:

— «Я много помню, много! Зачѣмъ я это все помню?.. Мнѣ было двѣнадцать лѣтъ; я возвращался изъ школы; меня встрѣтила сестра моя, Вероника, со слезами на глазахъ.

— «Скорѣе, Лоренцо, скорѣе!» кричала она мнѣ издали: «маменька плачетъ.»

— Маменька плачетъ! Это показалось мнѣ такъ невѣроятнымъ! Кромѣ улыбки и сладкой слезы вовремя молитвы, другаго выраженія никогда не видалъ я на прекрасномъ лицѣ матери. Я бросился прямо къ ней въ спальню... О, ужасъ! Она точно плакала. Я цѣловалъ ея руки, плакалъ самъ и молилъ открыть причину слезъ. Она указала на грудь и проговорила только одно слово: «Болитъ!»

Старикъ всталъ и повторилъ слово «болитъ»

такимъ пронзительнымъ голосомъ, что даже самъ графъ невольно вздрогнулъ, а въ дверяхъ показалась блѣдная женская головка и опять спряталась.

— «Не спина, не плечи...» кричалъ старикъ: «несутъ бремя жизни, но одна грудь, кладбище живыхъ покойниковъ, кровавыхъ тайнъ. Не отпадаютъ эти аспиды, пока не замучатъ жилицу сердца, пока не обратятъ въ пустыню ея жилища!... Четырнадцать тысячъ пять сотъ девяносто два раза я видѣлъ восхожденіе солнца съ тѣхъ поръ, какъ у моего сердца виситъ аспидъ. У меня былъ другъ — *соня*, измѣнилъ; была подруга — сестра, умерла; все и всѣхъ мнѣ замѣнилъ аспидъ; мы подружились; тайна стала моею жизнію... Славно! Это все одно, что деньги, что хлѣбъ... Средство существованія... Не правда-ли?»

— «Такъ! Но чѣмъ-же была больна твоя мать?»

— «Тайною, кровавою тайной; страшнѣе тайны у женщинъ не бываетъ. Но я, ребенокъ; я ничего не понялъ. Я бросился къ отцу, нашелъ его въ мастерской: онъ писалъ Мадонну...» Маменька больна, маменька больна!» кричалъ я еще издали.

— «Знаю!» отвѣчалъ Антоніо такъ равнодушно, что я, по невольному чувству, какъ вконанный, остановился посреди мастерской, и не могъ произнести ни слова...

— «Гдѣ ты шатаешься? Ступай работать, лентяй!» продолжалъ онъ сурово. — Вторая нечаянность. Обыкновенно Антоніо встрѣчалъ меня

поцѣлуемъ и ласковымъ привѣтомъ. Смущенный, я не зналъ что говорить, что дѣлать; сами собой губы мои лепетали: «Но маменька... маменька...»

— «Пройдетъ, пройдетъ! Не въ первый разъ...» сказалъ Антоніо и ушелъ, хлопнувъ дверью.

—

«Скоро все пришло въ прежній порядокъ; ввечеру мы съ Вероникой шалили на лугу; маменька тольковала съ сосѣдкою, сидя на земляной софѣ у дома; отецъ выдѣлывалъ для насъ изъ дерева какую-то хитрую игрушку; совершенно по вчераннему... и мы забыли о прошедшемъ. Нѣсколько дней спустя, поутру, ни свѣтъ ни заря, поднялся въ домѣ шорохъ; первый проснулся я. Мимо меня мелькнула какая-то женщина... Иду въ комнату, которая раздѣляла нашу спальню отъ мастерской Антоніо; за нею и самъ Антоніо, совершенно одѣтый... Такъ рано! Я вскочилъ; въ комнату, — двери заперты... Къ матери, — она поспѣшно одѣвалась. На вопросы мои она довольно покойно сказала: «Приняла натурщица.» И это меня почти успокоило.

— «Но зачѣмъ такъ рано?»

— «Видно дѣло къ спѣху.»

— «Но зачѣмъ папенька заперъ не мастерскую, а комнату съ круглымъ столомъ?»

— «Не знаю:» отвѣчала Марія, съ примѣтнымъ смущеніемъ: «Видно: такъ нужно. Иди, мой другъ, спать. Напрасно ты встаешь такъ рано. Иди, иди, Лоренцо!» Взявъ за руку, она отвела

меня въ спальню и заставила улечься. Пока я раздавался, она немного поворачивала голову къ дверямъ комнаты, прислушиваясь къ малѣйшему шороху, и, уходя, коснулась тихонько замка роковой двери. Я не могъ уснуть; опять всталъ и одѣлся; пошелъ къ матери, — нигдѣ нѣтъ; я нашелъ ее въ саду подъ высокимъ, но открытымъ окномъ мастерской. Примѣтивъ меня, она приложила палецъ къ устамъ и я невольно замолчалъ; остановясь довольно далеко, я ничего не могъ разслышать, но Марія выросла, стояла почти все время на цыпочкахъ; выраженіе лица ея изображало любопытное вниманіе, и въ то-же время тысячи разнородныхъ ощущеній пробѣгали по лицу ея, какъ тѣнистыя бурею облака проходятъ по лицу солнца. Вдругъ Марія опрометью бросилась изъ сада; я за нею; въ столовой мы остановились, и оба ждали кого-то; голова моя поворачивалась за движеніями головы матери; изрѣдка я поглядывалъ на нее; волненіе груди было слишкомъ примѣтно; у меня также стѣснилось сердце...

— «Долго прощаются!» проговорила она, задыхаясь:...

«Двери отворились и женщина, укутанная въ покрывало, вошла въ комнату; примѣтивъ насъ, она вздрогнула и пріостановилась. Потомъ съ быстротою лани бросилась къ стекляннымъ дверямъ, на крыльцо, а по лугу бѣжала уже бѣгомъ, какъ будто боясь погони. Антоніо шелъ слѣдомъ, но примѣтивъ, что мы въ столовой, остановился. Марія, безъ словъ и безъ слезъ,

стояла передъ нимъ; но лицо ея пылало, глаза бросали ужасные взоры; Антоніо покраснѣлъ, и также не могъ выговорить ни слова; опомнясь и запинаясь, онъ спросилъ наконецъ: «Что это все значитъ?»

Марія начала смѣяться; смѣхъ усиливался, и наконецъ совершенно овладѣлъ ея дыханіемъ; она хохотала безпрерывно, держась за грудь, и упала отъ смѣха на полъ; Антоніо поспѣшилъ поднять ее, я тоже; но она была безъ чувствъ. Я началъ кричать во все горло, что маменька умерла; Антоніо приказывалъ мнѣ молчать, нѣсколько разъ ударилъ, — ничто не помогало: я продолжалъ кричать, люди сбѣгаться; скоро столовая наполнилась домашними и посторонними людьми; Марію унесли въ спальню: отецъ учтиво разогналъ созванныхъ мною гостей, а меня втащилъ въ мастерскую и заперъ.

Поплакавъ, я нѣсколько успокоился и обратилъ вниманіе на окружавшіе меня предметы: мой треножникъ лежалъ въ углу, на боку и съ работой; на его мѣстѣ стоялъ стулъ и подножки, а противъ него рабочій столъ и стулъ Антоніо; я поднялъ въ столѣ доску, подъ ней нашелъ я портретъ женщины; онъ только-что былъ начатъ, но уже можно было видѣть, что натурщица удивительно хороша собой, а по очерченному костюму, не поселянка. Услыхавъ шумъ шаговъ, я заперъ столъ, бросился въ кресла и притворился спящимъ. Вошелъ Антоніо, усѣлся противъ меня на стулѣ, и предался размышленіямъ. Изрѣдка, съ величайшею

осторожностью, я открывалъ одинъ глазъ, закрытый пальцами, и глядѣлъ на Антоніо. Вздохи теснились въ груди его, борьба страсти явственно выражалась на печальномъ лицѣ; непотомъ иногда онъ говорилъ слова, которыхъ смысла не упомню; вынулъ портретъ, поглядѣлъ, спряталъ, опять вынулъ, опять спряталъ; а я, утомленный притворнымъ сномъ, наконецъ предался дѣйствительному, и не знаю, чѣмъ окончилась бесѣда Антоніо съ самимъ собою.

—

Какъ дымъ, промелькнули съ небольшимъ три года; прошедшее казалось, — глупымъ, темнымъ; безсмысленнымъ сномъ. Вероника была уже невѣстой; я порядочнымъ живописцемъ; замѣчательно было только одно: это перемѣна домашняго обращенія со всѣми. Антоніо потерялъ веселость, и простодушный въ разговорахъ, сдѣлался принужденнымъ, сварливымъ, вспыльчивымъ; спорилъ изъ пустяковъ, изъ пустяковъ сердился; когда противорѣчили, онъ доходилъ до бѣшенства; когда умышленно уступали, обижался и уходилъ изъ дома. Марія уже болѣе не улыбалась; печаль глубокой грусти сдѣлала ее еще прекраснѣе, небеснѣе! Антоніо не могъ смотрѣть на нее: изрѣдка бѣглый взглядъ, какъ воръ, бросался къ ней и уходилъ безъ добычи, скрывался во глубинѣ души, — и задумчивость осѣняла печальное, но прекрасное лицо Антоніо. Мое положеніе было ужасно! Сердца наши потеряли родственную связь. Я видѣлъ въ немъ только учителя, только знаменитаго худож-

ника, мужа моей матери, но не отца. Я не искалъ его ласки; онъ намекомъ даже не требовалъ отъ меня сыновнихъ чувствъ, но все-таки я любилъ его; не доставало объясненія: оно, можетъ быть, возвратило-бы мнѣ отца, но именно отъ объясненія мы уклонялись оба; присутствіе мое было для него тягостно, а я, какъ нарочно, будто опасался чего-то новаго, страшнаго, старался быть всегда при немъ, когда онъ былъ дома. Одна Вероника была счастлива, ничего не зная, потому что я, по просьбѣ матери, скрылъ отъ нея странное событіе, о которомъ и съ матерью не говорилъ болѣе ни слова. Сердце Корреджіо, какъ я замѣтилъ, въ семействѣ нашемъ принадлежало только одной Веронике. Какъ нѣжно онъ ласкалъ ее! Какъ восхищался ея успѣхами въ обществѣ, побѣдами, толпою жениховъ, осаждавшихъ домъ нашъ! Но когда Вероника, не знаю почему, съ большею нѣжностью ласкалась къ матери, съ дѣтскимъ прямодушіемъ называя ее ангеломъ, — брови Антоніо хмурились и онъ, тихо, сквозь зубы, ворча какую-то пѣсню, уходилъ иногда въ мастерскую, иногда даже изъ дома.

Въ такомъ состояніи засталъ насъ однажды какой-то пармскій художникъ, пріѣхавшій съ приглашеніемъ переселиться въ Парму.

— «Ни за что!» отвѣчалъ Корреджіо: «Я здѣсь родился, выросъ: я и умру въ моей Корреджіо; а если угодно, я могу завтра-жъ поѣхать въ Парму, сдѣлать что нужно, и воротиться домой на покой. Тамъ уже не мало моихъ работъ; я и такъ хотѣлъ ихъ

провѣдать, да вотъ не могу собраться...» И покраснѣлъ, какъ-будто стѣны мастерской знали причину его нерѣшительности. Художникъ согласился; переночевалъ у насъ; на другой день, чуть свѣтъ, оба уѣхали; я просилъ отца взять меня съ собою...

— «Посмотримъ!» отвѣчалъ онъ: «Если будетъ нужно, я пришлю за тобою.»

«Но прошелъ мѣсяцъ, — ни слова; другой, — то-же молчаніе. Мы получали объ немъ извѣстія отъ проѣзжихъ, знали, что онъ живъ и здоровъ; не удивлялись; одна Вероника только не понимала, какъ онъ забылъ ее, и рѣшилась написать письмо. Нечего дѣлать: я усѣлся за письменный столъ моего отца; она продиктовала съ полнымъ простодушіемъ свою жалобу; я написалъ.

— «Припиши, Лоренцо, что нибудь отъ тебя и отъ маменьки!» сказала Вероника.

— «Отъ себя...» отвѣчалъ я: «не чего, а отъ маменьки...»

«Я не кончилъ что хотѣлъ сказать, сложилъ письмо, обвязалъ снуркомъ, привѣсилъ печать и пошелъ въ трактиръ, надѣясь тамъ встрѣтить кого нибудь, ѣдущаго въ Парму... На дорогѣ меня остановили мулы: они медленно передвигались по пармской дорогѣ. На двухъ мулахъ тащили домашнюю рухлядь, корзинки и коробки, на третьемъ сидѣла женщина и разговаривала съ двумя всадниками.

— «Я боюсь только бури...» говорила дама.

— «О, будьте спокойны!» отвѣчалъ кавалеръ: «Небо должно покровительствовать своимъ любимицамъ...»

— «Поэзія!» сказала дама: «Если встрѣтимъ бурю, поэзія насъ не укроетъ.»

— «Такъ укроютъ австеріи, которыми усыпана вся дорога до самой Пармы.»

— «Пармы!» невольно вскрикнулъ я, и дама и кавалеръ оглянулись.

«Великій Боже! То была — она!»

—

И старикъ опять вскочилъ съ тюфяка, на который было-усѣлся; опять глаза запылали и забѣгали; вѣчный спутникъ его безумія, злобная улыбка, исковеркала уста, и голосъ сталъ страшно силенъ и звонокъ.

«Воспоминанія!..» почти кричалъ старикъ: «зеркала безмѣрныя: они ловятъ предметы; событія вопьются въ ужасное стекло: гдѣ сила, которая вырветъ ихъ оттуда? Или вы не видите ея? О, какъ прекрасны, какъ обворожительны голубые глаза! Вы ихъ видѣли на безсмертныхъ картинахъ, а я, несчастный, на маскѣ злобной фуріи!... И что ваши картины? — тлѣнъ, прахъ, каррикатура, насмѣшка на природу!.. Небо въ озерѣ — обманъ; Небо въ глазахъ женщины — обманъ!.. И я обманулся!»

«Это *она*! Первый подмалевокъ не оставлялъ сомнѣнія, что это была *она*. Онъ писалъ съ нея портретъ; для того нужна была тайна: можетъ

быть, она хотѣла подарить его счастливому мужу, и Антоніо стоилъ и довѣренности и чести положить на полотно черты небеснаго лица. А наша глупая ревность все испортила; и она, невинный ангелъ, невольно бросила пламя раздора въ счастливое семейство! Можетъ-ли здой умыселъ гнѣздиться подъ такимъ прекраснымъ челомъ?.. Я готовъ былъ упасть къ ногамъ ея и просить прощенія за все, за все! Какой-то стыдъ меня удерживалъ; я не пускалъ на глаза мои слезъ, а онѣ толпились въ груди, запылавшей новымъ и непонятнымъ чувствомъ...

— «Что ему надобно?» спросила дама съ примѣтнымъ волненіемъ.

— «Что мнѣ надобно?..» Я покраснѣлъ, сердце забилось сильнѣе; я не могъ отвѣчать.

— «Что тебѣ надобно?» повторилъ съ презрѣніемъ кавалеръ. И я испыталъ еще одно новое чувству — *ревность*. Глаза мои бросили презрительный взглядъ на гордеца, и снова обратились къ ней, и снова упали въ землю.

— «Я сынъ Антоніо Алдегри!» сказалъ я тихо, но внятно. Гляжу — она покраснѣла хуже моего. О, блаженство! Гордость обольстила меня, и я принялъ ея замѣшательство счастливымъ признакомъ въ собственную пользу.

— «Да!» повторилъ я съ большею твердостью: «Я сынъ Антоніо Аллегри.»

— «Такъ что же?» спросила дама почти со страхомъ.

— «Онъ въ Пармѣ, вы ѣдете туда. Возьмите письмо отъ его дочери: намъ не съ кѣмъ послать.»

— «Вотъ сумасшедшій!» закричалъ кавалеръ: «Что мы — разсыльные гонцы, что ли?»

«Дама была снисходительнѣе: стала веселѣе, смотрѣла на меня съ видимымъ удовольствіемъ, и тихо сказала кавалеру: «Перестаньте, синьоръ! Возьмите письмо!» А потомъ, обратясь ко мнѣ, съ особенною лаской сказала: «Съ удовольствіемъ исполню твою просьбу, а будешь любить меня?»

«Отъ этого страннаго, неожиданнаго вопроса Божій міръ перевернулся въ глазахъ моихъ. Я медлилъ; дама съ нѣжностью прибавила: «Что же, Лоренцо, будешь любить меня, — не теперь, а *послѣ, когда нибудь, въ свое время?..*»

«Она знаетъ мое имя!.. Смотритъ на меня съ нѣжностью!..

— «О, вѣчно, вѣчно!» закричалъ я. Дама протянула руку, я облилъ эту прелестную руку поцѣлуями и слезами.

— «Прости!» сказала она тихо: «Не забывай обѣщанія!»

«Мулы тронулись, рука выскользнула изъ моихъ рукъ, и пыль насъ разлучила.

«Прибѣжавъ домой, счастливый ребенокъ, я предался воспоминаніямъ. На той же самой доскѣ, гдѣ рисовалъ портретъ ея Антоніо, я началъ карандашемъ припоминать черты прелестной женщины; недовольный, я хотѣлъ спрятать въ столъ мою неудачу и на свободѣ употребить всѣ усилія къ болѣе успѣшному ея изображенію. Подымаю

доску... о, счастіе!.. нахожу тотъ же подмалевокъ; работа недалеко подвинулась. Въ тотъ же день я снялъ копію; ночь не спалъ, а со свѣтомъ я перевелъ ее на мѣдную доску, приготовленную для отца, желая увѣковѣчить образъ красоты истинно восхитительной. Я представилъ ее въ видѣ богини изобилія съ золотымъ рогомъ, изъ котораго сыпались только цвѣты — эмблемы пріятныхъ надеждъ, любовныхъ чувствъ и восторговъ. Мнѣ тогда былъ шестнадцатый годъ въ исходѣ; съ утра до ночи трудился я, и съ небольшимъ въ мѣсяцъ картина была готова. Какъ теперь помню, я окончилъ ее къ самому дню моего рожденія. Матушка была въ восхищеніи и отъ красоты моей богини, и отъ исполненія; она посылала ко всѣмъ знакомымъ и просила прійти полюбоваться успѣхами шестнадцати-лѣтняго живописца. Между многими пришелъ и нашъ деревенскій химикъ, отецъ Лука, единственный врачь во всей Корреджіо. Онъ поглядѣлъ на меня съ изумленіемъ.

— «Гдѣ ты могъ ее видѣть?» спросилъ онъ, и я затрепеталъ.

— «Во снѣ...» отвѣчалъ я робко.

— «Страшное сходство!»

— «Съ кѣмъ, отецъ Лука?

— «Съ синьорою Анджеликой Валеріани, которая пріѣзжала къ намъ въ Корреджіо изъ Пармы, жила подъ этимъ именемъ болѣе года въ женскомъ монастырѣ, и когда сестры замѣтили кое-что, чего и скрыть нельзя, просили ее оставить монастырь. По долгу, я посѣщалъ Анджелику,

уговаривалъ ее переѣхать въ домъ обывательскій: она долго не соглашалась: наконецъ, не болѣе какъ съ мѣсяцъ тому, уѣхала въ Парму съ какимъ-то рыцаремъ...»

«Я трепеталъ всѣмъ тѣломъ, и къ вечеру явился ко мнѣ отецъ Лука, но уже не какъ поощритель и судья моего художества, а съ банками и склянками. Горячка моя приписана была напряженному прилежанію. Усердіе матери, болѣе нежели познанія отца Луки, скоро возстановило мое здоровье. Въ продолженіе этого времени, Вероника получила отъ Антоніо письмо, исполненное нѣжности и любви; матери — поклонъ и замѣчанія насчетъ хозяйской бережливости, потому что *за всѣ скромныя работы*, которыя онъ долженъ исполнить въ Пармѣ, *онъ получитъ самую ничтожную сумму;* мнѣ — сухія наставленія и неотходныя попеченія о матери.

«Всѣ обстоятельства смутно перемѣшались въ головѣ моей, и съ тѣхъ поръ въ жизни я не зналъ покоя, черная тоска оковала сердце; голова постоянно была какъ-будто стянута горячимъ обручемъ; часто, безъ всякой причины, въ душѣ моей вспыхивали странныя, звѣрскія желанія, которыхъ я черезъ минуту не могъ ни понять, ни опредѣлить. Когда я говорилъ, то оканчивалъ слезами; послѣднія мои рѣчи почти всегда были слезы. Между тѣмъ еще пролетѣли три четыре мѣсяца; деньги приближались къ исходу; изъ Пармы ни слова! Вероникѣ сыскался женихъ, по нашему, очень хорошій. На общемъ совѣтѣ рѣшили: идти

мнѣ въ Парму и объясниться съ отцомъ по всѣмъ статьямъ. Такимъ образомъ исполнялось и тайное мое желаніе: отыскать Анджелину, узнать кто она, какія причины заставили ее требовать моей любви, кто сказалъ ей мое имя, и то, и другое... О, много, много вопросовъ! Каждое мгновеніе мелкали новые; и рано утромъ, простясь съ домашними, я отправился пѣшкомъ въ Парму.

«Я пришелъ туда на разсвѣтѣ. Городъ былъ наполненъ папскими солдатами: они уже не спали, собираясь ко дворцу Висконти. Жители отъ шума военнаго также проснулись, и спѣшили туда-же; тамъ ожидали папу, новаго завоевателя и полнаго властителя Пармы. Невольно я увлекся за толпою, и, по счастливому случаю, очутился у самой цѣпи папскихъ стрѣлковъ, не пускавшимъ народъ на довольно обширную площадь передъ дворцомъ Висконти. Я не могъ опомниться отъ удивленія: наша Корреджіо вся помѣстилась бы, казалось мнѣ, въ этотъ огромный дворецъ; широкія окна, наполненныя зрительницами въ богатѣйшихъ нарядахъ, казались мнѣ въѣздами въ пространныя улицы; глядя на порталъ дворца, я считалъ Храмъ Петра Римскаго сказкою, или по-крайней-мѣрѣ незначительно больше пармскаго дворца. Паперть была покрыта толпою людей въ богатѣйшихъ костюмахъ, какихъ до того я видалъ только на картинкахъ. Блескъ золота, серебра и оружія ослѣплялъ меня. Кардинальскіе слуги бѣгали взадъ и впередъ, и пока я не зналъ кто они, считалъ ихъ князьями, дѣтьми Эсте, Висконти, Фарнезе, которыхъ

имена повторялись такъ часто и у насъ, въ Корреджіо. Наконецъ колокольный звонъ и далекіе крики возвѣстили прибытіе святѣйшаго отца, толпа заволновалась, но я не могъ ничего видѣть, и глаза мои невольно смотрѣли на паперть, гдѣ также произошло волненіе; расчистилась улица отъ середины ступенекъ къ главнымъ дверямъ, и по красному сукну спустился со свитою кардиналъ-правитель. Гляжу, и — не вѣрю глазамъ своимъ! Въ богатомъ, шитомъ золотомъ кафтанѣ, держа въ рукахъ шляпу, спускался въ числѣ спутниковъ кардинала и Антоніо, отецъ мой. Не успѣлъ я увѣриться, во снѣ или на яву все это вижу, какъ появился рядъ тяжелыхъ всадниковъ и закрылъ паперть; проѣхалъ, — опять вижу отца, опять закрыло его огромное распятіе съ длиннымъ рядомъ новыхъ всадниковъ, и такъ было нѣсколько разъ; наконецъ, появилась толпа ослѣпительнаго богатства витязей; вокругъ меня все оглушительно загремѣло и пало на колѣни. Стрѣлокъ, видя, что я стою, пригнулъ меня, сказавъ: «Святѣйшій отецъ!» и я распростерся. Когда я всталъ, на паперти послѣдніе уходили въ широкія двери; изъ нихъ одинъ, остановясь на ступенькахъ, глядѣлъ въ окна дворца; оттуда махнули ему платкомъ, и онъ поспѣшилъ во дворецъ. Смотрю, приглядываюсь: это платокъ Анджелики, роскошно одѣтой; она продолжала смотрѣть на расходившійся народъ; кто-то подошелъ къ ней, и оба исчезли.»

Господи! въ одинъ день и — столько ощущеній! Обручъ мой горѣлъ; черная тоска заговo-

рила; мнѣ стало страшно, тяжело! Стрѣлки разошлись, я бросился во дворецъ, но алебарды скрестились и грубое: «нельзя!» образумило меня. —

— «Да здѣсь мой отецъ, Антоніо Аллегри!»

— «Ступай, ступай съ Богомъ! Знаемъ мы васъ! Съ просьбой или съ доносомъ. Не приказано. Ступай прочь!»

— «Да я сынъ его...»

— «Уходи же, а не то...» И алебарда поднялась надъ головою моей. Нечего дѣлать! Я сошелъ, прислонился къ платану и ждалъ, пока выйдетъ Антоніо.»

Черезъ нѣсколько секундъ изъ дворца посыпались нарядныя дамы и кавалеры. — Теперь я ее увижу, подумалъ я, пойду слѣдомъ, и все объяснится. — Но, къ моему огорченію, я видѣлъ каждаго и каждую; Антоніо и Анджелики я не видалъ. Двери дворца съ визгомъ закрылись; алебардщики ушли въ малыя боковыя двери, изъ которыхъ по-временамъ выходили кардинальскіе слуги и, стоя на паперти, тихо разговаривали; я рѣшился подойти къ нимъ, объяснилъ кого мнѣ нужно видѣть, и къ удивленію узналъ, что Корреджіо живетъ за городомъ, *у сестры*, и давно уже туда уѣхалъ, вмѣстѣ съ нею, на кардинальскихъ лошадяхъ.

— «У какой сестры?» запинаясь, спросилъ я.

— «У вдовы Анджелики Валеріани...»

Холодный потъ пробѣжалъ по лицу моему, руки и ноги окостенѣли; я присѣлъ на ступенькахъ.

— «Что съ вами?» спросилъ кардинальскій слуга.»

— «Ничего. Усталъ. Я пришелъ пѣшкомъ изъ Корреджіо. Но скажите мнѣ подробно, гдѣ живетъ Антоніо?»

Мнѣ разсказали, и я съ трудомъ потащился, сквозь слезъ разспрашивая о дорогѣ у проходящихъ. Обручъ горѣлъ, черная тоска обливала сердце... Иду мимо собора. Испуганный его великолѣпіемъ, я невольно остановился передъ величественнымъ зданіемъ. Какъ будто ангелъ Господень облегчилъ мою голову и влилъ каплю небесной сладости въ горечь, наполнявшую мое сердце! Невольно переступилъ я порогъ соборный; омочилъ пальцы въ святой водѣ, и положилъ на себя знаменье св. креста... Еще стало легче. Увидавъ алтарь и распятіе Спасителя нашего, я распростерся на холодномъ помостѣ и съ молитвою, казалось, уходилъ двойной недугъ мой. Возрожденный благодатію, я не хотѣлъ разстаться съ храмомъ; усѣлся на первой скамьѣ, и обратилъ взоры мои на огромную фреску, изображавшую взятіе на небо Божіей Матери. Глаза мои разбѣжались. Еще новая благодать! Во мнѣ проснулось чувство художника, совершенно оставившее меня со времени послѣдней болѣзни; я не могъ надивиться превосходному письму, сладости колорита, граціи положенія лицъ. «Это Антоніо!» невольно сказалъ я: «Никто другой не можетъ...» И въ то же время я началъ всматриваться въ ликъ Мадонны; въ чертахъ ея узналъ я Анджелику, и съ ужасомъ бро-

сился изъ храма. Всѣ страданія мои возобновились; иду, разспрашиваю, бѣгу... Вотъ мостъ черезъ Парму... вотъ садикъ... первыя ворота... красный домъ... пріятный навѣсъ... стеклянная дверь... богато убранная комната... на скамьяхъ разбросаны золотой кафтанъ и шляпа, тѣ самые, въ которыхъ я видѣлъ его на пиперти... Гдѣ же онъ?.. Отворяю другую дверь, — никого; третію, — великій Боже! Антоніо; онъ сидитъ и пишетъ картину; остановясь на минуту, онъ обратился къ Анджеликѣ, и, съ чувствомъ глядя на ея ангельское лице, взорами, казалось, спрашивалъ: хорошо ли? Она, положивъ чернокудрую голову на плечо Антоніо, отвѣчала нѣжнымъ поцѣлуемъ; оба невольно взглянули на плетеную колыбель: тамъ лежалъ спящій младенецъ... Боже! то былъ...»

И старикъ замолчалъ.

—

«Я не зналъ...» опять началъ старикъ, послѣ минутнаго молчанія: «что мнѣ дѣлать: идти ли впередъ, или возвратиться въ Корреджіо? Мнѣ уличать отца! И въ чемъ? Вліяніе нравовъ Александра Борджіи и Медичи отразилось уже и въ Верхней Италіи, а грѣхъ считался молодечествомъ. Я убилъ бы мать извѣстіемъ о страшномъ открытіи, а люди смѣялись бы, — не надъ нимъ, а надъ нами. Въ раздумьѣ, я возвратился въ первую комнату безъ шума, упалъ на скамью и горько плакалъ. Мимо меня прошла какая-то женщина, свиданіе приближалось, и Антоніо не замедлилъ вый-

ти—неосторожный!—вмѣстѣ съ Анджеликою, держась за руки...

— «Лоренцо!» закричалъ онъ въ испугѣ.

— «Батюшка!..» И я бросился на грудь его, заливаясь слезами. Онъ обнялъ меня горячо, но потомъ отвелъ мою голову, и, съ выраженіемъ непритворной тоски, спросилъ:

— «Изъ любви-ли, несчастный сынъ, или изъ мести преслѣдуешь ты меня такъ хитро, такъ лукаво?» И не ожидая отвѣта, продолжалъ: «Такъ знай-же: она точно моя сестра, моя родная сестра, а твоя тетка!»

«Недовѣрчивость, радость, сомнѣніе, надежда, все это вдругъ поднялось въ душѣ моей.

— «Горе тебѣ...» продолжалъ Антоніо: «если въ Корреджіо кто нибудь узнаетъ, что она сестра моя! Это моя тайна. Пусть лучше подумаютъ Богъ знаетъ что, но наше родство можетъ погубить насъ всѣхъ.»

«Эти слова меня убѣдили. Я кричалъ отъ радости, бросился обнимать тетку, отца, опять тетку, и лишился чувствъ въ ея объятіяхъ. Когда я очнулся, у скамьи, на которой лежалъ я, стояли и отецъ и тетка, на рукахъ ея игралъ прелестный ребенокъ: ему было не болѣе шести мѣсяцовъ; Анджелика ласкала его, но Помпоніо не понималъ еще ничего; отецъ также безпрерывно ласкалъ его; къ нимъ присталъ и я. Антоніо нѣсколько разъ говорилъ: «Помпоніо, поцѣлуй братца!» но братецъ отворачивался, и тѣмъ въ отцѣ моемъ возбуждалъ примѣтную досаду. Между тѣмъ,

совершенно успокоенный, счастливый, я объяснилъ отцу причину моего прихода... Первая статья: *дома нѣтъ денегъ*, была принята страннымъ образомъ.

— «А я писалъ...» говорилъ Антоніо: «чтобы сохранять возможную бережливость... Монахи не платятъ... У меня ровно нѣтъ ничего...»

«При этихъ словахъ я невольно осмотрѣлся.

— «Все, что ты видишь...» продолжалъ онъ, замѣтивъ мое движеніе: «принадлежитъ сестрѣ моей; по ея милости, у меня есть насущный кусокъ хлѣба, и я могу работать для славы, ни въ чемъ не нуждаясь... Ты не можешь понять, какою благодарностью обязанъ я Анджеликѣ!.. О, безъ нея...» И онъ обнялъ сестру такъ нѣжно и съ такимъ пламеннымъ поцѣлуемъ, что она невольно покраснѣла.

«Вторая статья: *замужество Вероники*. На это не послѣдовало согласія; хотя онъ зналъ жениха съ отличной стороны, но изъ любви къ сестрѣ моей, ему жаль было или разстаться съ нею, или онъ имѣлъ другую причину: догадаться не было возможности.

«Третья статья: *немедленное возвращеніе мое въ Корреджіо*, была отвергнута единогласно и отцемъ, и Анджеликой, которая, въ первый разъ въ семейномъ совѣтѣ нашемъ, подала голосъ. Тѣмъ и кончилась наша бесѣда о дѣлахъ; начали говорить о Пармѣ и художествѣ. Отецъ изъявлялъ примѣтное удовольствіе, слушая мои раз-

сужденія; тетушка не сводила съ меня глазъ, и восхищалась вслухъ моею разсудительностію.

«Между тѣмъ подали къ столу; мы вошли въ богатую, хотя и небольшую залу, открытую на сѣверъ, безъ оконъ; арки вели подъ навѣсъ, обставленный роскошнѣйшими цвѣтами. Столъ былъ уставленъ серебряными блюдами со вкусными яствами, а въ большомъ глиняномъ сосудѣ отстаивалось «Vino Santo,» лучшее произведеніе пармской земли. Слуги всѣ были одѣты въ кардинальскую ливрею; на двухъ мраморныхъ подставкахъ у стѣны стояли двѣ мраморныя же статуи: одна, въ локоть величиною, изображала Вулкана, а другая, въ полный человѣческій ростъ, закутанную женщину. Мнѣ показалось весьма страннымъ, что такія запачканныя, бурыя фигуры могли служить украшеніемъ опрятной и прекрасно расположенной залы.

— «Зачѣмъ вы не велите вычистить этихъ уродовъ?» сказалъ я съ полнымъ простодушіемъ.

«Отецъ улыбнулся и отвѣчалъ: «Эти два урода — дороже всѣхъ моихъ картинъ. Это антики...»

— «Антики!» съ благоговѣніемъ произнесъ я, и боязливо къ нимъ приблизился. Отецъ былъ не правъ, хотя двѣ замарашки были истинно прекрасны.

— «А вотъ третій антикъ...» сказалъ Антоніо, указывая на вазу съ виномъ: «но антикъ моего произведенія; я самъ вылѣпилъ и выжегъ его по рисункамъ, присланнымъ мнѣ изъ Рима. Завидую, крѣпко завидую покойному Рафаэлю. Сколько образцевъ было у него! На его глазахъ сколько

открыто превосходныхъ произведеній древности: онъ видѣлъ, изучилъ флорентійскія собранія; въ термахъ Діоклетіана бесѣдовалъ съ искусствомъ роскошныхъ Римлянъ; на улицахъ Рима встрѣчалъ колоссы, подаренные древностью на память потомкамъ... А какіе заказы!.. И гдѣ? въ Римѣ! . Тамъ ничего не пропадетъ! святость града Апостола Петра защититъ его произведенія отъ преждевременнаго разрушенія... А я?.. Можетъ быть, я побѣдилъ Мантенью, Бегарелли, Маццуоли; но что же? Труды мои въ такихъ городахъ, гдѣ не проходитъ дня безъ битвы, и гдѣ хозяева мѣняются, какъ погода на Альпахъ! Того и гляди, что варваръ Французъ или варваръ Нѣмецъ обокрадетъ церкви, гдѣ висятъ мои произведенія, и продастъ ихъ за полцѣны еретикамъ на посмѣянье... Случалось, хотя и не со мной... Не жалуюсь; но зачѣмъ такъ безбожно льстить, ставить меня на одну доску съ Рафаэлемъ, тогда, какъ и въ искуствѣ, и въ жизни мы такъ неравны счастіемъ!

— «Ежели антики служили образцами Рафаэлю, то тѣмъ болѣе чести вамъ, что вы, безъ ихъ помощи, умѣли поставить себя на первую ступень.»

— «Именно!» сказала Анджелика, глядя на меня съ такою улыбкой, отъ которой я мгновенно поглупѣлъ и смѣшался.

«Антоніо продолжалъ спорить, но безъ горячности, какъ въ Корреджіо. Замѣтно было изъ словъ и выраженія лица, что онъ считалъ себя соперникомъ Рафаэля, но побѣжденнымъ, и все преимущество противника приписывалъ возможно-

сти Санціо изучить антики. Мы встали. Меня увѣрили, что мнѣ нуженъ отдыхъ, и помѣстили въ небольшой, но со вкусомъ убранной комнатѣ. На коврахъ набросаны были подушки, и я заснулъ сномъ сладкимъ. Проснулся. Уже было темно; но томный свѣтъ проливался по комнатѣ изъ растворенныхъ дверей; кто-то пересталъ пѣть; эхо струнъ арфы замирало въ воздухѣ. Выхожу. Въ залѣ горятъ четыре вызолоченныя лючерны; подъ навѣсомъ опять тихо заговорили струны; подхожу Анджелика одна; арфа только-что облокотилась на прекрасное плечо; пальцы медленно извлекали звуки. Луна полная, блестящая, купалась въ быстрой Пармѣ. Самъ не знаю, отъ чего на меня повѣяло небомъ, и вдругъ сдѣлалось тяжело, какъ будто печальное предчувствіе коснулось сердца.

«Анджелика примѣтно обрадовалась моему приходу, засуетилась; но мнѣ ничего не было нужно: я жаждалъ ея бесѣды глазъ на глазъ; я желалъ не вѣрить нашему родству, гонялъ эту мысль изъ вѣрной памяти; готовъ былъ плакать, —словомъ: *я любилъ*... Сидя возлѣ нея, безумецъ, я не сводилъ глазъ съ очаровательной женщины. Разговоръ сдѣлался скоро полонъ страсти, искренности, дружбы; намеки сыпались градомъ, но я толковалъ ихъ въ свою пользу, и каждый изъ нихъ подавалъ только поводъ къ новымъ увѣреніямъ, къ новымъ клятвамъ; и когда я совершенно связалъ себя вѣчными обѣтами *любить одну Анджелику!* о, какъ искусно напоминала она *ужасное родство* и вмѣстѣ требовала вѣрности!

«Взаимности, взаимности!» почти закричалъ я.— «Тише!» сказала она: «Антоніо возвратился.» Жаркій поцѣлуй сгорѣлъ на устахъ моихъ, и Анджелика скрылась...

Антоніо возвратился въ веселомъ, болѣе, въ восторженномъ расположеніи духа; прославлялъ умъ папы, вкусъ, познанія. Святѣйшій отецъ пригласилъ его въ Римъ; онъ далъ слово, но когда окончитъ работы въ Пармѣ. Вечеръ промелькнулъ незамѣтно. Всѣ трое были довольны, счастливы, простились и разошлись друзьями, — а проснулись?..

Меня разбудилъ Антоніо. Послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, онъ сказалъ мнѣ довольно ласково: «Послушай, Лоренцо, я всю ночь думалъ о нашихъ семейственныхъ дѣлахъ, и много придумалъ, кажется, недурно. Какъ ты полагаешь: во-первыхъ, обращеніе со мною святѣйшаго отца сильно подѣйствовало на моихъ монаховъ: они прислали мнѣ довольно денегъ, чтобы обезпечить ваше существованіе на годъ, пока я кончу пармскія работы, и дать приличное приданое Вероникѣ; какъ ни жаль, а надобно-жъ ее пристроить. Чѣмъ позже, тѣмъ хуже. Посылаю ей мое благословеніе. Ты все приготовь къ свадьбѣ, а я, если Богъ позволитъ, пріѣду къ вамъ раздѣлить общую радость; но если папа и дѣла не отпустятъ, не откладывай: постъ не за горами, а молодыхъ людей зачѣмъ мучить!.. Такъ какъ времени мало, то я рѣшилъ ѣхать тебѣ сегодня-же, до вечера я достану тебѣ отъ кардинала-правителя пропускъ, ко-

торый охранитъ тебя не только отъ военныхъ шалуновъ, но и отъ самыхъ разбойниковъ. Мулы и слуга будутъ готовы передъ закатомъ солнца. Одѣвайся, закуси и, если хочешь, я велю осѣдлать лошадь; погляди на Парму, а я поспѣшу къ отцу кардиналу!..» И ушелъ.

«Голова моя кружилась; я ничего не понималъ. Вчера все — не такъ; сегодня — на все согласенъ, все обдумалъ, все предусмотрѣлъ. Меня радовало счастіе сестры; но оставить Анджелику въ самомъ началѣ нашей любви! Не повиноваться — значитъ измѣнить тайнѣ, да и возможно ли?.. Исполнить его приказаніе,—умереть; гдѣ надежды увидѣть снова Анджелику? Она не можетъ вернуться въ Корреджіо; меня не пустятъ въ Парму... Въ раздумьѣ сидѣлъ я на подушкахъ, облокотивъ голову на руки; на шеѣ моей висѣло нѣсколько миніатюрныхъ медальоновъ — вотъ они! — съ изображеніями святыхъ, и одинъ руки самого Корреджіо, съ портретомъ матери. Тихо качались медальоны, и глаза невольно съ ними встрѣтились... Молитва и Марія представились моему сердцу съ какимъ-то упрекомъ. Я поцѣловалъ образъ матери, перекрестился и — готовъ былъ идти на край свѣта для ея спокойствія. «Антоніо пріѣдетъ въ Корреджіо, а я въ Парму: пора и себя чѣмъ-нибудь прославить, и тогда...» Такъ мечталъ я, и поспѣшилъ одѣться и еще разъ наединѣ побесѣдовать съ Анджеликой. Она давно меня ожидала за завтракомъ. Видъ ея былъ разстроенъ, лице блѣдно, на глазахъ признаки слезъ.

— «Что это значитъ?»

— «Ахъ, Лоренцо! Я не знаю, что съ нимъ сдѣлалось! Онъ вдругъ перемѣнилъ всѣ свои намѣренія .. Боюсь, чтобъ онъ...» Она поглядѣла подъ навѣсъ, гдѣ еще стояла арфа, и покраснѣла. «Признаться ли тебѣ, Лоренцо? Онъ ненавидитъ Маріо. Удивительно! Всѣ въ Корреджіо не могли нахвалиться красотою и ангельскимъ характеромъ этой женщины; а онъ...« Я радъ...» говорилъ онъ сегодня: «вырвать Веронику изъ этихъ рукъ. Жаль мнѣ Лоренцо; но что скажутъ люди!..» Напрасно я умоляла хоть на три дня отправиться въ Корреджіо самому, устроить дѣла, сыграть свадьбу и возвратиться къ работамъ... И слышать не хочетъ! Напрасно я уговаривала его оставить тебя,.. Но я не могла...» продолжала она, потупивъ глаза: «настаивать...»

— «Милая Аджела!» воскликнулъ я, и хотѣлъ броситься къ ея ногамъ. Она отъ испуга уронила оловянную тарелку, и вошла нянька съ Помпоніо. Разговоръ продолжался намеками, но надобно было Эдипа для ихъ разгадки. Антоніо возвратился съ пропускомъ. Разговаривали о пустякахъ, отобѣдали; солнце упало; слуга подвелъ двухъ муловъ, увязали мѣшки съ деньгами, помолились предъ небольшимъ распятіемъ; отецъ благословилъ меня, далъ нужныя бумаги, поцѣловалъ. Тетушка благословила и поцѣловала въ чело, и мы уѣхали.

«Безъ случая мы доѣхали до Корреджіо. Въ домѣ всѣ обрадовались моему пріѣзду, кромѣ матери. Грустно приняла она деньги; еще стала пе-

чальнѣе, когда услыхала, что Антоніо едва ли будетъ на сватьбу; но когда я, связанный приказаніями отца и клятвами, данными Анджеликѣ, лгалъ о житьѣ-бытьѣ Антоніо въ Пармѣ, кротчайшая изъ женщинъ не выдержала, и, безъ слезъ, но съ выраженіемъ глубочайшей горести, сказала:

— «Перестань, Лоренцо! Зачѣмъ лгать? Я тебя не спрашивала объ этомъ, не желая вводить въ грѣхъ. Я все знаю.» Я смутился и бормоталъ несвязныя слова, но Марія съ кротостію повторила: «Перестань! И я не безъ друзей, и у меня есть тайные братья.»

«Эти слова навели на меня паническій страхъ. Я не зналъ куда дѣваться.

— «Успокойся Лоренцо. Ты добрый сынъ, и я скоро избавлю васъ всѣхъ отъ необходимости притворяться.

«Слезы брызнули изъ глазъ моихъ.

— «Матушка!» закричалъ я.

— «Молчи, Лоренцо! Я тебя ни о чемъ не спрашиваю. *Умѣй любить доброе имя твоего отца!*

«Она ушла. Вероника и женихъ допытывались; я извернулся, и обратилъ разговоръ на свадьбу.

«Приготовленія къ брачному торжеству сдѣланы были съ необыкновенною скоростью и ловкостью. Все было готово. Ждали только отца,— онъ не пріѣзжалъ; наступилъ послѣдній день, — онъ не пріѣзжалъ, и Вероника обвѣнчалась съ достойнымъ Подро. Всѣ были недовольны. Рано разбрелись со свадебнаго пира. Я едва довелъ матушку до дома: она приписывала слабость свою

усталости отъ свадебныхъ хлопотъ; вошла съ моею помощью въ столовую, остановилась почти на томъ же мѣстѣ, гдѣ, за нѣсколько лѣтъ тому, упала безъ чувствъ; выпрямилась: тѣ же взоры, тѣ же волненіе груди; протянула руку и пальцемъ указала въ пустой воздухъ.

— «Что, матушка?» спросилъ я.

«Отвѣта не было: голова ея уперлась въ грудь... Маріи не стало!...

«Слезы, гдѣ вы! А сколько ихъ было тогда! Проклятіе тѣснилось въ груди моей, но смѣлъ ли я произнесть его противъ Антоніо? Кого не столкнутъ страсти съ пути долга и добродѣтели? И что наша добродѣтель, если для чужой женщины можно погубить жену и дѣтей?... Необходимая честность! невольная вѣрность! вы не добродѣтели, — вы растаете, непремѣнно растаете отъ страстнаго поцѣлуя, если васъ не сожжетъ блескъ червонца!

«Чужіе люди похоронили Марію; — я не могъ. Отецъ Лука увѣдомилъ отца о ея кончинѣ и моей болѣзни;—я не могъ. Веронику обманули и увезли въ Модену... Прошло семь дней послѣ погребенія Маріи; я возвращался съ ея могилы, усыпавъ ее свѣжими цвѣтами, по обычаю. Подхожу: у нашего крыльца множество муловъ; ихъ развьючиваютъ, снимаютъ драгоцѣнные ковры, изъ возовъ тащатъ ящики; шумъ, хлопотня.

— «Это онъ!» подумалъ я, и хотѣлъ уйти въ храмъ Божій и приготовиться къ тяжелому свида-

нію; но знакомый голосъ раздался съ крыльца и обманулъ меня въ послѣдній разъ.

— «Лоренцо!»

— «Анджелика!» И я уже плакалъ въ ея объятіяхъ.

— «Лоренцо, другъ мой, сынъ мой! Ты лишился обожаемой матери, но я постараюсь *замѣнить ее*! Счастіе моего *мужа* и ваше отнынѣ...»

«Она не успѣла договорить, вдругъ я понялъ все; въ мгновеніе я сообразилъ всю мою жизнь, всему отыскалъ разгадку, — въ одно мгновеніе! Обручь обвился вокругъ головы моей: черная тоска проснулась въ сердцѣ въ одно мгновеніе! — все это въ одно мгновеніе!... Слуга проносилъ въ это время оружія отца моего: я схватилъ какой-то ножъ, и бросился на Анджелику; она — въ столовую, съ визгомъ и крикомъ. У страшнаго стола, у мѣста смерти моей матери, Антоніо остановилъ меня.

— «Куда ты?» закричалъ онъ.

— «Убить ее!»

— «Она твоя мать!»

— «Убійца моей матери!»

— «Проклятіе, непокорный сынъ!» закричалъ онъ торжественно.

«Ножъ выпалъ изъ рукъ моихъ. Я подошелъ къ Антоніо бодро, съ какимъ-то шутовскимъ величіемъ; я чувствовалъ, какъ у меня странно забѣгали глаза, какъ уста искосила злобная улыбка; обручъ затянулъ голову такъ, что мнѣ казалось, будто всѣ мозги мои переворачиваются, и я схожу

съ ума. Не смотря на всѣ муки, я старался казаться спокойнымъ, и съ гордостью произнесъ.

— «Принимаю ваше проклятіе, любезный родитель! Благодарю васъ: вы обманули меня — и я палъ въ грѣхъ; вы прокляли меня — и спасли отъ смертоубійства. Я цѣловалъ ее, какъ любовницу; хотѣлъ убить, какъ невѣрную! Вотъ все, чѣмъ я заслужилъ ваше проклятіе; но я принимаю его. Прощайте! О послѣдствіяхъ не безпокойтесь! Матушка, которую вы, съ вашею женой, такъ искусно убили, приказала мнѣ: *Умѣй любить доброе имя твоего отца.* Я исполню завѣтъ матери. Лоренцо Аллегри болѣе не существуетъ: живетъ нищій, въ честь вашу, *Антоніо;* и долго будетъ жить, и никогда не измѣнитъ вашимъ тайнамъ. A Dio!»

— «Ловите его! держите!» раздалось позади меня. Но двое дюжихъ слугъ полетѣли отъ рукъ моихъ съ крыльца. Я больше не оглядывался. Прожилъ многое множество лѣтъ; видѣлъ нѣсколько тысячь городовъ, нѣсколько разъ умиралъ, воскресалъ, сражался, взялъ Римъ, два раза былъ на родинѣ: разъ для погребенія родителя, другой разъ для погребенія бѣднаго брата Помпоніо и двухъ его сестеръ; но никогда не измѣнилъ тайнѣ — *нищій Антоніо!...*

—

Послѣ краткаго молчанія, старикъ повернулся на тюфякѣ, и казалось, хотѣлъ заснуть. Видъ его былъ совершенно покоенъ и доволенъ.

— «Послушайте, Лоренцо!» сказалъ графъ: «не

хотите ли вспомнить старину и посмотрѣть на небольшое произведеніе руки Антоніо Аллегри, вашего родителя. Оно со мною....

Старикъ вскочилъ и закричалъ: «Что я слышалъ? Не обманываютъ ли уши мои?.. Такъ я вамъ сказалъ, кто я, кто мой родитель, его тайны?..

— «Успокойтесь, Лоренцо!» отвѣчалъ графъ: «Онѣ останутся въ тайнѣ: я не измѣню вамъ, Лоренцо!»

— «Боже мой, Боже!» воскликнулъ старикъ, всплеснувъ руками, и бросился вонъ изъ комнаты. Не успѣлъ графъ опомниться, какъ нищій Антоніо бѣжалъ съ пригорка на пригорокъ, размахивая руками. Напрасно Кастанеи приказалъ его ловить; пока слуги собрались, онъ уже былъ на высокой скалѣ и бросился въ озеро. Вода всплеснула высокимъ фонтаномъ, и снова улеглась недвижнымъ зеркаломъ.

КАПУСТИНЪ.

МОСКОВСКІЙ КУПЕЦЪ.

Историческій разсказъ.

I.

Пою несчастіе Капустина, московскаго купца, происшедшее отъ родоначальницы его, въ прямой линіи, огородной капусты, продукта вполнѣ извѣстнаго у насъ на сѣверѣ; продукта, который, по важности своей, можетъ смѣло поспорить съ картофелемъ, этимъ американскимъ дивомъ, генеральною пищею многихъ милліоновъ.—Но еще не наступило время капусты; она хранилась въ паникахъ, и то не вездѣ: потому что на дворѣ стоялъ іюнь, и вся Москва кушала спаржу и зеленые щти, для чего, какъ извѣстно, капусты ненужно, а достаточно разной мелкопомѣстной травы, которая, по общему закону всего земнаго, сначала обращается въ снѣдь человѣку, а потомъ скотинѣ. И такъ Москва кушала зеленые щти; на столѣ, у Гаврилы Андреевича Безъименнаго, московскаго купца, кипѣли зеленые щти, съ яйцами и свинымъ саломъ, и разливали пригласительный запахъ по

всѣмъ комнатамъ. Гаврило Андреевичъ сѣлъ за столъ съ двумя прикащиками: миса штей и коровай хлѣба исчезли. Гаврило Андреевичъ молча указалъ на пустую посудину; прикащикъ отправился съ нею на кухню, и воротился въ рукахъ со штями, а подъ мышкой со вторымъ короваемъ хлѣба; работа пошла потише; и рѣчамъ нашелся просторъ; вотъ Гаврило Андреевичъ и спрашиваетъ у прикащика:

— «А что, былъ ты, Лукьянычъ, у сосѣда?»

— «Былъ.»

— «А чтоже онъ говоритъ?»

— «Самъ зайдетъ послѣ обѣда...»

— «Такъ вѣрно и должокъ занесетъ. Сто рублей нынче деньга; какъ пошла война со Шведомъ, стало такъ мало денегъ; совсѣмъ барышей нѣтъ; торговля охромѣла. Да Богъ съ нимъ, онъ не богатый человѣкъ; торгъ у него дрянной; на бакаліи не далеко уйдетъ; только и проку, что отцовскій товаръ; и сосѣдъ Андрей Никитичъ самъ это смекнулъ; къ Евдокиму Филипычу присталъ; сталъ по его дѣламъ ходить... Всѣмъ богатъ Евдокимъ Филипычъ...» прибавилъ Безъименный со вздохомъ: «всѣмъ, всѣмъ: и жена есть и дочь...» Безъименный задумался...

— «Вотъ, Гаврило Андреевичъ, тебѣ невѣста!» сказалъ Лукьянычъ: «Что вдовцемъ жить. Старости нѣтъ, до пятаго десятка, чай пяти, али шести не хватаетъ...»

— «Охъ охъ, охъ, Лукьянычъ, ужъ не говори! Вотъ на самый Ивановъ день пятидесятницу празд-

новать придется. Да не въ лѣтахъ сила, а въ силѣ лѣтъ. Я и съ Андреемъ Никитичемъ, даромъ что молодъ, а въ иномъ дѣлѣ, потягаюсь...»

— «Отъ того-то я и думаю, и говорятъ про тебя, что ты тягаться любишь...

— «Я, Лукьянычъ? Я? Боже меня оборони отъ тяжбы: да что ты будешь дѣлать. Вотъ намѣдни пришелъ въ лавку покупщикъ, купилъ на грошъ, а выходя шубой стулъ задѣлъ, а на томъ стулѣ парча лежала. «Заплати!»—Говоритъ, что ей сдѣлалось, вѣдь не запачкалась? — «Малоли чего, не запачкалась, могла запачкаться. Довольно что на полу лежала. Кто ее купитъ?» — Вѣдь я его не обидѣлъ, парчу ему отдалъ, а только деньги съ него взыскать, взыскалъ, что по расчету приходилось. Вѣдь это все равно, что товаръ продалъ. Какая же тутъ тяжба?»

— «Да за проторы и убытки...»

— «Такъ то-то же, за проторы и убытки! Экая глупая голова ты, Лукьянычъ! Что же я, изъ своего кармана, что ли, долженъ каждую недѣлю судъ кормить, да взятки давать?»

— «Да я что же говорю, Гаврило Андреичъ?»

— «То-то же, договаривай впередъ! Вотъ, прикладно, у Андрея Никитича сколько времени сто рублей лежитъ. Вотъ уже и мѣсяцъ прошелъ, какъ срокъ минулъ, сегодня только послалъ ему напомнить, и пожалуй еще на мѣсяцъ отстрочку дамъ, лишь бы умнъ былъ.... Ну-ка, Лукьянычъ, чай мы и третью мису повершимъ; я сегодня больно на судѣ проголодался...»

— «А ты былъ на судѣ сегодня?

— «Да въ какіе же дни я на судѣ не бываю? Мало ли у насъ дѣлъ? Сегодня билъ челомъ на сосѣда, что въ ряду, на Оконникова: всю дорогу загородилъ старою рухлядью; я ему говорю: опростай, сосѣдъ, дорогу; онъ въ отвѣтъ: повремени маленько, у меня сегодня изъ лавки что ни есть не нужное выносятъ. Ну, я спустилъ часокъ; не убираютъ, а покупателямъ проходить негдѣ, они все мою лавку и обходятъ. Я ему опять по дружески: да убери пожалуйста хламъ ... А онъ: да чего ты присталъ? Видишь убираютъ... Тутъ я понялъ, что онъ изъ зависти запрудилъ дорогу, я и пошелъ въ судъ и билъ челомъ на него, и показалъ сколько покупателей мимо прошло, и сколько оттого причинилось мнѣ убытка. Заплатитъ, сосѣдушка, заплатитъ; проголодался я; да ужъ за то власть покормилъ наличными. Все будетъ по нашему...»

— «Да ужъ какъ и не быть по нашему? Вотъ поднялось бы купечество, когда бы тебя, Гаврило Андреевичъ, въ новый магистратъ бурмистромъ...»

— «Въ главной, что ли? Нѣтъ, братъ, остраго разума боятся; а ужъ такой бы домъ затѣялъ: въ годъ бы палаты до самаго неба построилъ. Ну, да и эти не куда. Хоть на трехъ женахъ женись; будетъ гдѣ помѣститься! Надо, Лукьянычъ, затворы къ окнамъ заказать. Пора хоромы кончить; тутъ и однимъ намъ тѣсно.»

— «Да, ужъ заказаны и чай готовы; вотъ сто

рублевъ пошли къ Сусолину, онъ и принесетъ.... И я видѣлъ, знатная работа....»

— «Ну, такъ отнеси же, гляди, Лукьянычъ, завтра же сто рублевъ, и дѣлу конецъ. Новоселье затѣемъ; позовемъ Евдокима Филипыча; а онъ и дочкѣ разскажетъ, какой я домъ для жены приготовилъ. Онъ тотчасъ смекнетъ на что я мѣчу; вотъ тогда свахъ и засылай; вся роденька сговорчивѣе будетъ. . Андрей Никитичъ идетъ! Андрей Никитичъ идетъ! Доѣдайте, а ужъ мнѣ не до ѣды. Я его хочу въ стряпчіе взять, такъ приласкать надо...»

Московскій купеческій сынъ Андрей Никитичъ Ручкинъ, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати пяти, ужъ никакъ не больше, мелочной торговецъ бакалейными товарами, по милости хорошаго общества, получилъ на то время прекрасное воспитаніе; выросъ въ домѣ и при дѣлахъ Евдокима Филиповича Сергалова, первостатейнаго московскаго купца, у котораго были и нѣмецкіе товары и нѣмецкіе прикащики. Отъ нихъ Андрюша какой то нѣмецкій языкъ перенялъ; умѣлъ на обоихъ, и на своемъ и на чужомъ языкѣ, писать, читать и даже говорить, и оттого въ самое короткое время сдѣлался правою рукою своего хозяина.

Сергаловъ, въ угодность Государю и ради нѣмецкихъ торговъ своихъ, уничтожилъ свою бороду и длиннополое платье; нарядилъ по европейски дочь и сына, которыхъ и старался воспитать въ новыхъ обычаяхъ; смѣтливый прикащикъ перенималъ все на лету и перенялъ между прочимъ у европейцевъ

самый лучшій обычай: любить женщину.—А такъ какъ на первый случай любить было не кого, или по какимъ ни есть другимъ причинамъ, полюбилъ дочь Евдокима Филипыча, Настиньку, когда ей было еще десять лѣтъ; Сергаловъ все видѣлъ, и считая любовь Андрюши не только ребячествомъ, но и средствомъ болѣе и болѣе привязать его къ своему дому, видимо одобрялъ страстный пламень Андрюши. Кошкѣ смѣхъ, а мышкѣ смерть, потому что Настинькѣ было десять лѣтъ — давно, годовъ шесть тому назадъ, и Сергаловъ сталъ задумываться, вмѣстѣ съ дочерью и Андрюшей. — На бѣду дернуло Сергалова, по нѣмецкому обычаю, праздновать совершеннолѣтіе Настасьи Евдокимовны: въ тѣ времена на Москвѣ не много было дѣвушекъ въ явкѣ; ничто не могло ихъ вытащить изъ завѣтныхъ тайниковъ, а жениховъ голодныхъ — туча. Налетѣли, какъ пчелы, молодые купчины и военные въ открытый домъ съ невѣстой; цѣлый полкъ влюбился въ Настиньку: по старшинству первый былъ — нашъ знакомецъ Безъименный.... Онъ не зналъ семейственныхъ отношеній Андрюши; ему и въ голову не могло придти, что онъ, богатый купецъ, и мелкій торговецъ глядятъ на одно и тоже солнце; онъ вѣдалъ, что Евдокимъ Филипычъ держалъ Андрюшу, какъ довѣреннаго слугу, имъ облагодѣтельствованнаго, и только.

— «Милости просимъ, сосѣдъ!» сказалъ Безъименный, когда Ручкинъ вошелъ въ комнаты: «Милости просимъ! Садись! Мы не спѣсивые. Что скажешь?»

— «Да что, батюшка Гаврило Андреевичъ, очень совѣстно.... Право, не могъ исправиться.... Вы знать изволите, во сколько мнѣ обошлись похороны покойнаго батюшки... Торгъ у меня самый дрянной; сами знаете; жалованья едва едва на сапоги и платье хватаетъ, да и того я не бралъ, чтобы вамъ заплатить; и заплачу непремѣнно, на Ильинъ день.

— «Да что ты, молодецъ, будто я тебя въ судъ тащу... Слава Богу, во ста рубляхъ большой нужды нѣтъ. Я и не посылалъ къ тебѣ за ними, да Лукьянычъ по книгамъ нашелъ, что обязательство твое уже мѣсяцъ въ прострочкѣ, такъ для порядка къ тебѣ зашелъ, чтобы самому не быть въ отвѣтѣ. А я, изволь, готовъ ждать сколько хочешь... Ну, любезный, дѣло не въ томъ... Что, Евдокимъ Филипычъ здоровъ?

— «Слава Богу!»

— «Ну, а Настасья Евдокимовна? Чай у васъ жениховъ толпа...»

— «Таки довольно...»

— «Ну, а ты чью руку держишь?..»

— «Я?»

— «Да, ты! Вѣдь я знаю, Евдокимъ Филипычъ твоими глазами глядитъ, твоими ушами слышитъ...»

— «Полноте-съ?..»

— «Да, ужъ братъ съ сосѣдомъ не чинись! Давай братъ за одно хлопотать...»

— «Покорнѣйше благодарю васъ, Гаврило Андреевичъ, я право не заслужилъ вашего...»

— «Да полно, пожалуйста! Не заслужилъ, такъ

заслужить можешь, только между женихами мою руку держи; завтра сваха заѣдетъ.»

Андрюша вспыхнулъ и сказалъ насмѣшливо:

— «Вотъ что! Экой я недогадливый; только по крайней мѣрѣ честности не измѣню... Буду держать руку. .»

— «Чью же?»

— «Свою, Гаврило Андреевичъ, свою!..»

Можно себѣ представить изумленіе Безъименнаго. Онъ вскочилъ, запыхался, будто сто верстъ пробѣжалъ, побагровѣлъ, и не зналъ, что говорить, что дѣлать.

— «Перестань шутить!» наконецъ сказалъ онъ, съ трудомъ переводя дыханіе...

— «Я не смѣю шутить съ человѣкомъ вашихъ лѣтъ и званія...»

— «Какихъ лѣтъ?.. Ты на моихъ крестинахъ не былъ...»

— «Покойный батюшка сказывалъ...»

— «Не изволь клепать на покойниковъ. Такъ ты не шутишь? На смѣхъ лѣзешь?»

— «Что дѣлать? Евдокимъ Филипычъ проститъ моей дерзости, а Настинька меня любитъ...»

— «Любитъ!.. Я-те дамъ, любитъ. Деньги подай?..»

— «Какія деньги?»

— «Что? Ты утаить хочешь? Росписка есть.»

— «Да вы изволили отстрочить...»

— «Говорятъ тебѣ, деньги подай, сегодня, сейчасъ...»

— «Повремените, Гаврило Андреевичъ!..»

— «Не хочу! Деньги сейчасъ, или въ судъ!»

— «Въ судъ! Ахъ ты скаредный ябедникъ! Подавись ты своими деньгами...»

— «Ябедникъ! Лукьянычъ! Слушай, слушай, да затверживай, мы все пропишемъ...»

— «Ахъ ты, жидъ! Вотъ тебѣ!»

Андрюша плюнулъ и ушелъ...

—

ЧЕЛОБИТНАЯ.

II.

Гаврило Андреевичъ и Лукьянычъ стояли другъ передъ другомъ, какъ Амфитріонъ и Сози. Гаврило Андреевичъ пылалъ бѣшенствомъ, Лукьянычъ улыбался и чесалъ лѣвую скулу.

— «Пиши, Лукьянычъ, челобитную, на этого недоросля.»

— «Да что, Гаврило Андреичъ, искъ плевый! Что тутъ изо ста рублей хлопотать?..»

— «Изо ста рублей! Да, поди, изъ двухъ человѣкъ до чего родъ людской размножился, а ужъ если изъ сотни многихъ тысячъ не расплодить, такъ послѣ этого ужъ и жить не стоитъ. Ты только пиши, а мы станемъ придумывать... Постой! Дайка фонарь! Зажги огарокъ и пойдемъ...»

— «Да куда-же ты днемъ со свѣчей?»

— «Да куда! Домъ подожгу, такъ и быть, крыльцо сгоритъ, и безъ того негодится, надо передѣлывать, а мы въ челобитной и пропишемъ...»

— «Эхъ, Гаврило Андреичъ, да за чѣмъ свое жечь; не равно, какъ ни есть, огонь волю возь-

метъ; по моему, такъ пускай сосѣдъ погоритъ; а мы про убытки напишемъ...»

— «Видишь, Лукьянычъ, какъ ты у меня навострился, и мнѣ такое выдумать въ пору; ну, да на котораго-же сосѣда!..»

— «Того-же, батюшка Гаврила Андреевичъ! У него сарай съ нашимъ сараемъ въ плотную; а нашъ пустой, и если, чего не приведи Боже, сгоритъ, мало-ли чего въ сараѣ нельзя насчитать...»

— «Важно! Важно! Ай да Лукьянычъ! Война, такъ война! Такъ ступай-же, поджигай, а я стану челядь собирать, будто вино хочу разливать въ бутылки. Вотъ всѣ работники и будутъ въ сборѣ про всякой случай! Ступай!»

— «Гаврила Андреевичъ, а что-же за труды пожалуешь?»

— «Какъ что? Извѣстно, какъ и всегда, десятую копѣйку...»

— «Маловато будетъ...»

— «Ахъ ты жидъ какой, Лукьянычъ, радъ случаю хозяина поприжать. Ты гляди, вѣдь это дѣло для тебя на пять сотъ рублевъ сулитъ, домъ и дворъ, и какую ни есть движимость, все оттягаемъ. Ступай Лукьянычъ! Что-бы въ вечеру пожаръ нашъ покончить, а въ ночь успѣть челобитную исправить, а завтра, пока онъ будетъ у Евдокима Филипыча, чтобы слѣдствіе покормить, объ этомъ пускай уже Ѳомичъ озаботится. Ступай!»

Пошелъ Лукьянычъ по наряду, и сарай Андрея Никитича загорѣлся; по счастію и по бѣдности Ручкина, въ томъ сараѣ ровно ничего не было.

Сарай сгорѣлъ себѣ до-чиста, да и сосѣду отъ того не легче; пограничный сарай Безъименнаго, какъ лучина, исчезъ быстро; хлопотливый вѣтеръ бросилъ головни на самыя хоромы, и только присутствіе и бдительность артельщиковъ кое-какъ предупредили бѣду. Какъ сказано, такъ и сдѣлано; къ вечеру пожаръ кончился. Гаврило Андреевичъ поужиналъ съ отличнымъ вкусомъ и самоудовольствіемъ, и запершись съ Лукьянычемъ, принялся писать челобитную.

Это было еще до указа о гербовой бумагѣ. Мудрый этотъ сборъ весьма уменьшилъ обширность дѣлъ, и такъ какъ Лукьянычъ писалъ прошеніе не на гербовой, то и не удивительно, что подъ рукой у него лежала чуть не десть писчей бумаги. Онъ зналъ обычай хозяина и важность случая, и запасся.

— «Ну-те, Гаврило Андреевичъ, что вы это призадумались, сказалъ Лукьянычъ, это на тебя не похоже. Заголовокъ давно готовъ, а челобитная и непочата...»

— «Вѣдь судъ, Лукъянычъ, не одно лице; надо такъ писать, чтобы всякому пришлось что нибудь по нраву. Ну, пиши: Купеческій сынъ, Андрей Никитинъ сынъ Ручкинъ, человѣкъ трезваго и добропорядочнаго поведенія...»

— «Да изъ чего ты его хвалишь?» спросилъ Лукьянычъ, прерывая Безъименнаго.

— «Какъ изъ чего! Больше вѣры словамъ моимъ; всякій скажетъ: вѣдь онъ не изъ злобы на него челомъ бьетъ, а изъ нужды: ты ужъ

только пиши; — «сынъ хорошихъ родителей, живших съ мною, во всякой сосѣдской любви и дружбѣ...»

— «Послушай, Гаврило Андреевичъ!»

— «Знаю, знаю что ты хочешь сказать, что покойники со мною семъ тяжбъ выдержали, что-ли; что тяжбы тѣ въ томъ-же судѣ; такъ кто-же станетъ о такой сторонности наводить справки?.. А дѣлу оно прикраса... Пиши: *но какъ покойный Никита Ручкинъ, отецъ вышерьченнаго Андрея, умеръ въ крайней бѣдности, такъ что и похоронить его было не на что, а до бѣдности той покойный дошелъ по разврату своего сына, Андрея, который есть зернщикъ, игрокъ въ тихомолку, что дознано многими прикладами...*»

— «Бога ты не боишься, Гаврило Андреевичъ; какъ-же ты вверху его хвалишь, а тутъ...»

— «Ахъ, какой ты братецъ безтолковый, то вверху, а то въ низу, на двухъ разныхъ концахъ. Судъ сводить не станетъ, и какое суду дѣло. По первымъ словамъ видно, что я бью челомъ, не по злобѣ, а по вторымъ, что я пишу со всякою откровенностію, ничего не скрываю отъ власти... Что ты тамъ написалъ?»

— «... Что дознано и доказано многими прикладами.»

— «И что свидѣтельствуютъ сущіе при явкѣ сея челобитной свидѣтели...»

— «Какіе свидѣтели?»

— «Право, ты угорѣлъ сегодня, Лукьянычъ!

Только по пустому проволочку чинишь. Какіе свидѣтели? У меня двадцать человѣкъ свидѣтелей есть, такихъ, что готовы показать, что я ни думаю. Правда, дороги нынче стали проклятые; меньше рубля не идутъ; рѣдко когда удастся за восемь, или за девять гривенъ; ну, да въ протерахъ и убыткахъ, я и этихъ расходовъ не забываю, только подъ другимъ прозвищемъ. — Ну, дальше... *Тою для и похоронить ею было не на что.* И тотъ развратникъ, зернщикъ, Андрей Никитинъ сынъ Ручкинъ, пришелъ ко мнѣ, Гаврилѣ Андрееву сыну Безъименному, что покажутъ тѣ-же свидѣтели, и занялъ у меня сто рублевъ, которые больше, изъ человѣколюбія и сосѣдней любви и дружбы къ покойному, и далъ я тому Андрею, срокомъ на шесть мѣсяцевъ, безо всякаго роста...»

— «Неужели, Гаврило Андреевичъ! Вотъ промахнулся!»

— «Не бойся, Лукьянычъ! Я ему ста рублей и не давалъ, а только семдесять, а въ росписке значится сто сполна... «Въ чемъ при тѣхъ-же свидѣтеляхъ, и выдалъ онъ, Ручкинъ, мнѣ, Безъименному, прилагаемую у сего росписку; а извѣстно всѣмъ и каждому, что я человѣкъ бѣдный, неимущій, третій годъ вдовствую, болѣнъ, ко всякимъ трудамъ не способенъ, разслабленный, а къ таковымъ всякая власть упователно сострадать имѣетъ въ намѣреніи, понеже, не изъ человѣческой гордости, а изъ страха Божія вопіетъ противу всякаго зла...»

— «Что такое, что такое?» завопилъ Лукьянычъ:

«Гляди, тутъ кажется слова есть, а никакого изъ нихъ не вытащишь толку...»

Безъименный глядѣлъ на Лукьяныча и улыбался весьма замысловато и значительно: «То-то Лукьянычъ!» сказалъ онъ: «Я тебѣ говорилъ, надо всѣмъ угодить. У меня на судѣ есть одинъ, такой, что коли челобитная съ толкомъ, такъ онъ ничего и не пойметъ; а вотъ такая дребедень ему по нутру. Какъ будутъ читать, дьякъ дойдетъ до этого мѣста, я и стану тому судьѣ отъ дверей земные отвѣшивать; скорчу рожу, хуже всякаго постника, а онъ мою руку и потянетъ. Ѣстъ и пьетъ онъ здорово, и деньги беретъ, да его то самого этимъ не возьмешь; надо, знаешь, туманцу; надо угаръ въ словахъ пустить; онъ и одуреетъ; молчитъ; а ужъ, если онъ молчитъ, такъ въ судѣ и спорить не съ кѣмъ. Онъ, видишь, любитъ Богомъ стращать, такъ вотъ и на него въ челобитную страхъ Божій ввернулъ; вотъ послѣ такой загвоздки, что хочешь пиши, всему повѣритъ. «А какъ...» — пиши, Гаврилычъ!.. «по ветхости бѣднаго дома моего, сталъ я, изъ послѣднихъ крохъ моего состоянія, строить себѣ на зиму хоромы и довелъ ихъ до конца, съ помощію Божіей и добрыхъ людей, кои мнѣ въ строеніи займомъ учинили поддержку; не доставало только желѣзныхъ, къ окнамъ затворовъ, каковые во всякомъ домѣ есть и ради всякой безопасности отъ огня и вора быть должны, и зря на то, что срокъ росписке вышепрописаннаго Андрея Никитина сына Ручкина приходился Майя прошлаго, въ 10-й день, въ пол-

немъ увѣреніи, по собственной моей честности, извѣстной всѣмъ, во всякихъ долговыхъ и другихъ исковыхъ дѣлахъ, и во уваженіе уплаты мнѣ слѣдующихъ отъ него, Ручкина, ста рублей на срокъ, заказалъ я нѣмецкому мастеру, кузнечнаго и слесарнаго цѣха, который русскимъ прозвищемъ зовется Иванъ Сусолинъ, и который, къ сей-же моей челобитной, въ удостовѣреніе всего выше прописаннаго, руку приложилъ, — ко всѣмъ моимъ окнамъ, желѣзные затворы, про случай огня и вора, и всякой безопасности; и затворы тѣ готовы, но выкупить оныхъ не имѣлъ я никакой способности, за неуплатою мнѣ означеннымъ Ручкинымъ ста рублей, не только въ срокъ, но и по сіе время, у него, Ручкина, въ недоимкѣ сущихъ. А между тѣмъ, вчера ночью, за недостачею тѣхъ затворовъ въ новомъ домѣ моемъ, воровство учинилось... Украдено столоваго серебра на триста рублей.»

— «Послушай!»

— «Знаю, знаю! хочешь сказать, что въ тѣхъ хоромахъ никто не жилъ, да развѣ вещи — люди? Не могли тамъ лежать? Пиши: и въ покражѣ той, извѣстенъ и приставъ, и сосѣди, и свидѣтели. — Послѣ такого несчастіи, при крайней бѣдности моей, послалъ я къ тому Ручкину, уплаты требовалъ, онъ довѣренному моему никакого отвѣта не далъ, пришелъ въ мой домъ самъ, не въ трезвомъ видѣ, учинилъ мнѣ всякое ругательство, страмными словами и побоями, и должныя деньги уплатить отказался. Будучи въ томъ не трезвомъ

видѣ, просмотрѣлъ у себя въ домѣ огонь, отъ чего сталъ больной пожаръ, отъ котораго сгорѣлъ сарай мой съ товарами, по прилагаемой описи, на тысячу сто семьдесятъ три рубля, шесть алтынъ съ деньгой...» Опись, Лукьянычъ, потрудись уже ты изготовить: «а болынимъ вѣтромъ понесло пожаръ и на мои новые хоромы; а какъ на окнахъ тѣхъ желѣзныхъ затворовъ не было, то огонь въ одинъ, безъ малаго, часъ, не только тотъ домъ, но и бывшіе при тѣхъ хоромахъ, въ плотной смежности два деревянные амбара, съ товарами, цѣною на двѣ-тысячи восемь сотъ девяносто одинъ рубль съ копѣйками, какъ изъ прилагаемой описи явствуетъ... «Лукьянычъ, тутъ приложи другую опись, испиши листовъ столько, сколько до утра успѣешь...»

— «Да какъ-же ты пишешь что хоромы сгорѣли, когда они себѣ стоятъ, и не закоптились даже...»

— »Да развѣ я пишу. Ты видишь, сказано огонь, а потомъ я все и перечелъ, а противу того огня ничего и не прописано. Какъ судъ захочетъ. Пожалуй, порѣшитъ, что сгорѣли, такъ сгорѣли, а скажетъ стоятъ, такъ пусть себѣ стоятъ... Это ужъ судейское дѣло, а я будто писалъ, да съ горя не дописалъ; пусть слѣдствіе сдѣлаютъ, я все таки правъ. — Вѣдь огонь былъ — и кончено. «*И всего то убытку..*» Это ужъ, изволь писать!.. «какъ изъ счетовъ и другихъ мѣстъ явствуетъ, понесъ я на пять-тысячъ рублей, отъ того только, что затворовъ у оконъ не было, а не было отъ того, что

Ручкинъ мнѣ на срокъ не уплатилъ, и видимо съ намѣреніемъ, и тотъ убытокъ, и тѣ ругательства, и тотъ огонь учинилъ, и божеское и человѣческое правосудіе того требуетъ, дабы онъ мнѣ послѣднее мое достояніе воротилъ, понеже я въ конецъ раззорился, и теперь куска хлѣба не имѣю; и того ради бью челомъ... Ну, Лукьянычъ, тутъ ужъ ты знаешь, что писать.»

Челобитная, описи, счеты, кузнецъ Сусолинъ, свидѣтели и самъ Безъименный рано поутру явились въ судъ и возбудили живѣйшее участіе во всѣхъ членахъ суда къ несчастному истцу. — Но по случаю пріѣзда въ Москву Государя, судъ имѣлъ много своихъ хлопотъ, и не могъ приступить немедленно къ сужденію по жалобѣ Безъименнаго, а отложилъ до завтра. Снисходительность суда простиралась однако-же до такой степени, что предложеніе Гаврилы Андреевича, откушать съ нимъ *на пепелищѣ*, было принято большинствомъ голосовъ; Гаврило Андреевичъ пошелъ домой приготовить все къ обѣду, и занялся хозяйственными распоряженіями...

—

III

РАЗМОЛВКА.

Евдокимъ Филипычъ Сергаловъ пошелъ поздравить съ пріѣздомъ Государя. Въ то время весьма многіе частные люди, извѣстные Петру Великому лично, пользовались подобнымъ счастіемъ. За Сергаловымъ работники понесли обычные подарки:

коровай на золотомъ блюдѣ; въ коровай сидѣла золотая же солонка; куски матерій, и тысяча рублей денегъ, въ кожаномъ мѣшкѣ. Государь, одобрившій младенческую торговлю, удостоивалъ особенною милостью тѣхъ купцовъ, которые умѣли входить въ мудрые виды Преобразителя, заводили фабрики, часто торговали безъ барышей, лишь-бы усвоить царству западную заграничную торговлю, тогда еще сухимъ путемъ, и вообще не останавливались въ предпріятіяхъ своихъ, ни мелкою корыстію, ни безчисленными затрудненіями. Сергаловъ былъ извѣстенъ съ этой стороны Государю, и потому не удивительно, что Государь, кромѣ ласковаго пріема, оказаннаго имъ Евдокиму Филиппычу, удержалъ его у себя долѣе обыкновеннаго, распрашивалъ о семейственныхъ обстоятельствахъ, и узнавъ, что Настинька невѣста, спросилъ и объ женихѣ.

— «Есть, Государь, благодареніе Богу!» сказалъ Сергаловъ: «Отмѣнный человѣкъ; съ малыхъ лѣтъ живетъ въ моемъ домѣ. Хочу ему дать такое приданое, чтобы могъ самъ торговать на большую руку, и чаятельно отъ насъ не отстанетъ.» Тутъ Сергаловъ, сколько могъ, распространился въ похвалахъ своему Андрюшѣ.

— «Такъ чего же ты ждалъ, старикъ?» спросилъ Царь.

— «Тебя, Государь! Хотѣлъ, чтобы ты былъ у насъ, на сговорѣ, и на Андрюшу моего положилъ руку, да изъ своей Царской щедрины пожа-

ловалъ ему деньгу. Съ твоихъ только рукъ, Государь, льется всякій успѣхъ, всякая удача!»

— «Такъ теперь ждалъ, нечего! Я на лицо, и буду къ тебѣ сегодня, къ обѣду.»

Сергаловъ поклонился Государю въ землю, и радостный отправился домой. Выходя изъ Кремля, онъ повстрѣчалъ Гаврила Андреевича; даже шапки не сломалъ на низкіе поклоны Безъименнаго, и пошелъ было далѣе, но Гаврило Андреевичъ догналъ Сергалова и сталъ жаловаться на Андрюшу...

— «Что это право, Евдокимъ Филипычъ, ты за своими прикащиками не смотришь; мнѣ отъ твоего любимца житья нѣтъ. Мало того, что неплатитъ мнѣ денегъ, какъ обязался, такъ еще меня же, своего заемщика, судомъ безпокоитъ.»

— «Что?. Что такое?.. У Андрюши есть долги?»

— «Неоплатные, Евдокимъ Филипычъ, неоплатные! Судъ все заберетъ, увидишь, и дворишко и лавочку, да всего-то чай на одинъ долгъ хватитъ, а наше пропало. Да Богъ съ нимъ, пусть только судомъ насъ не тревожитъ, а то, вотъ я изъ суда иду. Въ самой обѣдъ слѣдствіе назначено. Ему шутка, а мнѣ расходъ! Прости ему Господи! Уйми его, Евдокимъ Филипычъ!..»

— «Вотъ я его!» отвѣчалъ Сергаловъ въ бѣшенствѣ, и побѣжалъ прямо домой. Вошелъ въ контору: два прикащика прилежно писали; казначей отсчитывалъ артельщику деньги. Андрюши не было. Гдѣ онъ? — «Отъ дѣла ушелъ, да у Па-

стиньки, въ комнатахъ, у окна стоитъ, да плачетъ, что любовь у него черезъ край пошла, что съ ума сходитъ и ждетъ только Евдокима Филипыча, броситься ему въ ноги, пусть убьетъ, а ужъ всю правду услышитъ!»

— «Ну-ка, ну-ка! Какую же я правду услышу!» закричалъ старикъ, входя въ комнату. Андрюша остолбенѣлъ. Настинька закрыла лице руками; Володя, сынъ хозяина и няня стремглавъ бросились изъ комнаты, одинъ въ контору, другая въ спальню...

— «Ты знаешь меня, Андрей, кто разъ мнѣ солгалъ, тому я уже ни въ чемъ не повѣрю.» Такъ продолжалъ гнѣвный Сергаловъ: «Ты знаешь и то, что у кого была разъ въ жизни тяжба, тотъ у меня не гость, а тѣмъ паче не другъ, не домашній; а отъ родства Боже охрани!.. А у кого есть долгъ, у того душа въ закладѣ... Признавайся, долженъ ты купцу Безъименному?»

— «Долженъ!»

— «Вонъ изъ моего дома! Вонъ! Когда у тебя нужда была, ты могъ мнѣ сказать; ты у меня и мнѣ служилъ, такъ я твоя казна и помощь, а ты долги дѣлать, да еще и тяжбу затѣялъ! Вонъ, говорятъ тебѣ... Не ослушайся! Пошелъ!..»

— «Какая тяжба!..»

— «Вонъ, ничего слушать не хочу! Съ глазъ долой! Какого страму надѣлалъ! Благо, что я за тебя еще дочери не выдалъ! Пошло бы приданое въ честныя руки ростовщиковъ и сутяжниковъ: Ты

не ее, а мою деньгу полюбилъ, мотыга! Пошелъ же; а не то ..»

— «Батюшка, Евдокимъ Филипычъ, выслушай!»

— «Не хочу... Ничего слушать не хочу. Я на сговоръ Государя быть упросилъ, а ты... Ахъ, какой страмъ! Что я теперь скажу Государю? Уходи же, Андрей, добромъ! Ступай, а не то еще Государь тебя застанетъ. Вотъ такъ! Слава тебѣ, Господи, ушелъ! Сутяжникъ окаянный!.. А я во дворецъ, надо сказать все Государю, а не то осердится...» и съ этимъ словомъ опять пошелъ въ Кремль. Сергаловъ не засталъ Государя, — Государь поѣхалъ на Литейный дворъ; Сергаловъ отправился было на Литейный дворъ; но на дворѣ узналъ, что Государь былъ уже послѣ того въ шести или семи мѣстахъ и вѣроятно заѣдетъ въ судъ по дорогѣ.

— »Дай-ка и я пойду, справлюсь...» подумалъ Сергаловъ: «какую онъ тамъ тяжбу затѣялъ» и пошелъ въ судъ. Не успѣлъ онъ войти на крыльцо, громкое ура возвѣстило о приближеніи Государя. Царь подъѣхалъ въ одноколкѣ, и увидавъ на крыльцѣ Сергалова, спросилъ: «Зачѣмъ сюда пожаловалъ?» Евдокимъ Филипычъ подробно и откровенно разсказалъ все Государю.

— «Поѣзжай съ Богомъ, да къ обѣду готовь нти!..» сказалъ Государь: «а Мы съ судомъ разсудимъ.»

—

IV.

РЕЗОЛЮЦІЯ.

Государь вошелъ въ присутствіе; приказалъ подать себѣ челобитную Ручкина; но таковой неоказалось,

— «А какая же поступила челобитная на счетъ Ручкина.»

— «Отъ купца Безъимяннаго на Ручкина.»

— «Читай!»

И дьякъ прочелъ челобитную, которую мы уже читали.

— «Какую же судъ по этому дѣлу учинилъ резолюцію?» спросилъ Государь.

— «Челобитная сего лишь дня поступила...» отвѣчалъ дьякъ: «и не заслушана.»

— «Ну, такъ мы ее теперь заслушали и приговорили:» сказалъ Государь: «Назначить безъ проволочки слѣдствіе и для того командируются: Царь Петръ Алексѣевичъ и весь судъ, — а присутствіе считать неоконченнымъ, пока не послѣдуетъ резолюція. Господа Судъ, ѣдемъ!»

Но, по близости двора купца Безъимяннаго, всѣ пошли пѣшкомъ. Лукьянычъ встрѣтилъ судъ въ воротахъ, Гаврило Андреевичъ на крыльцѣ:

— «Милости просимъ!» кричалъ онъ съ крыльца низко кланяясь: «Милости просимъ! Шти на столѣ!»

Отворивъ двери, онъ согнулся въ почтительную дугу и пропускалъ каждаго, называя по имени и по отчеству. Послѣдній подошелъ Государь. Гав-

рило Андреевичъ, не зналъ, какъ его назвать, поднялъ голову, онѣмѣлъ и упалъ ницъ у ногъ Государя. Царь воцелъ въ комнаты, не обращая на него вниманія. Два стола были уставлены закусками и кушаньями, на третьемъ стояла разная серебряная посуда съ ярлыками. Государь прежде всего обратился къ этой посудѣ и сталъ разбирать ярлыки; на первомъ нашелъ замысловатую надпись: «Дьяку Ивану Семенову по рѣшеніи дѣла.» Государь не обронилъ слова, и смотрѣлъ только, какъ будутъ поступать судьи. Смѣтливый дьякъ, наизустъ, громко произнесъ сказанное Государемъ въ судѣ, и всѣ безмолвно отправились свидѣтельствовать понесенные Безъименнымъ убытки. Оказалось, что и хоромы цѣлы, и въ сараѣ не было никакихъ товаровъ, и амбары при новыхъ хоромахъ не существовали, а стояли, и стоятъ поодаль, и весь товаръ Безъименнаго лежитъ въ тѣхъ амбарахъ, и цѣнностью простирается слишкомъ на двадцать тысячъ рублей...

— «Ябедникъ!» сказалъ Государь грозно: «Я проучу тебя. Позовите отвѣтчика!»

Явился печальный Андрюша. Государь сказалъ ему ласково:

— «Сей ябедникъ билъ на тебя челомъ несправедливо. Иску взвелъ на тебя на пять тысячь. А судъ, и я, за такую ябеду въ наказаніе, и въ примѣръ другимъ, приговорили: взыскать тѣ пять тысячь, съ него истца, въ твою пользу... А какъ истецъ твой лишился всего состоянія, какъ онъ самъ о томъ пишетъ, товаровъ и дома, то видно

эти хоромы и вещи, что лежатъ въ тѣхъ амбарахъ, не его; а хозяина ближайшаго, какъ ты, не имѣется: посему, домъ тотъ, и амбары, со всѣми товарами, поступаютъ въ вѣчное твое и твоего потомства владѣніе. Дѣлай съ ними, что хочешь! Судъ немедленно введетъ тебя во владѣніе. Осмотрись въ своемъ новомъ хозяйствѣ, и приходи къ Евдокиму обѣдать, а Мы тебя тамъ обождемъ.»

Подали одноколку. Государь уѣхалъ. Безъименный бросился въ ноги къ Андрюшѣ и сталъ горько плакать, и билъ себя въ грудь, и вопилъ ужаснымъ голосомъ.

— «Богъ съ тобой, сказалъ Андрюша, мнѣ чужаго не нужно! Вотъ тебѣ долгъ мой; я продалъ послѣднюю рухлядь отцевскую; два перстня матери моей и шубу... Вотъ твои деньги!.. Прощай!...»

Андрюша бросилъ ему свертышь, съ сотнею серебрянныхъ рублей, и побѣжалъ къ Евдокиму Филипычу... Между тѣмъ, изумленный судъ не зналъ, что дѣлать. Судья поглядывалъ на дьяка вопросительнымъ образомъ. Дьякъ догадался. Кивнулъ всѣмъ рукой, и пошелъ въ комнаты. Судъ слѣпо повиновался своему предводителю.

— «Господа судъ!» сказалъ дьякъ почтительно. «Мы дѣло порѣшили, такъ достойно и праведно пріять мзду...» и первый схватилъ серебрянный кубокъ съ ярлыкомъ на свое имя. Судъ не смѣлъ ослушаться своего дьяка, и вещи спрятались по карманамъ и за пазухами. — Безъименный глядѣлъ

на подобное разсужденіе съ отчаяньемъ, и только по временамъ, и то шепотомъ, съ трудомъ выговаривалъ: «Разбойники, душегубцы, кровопійцы!» А дьякъ обратилъ опять рѣчь къ опечаленнымъ судьямъ:

— «Господа, хотя дѣло рѣшено, но еще не окончено. Полагать должно, что отвѣтчикъ учинитъ обо всемъ случившемся Государю доношеніе, въ слѣдствіе каковаго доношенія, послѣдуетъ въ резолюціи какая либо отмѣна, почему, до указа, мы съ мѣста тронуться не можемъ; а какъ время обѣденное, столы готовы, дѣло не окончено и мы еще въ совершенной неизвѣстности, кому принадлежитъ домъ, въ немъ же мы пребываемъ, истцу ли, или отвѣтчику, то безъ нарушенія приличія, не подавая никакого въ лицепріятіи зазрѣнія, можемъ подкрѣпить силы свои питіемъ и пищею, для дальнѣйшаго судопроизводства, тѣмъ паче, что за столомъ мы пребудемъ вкупѣ, и таковымъ образомъ судебное присутствіе продолжится, въ полномъ комплектѣ и силѣ...»

Судъ предварительно приступилъ къ разсмотрѣнію закусокъ, какъ обстоятельствъ, предшествующихъ дѣлу, а потомъ сѣлъ за столъ, и занялся существомъ онаго.

— «Чтобъ вы подавились, проклятыя піявки!» шепталъ Безъименный, но неумолимый дьякъ напомнилъ ему, что во время присутствія, тяжущимся сторонамъ нельзя быть въ той же комнатѣ, — и Безъименный, покорно, хотя и со слеза-

ми; должены были повиноваться, старыхъ грѣховъ ради.

V.

ДЬЯКЪ.

Настинька любила Андрюшу, по нѣмецки: полною любовью, нѣжно, сердечно, сентиментально. Она же и воспитана по нѣмецки, а отецъ, хотя и былъ геній, но безъ образованія, и чувствительной душѣ своей дочери, своимъ неучтивымъ разговоромъ съ Андрюшей, нанесъ смертельную рану. Смертельную, это такъ, знаете, говорится, а въ существѣ, хотя Настинька и не умерла, однако же очень огорчилась и захворала непритворно. — Тогда, если вѣрить лѣтописямъ, женщины и притворяться не умѣли. — Захворала Настинька, и весь домъ пришелъ въ волненіе. Это былъ еще первый случай болѣзни въ домѣ Евдокима Филипыча. Больше всѣхъ, перепугалась Варвара Ивановна, матушка Настиньки, и не знала, что дѣлать. По совѣту нѣмецкаго прикащика, послали за врачемъ, Ѳедоръ Ѳедоровичемъ Верствирсттрумомъ. Онъ былъ коноваломъ въ саксонской арміи; но когда Карлъ XII разбилъ короля Августа, въ Лифляндіи, и войско бѣжало, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, вмѣстѣ съ мародерами, разграбилъ какой то отсталый фургонъ, и также обратился въ бѣгство, въ Москву. Въ короткое время практика его весьма распространилась, и по счастію, которое сопровождало его на медицинскомъ

поприщѣ, онъ могъ назваться весьма хорошимъ врачемъ. Ѳедоръ Ѳедоровичъ служилъ всегда въ конницѣ, потому что въ этомъ родѣ войска, у него было всегда большое число паціентовъ, но отъ этой службы, у него до самой смерти сохранилась привычка: объѣзжать всѣхъ своихъ больныхъ верхомъ на лошади. Вся Москва знала его чалую кобылу, которая, когда еще состояла на службѣ, называлась Агарь, а въ Москвѣ именовалась Агафьей... Люди, испуганные неожиданнымъ недугомъ Настиньки, съ нетерпѣньемъ ждали врача, и какъ только его завидѣли, бросились въ покои, и кричали во все горло, и хоромъ: «Ѳедоръ Ѳедоровичъ ѣдетъ!» Въ одно время на дворъ Сергалова вошелъ самъ хозяинъ и Верствирструмъ.

— «Что тебѣ надо?» спросилъ изумленный хозяинъ...

— «Ваша люди за мене посылаить,» отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ...

— «Что такое?» спросилъ Сергалонъ у людей...

— «Ахъ, батюшки свѣты!» отвѣчала няня въ слезахъ: «Настасья Евдокимовна! Настасья...»

— «Настинька больна, что ли?»

— «Умираетъ!»

— «Умираетъ!.. » вскрикнулъ испуганный отецъ, и бросился въ спальню дочери; но къ удивленію нашелъ ее совершенно одѣтою, спокойною и здоровою. Заслышавъ отца, она собрала всѣ свои силы и притворилась совершенно здоровою, чтобы

не опечалить любезнаго родителя. Какая разница въ нравахъ двухъ смежныхъ столѣтій!

— «Что за чертовщина!» закричалъ Сергаловъ: «Кто это шутитъ? И такъ глупо? Ты Настинька ломаешься, или кто это?»

— «Я, батюшка, только не ломаюся, а мнѣ что то очень стало нездоровиться; да, слава Богу, прошло...»

Настинька съ трудомъ досказала нѣсколько этихъ словъ. И тутъ не смогла притвориться, слезы брызнули, а она хотѣла засмѣяться, и сильный припадокъ истерики испугалъ даже врача, который впервые имѣлъ случай познакомиться съ подобнымъ недугомъ.

— «Что тутъ дѣлать?» спросилъ съ отчаяньемъ потерявшійся отецъ: «Ѳедоръ Ѳедоровичъ, что тутъ дѣлать?..»

— «Жила пустить, надо кровь, жила пустить...» отвѣчалъ Версттвирструмъ, запыхаясь.

— «Кому?» спросилъ Государь, входя въ комнату: «Благо инструменты со мной.»

— «Настинькѣ, Настинькѣ!» кричала несчастная мать, не вѣдая, что говоритъ съ Государемъ.

Государь посмотрѣлъ на нее съ улыбкой, и сказалъ весело...

— «Это не болѣзнь, а такъ, разстройство. Надо ее пристроить. И я вамъ лекарства привезъ.» Государь вкратцѣ разсказалъ все, что случилось. Настинька въ одно мгновеніе выздоровѣла; Государь торопилъ хозяина обѣдомъ; всѣ засуетились,

столъ накрытъ, кушанье подано... Вошелъ въ столовую Андрюша, и остановился у порога.

— «Поди, поди сюда!» сказалъ Государь ласково: «Что, кончилъ ты тяжбу съ этимъ ябедникомъ?»

— «Кончилъ.»

— «Какъ же ты кончилъ?»

— «Заплатилъ долгъ...»

— «Заплатилъ долгъ!» воскликнулъ Сергаловъ, всплеснувъ руками: «Заплатилъ долгъ? Да какъ же ты смѣлъ ослушаться Государя?»

— «Я не ослушался. Государь мнѣ подарилъ сосѣднее имѣніе; да оно все таки чужое, не мой трудъ; я и отдалъ его тому, чье оно; а такъ какъ мнѣ, послѣ немилости и гнѣва твоего, ничего уже не нужно, то я продалъ на скоро, что могъ, и заплатилъ долгъ, какъ слѣдовало должнику и честному человѣку.»

— «Не бывать тебѣ моимъ зятемъ! Изъ огня да въ полымя; то дѣлаешь отъ бѣдности долги, то изъ рукъ Царскій даръ выпускаешь. И какой даръ! Съ такими товарами, тебѣ и трехъ лѣтъ было бы довольно, чтобы на заморскій торгъ пуститься. Тутъ, братъ, честности не много, а глупости тьма. Не бывать тебѣ моимъ зятемъ...»

— «Какъ волишь, Евдокимъ Филипповичъ! Прости! Да позволь тебѣ за старое поклониться, за милость и всякую помощь твою. Дай Богъ тебѣ жить счастливо. Прости!»

— «Куда же ты?» спросилъ Государь.

— «Да что мнѣ, бѣдному бобылю, на этомъ

свѣтъ дѣлать. Продамъ дворъ и лавочку, и пойду тебѣ же, Государь, служить на Шведа.»

— «Ну, погоди маленько! Солдатъ у меня много, а умныхъ купцевъ мало. Поступокъ твой хвалю, а что тебѣ по закону причитается, отъ того, по закону, не смѣй отказываться! Позови моего деньщика, что при одноколкѣ.»

Андрюша пошелъ, и возвратился съ деньщикомъ Государевымъ.

— «Вася!» сказалъ Государь: «Поѣзжай въ судъ и скажи, чтобы истецъ, по сегодняшнему дѣлу, уплатилъ безотлагательно пять тысячь рублей отвѣтчику, еще сегодня, до захожденія солнца, деньгами, а если наличныхъ нѣтъ, товарами, по оцѣнкѣ купеческой. А ты, Евдокимъ, на Андрея не сердись! Онъ поступилъ такъ безкорыстно и благородно, что не пенять, а хвалить и радоваться слѣдуетъ. Поцѣлуйтесь! Потомъ я за обѣдъ сватомъ сяду, а послѣ сговора я ѣду изъ Москвы. Время у меня трудное. Война. Ужъ свадьбу извольте безъ меня сыграть.»

Обѣдъ, сговоръ и разговоръ, пошли своимъ чередомъ, а деньщикъ, по указанію прислуги судейской, явился къ Безъименному, объявилъ Царскій указъ, въ новомъ присутствіи, и уѣхалъ.

— «Милостивъ Государь...» сказалъ Дьякъ, когда въ присутствіе былъ позванъ истецъ: «Опредѣлилъ взыскать только пять тысячъ рублей...»

— «Пять тысячъ рублей!.. Да гдѣ же у меня пять тысячъ?» возразилъ Безъименный: «Съ роду у меня такой пропасти денегъ не было.»

— «Такъ пускай по указу заплатитъ товарами, если наличныхъ нѣтъ...»

— «Товарами, товарами!» кричалъ Безъименный, тотчасъ исчисливъ всѣ могущія произойти отъ таковой уплаты выгоды. Но неумолимый дьякъ опять сталъ рѣчь держать:

— «Господа судъ! Мы должны держаться точнаго разума и смысла закона, а какъ въ указѣ сказано: «буде наличныхъ нѣтъ...» то мы должны произвести строжайшее обслѣдованіе: точно ли у истца назначеннаго количества рублей въ наличности не имѣется; того ради, должны мы осмотрѣть купеческую его казну, за тѣмъ открыть судебнымъ порядкомъ, гдѣ находится его, истцева, запасная казна, и буде въ обѣихъ денегъ не окажется, тогда уже приступить къ уплатѣ товарами. И такъ приступимъ къ свидѣтельствованію...»

— «Иванъ Семеновичъ!» шепталъ дьяку Безъименный: «Иванъ Семеновичъ! триста рублевъ дамъ, только возьми товарами...»

— «Пять сотъ!» сказалъ шепотомъ дьякъ...

— «Изволь...» И дьякъ опять началъ:

— «Но какъ до захожденія солнца—не далеко, а мы о исполненіи указа еще сегодня должны подать Его Царскому Величеству доношеніе, того для можемъ, по крайности только времени, и во избѣгательство проволочки, принять уплату товарами; но какъ въ томъ же указѣ изъявлено, что оцѣнка должна быть произведена отъ купеческаго общества, то и послать немедленно за выборными и браковщиками...»

Безъимянный схватилъ себя за волосы и сталъ кричать во все горло: «Не хочу товарами! Не хочу! Рѣжутъ, грабятъ, разбой! Купечество! Знаю я наше купечество! Живаго съѣдятъ, на мою бѣдность не посмотрятъ. Не хочу товарами!«

— «Такъ давай наличными!» сказалъ судья, котораго и вино и ловкость дьяка значительно ободрили...

— «Ахъ, батюшка ты мой, всегдашній благодѣтель, да вѣдь наличныхъ то больше жаль.»

— «Экой ты болванъ, прощенья просимъ!» сказалъ дьякъ, понизивъ голосъ: «Тутъ ужъ изъ омута не выскочишь. Крѣпкая рука всѣхъ насъ подъ водою держитъ. Плати, неси деньги! Нечего спорить! Все и затихнетъ и успокоится, а тогда, если умнъ будешь, съ нашей помощью, на другихъ вымѣстишь. Лишь бы ярлыковъ больше не было. Разхвалился прежде времени, и ужъ будто мы такіе олухи, что не знаемъ сами, кому что взять. У каждаго изъ насъ рука привычная, съ вѣсу угадаетъ, что кому! Ступай, неси деньги!..»

Гаврило Андреевичъ, молча, ушелъ и воротился съ пятью работниками, которые и принесли пять кожаныхъ мѣшковъ рублей, а въ каждомъ по тысячѣ...

— «Не все!» сказалъ Дьякъ, когда работники вышли.

— «Какъ не все?»

— «А на судъ, что за трудъ?»

— «Ахъ ты бездонная кадка! Да что у тебя въ карманѣ?»

— «То за первое рѣшеніе, а за второе?.. Право, лучше по честности съ нами раздѣлайся, а не то, въ нашихъ рукахъ власть. Насолимъ, Гаврило Андреевичъ! Незабудь, что у насъ твоихъ дѣлъ, непокончанныхъ, больше двухъ десятковъ; самъ просишь, чтобы проволочь, а если ты будешь своихъ благодѣтелей обижать, такъ знай, что неблагодарность—грѣхъ, по Божескому уставу, а по человѣческимъ законамъ, мы въ одно присутствіе всѣ двадцать дѣлъ на твою голову спустимъ.»

— «Иванъ Семеновичъ!..»

— «Слушай, не поперечь! Я лице должностное, говорю отъ суда, а не отъ себя. Ты у насъ дойная корова, а отвѣтчики телята; а если отъ тебя молока не хватитъ, такъ мы тѣхъ отъ кармливать станемъ, а тебя, какъ негодную скотину,—прощенья просимъ,—со двора долой... Подавай же мѣшокъ—на судъ...»

— «Иванъ Семеновичъ!» Это восклицаніе произнесъ Безъименный дрожащимъ голосомъ, и на колѣнахъ...

— «Ну, что, говори, солнце заходитъ!»

— «Пять сотенъ...»

— «Мѣшокъ!»

— «Такъ и быть! Вижу, что ты, Иванъ Семеновичъ, совѣсть дома забылъ...» И мѣшокъ серебра размѣстился по карманамъ. Тогда позвали работниковъ, подняли пять мѣшковъ, и понесли за дьякомъ на дворъ Андрея Никитича. Онъ уже былъ дома, счастливый женихъ, богатѣйшій че-

ловѣкъ — и достоянье его умножилось существеннымъ матеріаломъ. Къ удивленію Андрея Никитича, дьякъ не принялъ отъ него даже обычной подачки; увѣрялъ, что онъ изъ тѣхъ дьяковъ, которые не берутъ, что онъ всякою корыстью гнушается; наконецъ, что онъ себя считаетъ счастливѣйшимъ человѣкомъ, когда можетъ служить правому дѣлу.

—

VI.

Государь уѣхалъ изъ Москвы, тотчасъ послѣ сговора.—Андрюша изъ пяти тысячь рублей, имъ полученныхъ, употребилъ весьма незначительную сумму на обзаведеніе, выкупилъ отцевскую рухлядь и перстни матери; остальное отнесъ въ казну своего нареченнаго тестя. Домъ Сергалова между тѣмъ сталъ похожъ на фабрику; шили приданое, по всѣмъ комнатамъ; матушка Варвара Ивановна, то и дѣло ѣздила по рядамъ, да всякую дрянь закупала; свадьба назначена въ день рожденья Настиньки, какъ-то осенью. Времени уже оставалось не много до счастливаго дня, съ небольшимъ недѣля; стало грязно на Москвѣ; вечера стемнѣли и нечистый сталъ гулять на дворѣ у Андрея Никитича; то заборъ у него ночью раскинетъ, то окна перебьетъ, то корову на чужой дворъ заведетъ. Догадывался Андрюша, что это сосѣдъ, изъ злобы на него, шалитъ по вечерамъ; поймалъ онъ даже Лукьяныча, какъ онъ хотѣлъ на глазахъ у него домъ поджечь, да понимая при-

чину всѣхъ дѣйствій сосѣда, ограничился потасовкой, состоявшей изъ какого-то біенія по хребту, какимъ-то весьма плоскимъ и широкимъ инструментомъ, отъ котораго, кромѣ боли, никакихъ не оказывалось послѣдствій. Преданіе гласитъ, что, яко бы и самъ Гаврило Андреевичъ попалъ подъ эту хитрую машину, но о сей операціи не упоминалъ и не говорилъ никому, стыда ради. Однимъ словомъ, не смотря на все самоотверженіе Лукьяныча и геніальную изобрѣтательность Безъименнаго, союзникамъ никакъ не удавалось выманить непріятеля изъ предѣловъ покоя и хладнокровія, и заставить подать на нихъ челобитную. Послѣднюю потасовку претерпѣлъ Лукьянычь весьма сильную; пришлась она ему не въ мочь; стеня и охая, Лукьянычъ почти вползъ въ хоромы Гаврилы Андреевича, и отказался нести долѣе личную службу.

— «Чортъ его побери!» сказалъ Лукьянычъ: «Этакъ онъ, чего добраго, до смерти меня доколотитъ, а не подастъ челобитной. И чего ты трусишь, Гаврило Андреевичъ? Тогда Государь былъ на Москвѣ. Ну, а теперь и старшіе всѣ разъѣхались. Какъ женится, тогда съ нимъ трудно будетъ тягаться. А знаешь, что́ я придумалъ? Заманить его корову въ нашъ огородъ, да и въ судъ. Я Евдокима Филипыча знаю. Пока Андрей Никитичъ въ какой ни есть тяжбѣ состоитъ, онъ дочки ему не отдастъ; да ужъ какъ сдѣлать, не одну, а три тяжбы...»

— «Да какъ же это сдѣлать, Лукьянычъ? Пра-

во, умираю, какъ подумаю, что она этому сорванцу женой будетъ....»

— «Не будетъ, или не я буду! Ты только корову спровадь въ нашъ огородъ, а ужъ за что ни есть протчее, я отвѣчаю. Только чуръ денегъ не жалѣть; ужъ этотъ разъ и старые убытки воротимъ, а съ малаго начнемъ....»

Гаврило Андреевичъ свято исполнилъ наказъ Лукьяныча, всталъ пораньше, заманилъ корову сосѣда въ огородъ, а самъ бросился въ хоромы, отворилъ окно, и давай кричать что ни есть мочи. «Держи, лови, чья корова?» Сбѣжались люди; хозяинъ посмотрѣлъ, сколько его корова убытку надѣлала. Андрей Никитичъ не пошелъ, а сказалъ: «Велика бѣда, заплачу, на сколько она тамъ капусты съѣла.»

— «На триста рублей!» сказалъ Безъименный...

— «Не возьметъ ли трехъ рублей?» приказалъ сказать сосѣдъ.

— «Трехъ рублей! Веди корову на мою конюшню, а насъ пусвай судъ разсудитъ....»

И все утихло на дворѣ у Гаврилы Андреевича, но за то все проснулось на дворѣ у Евдокима Филипыча....

— «Что тамъ такое?» спросилъ Сергаловъ.

— «Да пришелъ какой-то подъячій, изъ приказа, за справкой.»

— «Зови!»

— «У тебя ли служитъ....» спросилъ подъячій: «Андрей Никитинъ сынъ Ручкинъ?»

— «У меня. А что?»

— «Онъ употребляетъ проклятое зелье, табакомъ зовомое....»

— «Не замѣчалъ. Можетъ быть....»

— «Не должно быть! На него поданъ доносъ, что онъ въ пьяномъ видѣ желалъ нанести истцу побои, да на силу не понадѣялся, вынулъ табакерку, да глаза тѣмъ колдовскимъ зельемъ и засыпалъ... »

— «Гдѣ, когда?»

— «Изъ доноса сего не явствуетъ, а сказано только: послѣ игры, въ зернь.. .»

— «Зернь! Ахъ онъ злодѣй, страмникъ! Да полно, этого быть не могло....»

— «Не знаю, а написано....»

— «Да кто же написалъ?»

— «Доносчика не знаю, а тамъ на доносѣ подписано. А меня боярин только справиться послалъ отъ тебя, Евдокимъ Филипычъ, точно ли онъ табачное зелье употребляетъ?...»

— «Поди ты съ Богомъ! Что я знаю, несчастный! Ахъ ты Господи, страмъ какой!... Поди, скажи боярину, пусть самъ правду сыщетъ!»

Подъячій скрылся; пришелъ Андрюша; не успѣлъ онъ еще удовлетворительно оправдаться, изъ суда прислали, зовутъ Ручкина немедленно по двумъ челобитнымъ. Сергаловъ вышелъ изъ себя. Какъ? Вдругъ три тяжбы? Борони Господи отъ такого зятя. Уже хотѣлъ было, по горячности, выгнать Андрюшу вонъ, отказать отъ дома, отнять слово;

но Андрей Никитичъ пріосанился и сказалъ съ важностью:

— «Евдокимъ Филипычъ, вспомни старое; это таже пѣсня, да на новый ладъ; погоди, я въ судъ пойду, и не мнѣ, а ябеднику будетъ плохо!»

И пошелъ Андрей Никитичъ въ судъ; да по улицамъ прохода нѣтъ; толпы народа тѣсно стоятъ по всей Тверской; на колокольняхъ много мальчишекъ; во всѣхъ церквахъ двери отперты; дьячки выглядываютъ.

— «Что за праздникъ такой!» сказалъ громко Андрей Никитичъ, продираясь сквозь толпу.

— «Какой праздникъ! Государь сейчасъ будетъ....» отвѣчалъ кто-то изъ толпы; не успѣлъ онъ этого выговорить, загудѣли колокола; «ура!» не разносилось, а такъ сказать, стояло на улицахъ; показалась и колясочка Государева: въ ней сидѣлъ Царь Петръ, да деньщикъ; толпа съ трудомъ раздавалась; Андрюшу выкинуло впередъ....

— «Стой!» крикнулъ Государь, увидавъ Андрюшу: «Ну, что же, свадьба сыграна, или опять старикъ меня дожидался?»

Андрюша разсказалъ новыя свои несчастія...

— «Становись на запятки!» сказалъ Государь:

— «Въ судъ!»

Въ судѣ Государь засталъ двухъ истцовъ: Безъименнаго и Лукьяныча, съ двумя десятками свидѣтелей. Примѣтивъ Государя, Лукьянычъ весьма искусно выдернулъ, изъ подъ мышки дьяка, свою челобитную, и ударился бѣжать: его примѣ-

ру последовали всѣ свидѣтели; остался одинъ Гаврило Андреевичъ, и дрожалъ какъ листъ. Государь, приказалъ читать челобитную, и выслушавъ ее, сказалъ грозно:

— «Да что ты нынче сталъ огородникомъ, что ли? И у тѣхъ на триста рублевъ капусты не бываетъ. Признавайся, на сколько съѣла Андрюшина корова?...»

— «На три рубли.... Не буду.... Надежа-Государь.... Богомъ клянусь.... Не я.... а злые совѣтчики.... Это я съ болѣзни.... мнѣ снилось триста, я поставилъ....»

— «Что за шутки съ судомъ!» сказалъ Государь: «Заплати же отвѣтчику триста рублей, да въ государственную казну три тысячи рублей, за то, что ты съ государственною властью шутишь, а въ придачу, за чѣмъ такому злодѣю — быть безъименнымъ, безъ прозвища ходить по свѣту... Возьми же и прозвище; звать и зваться тебѣ и подписываться впредь: *Капустинымъ*. Да и то не на челобитныхъ, потому что отъ тебя никакое казенное мѣсто, приказъ, судъ, или должностное лице, никто отъ Капустина не смѣй принимать никакихъ челобитныхъ и жалобъ. Изготовьте указы!»

Государь уѣхалъ. Андрюша ото всякаго иска былъ освобожденъ и отпущенъ. Дьякъ поздравлялъ Капустина съ новой и приличной фамиліей, а Капустинъ.... потерялъ аппетитъ; въ домѣ его не варили капусты; онъ не могъ сносить ея запаху,

и въ день свадьбы Андрюши, послѣ продолжительнаго поста, съ горя, и по ошибкѣ повара, небережно, въ меланхоліи, объѣлся щтей, захворалъ, и, какъ говорится, окоченился, т. е. умеръ.

КОРДЕЛІЯ.

Новелла.

—

КОМО.

«Германія! Германія! если сравнить описанія Германіи Тацита и госпожи Сталь, можно ли повѣрить, что въ нѣсколько вѣковъ до такой степени все перемѣнилось на одной и той же землѣ?—Но, признаюсь, и знаменитая писательница столь же плохо представила намъ картину этой мозаичной націи, какъ, можетъ быть, и Тацитъ съ преувеличенною грубостію и рѣзкостію очертилъ за-альпійскихъ своихъ современниковъ. Три раза въ жизни я былъ въ Германіи, и всѣ три раза въ эпохи слишкомъ одна отъ другой отдаленныя; первый разъ — отрокомъ, для науки; потомъ, какъ сами знаете, на пути изъ Парижа въ Россію; въ третій разъ, въ такую позднюю осень моей жизни, такъ недавно и — маркеза... Простите, простите! Я не могъ догнать васъ; старость и болѣзни, ея спутники, задержали меня такъ долго въ Дрезденѣ и Вѣнѣ; я дважды былъ несчастливъ; мучился отсутствіемъ одной небесной женщины и мучился присутствіемъ другой...»

— «Кто же моя соперница?» спросила съ дружескою улыбкою маркеза Гортензія...

— «Кто? а вотъ, узнаете...» отвѣчалъ докторъ Сильвіо Теста.

— «Еще новелла! Еще новелла! Ахъ, какъ я рада! Право, мнѣ кажется, вы сочиняете случаи вашей жизни!»

— «Тогда бы я имѣлъ право считать себя первымъ поэтомъ вѣка. Никогда вымыслы нашихъ разскащиковъ не были такъ эффектны, какъ дѣйствительные случаи, которые намъ удалось встрѣтить въ этой однообразной библіотекѣ мелочей, что мы называемъ жизнію. Ни одна книга не оставитъ въ душѣ нашей тѣхъ живыхъ, незабвенныхъ истинъ, тѣхъ вѣрныхъ совѣтовъ, мѣткихъ и точныхъ замѣчаній, основательныхъ познаній, которыми насъ обогощаетъ собственный опытъ...»

— «Но кто же она, докторъ?»

— «Ахъ, маркеза, можно подумать, что вы читаете романъ Вальтеръ Скотта и сердитесь на первую главу! А я ужасно люблю первыя главы у Вальтеръ-Скотта! Другіе щеголяютъ изящной краткостью; онъ Англичанинъ, оригиналъ; что за охота идти битымъ путемъ; дай щегольнуть изящной длинnотою... Но всему причиною возрастъ; я старъ; стало быть и быстрота въ разсказѣ вовсе несогласна съ моими лѣтами; каждый Нѣмецъ — старикъ; хочу быть Нѣмцемъ, медленнымъ, подробнымъ и именно потому, что вы слишкомъ нетерпѣливы. Теперь извольте слушать. Во-первыхъ: Піетро, подай лимонаду!..»

Маркеза расхохоталась...

— «Не извольте смѣяться... Я съ умысломъ попросилъ лимонаду; боюсь разгорячиться и быть краткимъ...»

— «Ахъ, маркеза! Уже не рано. Комо уже отуманилось вечернимъ сумракомъ. Слушать новеллу вы будете терпѣливо, а такимъ образомъ и бесѣда моя съ вами продолжится въ третьемъ лицѣ, а иначе... усталость отъ дневныхъ увеселеній, отъ eнміама похвалъ, расточаемаго вашими обожателями, отъ прогулки, театра, сплетней — все это навѣетъ сонъ и прогонитъ меня въ одинокую келью...

— «Дорогой другъ, смотрите, и вы попадете въ новеллу.»

— «Только бы не одному, маркеза... и съ лучшимъ концемъ, нежели въ моихъ новеллахъ...»

— «А развѣ опять печальная?..»

— «А вотъ увидите. .»

—

КАРЛЬСБАДЪ.

I.

— «Въ Карльсбадѣ я остался одинъ; вы уѣхали въ Дрезденъ; дня черезъ два три я полагалъ догнать васъ; моя русская пацiентка, у которой каждый день появлялась новая болѣзнь, истощила всю свою домашнюю терапію и не находила уже названія еще какого нибудь недуга, которымъ бы могла встрѣтить меня во время утренняго моего посѣщенія. Можетъ быть были и другія причины,

только завтра она хотѣла быть совершенно здоровою и умоляла меня отсрочить отъѣздъ до слѣдующаго вечера; денежные расчеты по вашему дому, кое-какія прощанія, и нѣкоторыя другія мелочи были поводомъ, что я не спорилъ съ русской синьорой, остался, и въ восемь часовъ вечера, по нѣмецкому счету, вышелъ на главную улицу въ послѣдній разъ поглядѣть, какъ всѣ возможныя націи на одной и той же улицѣ пьютъ кофе. — Не успѣлъ я пройти десяти шаговъ, слышу: трубы заиграли на городской башнѣ. «Ого, подумалъ я, еще гости! Откуда? Съ какого конца Европы послали мои незнакомые братья больнаго къ этому усердному, кипящему, безкорыстному врачу Божію, неизсякаемому источнику цѣлебныхъ чаръ?..» По тѣсной улицѣ спускалась почтовая коляска, и остановилась возлѣ дома, гдѣ вы жили... Послѣ васъ квартира была пуста; я не успѣлъ еще и расплатиться; пріѣзжіе отправились въ комнаты и уже не выходили; люди перетаскали вещи; коляска отъѣхала, и все, казалось, пришло въ обыкновенный порядокъ. Не прошло десяти минутъ, и самый ужасный безпорядокъ, какъ злой геній, пробѣжалъ по всему Карльсбаду. — Дамы надѣли шляпки, бросили свои столики; мужчины охорашивались, и все народонаселеніе европейской больницы толпилось у вашего дома; всѣ глядѣли въ окна, ожидали кого-то, шушукали; но въ окнахъ блеснулъ свѣтъ, заходили тѣни, опустились шторы, и Карльсбадъ заснулъ.

—

II.

Моя квартира, помните, была противъ вашихъ оконъ. Не смѣйтесь, синьора; вы вѣрно не забыли и той липы, которую мнѣ удалось ночью подвязать и такимъ образомъ наклонить вершину, докучную, завистливую, вѣтвистую; Нѣмцы думали, что она мнѣ мѣшаетъ спать; о нѣтъ, ночью я готовъ былъ дать ей свободу; но утромъ, не вечеромъ... Нѣсколько разъ я порывался срубить старуху и боялся только одного, чтобы не разсердить добрыхъ Нѣмцевъ; сколько было тогда въ Германіи дуэлей за опрокинутый стаканъ пива; сколько пѣсенъ съ германскою остротою; сколько шума въ театрахъ и на загородныхъ гуляньяхъ! Но вы уѣхали, и плѣнница въ тотъ же вечеръ получила свободу. На другой день, просыпаюсь отъ звуковъ карльсбадскаго оркестра; отворяю окно, и превосходный вальсъ раздается во всю улицу передъ вашими окнами... Церемоніалъ слишкомъ знакомый. Лакей принесъ кофе и необходимыя надобности карльсбадскаго завтрака: хлѣбъ, масло и печатную повѣстку о ново-пріѣзжихъ... Читаю: «Г. Мюллеръ съ дочерью; артисты.» — Любопытство мое было удовлетворено, вальсъ сыгранъ и я отправился въ послѣдній разъ на галлерею. Прихожу... Всѣ больные захворали новымъ недугомъ: *любопытствомъ*. Многіе уходили и возвращались съ утѣшительнымъ извѣстіемъ: «сейчасъ будетъ!» но извѣстіе не оправдывалось. Наконецъ прибѣжалъ молодой Нѣмецъ съ ужасной бородой и бакенбардами, которые дѣлали лице его шире туло-

вища, втиснутаго въ свѣтлозеленый сюртукъ, съ огромной дубиной, на которой вмѣсто набалдашника сидѣла мертвая голова изъ слоновой кости... Не было сомнѣнія: это нѣмецкій либералъ. Онъ подскочилъ къ кружку дамъ и торжественно сказалъ: «Уже надѣла шляпку!..» Мнѣ показалось, что это сигналъ къ возмущенію; всѣ бросились въ одну кучу. — «Идетъ, идетъ...» раздалось въ толпѣ... и въ самомъ дѣлѣ на галлерею вошли: старикъ весьма пріятной наружности и молодая дѣвушка въ соломенной шляпкѣ подъ густою зеленою вуалью... Г. Мюллеръ съ дочерью пробыли съ нами не болѣе получаса; все время промолчали; знакомыхъ не встрѣтили и возвратились домой, въ сопровожденіи цѣлаго клуба бородатыхъ обезьянъ... На галлереѣ остался — споръ... Одни утверждали, что это просто Венера Медицейская; другіе сравнивали ее съ Аріадной Даннекера; третьи признавались, что вуаль не позволялъ видѣть лица, безъ чего о красотѣ судить невозможно; но это мнѣніе было признано нелѣпымъ, старымъ, несовременнымъ, потому что въ Парижѣ влюблялись въ одинъ цвѣтъ платья, словомъ — спорамъ не была конца. Изо всего этого извлекъ я только одну истину, что Софія Мюллеръ была первая трагическая актриса во всей Германіи и что подобной старики не запомнятъ, а молодежь вся давно влюблена въ Софію Мюллеръ, многіе по новой іюльской модѣ, даже не видавъ никогда очаровательной художницы. Вы помните, въ Карльсбадѣ мы видѣли двухъ трехъ человѣкъ, которые

объѣзжаютъ Европу съ особенною цѣлію, и эта цѣль — мотовство, балы, вечера, праздники, фейерверки. Есть привилегированные карльсбадскіе моты, которые къ началу іюня непремѣнно явятся на галлерею и пригласятъ всѣхъ больныхъ и небольныхъ къ блистательному празднику. Всѣ акты этой карльсбадской комедіи были уже разыграны; но появленіе Софіи Мюллеръ возобновило больничный карнавалъ и породило ужасный споръ, кому первому предоставить право почтить знаменитую артистку блистательнымъ праздникомъ... Вопросъ затруднительный, и если бы онъ могъ перейти къ кастѣ бородатыхъ, возмущеніе было бы неминуемо; но по счастію онъ волновалъ только червонную аристократію XIX вѣка; и послѣ многихъ преній — жребій палъ на одного русскаго богача, который никогда не имѣлъ и не имѣетъ ни помѣстій, ни капиталовъ, какъ утверждали его друзья. Но за то въ рукахъ его былъ какой-то талисманъ, доставлявшій ему лучшія вина, яства, убранства, иллюминаціи, фейерверки и въ придачу всегда нѣсколько тысячъ карманныхъ денегъ. Видно, самъ жребій былъ въ числѣ обожателей несравненной Софіи, потому что невозможно было сдѣлать выбора лучше; день назначенъ; весь Карльсбадъ приглашенъ, въ томъ числѣ и я; отказаться не слѣдовало; не пойти на балъ — жаль; онъ будетъ послѣ завтра; остаюсь. Васъ надѣялся я застать въ Дрезденѣ. На другой день я уже и не думалъ объ отъѣздѣ; на галлереѣ всеобщимъ хоромъ разсказывали, что Софія Мюллеръ будетъ

завтра на вечеръ; опять то же ожиданіе; опять то же посѣщеніе, краткое, безмолвное; опять тѣ же проводы и споры. Наступилъ желанный вечеръ. Мюллеры явились раньше многихъ... Ахъ, маркеза!..»

— «Измѣнникъ!» грозя пальцемъ, ласково сказала Гортензія.

— «Нѣтъ! маркеза! Но къ чему эти встрѣчи? Довольно на моей памяти печальныхъ воспоминаній.. И я ожидалъ ясной осени моей жизни!.. Представьте высокую, стройную женщину, величественный ростъ и поступь, большіе черные глаза, прелестныя кудри самаго темнаго каштановаго цвѣта, греческія черты лица, руки образцы изящества... и эта полубогиня въ бѣленькомъ платьицѣ; ленточка вмѣсто пояса; на шеѣ черная цѣпочка съ чернымъ крестикомъ, вотъ и все тутъ. Представьте, всѣ разлюбили Софію Мюллеръ, т. е. не смѣли любить; глядѣли съ умиленіемъ, благоговѣйно, безмолвно, многіе со слезами... Ни что не могло быть свѣтлѣе, покойнѣе, величественнѣе очаровательнаго лица чудной гостьи; я даже и неба такого не помню... На всѣхъ написана была одна мысль, одно чувство: «Нѣтъ! любить ее нельзя; нѣтъ! И она любить не будетъ; не родился еще достойный счастливецъ.» Многіе громко обмѣнялись этою мыслію и удивились сходству взаимныхъ ощущеній... Начались танцы. Никто, даже хозяинъ, несмотря на испытанную храбрость Русскихъ, не рѣшался подойти къ Софіи... Вдругъ бородатый либералъ закрутился въ страстномъ

Штраусовскомъ вальсѣ съ безстрастною полубогиней и сталъ ненавистенъ всему обществу; и это чувство было замѣтно, и также не могло не сдѣлаться гласнымъ... Толпа гостей прибывала; въ палаткѣ, нарочно и съ отличнымъ вкусомъ раскинутой для бала, стало тѣсно, душно, но никто не хотѣлъ уйти. Послѣ танца, Софія величественно вышла на иллюминованную площадку и палатка опустѣла... «Чары!» подумалъ я, и поплелся за другими... Толпа медленно двигалась передо мною и вдругъ попятилась. Софія Мюллеръ возвращалась и весело разговаривала съ молодымъ человѣкомъ. Прежде я видалъ его на галлереѣ, встрѣчалъ на горахъ одного съ ружьемъ и собакой, и даже простое любопытство никогда не мелькало во мнѣ узнать: «кто онъ?» Печаленъ, страшенъ былъ видъ этого человѣка; онъ былъ слишкомъ молодъ; золотыя кудри вились по узкимъ плечамъ; голубые глаза, большіе, но впалые, были оживлены болѣзненнымъ огнемъ; улыбка, горькая улыбка не сходила съ устъ; казалось, онъ былъ разсѣянъ; презрительно поглядывалъ на толпу, на хозяина; вовсе не смотрѣлъ на женщинъ; худоба и глаза обличали тяжкій недугъ; но въ поступи и движеніяхъ замѣтна была живость, даже какое-то молодечество, удальство. Софія весь вечеръ только съ нимъ и говорила; отецъ съ удовольствіемъ поглядывалъ на дочь и на незнакомца; жестоко нюхалъ табакъ съ страннымъ самодовольствіемъ; сладостно молчалъ и улыбался. Никто не зналъ, кто этотъ счастливецъ;

ни съ кѣмъ онъ не былъ знакомъ; даже хозяинъ къ собственному удивленію не могъ понять, какимъ образомъ онъ пригласилъ незнакомаго человѣка? Впечатлѣнія перемѣнились. Богиня стала женщиной, кокеткой, актрисой; и въ глазахъ толпы, которая такъ недавно боготворила Софію, заходили пятна, обидныя, черныя пятна... Царица вечера стала забытою, оставленною Психеею; начался обычный тайный споръ о первенствѣ; побѣда переходила изъ рукъ въ руки; стало весело, шумно; многія дамы сняли шляпки; никто, и даже хозяинъ не заботился о Софіи, и, какъ я думаю, она была очень благодарна за это невниманіе. Вечеръ кончился. Всѣ разошлись. Проводовъ не было... только одинъ я по пути и то издали слѣдовалъ за Мюллерами; но незнакомецъ былъ съ ними... Признаюсь, это и меня огорчило; общественные недостатки заразительны; Богъ знаетъ за что и я уже не любилъ его. У дверей незнакомецъ распростился съ Мюллерами, и представьте — пошелъ прямо въ мою квартиру...

— «Ого!» сказалъ я почти громко: «Завтра, любезный, я могу тебѣ очистить завидную келью, но сегодня извини... «А липа? Бѣдная липа! Онъ срубитъ ее!» и какъ будто опасность была слишкомъ близко, я поспѣшилъ выручать такъ недавно еще освобожденную плѣнницу. Представьте мое удивленіе? Вхожу и вижу: незнакомецъ расположился въ креслахъ, какъ дома; мой услужливый лакей подалъ ему трубку, и столбы дыма первые встрѣтили хозяина...

— «Вотъ до чего дошелъ нѣмецкій либерализмъ!» подумалъ я; подошелъ къ столу, взялъ кресла и сѣлъ прямо противъ поздняго гостя.

— «Милости просимъ?..» сказалъ онъ.

Я едва удержался отъ смѣха...

— «Посмотримъ, каково ваше хваленое искусство!..» продолжалъ онъ: «Лечите, лечите, пожалуй, но только врядъ ли...» и пустилъ мнѣ въ глаза столбъ дыма...

— «Удивительный паціентъ! Что будетъ дальше?» подумалъ я.

— «Карльсбадъ не помогъ! «сказалъ онъ» Что же вы мнѣ теперь посовѣтуете? Эмсъ, Ахенъ, Комо, Неаполь?.. Или воротиться въ мою Прагу, продолжать музыкальныя занятія, сдѣлаться капельмейстеромъ, жениться на толстой Гретхенъ, растолстѣть самому... на все на это графъ Букла согласится... Что мнѣ Морлакки? А Вебера давно нѣтъ на этомъ свѣтѣ; Дрезденъ уже не то, что былъ прежде. Все это можно объяснить графу. Не правда ли?»

— «Конечно...» сказалъ я:» конечно!»

— «Я вамъ очень благодаренъ, почтенный докторъ. Ваши лѣта не позволяютъ играть роль альхимика, у котораго на все есть особый талисманъ; у васъ есть совѣсть; еще разъ благодарю васъ за дружескій совѣтъ. — Я исполнилъ мой долгъ, повиновался: вы согласились. Все кончено, прощайте! Благодарю, вы меня вылечили!..»

Всталъ и ушелъ... Я за нимъ со свѣчой на самую улицу; онъ даже не поблагодарилъ меня за

проводы; остановился противу оконъ Мюллеровъ и началъ пѣть премилую нѣмецкую пѣсню, провѣлъ и упѣлъ... Когда мы выходили на улицу, за шторой стояла тѣнь Софіи; отодвинувъ крайчикъ шторы, она глядѣла на насъ; но съ первымъ звукомъ пѣсни Софія исчезла, а я воротился домой... въ постель, и заснулъ.

—

III.

Рано, очень рано разбудили меня. Подаютъ записку: «Знаменитый Теста не откажетъ въ своей помощи сосѣдкѣ. — Софія Мюллеръ.»

— «Вотъ тебѣ разъ!» ворчалъ я. Мнѣ надо было ѣхать и, вы сами знаете, какъ я во все время нашего путешествія удалялся отъ практики; я зналъ, какъ непріятно, когда въ моемъ городкѣ вздумаетъ лечить Нѣмецъ или Французъ, и отымаетъ у моихъ учениковъ хлѣбъ и практику; но не пойти — было бы неучтиво... И такъ сегодня же уѣду, думалъ я, никто сердиться не будетъ; приду, скажу, что ѣду, — и концы въ воду... Прихожу. Она была въ утреннемъ нарядѣ, сто разъ, тысячу разъ прелестнѣе, милѣе вчерашняго; отецъ въ бланжевомъ халатѣ, въ очкахъ и безъ парика, сидѣлъ за письменнымъ столомъ, и что-то выписывалъ изъ толстой тетради; Софія, сидя противу него чесала и помадила парикъ; меня и отецъ и дочь приняли какъ стариннаго знакомаго... Софія начала со мной говорить по итальянски; я замѣтилъ, что хотя языкъ ей совершенно извѣстенъ, но въ разговорѣ она

еще затруднялась и отвѣчалъ по-нѣмецки. О, одни звуки насъ сдѣлали друзьями; не было конца комплиментамъ, угодливости и внимательности отца и дочери; оба бросили работу и принялись меня уговаривать переѣхать въ Вѣну или въ Дрезденъ, т. е. туда, гдѣ они навсегда поселятся. Разговоръ болѣе и болѣе дѣлался дружескимъ и откровеннымъ. Въ Мюллерахъ представилось мнѣ въ полномъ видѣ и въ очаровательной красотѣ то германское простодушіе, которое такъ сильно привязало меня къ этому народу. Наконецъ рѣшились мнѣ сказать и причину приглашенія.

— «Простите, докторъ, если мы рѣшились такъ рано васъ обезпокоить, и можетъ быть поводъ покажется вамъ страннымъ, но живое участіе, которое мы принимаемъ въ судьбѣ этого несчастнаго молодаго человѣка и ваши добродѣтели, извѣстныя всей Европѣ, и ваша медицинская слава...» — Софія остановилась, отецъ продолжалъ...

— «Заставили насъ рѣшиться... Эдуардъ былъ вчера у васъ. Софія требовала настоятельно, чтобы онъ посовѣтовался съ вами и мы видѣли, какъ онъ вошелъ къ вамъ и какъ ушелъ... Скажите, сдѣлайте дружеское одолженіе, какого рода его болѣзнь; можно ли надѣяться на скорое выздоровленіе? Мы нарочно за этимъ пріѣхали. Софія взяла отпускъ и весьма много теряетъ; черезъ семь, восемь дней надо воротиться, исполнить ангажементъ, заключить новый контрактъ; я противъ этого; но все зависитъ отъ Эдуарда...»

Я разсказалъ имъ о нашемъ свиданіи; добрая

Софія смѣялась сквозь слезы; отецъ хохоталъ... Не прошло еще впечатлѣніе моего разсказа, какъ вошелъ Эдуардъ.

— «Хорошъ! хорошъ!» — сказалъ отецъ: «Такъ-то ты исполнилъ приказаніе Софіи. Посовѣтовался съ господиномъ докторомъ. Славно! Славно!»

Эдуардъ смѣшался.

— «Упрямство, Эдуардъ!» съ чувствомъ сказала Софія.

— «Да помилуйте! Непремѣнно хотятъ меня сдѣлать больнымъ, когда я совершенно здоровъ; виноватъ ли я, что Богъ мнѣ далъ такую больную наружность, а въ существѣ я совершенно здоровъ...»

— «Разсказывай!..» подумалъ я и примолвилъ: «Молодой человѣкъ! Вашъ вчерашній разговоръ обнаруживалъ разстройство нервъ...»

— «Отъ музыки, господинъ докторъ...»

— «Отчего бы то ни было и, съ помощію Божіею, мнѣ кажется, я васъ вылечу...»

Истерическій смѣхъ овладѣлъ Эдуардомъ; онъ упалъ въ кресла и хохоталъ.

— «Если такъ...» вставъ, сказалъ я съ жаромъ: «я васъ вылечу насильно...

Эдуардъ не понялъ меня, испугался и очень подробно началъ доказывать, что онъ совершенно здоровъ.

— «Это не доказательства...» сказалъ я уже съ умышленною строгостію: «Нѣтъ, я вамъ повѣрю, когда по утру найду васъ за рабочимъ столикомъ,

за обѣдомъ въ обществѣ вашихъ добрыхъ друзей, вечеромъ въ театрѣ.»

— «Въ театръ! Ни за что, докторъ! На первыя два условія согласенъ, но въ театръ ни за что!»

— «Такъ на прогулкѣ...» сказалъ я, какъ будто не замѣчая этой странности: «Только не на такихъ, какъ вы изволите дѣлать съ ружьемъ и собакой по здѣшнимъ окрестностямъ; рано; пусть поукрѣпятся нервы. Карльсбадъ вамъ вовсе ненуженъ... Какую воду вы пьете?.. Не сочиняйте, не сочиняйте! Никакой! Я здѣсь давно...»

Эдуардъ былъ совершенно смущенъ, перепуганъ. Опустивъ голову, онъ стоялъ передо мной, какъ преступникъ, и я спѣшилъ воспользоваться побѣдой.

— «Я сегодня ѣду въ Дрезденъ... У васъ есть экипажъ?..»

— «Нѣтъ! нѣтъ!» закричали Мюллеры: «Онъ пришелъ пѣшкомъ.»

— «Пѣшкомъ!» прикрикнулъ я: «Съ вашими нервами! Нѣтъ, этого я не позволю. У меня покойная коляска; вы ѣдете со мной, сегодня же, сейчасъ...» И отворивъ окно, я закричалъ черезъ улицу: «Джіовани! Укладывай вещи!.. Пошли за лошадьми! Когда будетъ готово, скажи!..»

— «Вы пришли пѣшкомъ...» сказалъ я, обратясь къ Эдуарду: «Поклажи большой быть не можетъ... Гдѣ вы живете?»

Онъ сказалъ.

— «Джіовани, поди сюда!» и я послалъ моего слугу за вещами Эдуарда.

— «Вотъ медикъ!» сказалъ съ восторгомъ ста-

рый Мюллеръ, надѣвъ очки и любуясь моею распорядительностію: «Ну, Софи! Мы можемъ также ѣхать!»

— «Батюшка!» покраснѣвъ, отвѣчала Софія: «Я хотѣла накупить карльсбадскихъ бездѣлушекъ; отвѣдать воды; вы знаете, намъ приказали сдѣлать эту поѣздку...»

— «Пустое, пустое!» сказалъ старикъ, надѣвая парикъ и собираясь въ походъ: «Зачѣмъ скрываться? Да, г-нъ Эдуардъ! Надо умѣть цѣнить Софію! Какъ только узнали, что ты въ Карльсбадѣ—и мы тутъ!..» Старикъ ушелъ...»

— «Софія!» заливаясь слезами, сказалъ Эдуардъ и упалъ къ ногамъ добраго своего ангела хранителя: «Неужели для меня?»

— «Встаньте, Эдуардъ; садитесь; вотъ такъ!..»

Всѣ молчали; долго молчали; такъ долго, что первый заговорилъ отецъ; онъ возвратился со связкой разнаго рода печатокъ, игральныхъ косточекъ, марокъ, табакерокъ, выдѣланныхъ изъ осадка цѣлебныхъ источниковъ. «Вотъ тебѣ, Софи!» сказалъ онъ, развязывая платокъ...

— «Батюшка!..» едва внятно сказала Софія и горько заплакала. Эдуардъ вскочилъ, схватилъ меня за руку, хотѣлъ что то сказать, но вопелъ Джіовани. — «Готово!» — и картина перемѣнилась. Вздумали прощаться...

— «Пустое, пустое! И мы сейчасъ ѣдемъ..» сказалъ отецъ.

Къ вечеру, всѣ вмѣстѣ, мы оставили Карлсбадъ.

—

IV.

Хотя отъ Карльсбада до Дрездена совсѣмъ недалеко; но мнѣ показалось ужъ слишкомъ близко; меня смѣшилъ пацiентъ; долго ли подружиться съ сумасшедшимъ? А влюбленные — та же каста. И Эдуардъ, за карльсбадской заставой, называлъ меня lieber Freund, а на половинѣ дороги папахенъ, а подъѣзжая къ Дрездену, я уже зналъ всѣ его тайны. Сердце человѣческое самая лучшая аптека, и я почти всегда туда обращаю мои рецепты.

— «Остается два часа...» сказалъ Эдуардъ: «и я увижу мой рабочій столъ, отобѣдаемъ у Мюллеровъ, ввечеру побываю у Морлакки и Тика, а завтра поутру за работу, обѣдать у Мюллеровъ... ввечеру.»

— «Въ театръ...» тихо шепнулъ я.

— «Условія, папахенъ! Не забывайте условій!»

— «Да почему же вы не хотите въ театръ?»

— «Я былъ спокоенъ, счастливъ, какъ вы..» сказалъ онъ, и я улыбнулся: «Графъ Букла, мой дядя, привезъ меня въ Вѣну учиться музыкѣ; повелъ въ театръ; я увидѣлъ Софію Мюллеръ — и прощай счастіе!..»

— «Вы, кажется, любимы? Женитесь!..» сказалъ я.

— «Она не выйдетъ замужъ, пока живъ отецъ.»

— «Такъ онъ противится вашему счастію?»

— «Совсѣмъ нѣтъ. Самый лучшій мой ходатай; теперь не больше мѣсяца, какъ пересталъ уговаривать, а прежде первое слово: здраствуй; а второе: выходи за Эдуарда...»

— «Такъ кто же вамъ мѣшаетъ?..»

— «Любовь...»

— «Какая любовь?»

— «Любовь Софіи къ отцу.»

— «Что за вздоръ?»

— «Ну, подите; увѣрьте ее, что она можетъ быть счастливой супругой и вполнѣ, какъ и прежде, обожать своего старика. Я ревновать не буду... Что онъ по прежнему можетъ заботиться обо всѣхъ мелочахъ; выписывать ей роли; бѣгать въ магазины; поливать ея цвѣты; дѣлать съ нею репетиціи... Она меня любитъ; и что досадно, говоритъ это всѣмъ и каждому. Любитъ!.. Но согласитесь, что такая любовь пытка... Нѣтъ отца, — я первый человѣкъ въ свѣтѣ; она не скрываетъ чувствъ своихъ; ревнуетъ; даетъ выговоры; сердится за каждое неловкое слово; вышиваетъ для меня подушки, вяжетъ кошельки, пишетъ ко мнѣ стихами самыя нѣжныя посланія... Когда мы бесѣдуемъ одни, она всякій разъ спрашиваетъ съ досаднымъ простодушіемъ: «Не правда ли, Эдуардъ, мы счастливы?..» Ну, сами посудите, какъ тутъ съ ума не сойти!.. Хорошо! Мы счастливы. Вошелъ отецъ и всѣ работы и я въ сторону; одинъ другому въ глаза глядятъ: только о томъ и думаютъ, какъ бы другъ дружку удивить пріятною нечаянностію. — Разойдутся: ея нѣтъ; старикъ плачетъ и благодаритъ небо за несравненную дочь. Уйдетъ онъ; Софія плачетъ и молится, чтобы Господь продлилъ жизнь единственнаго отца, единственное ея блаженство! Какъ тутъ

съ ума не сойти! Помилуйте, какъ тутъ съ ума не сойти! Теперь вы видите, что я былъ правъ, когда въ первый разъ съ вами совѣтовался... И непремѣнно исполню мое намѣреніе. Въ Прагу! Женюсь! Дядя доставитъ мнѣ мѣсто капельмейстера, и я кое-какъ буду счастливъ... Дрезденъ... Дрезденъ... Четверть часа, и я увижу Софію!.. Вонъ домъ ея... Видите, видите, она на балконѣ, она ожидаетъ меня!..»

— «Ну...» подумалъ я: «далеко до Праги!»

—

ДРЕЗДЕНЪ.

I.

«Представьте мой ужасъ, когда я прочиталъ вашу записку, маркеза! — Вы не могли остаться въ Дрезденѣ одного дня, а полагали пробыть недѣлю... Догнать васъ я не видѣлъ ни какой возможности... Огорченіе было слишкомъ сильно, и я... не могу, маркеза, буду искрененъ, — я захворалъ. Дрезденскіе врачи, узнавъ о моемъ пріѣздѣ, навѣстили меня и очень кстати; я нуждался въ ихъ помощи, потому что самъ не могъ уже здраво разсуждать о моей болѣзни... На другой день, я былъ уже на ногахъ и на строгой діэтѣ; на третій посѣтилъ меня Эдуардъ и старикъ Мюллеръ; я обѣщалъ завтра придти къ нимъ обѣдать.

Прихожу; общество гостей было довольно многочисленно; поэты, музыканты, графы, актеры, путешественники тѣснились около очаровательной хозяйки; отецъ и Эдуардъ хлопотали около стола

и первые встрѣтили меня. «Что это у васъ сего дня?» спросилъ я... «Середа, дорогой докторъ; каждую середу добрые друзья собираются вмѣстѣ съ нами хлѣба соли откушать, а потомъ вы увидите... Софи!» сказалъ отецъ, вводя меня въ гостиную... «Докторъ Сильвіо да Теста.»

«Я не славолюбивъ, но признаюсь, уваженіе людей, пользующихся въ свою очередь заслуженною извѣстностью — лестно даже для Россини. Общество избранныхъ поднялось съ мѣста; Софія прежде всѣхъ; послѣ привѣтствій и сожалѣній о моей бозѣзни, меня, какъ будто старшаго гостя, усадила Софія возлѣ себя; за обѣдомъ мнѣ предложено первое мѣсто; въ разговорахъ большею частію относились ко мнѣ, стараясь сколько возможно сдѣлать пріятнѣе и занимательнѣе затрапезную бесѣду. Я восхищался умомъ и познаніями собесѣдниковъ, но болѣе всего удивляли меня чинность, порядокъ, хладнокровіе въ спорахъ. Въ гостиной пошелъ разговоръ о Шекспировой драмѣ: Король Лиръ; старичекъ совѣтовалъ Софіи — дать въ свой бенефисъ эту прекрасную пьесу.

— «Я поставлю ее...» продолжалъ старичекъ: «цѣликомъ, какъ она написана. Не люблю сокращеній, передѣлокъ и всегда спорилъ объ этомъ съ Гете Конечно, ему и книги въ руки. Онъ, можетъ быть, и не совсѣмъ испортилъ Шекспира. Но примѣръ соблазнителенъ. Наши безчисленные переводчики, плохо разумѣя англійскій языкъ, еще менѣе духъ и особенности генія Шекспира, уродуютъ самыя лучшія, самыя превосходныя его созданія. — Возь-

мите драму, какъ она есть; возьмите любой переводъ; каждый имѣетъ свои достоинства; по мнѣ вѣрнѣе другихъ Бенда; сыграйте Корделію, и конечно слава ваша не возрастетъ, но умножится репертуаръ нашего наслажденія.»

— «Она и такъ уже разыгрываетъ эту глупую ролю...» сказалъ кто-то позади меня. Я оглянулся, то былъ Эдуардъ — и какъ-то страшно горѣли глаза его... Софія сидѣла въ глубокой задумчивости; другой старичекъ подошелъ къ ней.»

— «Рѣшайтесь!» сказалъ онъ: «Послѣдній бенефисъ такъ близокъ; Король Лиръ, или Іоганна д'Аркъ, или Отецъ и Дочь...»

— «Ни за что не позволю!» закричалъ отецъ Софіи: «Терпѣть не могу этой піесы.»

— «За что, г. Мюллеръ? Да это одинъ изъ тріумфовъ вашей дочери...»

— «Покорнѣйше благодарю! Выбросьте начало и я согласенъ.»

— «Это невозможно!» сказалъ первый старичекъ: «Раупахъ разсердится; и подѣломъ; да и я не позволю себѣ перемѣнить запятой въ чужой піесѣ. И что худаго въ началѣ?»

— «Помилуйте! Припомните! Піеса начинается словами: Миссъ Мюллеръ скончалась.»

Всѣ захохотали.

— «Смѣйтесь, смѣйтесь!» продолжалъ отецъ Софіи; какъ услышалъ первый разъ это проклятое начало, такъ морозъ и заходилъ по всему тѣлу... Во второй разъ волоса встали дыбомъ; въ третій,

вы знаете, Софи не играла этой піесы и играть не будетъ... Не будешь, Софи?..»

— «Батюшка! Вы не любите піесы, и я ее ненавижу...»

— «Благодарю тебя, мой другъ; такъ послѣдуемъ умному совѣту: возьмемъ Лира.»

— «Нѣтъ, батюшка, нѣтъ! Есть роли, которыхъ не снесутъ многіе...» сказала Софія и съ улыбкой взглянула на Эдуарда.

— «Благодарю, Софи!» шепталъ Эдуардъ: «Любовь Корделіи къ сумасшедшему Лиру убьетъ меня.»

— «Такъ Іоганну...»

Поспорили, ничѣмъ не рѣшили и разошлись.

—

II.

Меня удержала Софія; было не рано; театра въ этотъ день не было; я охотно остался и мы усѣлись.

— «Какъ хочешь, Софи!» сказалъ отецъ: «а Іоганны и я не хотѣлъ-бы.»

— «Отъ чего, батюшка?..»

— «Отъ того, что роль слишкомъ велика, слишкомъ трудна; какого требуетъ напряженія; тянется часа четыре, а Корделія — вся роль три странички.»

— «И какъ легка, батюшка! Чувство ея мнѣ такъ близко...»

— «Софи, ангелъ мой! — и такъ Король Лиръ...»

— «А что скажетъ Эдуардъ, батюшка?..»

— «Послушайте, дѣти мои! Пора кончить эту комедію. Послѣ бенефиса свадьба! Онъ человѣкъ свободный; я имѣю согласіе графа: онъ можетъ ѣздить съ женою по всей Европѣ; путешествіе и ему послужитъ въ пользу; познакомится съ Мейерберромъ; онъ теперь пишетъ для Парижа какую-то оперу; съ Мендельсономъ-Бартольди, съ Гуммелемъ; мы поѣдемъ въ Варшаву, тамъ Эльснеръ; будемъ и въ Петербургѣ, тамъ Мауреръ, а можетъ быть Фильдъ; тамъ есть хорошій драматическій театръ, тамъ г-жа Бауеръ... Не правда-ли?»

— «Какъ угодно, батюшка!» отвѣчала Софія Мюллеръ, глядя на отца со слезами, какъ-будто прощаясь съ нимъ на вѣки: «Какъ угодно; воля ваша; не знаю, къ чему свадьба; мы такъ счастливы нашею прекрасною любовію; мы такъ молоды; я боюсь свадьбы. Корделія, ты бы не умерла, еслибы отецъ тебя не согналъ съ глазъ своихъ, не отлучилъ отъ сердца, не спѣшилъ замужствомъ и раздѣломъ царства!.. Какъ угодно, какъ угодно...»

— «Господи Боже мой, Софи!» сказалъ отецъ: «Мнѣ ничего не угодно. Воля твоя! Что я? За совѣтъ сердиться нельзя... Какъ хочешь, какъ хочешь... Ну, мы еще поговоримъ объ этомъ... Не унывай, Эдуардъ! Докторъ, помогайте намъ; конечно, упрямство, но могу-ли не считать себя блаженнѣйшимъ отцемъ въ этомъ мірѣ!»

— «Батюшка!..» и Софія плакала на груди истинно превосходнаго отца.

—

III.

— «Вы слышали? Вы видѣли?» сказалъ Эдуардъ уже на улицѣ, удерживая меня за руку...

— «Странно, непонятно!» отвѣчалъ я... «Это болѣзнь! Ни капли благоразумія!.. Но, Эдуардъ, къ чему нетерпѣніе?.. Согласитесь, во всякомъ случаѣ исторія кончится свадьбою!»

— «Никогда, докторъ! Никогда! Я знаю чѣмъ вырваться изъ этого ада самаго нестерпимаго блаженства... Третій годъ, третій годъ!.. Виноватъ ли я, что глаза мои впали, лобъ изморщился, губы высохли, сонъ не хочетъ освѣжать меня иногда двѣ, три ночи сряду... Ради Бога, виноватъ-ли я? Докторъ, я не пойду домой! Въ грустномъ одиночествѣ, Богъ знаетъ, что приходитъ на умъ. Я боюсь моего ружья, боюсь бритвъ, крутой вышины моей кельи... всего, гдѣ является возможность смерти.»

— «Пойдемъ ко мнѣ!» сказалъ я...

— «Но вамъ нуженъ сонъ.»

— «Наше ремесло и безсонница — сосѣди; вы больны, а я вашъ медикъ и другъ...

— «А можетъ быть и душеприкащикъ.»

Сказавъ это, онъ такъ стиснулъ мою старую руку, что у меня слезы на глазахъ показались и пошелъ не со мной, а за мной безмолвно, грустно, опустивъ голову и руки.

Я поподчивалъ Эдуарда медицинскимъ чаемъ и онъ уснулъ въ креслахъ. — Просыпаюсь, гляжу, Эдуардъ что-то читаетъ съ особеннымъ любопытствомъ. Дрезденскіе врачи нанесли мнѣ множество

медицинскихъ книгъ своего издѣлія. Подымаюсь— въ рукахъ Эдуарда — Токсикологія, доктора С., глупѣйшая книжонка, которая однакоже надѣлала въ Германіи между профанами много шума, по занимательности анекдотовъ, въ которыхъ описаны дѣйствія отравъ. Примѣтивъ, что я проснулся, Эдуардъ торопливо бросилъ книжонку и сталъ ходить скорыми шагами по комнатѣ: ни слова не могъ я отъ него добиться; наконецъ онъ взялъ шляпу. «Прощайте, докторъ!» сказалъ и ушелъ...

—

IV.

Надо собираться въ дорогу; жаль мнѣ было новыхъ друзей; но я помочь не могъ. Какъ же однако уѣхать, не видавъ Софіи на сценѣ? И какой случай: сегодня донъ Карлосъ; она играетъ королеву; день не составляетъ счета. — Послѣ спектакля зайду къ нимъ, прощусь и уѣду ночью; а теперь утро надо посвятить обязанностямъ общежитія и отплатить внимательностью за внимательность.

Такъ разсудилъ я, съ трудомъ обошелъ моихъ братій по Эскулапу и натурально первый пригласилъ меня къ обѣду; тотъ же привѣтъ, тѣ же приглашенія у каждаго; ударило шесть часовъ, и я въ театрѣ. Подобной трагической труппы я не только не видалъ во всю продолжительную жизнь мою, но даже не воображалъ, чтобы гдѣ и когда нибудь можно было собрать столько превосходныхъ драматическихъ талантовъ. Цѣлость пьесы

была сохранена въ совершенствѣ; самыя малыя роли были исполнены съ невѣроятною отчетливостію и правдою; Альба, Лерма, Медина-Сидонія, всѣ они были точно герцоги, гранды Испаніи; а на иныхъ театрахъ малыя роли убиваютъ эффектъ, производимый игрою лучшихъ артистовъ, и оставляютъ самое непріятное впечатлѣніе въ душѣ зрителя. Особенно поразила меня постановка или обстановка пьесы; каждый бантикъ на башмакѣ, каждая пряжка, стулъ, подсвѣчникъ, все это было изъ Эскуріала Филипповыхъ временъ; даже картины, при нѣкоторыхъ историческихъ свѣдѣніяхъ. можно было называть по мастерамъ и сочиненію. Въ этой стройной, умной, талантливой труппѣ — Софія Мюллеръ появилась какъ солнце, предъ которымъ блѣднѣли прочія свѣтила дрезденской сцены... Очаровательная мелодія дикціи; отчетливость чувства; подробность въ оттѣнкахъ; естественность величія... О, маркеза, я не узналъ Софіи; мнѣ казалось, что Елисавета Валуа сама на сценѣ! — Превосходно вела она свою ролю до четвертаго акта; именно до свиданія съ маркезомъ Позой, когда онъ взялъ уже подъ стражу Донъ Карлоса; но здѣсь она вышла блѣдная, дрожащая; весь испанскій колоритъ исчезъ; играла Софія Мюллеръ, играла дурно, ошибалась въ стихахъ, и едва, едва окончила сцену... Въ антръ-актѣ толкамъ не было конца; я боялся бунта, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ; въ пятомъ актѣ еще хуже... Кончилась цьеса и публика разошлась въ безмолвномъ унынiи; какое-то предчувствіе го-

ворило, что Дрезденъ болѣе не увидитъ очаровательной королевы... Я бросился прямо въ квартиру Мюллеровъ; они еще не пріѣзжали изъ театра; проходитъ добрые полъ-часа; нѣтъ и нѣтъ. Что бы это могло значить; колокольчикъ; вѣрно пріѣхали; бѣгу вмѣстѣ съ слугой на встрѣчу; двери отворяются, и на лѣстницу ползетъ Эдуардъ; ползетъ, царапается съ ступеньки на ступеньку... «Что королева?» спросилъ онъ такимъ голосомъ, что у меня всѣ жилки задрожали.

— «Неужели, подумалъ я, Эдуардъ попалъ по слѣдамъ Гофмана! Ради Бога, что съ вами?..»

— «Докторъ! докторъ! Я не могъ сносить долѣе...» отвѣчалъ онъ дрожащимъ голосомъ: «Я счастливъ; сдержите слово, будьте моимъ душеприкащикомъ; у меня на столѣ письмо и двѣ надписанныя симфоніи; въ B-dur отошлите графу, недоконченную въ H-moll—моей Софіи...»

— «Что вы сдѣлали, отвѣчайте скорѣе? Я вижу, еще можно спасти васъ...»

— «Не смѣйте!» закричалъ онъ неистово...

— «Онъ здѣсь! Онъ здѣсь!» раздался голосъ Софіи... Отецъ и дочь вбѣжали и бросились къ несчастному...

— «Нѣтъ... Нѣтъ... онъ умеръ... Токсикологія... страница... Благодарю!..» были послѣднія слова Эдуарда; онъ скончался на моихъ рукахъ; Софія и старикъ Мюллеръ безъ слезъ и словъ стояли, сложивъ руки надъ трупомъ; люди плакали...

—

V.

Чувства Софіи помутились; ее подхватили и унесли въ спальню; отецъ за нею. Распорядясь по моей части, я принялся за мертвеца, и съ помощью Джіовани и добраго слуги Мюллера вступилъ въ права и обязанности дунеприкащика. Все происходило на моей квартирѣ; я позвалъ врачей, полицію, вскрылъ трупъ, и освидѣтельствовавъ желудокъ полувоспаленный, полуобъятый уже антоновымъ огнемъ, я нашелъ, съ помощью аптекарей, около драхмы мышьяку.

На другой день похоронили мы Эдуарда. Добрые мои знакомые ревностно мнѣ помогали. Отдавъ послѣдній долгъ несчастному, я прямо отправился къ Мюллерамъ; отецъ ходилъ по комнатѣ и курилъ трубку...

— «Чудеса, докторъ!» сказалъ онъ.

Я пожалъ плечами.

—«Сдѣлайте милость..»продолжалъ онъ: «не упрекайте Софіи, она съума сойдетъ; если можно, постарайтесь оправдать... Тсъ! Тише! она идетъ...»

Софія, вся въ черномъ, блѣдная, съ заплаканными глазами вошла въ гостинную; въ рукахъ письмо и еще какая-то бумага.

— «Докторъ!..» сказала она, увидавъ меня, и зарыдала...

— «Я предвидѣлъ несчастіе...» сказалъ я: «но предупредить не было возможности; онъ лишился разсудка — отъ музыки; настоящая причина заключается именно въ непомѣрномъ напряженіи музыкальныхъ органовъ; я нашелъ ихъ въ совер-

менномъ разстройствѣ, а въ письмахъ и журналѣ его—отразились всѣ муки человѣка, который не могъ вдругъ возвыситься на равную съ вами степень славы...» Я еще что-то лгалъ, но Софія не вѣрила...

— «Не оправдывайте меня! Молю васъ, не оправдывайте! Передъ четвертымъ актомъ я получила это письмо. Прочтите!..

Я прочелъ почти слѣдующее:

«Нѣтъ, Софія! Счастіе мое невозможно, или ваше должно разрушиться. Бѣжать отъ васъ?.. Я бѣжалъ, но недалеко... Теперь бѣгство и жизнь уже невозможны. Я не пугаю васъ своею смертію; вы бы презрѣли такія средства. Нѣтъ, я умираю!»

— «Батюшка!» вставъ, съ рѣшительностію сказала Софія: «Хотите спасти меня? Уѣдемъ отсюда; бросимъ бенефисъ! До него ли теперь?...»

— «Богъ съ нимъ!» сказалъ отецъ, взялъ шляпу и пошелъ; на другой день еще разъ вмѣстѣ мы пустились въ дорогу.

—

ВѢНА.

I.

Скоро мы разстались съ добрыми Мюллерами; они поѣхали въ Вѣну, а я въ Прагу, гдѣ познакомился съ графомъ Буклой, попалъ въ музыкальную исторію, которая стоитъ вашего вниманія, но не сегодня; она меня задержала въ Прагѣ лишнихъ двѣ или даже три недѣли; наконецъ и я пріѣхалъ въ Вѣну. — Посѣтивъ старыхъ

знакомцевъ, я разузналъ, гдѣ живутъ Мюллеры и вечеркомъ отправился къ нимъ. — Квартира ихъ была въ самомъ лучшемъ мѣстѣ города; у крыльца горѣли фонари, стояли кареты; весь этажъ былъ освѣщенъ. — «Середа!» подумалъ я; точно была середа; въ сѣняхъ остановилъ меня швейцаръ въ придворной ливреѣ.

— «Что вамъ угодно?» спросилъ онъ.

— «Здѣсь живетъ г. Мюллеръ?»

— «Здѣсь живетъ госпожа Софія фонъ Мюллеръ, Vorleserin! Какъ бы это перевести? La Lectrice, чтица, что ли, Ея Императорскаго Величества, съ отцемъ своимъ.»

— «Его-то мнѣ и нужно.»

— «Позвольте! Надо доложить. У васъ нѣтъ билета?»

— «Какого билета? Я сегодня пріѣхалъ въ Вѣну.»

— «А, извините, милостивый господинъ! Позвольте, сейчасъ!»

Раздался колокольчикъ; съ перилъ лѣстницы на верху перевѣсилась голова придворнаго лакея...

— «Не угодно ли сказать вашъ чинъ, санъ, имя, фамилію?...»

— «Докторъ Сильвіо да Теста!» сказалъ я съ неудовольствіемъ.»

— «Докторъ Сильвіо да Теста!» заревѣлъ лакей....»

— «Докторъ Сильвіо да Теста!» раздался отдаленный ревъ — и не прошло мгновенія, какъ на

верху лѣстницы показался самъ старикъ въ щегольскомъ нарядѣ.

— «Милости просимъ!» кричалъ онъ сверху: «Милости просимъ, мы васъ поджидали, и потеряли надежду васъ видѣть!»

Вхожу: рядъ комнатъ, пышно освѣщенныхъ; въ каждой карточные столы; игроки хранили мудрое молчаніе; мы прошли въ залу; тамъ молодежь кружилась въ шумномъ вальсѣ; что ни женщина, то красавица; что ни нарядъ, каррикатура; Вѣна имѣетъ свои моды; люблю я эту независимость, но люблю и вкусъ; а добрая, веселая Вѣна вкусомъ щегольнуть не можетъ.... «Гдѣ же хозяйка?» подумалъ я. Старикъ какъ будто угадалъ мой вопросъ.

— «Софія сейчасъ пріѣдетъ; она у Императрицы. Вы не узнаете ее, добрый докторъ, какъ, я думаю, не узнали нашего дома. Я раззоряюсь; выдумываю ей разсѣянье; стараюсь поселить страсть къ чему нибудь; напрасно; напрасно; все унесъ съ собою Эдуардъ.»

— «Поѣдемъ въ Италію, ко мнѣ, въ Комо!» сказалъ я: «Природа лучше всего лечитъ раны человѣческаго сердца....»

— О, еслибы только она согласилась! Императрица не откажетъ ей; она любитъ ее какъ дочь; Софи каждую недѣлю читаетъ Ея Величеству; Государыня, замѣчая грусть Софи, зоветъ ее довольно часто, вотъ и сегодня прислала неожиданно, и Софи такъ обрадовалась, и обнаружила, что эти вечера для нея въ тягость. Баста! Больше не

дамъ ни одного вечера. Представьте, она танцовала до перваго часа, полагая, что дѣлаетъ этимъ удовольствіе мнѣ, а я, дуракъ, раззоряюсь, воображая, что это сколько нибудь пріятно ей.»

— «Добрые чудаки!» подумалъ я.

— «Впрочемъ, докторъ, она васъ очень любитъ.—Узнайте, такъ, стороною, не сердится ли она на меня? Въ цѣломъ городѣ не нашелъ. Ей Богу, не нашелъ! Третьяго дня, возвратясь отъ Императрицы, она съ особеннымъ удовольствіемъ разсказывала, что за ужиномъ подавали какія-то большія испанскія сливы, ужасной величины и превосходнаго вкуса, и жалѣла, что приличіе не позволяло спрятать сливу въ мѣшекъ и привезти мнѣ въ гостинецъ. Вы можете себѣ представить: я обошелъ всѣ лавки; нанялъ карету; объѣхалъ сады; сливъ не нашелъ.... Впрочемъ, она можетъ быть сердится и за то, что я до сихъ поръ не замѣтилъ.... право не могло притти въ голову, . у меня есть любимый ящикъ, въ которомъ помѣщаются мои шахматы и шахматная доска; поверенуть — трикъ тракъ; поставить бокамъ — письменный столъ; на другую сторону — покойный табуретъ; сверхъ того тамъ множество разныхъ бездѣлушекъ. — Я всегда любовался, въ какой чистотѣ любезный мой Іоганнъ содержитъ всѣ мои вещи, въ особенности этотъ ящикъ. Никогда ни пылинки и вчера, оборачивая его для письма.... — надобно было выписать для Софи ролю....—не могъ не сказать спасибо Іоганну. «Чужаго на себя не возьму, отвѣчалъ слуга; это ваша дочь распо-

ряжается, пока вы спите, и мы съ Фрицомъ не смѣй этого ящика пальцемъ тронуть....» Представьте, а мнѣ и въ голову этого не приходило! — «А какъ теперь на нее, продолжалъ Іоганнъ, безсонница находитъ, то нерѣдко, гляжу сквозь щелку, цѣлую ночь кабинетъ вашъ убираетъ; уберетъ и садится за столъ, пишетъ, потомъ вымоетъ, оботретъ перо, а бумагу съ собой уноситъ, и когда вы встанете, она будто спитъ, а совсѣмъ не спитъ, потому что Гретхенъ слышитъ и видитъ, что не спитъ.» Зачѣмъ же вы этого не говорите? сказалъ я.... Іоганнъ перепугался и началъ умолять меня, чтобы я Софи ни слова не сказывалъ, а то она на нихъ будетъ сердиться. Я обѣщалъ. И ей Богу, самъ не знаю, что дѣлать? Помогите, докторъ! Сдѣлайте милость, помогите! Она васъ такъ любитъ...»

— «Счастливецъ!» сказала маркеза....

— «Дослушайте, дослушайте!...»

Не помню, что еще говорилъ Мюллеръ; вдругъ стукъ кареты прервалъ нашъ разговоръ.

— «Пойдемъ, побѣжимъ!» сказалъ онъ: «Софи пріѣхала.»

Хотя въ наши лѣта бѣгать не приходилось, однако же мы другъ отъ друга не отстали и успѣли встрѣтить Софію на лѣстницѣ....

— «Докторъ, докторъ!...» съ трепетомъ сказала она, и чувства ея помутились; мгновенное волненіе; она отдохнула на лакейской скамьѣ, и мы ввели ее въ комнаты, съ обѣихъ сторонъ однако же поддерживая....

Да! Точно ее трудно было узнать! Не тѣ глаза, тусклые, покрытые неисходной слезою; не та уже бѣлизна мраморнаго чела; морщинки... морщинки въ такія раннія лѣта; въ поступи — изнеможеніе; въ лицѣ выраженіе тайной боли, страха; изрѣдка легкій кашель; то жаръ, то холодъ въ рукахъ и примѣтное измѣненіе въ формѣ пальцевъ.... «Плохо, плохо!» подумалъ я Когда она обошла всѣхъ гостей, всѣхъ одарила ласковымъ привѣтомъ, пріятнымъ словомъ, нарушила въ комнатахъ карточную тишину, а въ залѣ прервался вальсъ и музыка затихла.... О, въ этомъ появленіи Софи было что-то торжественное, величественное и трогательное! Не знаю, почему мнѣ было жаль Софіи. «Не долго она съ вами пробудетъ...» говорило мнѣ сердце. Она подошла ко мнѣ: «Пойдемъ, докторъ, присядемъ, давно мы съ вами не видѣлись.» Мы усѣлись; съ одной стороны я, съ другой отецъ.

— «Что, Софи. какъ здоровье Ея Величества?»

— «Ахъ, батюшка, я и забыла; Государыня приказала вамъ поклониться. Какъ только я вошла, тотчасъ спросила о вашемъ здоровьи.»

— «Добрая Императрица!» со слезами сказалъ старикъ: «Этой честію, этимъ счастіемъ я обязанъ тебѣ.» И поцѣловалъ ея руку

Софія, прижимая руку отца къ устамъ, тихо сказала: «Всѣмъ, всѣмъ, кромѣ моихъ глупостей и недостатковъ, я обязана вамъ, батюшка....»

— «Что же вы читали сегодня?»

— «Новые стихи Гёте и еще письма какого-то остряка....»

Софи закашлялась довольно сильно.

— «Что съ тобой, Софи?» поблѣднѣвъ, спросилъ отецъ.

— «Насморкъ.... Пустяки....»

— «Постой! Чего нибудь сладкаго.... «сказалъ Мюллеръ, и побѣжалъ изъ залы....

— «Не пустяки...» сказалъ я: «и не насморкъ...»

— «Вы знаете! Ради Бога, не говорите батюшкѣ. Я лечусь, и лечусь очень старательно; но заклинаю васъ....»

Подошелъ отецъ съ подносомъ фруктовъ.

— «Вотъ, другъ мой, чего хочешь?...»

— «Позвольте, батюшка!...» вставъ и схвативъ подносъ, сказала Софія....

— «Сиди, сиди, занимай дорогаго гостя, а ужъ хозяйничать я буду....» отвѣчалъ старикъ и опять ушелъ.

— «Перестаньте танцовать!» сказалъ я:« На время перестаньте играть на театрѣ и читать Ея Величеству.... Я въ свою очередь заклинаю васъ....»

— «Да еще нѣтъ ничего опаснаго....»

— «Долго ли до бѣды?...»

— «Въ пятницу, послѣ завтра, въ послѣдній разъ, докторъ, и потомъ не буду играть съ мѣсяцъ; какъ нибудь отдѣлаюсь.»

— «Нельзя ли не играть и въ пятницу?»

— «Корделію, докторъ, самая легкая роль....»

— «А потомъ?...»
— «Потомъ, слово — играть не буду...»

—

II.

Непокойно провелъ я ночь послѣ нашего свиданія; но неумолимый Джіовани рано разбудилъ меня докладомъ, что кто-то болѣе часа ожидалъ моего пробужденія; я всталъ, входитъ незнакомецъ весьма красивой наружности.

— «Имѣю честь себя рекомендовать, докторъ Фроли...»

— «Добро пожаловать!.. Вѣрно съ книгою...» подумалъ я. Въ Германіи докторъ рѣдко знакомится безъ книги: едва успѣетъ кончить курсъ наукъ, и пишетъ книгу. Похвальное усердіе, но каково же намъ, ветеранамъ, которые прочитали все, что только дѣльнаго прочитать можно; каково намъ, не говорю критически разсматривать, нѣтъ, а только перелистывать эти зеленые листки растеній, которымъ такъ далеко до цвѣта! На этотъ разъ я непріятно ошибся; ужъ лучше бы принесъ онъ диссертацію о томъ, какъ сохранять ногти, нежели... Но слушайте, слушайте!..

— «Вчера...» такъ началъ онъ: «имѣлъ я счастіе васъ видѣть въ домѣ г-на Мюллера и замѣтилъ дружескія отношенія ваши съ хозяйкой... Положеніе мое-самое непріятное, г. Теста... Я лечу— Софію...

— «Ради Бога!» сказалъ я подвигая кресла: «Что съ нею?..

—«По моимъ наблюденіямъ она очень опасна...» Онъ пересказалъ мнѣ всѣ признаки болѣзни, но весьма сбивчиво. Мнѣ показалось, что у бѣдной Софіи десять разныхъ недуговъ и эта дорогая жизнь въ рукахъ врача неопытнаго, и кажется весьма плохаго... Надо пойти, посмотрѣть, не откладывая: можетъ быть Богъ и опытность мнѣ помогутъ.

— «Видите, господинъ Теста!» прервалъ онъ мои размышленія: «Я влюбленъ въ дѣвицу Мюллеръ! — Когда я открылся въ любви, она отвѣчала: есть важное препятствіе; я больна; вылечите, тогда подумаемъ; но вылечите такъ, чтобы батюшка не могъ имѣть малѣйшаго подозрѣнія о моей болѣзни. Я должна играть на театрѣ, читать Императрицѣ...

— «И вы позволили?» сказалъ я съ неудовольствіемъ.

— «Слѣпая любовь!.. Я надѣялся...»

— «Пойдемъ!» сказалъ я...

— «Что вы хотите дѣлать?..»

Я не отвѣчалъ; я видѣлъ, что съ нимъ мнѣ говорить нечего; взялъ шляпу и пошелъ къ Мюллерамъ. Прихожу. Дома нѣтъ; на репетиціи...

Прихожу ввечеру; у Императрицы, а г. Мюллеръ куда-то поѣхалъ, никто не знаетъ...

Я зашелъ къ одному знакомому врачу, который жилъ въ той же улицѣ и возвращаясь, опять завернулъ къ Мюллерамъ.

— «Дома?»

— «Дома. Но легли спать!»

— «Спятъ?

— «Спятъ!» заикаясь отвѣчалъ Іоганнъ. — Я вспомнилъ разсказъ старика.

— «Не правда! Она въ кабинетѣ, сказалъ я.

— «Какъ вы это знаете?» спросилъ Іоганнъ, поблѣднѣвъ.

Мнѣ хотѣлось видѣть Софію одну; случай самъ представился и я отвѣчалъ:

— «Знаю, потому что она меня ожидаетъ... Пойдемъ.»

— «Это ты, Іоганнъ?» отирая перо, спросила Софія...

— «И не одинъ... Докторъ Сильвіо да Теста хочетъ васъ видѣть...»

— «Постой, я надѣну платокъ...

— Не безпокойтесь, Софія! Наше свиданіе, даже въ такую пору и при такихъ странныхъ обстоятельствахъ, не можетъ повредить вамъ. Пожалуйте вашу руку.. Садитесь, намъ надо переговорить...»

— «О чемъ, докторъ?..» съ примѣтнымъ испугомъ спросила Софія.

— «Вы больны и больны не хорошо.»

Я разсказалъ ей свиданіе съ Фроли и мои опасенія...

— «Теперь судите, дорогая Софія, могъ ли я откладывать наше свиданіе; разскажите мнѣ подробно, какъ вы себя чувствуете?..»

Съ каждымъ вопросомъ опасенія мои возрастали... Перо попало въ руки мои больше по привычкѣ, нежели отъ умысла; бумага лежала на столѣ и я написалъ коротенькую записку: «Дѣ-

вица Мюллеръ завтра играть не можетъ, по причинѣ болѣзни. Сильвіо Теста...»

— «Что вы, что вы, докторъ! Лучше умру, нежели обману Императрицу. О! лучше три раза умру, нежели огорчу добраго отца моего!..»

— «Такъ умрете, умрете непремѣнно и скоро. И не огорчите, а убьете вашего родителя!

—«Докторъ! Но посмотрите ролю, посмотрите!»

Я удивился... Всего три странички!

— «Какъ вы должны быть одѣты?» спросилъ я.

— «Какъ хочу. Времена баснословныя...»

— «Платье съ фрезой на шеѣ, и длинными рукавами; теплыя ботинки, на головѣ ничего; слышите ли?»

— «Слушаю.»

— «Послѣ спектакля въ постель и — вотъ это лекарство; черезъ часъ по двѣ столовыя ложки или полъ-чашки; пока не уснете, каждый часъ принимайте. Послѣ завтра я приду въ свое время: А теперь Іоганнъ пойдетъ со мной, мы зайдемъ въ аптеку и я пришлю вамъ— сонъ, котораго вамъ искренно желаю...»

— «Но батюшкѣ, ради Бога, ни слова!..»

— «Завтра ни слова...»

— «И послѣ завтра, и послѣ...»

— «Сладимъ, сладимъ!.. Спокойной ночи!...»

— «Боже мой! Кажется, батюшка идетъ!.»

Софія со свѣчкой исчезла... Іоганнъ спряталъ меня въ своей комнатѣ; вдругъ я вспомнилъ, что на столѣ записка и рецептъ — и Іоганнъ отправился снова въ кабинетъ. Едва успѣлъ онъ схватить наши тайныя бумаги, вошелъ старикъ...

— «Это ты, Іоганнъ?»

— «Я...»

— «Кажется, здѣсь громко говорили?»

— «Это я сердился на Франца, что осенью окна не заперъ, и вѣтеръ чуть не разбилъ...»

— «Прощай, Іоганнъ! Слава Богу...» сказалъ Мюллеръ, уходя: «Это не она...»

Мы вышли изъ дома... Дорогой Іоганнъ безпрерывно повторялъ съ глубокимъ вздохомъ: — «Jesus Maria! Въ первый разъ въ жизни я обманулъ моего друга!»

—

III.

Вся Вѣна стояла у театра, и съ билетомъ трудно было протѣсниться. «Добрая Вѣна! Жаль мнѣ тебя, Вѣна!» подумалъ я. Говорите послѣ этого, что люди лишены инстинктуальныхъ предчувствій; животныя задолго предчувствуютъ изверженіе Везувія и заблаговременно удаляются; птицы, еще очень тепло, а уже тянутся къ югу... а люди, по крайней мѣрѣ на сей разъ, это было предчувствіе. Роль Корделіи такъ ничтожна, такъ мала, такъ не развита; и вся пьеса, кромѣ одного характера Эдмунда... и то не въ началѣ... право, для меня было непонятно, какъ люди могутъ слушать мучительный, невѣрный ревъ старика, смотрѣть на этотъ рядъ смертей, которыхъ не поймѣтъ никакой медицинскій геній. Двѣ дочери изволили лишить себя жизни за сценой, но Лиръ на сценѣ взялъ и умеръ; Кентъ сказалъ два стиха, и

такъ, изъ угожденья Лиру, взялъ да и умеръ. Шекспиръ воспользовался привилегіей театральнаго убійства и хуже нашего брата моритъ людей... Въ прежніе вѣка это нравилось публикѣ, когда театръ спорилъ о первенствѣ съ травлей и охотой, но почему это понравилось Нѣмцамъ, людямъ тихимъ, спокойнымъ, — понять не могу; должны быть особенныя причины, — и размышляя о нѣмецкомъ шекспиризмѣ, я вошелъ въ театръ.

Почти въ то же мгновеніе поднялась занавѣсъ. И Лиръ не замедлилъ явиться, не изъ причуды, а просто изъ глупости разсердился на Корделію; конечно, такъ нужно было для дальнѣйшаго хода драмы; но Корделія совсѣмъ незастѣнчива, какъ думаетъ женихъ ея, король французскій; а Лиръ больше всѣхъ любилъ ее и не стало капли ума понять, что она говоритъ дѣло, что она дѣлаетъ честь ему, глупому отцу, за воспитаніе, которое онъ далъ этой дочери, за то, чѣмъ онъ долженъ былъ гордиться, Корделію прочь съ глазъ и съ какими проклятіями! И звѣрю-отцу они не придутъ въ голову; ихъ можно сочинить только за письменнымъ столомъ, и то не въ добрую минуту... Но какъ бы то ни было, Корделія сказала свой превосходный отвѣтъ, но какъ сказала! О! публика не знала, отъ чего она такъ сказала... Я позабылъ Шекспира, хотя горячо люблю его красоты, и кажется понимаю его недостатки; но это мѣсто принадлежитъ къ тѣмъ, которыя не легко забываются. Не знаю, буду ли я вѣренъ, но вотъ что отвѣчала Корделія: «Вы дали мнѣ жизнь,

Государь, воспитали меня... любили... Я плачу вамъ, чѣмъ долгъ велитъ. Люблю, почитаю и повинуюсь! Если сестры мои говорятъ, что любятъ васъ больше всего на свѣтѣ, чѣмъ же будетъ для нихъ мужъ? Если судьба опредѣлила и мнѣ выйдти замужъ, то кому я дамъ супружескій обѣтъ, тому подарю и половину любви моей, заботъ и обязанностей. Конечно, я никогда не выйду замужъ, единственно для того, чтобы любить только отца!»

Софія сказала это такъ, что я почти слышалъ продолженіе отвѣта въ сердцѣ Корделіи: «И вотъ почему я никогда не выйду замужъ!..» Кромѣ того, въ отвѣтѣ было такъ много страданія, такъ много грусти, скорби, опасеній, что я не хуже Лира проклиналъ себя, за чѣмъ позволилъ играть Корделію... Пришла предпослѣдняя сцена Корделіи, когда Лиръ просыпается и на время выходитъ изъ сумасшествія... Корделія была не своя... Не много словъ въ этой сценѣ; не много дѣйствія; но она была продолжительна, слишкомъ продолжительна по чудному искуству Софіи... Когда она призывала богиню врачеванія, чтобы она устамъ Корделіи сообщила цѣлебныя свойства, и поцѣлуемъ хотѣла выпить изъ старика печали, испытанныя имъ отъ старшихъ дочерей... О! въ эту минуту раскрылось въ лицѣ преображенной Софіи все небо дочерней любви; и она, и всѣ плакали... Послѣ спектакля публика еще два раза увидѣла Софію, по вызову на сцену и въ ложѣ Императрицы. «Слава Богу, кончилось!» подумалъ я: «она сдержитъ слово...» и уснулъ по-

койно... но не на долго... Будятъ... иду... Боже великій!.. Опасенія мои сбылись сторицей...

—

IV.

Сильная горячка метала несчастную; кругомъ толпа врачей; въ другой комнатѣ стоны отца... Костюмъ Корделіи еще на ней, но она уже играла роль Лира; сильный бредъ, слова мѣшались; то она видѣла отца въ ужасѣ при своемъ гробѣ; то шумную толпу, то бросала цвѣты на гробъ Эдуарда; врачи стояли и спокойно разсуждали, когда больную съ трудомъ могли удержать Фрицъ и Гретхенъ... Я не могъ скрыть моего негодованія, и какъ умѣлъ, спѣшилъ помочь несчастной; сложность болѣзни, неизвѣстность ея оборота, успѣхи горячки, все колебало мое обычное хладнокровіе... Софія затихла.

Врачи все еще разсуждали. Я поцѣлъ къ отцу... У окна старикъ и Іоганнъ, обнявшись, рыдали; въ рукахъ Мюллера моя записка... Оба бросились ко мнѣ и цѣловали руки. Я съ умысломъ не скрылъ опасности... Испугъ остановилъ рыданія; тогда на помощь я призвалъ надежду, хотя самъ ей не вѣрилъ... «Спасайте, г-нъ докторъ, спасайте ее! Она васъ такъ любитъ...»

—«Искуство мое слишкомъ слабо...» отвѣчалъ я: «Соберите опытнѣйшихъ здѣшнихъ врачей. Посовѣтуемся...»

Въ четвертомъ часу ночи почти всѣ съѣхались, всѣ, т. е. тѣ, которыхъ я назначилъ; толпа, найденная мною у одра больной, была не что иное,

какъ сбродъ врачей, собранныхъ на удачу испуганными людьми Мюллера. Почтенные мои собратья съ истиннымъ, неподдѣльнымъ участіемъ принялись за дѣло; я скрылъ отъ нихъ одного Эдуарда... Въ средствахъ мы скоро согласились, но никто не рѣшался принять на себя исключительнаго пользованія; болѣзнь, при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, еще казалась излечимою, но требовала, по нашимъ соображеніямъ, слишкомъ много времени, а я никакъ не могъ остаться долѣе недѣли. Положили пользовать Софію соборно, пока не минуетъ опасность... Врачи разъѣхались... я сообщилъ Мюллеру ихъ надежды и уложивъ въ постель, сѣлъ возлѣ несчастнаго; всю ночь онъ разсказывалъ чудеса о своей Софіи; даже мысль о снѣ не приходила на умъ бѣдному... Я навѣдывался къ больной и каждый разъ приносилъ старику новую надежду... Вдругъ вбѣжала Гретхенъ... «Проснулась...» Не всегда благодаримъ мы Бога за медицинскія свѣдѣнія, но на сей разъ я не могъ удержаться отъ благодарной молитвы... Consilium опять собрался, остался весьма доволенъ и больною и ея навязчивымъ докторомъ... Мюллеръ сталъ покойнѣе; я воротился домой и отъ безсонницы, безпокойства и другихъ ощущеній, слегъ въ постель — и слегъ не на шутку...

—

V.

Въ болѣзни меня утѣшало и участіе вѣнскихъ врачей и добрыя вѣсти о состояніи здоровья Софіи. По разсказамъ, она быстро оправлялась; главный

недугъ, конечно, требовалъ времени, но она уже ходила по комнатѣ; отецъ читалъ ей газеты, собиралъ гостей, составлялъ музыкальные вечера и позволялъ играть только квартеты Гайдена. По его медицинскимъ понятіямъ, Бетговенъ и здороваго сдѣлаетъ больнымъ; я не большой знатокъ въ музыкѣ, особенно германской, и не знаю: правъ или нѣтъ старый Мюллеръ; ко мнѣ во все время болѣзни онъ не зашелъ ни раза; я и не обвинялъ его; наконецъ я выползъ изъ постели, а вскорѣ изъ дома и прямо къ Мюллерамъ. Весь домъ былъ въ волненіи; нигдѣ не могли отыскать Софіи; отецъ бѣгалъ изъ комнаты въ комнату, какъ полоумный; ничего не понималъ, что ему говорили; искалъ въ шкафахъ, и не преувеличивая, въ забытьи, отворялъ ящики въ столахъ и съ бѣшенствомъ ихъ захлопывалъ... «Вѣрно она пошла прогуляться...» сказалъ я: «Погода чудесная; конечно ей нельзя, я полагаю, осенью, въ сырость, выходитъ изъ дома; но можетъ быть никого не было; солнышко свѣтитъ въ окошко, грѣетъ; дай, подумала, подышу чистымъ воздухомъ. .» Отецъ уже былъ на лѣстницѣ, на улицѣ, исчезъ... Люди бросились въ спальню, не нашли любимаго чернаго бархатнаго платья; не нашли теплой мантильи и ботинокъ, и брильянтоваго крестика съ золотой цѣпочкой, подареннаго Императрицей... Между тѣмъ собрались и гости, приглашенные къ обѣду; всѣ были огорчены поступкомъ Софіи; съ нетерпѣніемъ ожидали возвращенія; подъѣхала придворная карета: два каммергера ввели Софію подъ руки; смертная блѣд-

ность на лицѣ; дыханіе захватывало; раздался сильный, тяжелый кашель... но при всемъ томъ она была весела, счастлива и, не успѣвъ еще отдохнуть порядочно, сказала придворной дамѣ, которая вмѣстѣ съ нею пріѣхала:

— «Доложите Ея Величеству, что только одинъ Богъ можетъ наградить Государыню за такія милости, и что, безъ позволенія моей благодѣтельницы, я не сдѣлаю изъ дома ни шага... Примите мою благодарность, графиня, и вы, господа, за вашу заботливость и честь...»

Опять закашлялась... Придворные уѣхали. Мы окружили Софію; вбѣжалъ отецъ, растолкалъ насъ всѣхъ и остановился предъ Софіей, какъ вкопаный, сложивъ руки и не смѣя вымолвить слова.

— «Простите, батюшка, меня не пускали; я почла долгомъ позаботиться объ этомъ дѣлѣ и тихонько улизнула во дворецъ..» сказала Софія и подала отцу бумагу... Онъ пробѣжалъ...

— «Мнѣ, мнѣ пенсіонъ до смерти!..» закричалъ онъ, уронивъ бумагу: «И за меня ты просила Императрицу, и за меня ты жертвовала жизнью? О, зачѣмъ я давно не умеръ!»

— «Успокойтесь, батюшка, мнѣ помогъ чистый воздухъ, мнѣ такъ легко... Садитесь, батюшка... Поговоримъ, потолкуемъ... время бѣжитъ... вечеръетъ... Ближе, батюшка, ближе!.. Дайте мнѣ вашу руку... Вотъ такъ! Ахъ, какъ еще хорошо и на этомъ свѣтѣ!..

Умиленные гости, мы смотрѣли на нихъ съ любовію и горькимъ, горькимъ сожалѣніемъ.

— «Батюшка!» сказала Софія, взглянувъ на насъ: «Не пора-ли обѣдать? Я всѣхъ задержала.»

— Сейчасъ, сейчасъ, мой другъ!» отвѣчалъ отецъ и побѣжалъ въ столовую... Не помню, кто-то изъ гостей, желая ли ободрить больную, или точно вѣруя въ скорое исцѣленіе Софіи, сказалъ ей:

— «Ну, слава Богу, теперь вамъ примѣтно лучше; скоро мы васъ увидимъ на поприщѣ вашихъ очаровательныхъ побѣдъ; а въ какой пьесѣ вы первый разъ покажетесь нетерпѣливой Вѣнѣ?..»

Софія поглядѣла на всѣхъ насъ съ умоляющей улыбкой, какъ-будто хотѣла сказать: «Скажу, только не выдайте!» и шепотомъ, наклонясь къ намъ, отвѣчала: «въ драмѣ Раупаха: Отецъ и дочь!»

Всѣ вздрогнули...

VI.

Ночью разбудили меня... Прихожу... Встрѣчаю одного изъ врачей. Спрашиваю...

— «Черезъ часа два, не больше..» отвѣчалъ онъ тихо... Я вошелъ въ спальню. Простите! Здѣсь я долженъ окончить разсказъ мой и задернуть занавѣсъ постели моей страдалицы... Агонія продолжалась нѣсколько часовъ... Во все это время она бесѣдовала съ отцемъ и Эдуардомъ... Послѣднія слова ея были: «Руку! руку! Эдуардъ!.. Руку, дорогой супругъ! Навсегда! До гроба и за гробомъ! Батюшка, благословите!»

СКАЗАНІЕ
О
СИНЕМЪ И ЗЕЛЕНОМЪ СУКНѢ.

I.

ЛѢТНІЙ САДЪ.

Былъ день воскресный. Петербургскіе жители отполудничали и со всѣхъ сторонъ стекались къ Лѣтнему Саду; до тысячи лодокъ толпилось у плохой пристани, укрѣпленной сваями и фашинами. Дворецъ не былъ еще оконченъ, но вчернѣ уже возбуждалъ любопытство дѣятельныхъ горожанъ, которые цѣлую недѣлю не посѣщали Лѣтняго Сада; въ пяти тысячахъ домовъ, существовавшихъ тогда въ Петербургѣ, жильцевъ было немного, но за то лѣтомъ, въ воскресные и праздничные дни, всѣ пять тысячъ домовъ, послѣ трехъ часовъ по полудни, оставались впустѣ, и Лѣтній Садъ кипѣлъ самыми разнообразными толпами народа. Отъ Калинкинской до Татарской Слободы, отъ Лавры до Пряжки, изо всѣхъ отдаленныхъ переведенскихъ слободъ, съ Васильевскаго Острова, изъ Французской Слободы и съ Охты, все народонаселеніе приходило, или, лучше, приплывало въ Лѣтній Садъ, слушать музыку, и гулять по указу.

Въ іюнѣ 1711 года, хозяина не было дома. Государь былъ въ отлучкѣ, но воскресныя гулянья не прекращались. Меньшиковъ и Брюсъ строго наблюдали за исполненіемъ монаршей воли. Музыка гремѣла вдали на Царицыномъ Лугу, тогда еще покрытомъ деревьями, кустарникомъ и проѣзжими дорогами; многіе изъ важнѣйшихъ сановниковъ, съ женами и дочерьми, прогуливались въ красивыхъ одноколкахъ, щелкали бичами, и стукомъ колесъ заглушали и сбивали неопытныхъ музыкантовъ. Капельмейстеръ изъ солдатъ, ради порядка и большей вѣрности, билъ тактъ въ огромный турецкій барабанъ; нерѣдко четверти такта считалъ по лбамъ и спинамъ неискусныхъ товарищей, отчего и самъ не всегда попадалъ въ ладъ, и отъ усердія умножалъ суматоху. Впрочемъ расположеніе къ музыкѣ такъ было незначительно, что публика обращала все свое вниманіе только на ловкость и дѣйствительность мѣръ распорядительнаго капельмейстера, да и слушателей было весьма не много... Къ дальней части сада, у Аничкиной Слободы, примыкала мазанковая австерія, съ особымъ садикомъ и низкимъ заборомъ; въ садикѣ всѣ столы были обсыпаны посѣтителями; весь заборъ покрытъ сидящими гостьми; всѣ руки заняты чарками и закусками; аллеи и дорожки, направленныя къ австеріи, чернѣлись отъ *любопытныхъ*. Лучшее общество сидѣло у новоначатаго грота, передъ главнымъ фонтаномъ. Молодой Графъ Растрелли спорилъ съ Леблономъ; Трецини и Матарнови держали сторону соотечественника; Шверт-

фегеръ и Гербель отстаивали знаменитаго Леблона... Дивное дѣло! Въ 1711 году, въ новорожденномъ Петербургѣ уже разговаривали объ изящномъ, о вкусѣ, о художествахъ... Земцовъ, слушая заморскихъ зодчихъ, улыбался и глядѣлъ съ удовольствіемъ на восторженнаго Растрелли. Молодой Графъ былъ уже по душѣ Русскимъ; обожалъ Петра не безсознательно, съ увлеченіемъ юноши, съ сочувствіемъ генія. На площадкѣ передъ гротомъ сидѣлъ Матвѣевъ, и писалъ съ натуры видъ Лѣтняго Сада, масляными красками. Толпа иностранцевъ составляла публику этого кружка; Русскихъ здѣсь было не много. Такъ называемый образованный классъ, не многочисленный и разнородный, тѣснился у звѣринца. Звѣри тихаго десятка безбоязненно прогуливались по всему огромному пространству Лѣтняго Сада; особенно забавляла посѣтителей одна серна: она внимательно слушала музыку, ѣла и пила изъ рукъ, ласкалась ко всѣмъ, и вдругъ убѣгала, увлекая за собою толпу знакомцевъ. Звѣри хищнаго порядка, за высокою желѣзною рѣшеткою, сидѣли въ клѣткахъ съ колесами, или были на цѣпяхъ привязаны къ деревьямъ. Италіянецъ, у кого была заторгована эта небольшая коллекція, ходилъ медленно у рѣшетки, съ огромнымъ желѣзнымъ прутомъ, и объяснялъ публикѣ зоологію въ лицахъ... «Это господинъ иностранный волкъ...» говорилъ онъ, указывая на шакала: «кушаетъ на обѣдъ цѣлая барана; четыре годъ старъ; смирная животная, а это господинъ лiонардо, африканскій кошка,

имѣетъ весьма острые зуба и ногти; два годъ старъ; былъ въ Парижѣ и Амстердамѣ; видѣлъ королей и знатны персонъ. Кушаетъ человѣкъ...»

— «Ахъ, какія страсти! Уйдемъ-те батюшка!» сказала молодая дѣвушка, прижимаясь къ пожилому человѣку въ синемъ мундирѣ...

— «Ничего, душечка!» отвѣчалъ онъ: «Не бойся! Тальянецъ шутитъ; за то ему Государь и платитъ, чтобы народъ тѣшилъ; ну, сама погляди, куда этакой дряни человѣка съѣстъ... Сказки!..»

— «Совсѣмъ не сказки, Иванъ Степанычь!» сказалъ кто-то въ зеленомъ мундирѣ, ударивъ толкователя по плечу.

— «Семенъ Михайлычъ! Ты ли это, ваше высокоблагородіе! Откуда?»

— «Я, и не одинъ...» отвѣчалъ С. М. Блеклый, полковникъ одного изъ полевыхъ армейскихъ полковъ: «Вотъ и Митю въ Петербургъ притащилъ. Погляди, какъ его за моремъ изуродовали! Какъ пріѣхалъ къ матери, Прасковьѣ Андреевнѣ, такъ чуть было деревня не разбѣжалась... Нѣмецъ, кричатъ, Нѣмецъ! Онъ по-русски заговорилъ, сказки; онъ въ церковь, не вѣрятъ; Нѣмецъ, да и полно... А на ту пору и я въ отпускъ пріѣхалъ... Вижу, не житье ему въ деревнѣ, да и не на то я его прочилъ. Ну, сосѣдъ, помнишь, какъ мы съ тобой смѣкали?»

— «Отъ такой чести, ваше высокоблагородіе, я никогда не прочь; да пускай, знаешь, сами сойдутся.»

— «Дѣло, дѣло сосѣдъ! Ну, каково идетъ твоя служба?»

— «Чего ваше высокоблагородіе, вотъ уже пятый годъ, сержантомъ гвардіи; ужъ кто меня не обогналъ! Вотъ изволь припомнить Прокопку Ермолаева, недоросля, сына казненнаго стрѣльца, что у васъ же въ деревнѣ въ некруты взяли, кажется...»

— «Помню, помню.»

— «Уже полковникомъ!»

— «Полковникомъ?»

— «Да еще и какимъ полковникомъ! Не то что ваше высокоблагородіе, не во гнѣвъ будь сказано, а при его свѣтлости Князѣ Александрѣ Даниловичѣ неотходно...»

— «Да въ какихъ же баталіяхъ онъ отличился? Я почитай во всѣхъ былъ; про Ермолева не слыхалъ...»

— «Въ баталіяхъ? Эхъ, ваше высокоблагородіе, иной разъ баба хуже крѣпости; приступу нѣтъ; капитуляціи и за сто червонныхъ не подпишетъ, смѣкаешь? А онъ на это мастеръ, а его свѣтлость, въ добрый часъ будь сказано, красный товаръ любитъ; не я говорю, другіе... такъ сказать... не выдай ваше высокоблагородіе!..»

Семенъ Михайловичъ улыбнулся, и отвѣчалъ: «Такъ нечего и завидовать; ты на такую службу не пойдешь.» И вѣроятно, желая скорѣе перемѣнить разговоръ, продолжалъ: «А какъ у васъ въ Петербургѣ стало важно! Я, надо быть, лѣтъ восемь не бывалъ; оставилъ болото, а нашелъ

городъ, хоть куда. Митя говоритъ вздоръ. Славны бубны за горами. Слышь, Иванъ Степанычь, Митя толкуетъ, будто Петербургъ другимъ заморскимъ городамъ и въ предмѣстье не годенъ!..»

— «Семенъ Михайлычъ!» сказалъ Сержантъ съ чувствомъ: «Вѣдь погляди! Молодость-то какая! Что взыскивать? Обмолвился твой сынокъ, вотъ и все тутъ. Петербургъ не другой какой городъ. Видѣли вы большой фонталъ?..»

— «Видѣлъ. Да что братъ, въ фонталѣ вода даромъ пропадаетъ.»

— «Оно конечно; да Петербургъ не Москва; воды много; ущерба нѣтъ, а кашкаду изволилъ видѣть?»

— «Нѣтъ!»

— «Ой ли! Такъ значитъ и болвановъ таліянскихъ не видалъ? Ну, Семенъ Михайлычъ, чудо, не рожи; только что бѣлыя, да безъ глазъ, а то просто живыя; въ первый разъ, признаюсь, струсилъ; думалъ, что выходцы съ того свѣта, а потомъ ничего, попривыкъ... Пойдемъ, поглядимъ! Ужъ говорю тебѣ, ваше высокоблагородіе, что и Дмитрій Семенычъ языкъ прикуситъ.»

— «Отчего же не пойти? Грѣха нѣтъ...»

— «Ну, этого навѣрное не скажу; конечно оно таки все идолы; этого мнѣ и на умъ не приходило... Да можетъ быть, съ нихъ чары и соблазнъ сняли, потому что ономнясь чернецъ мимо проходилъ и не отплевывался...»

— «Ну такъ, нечего и думать. Пойдемъ!»

Не успѣли они войти въ аллею, ведущую къ

каскадамъ, и украшенную мраморными статуями, толпа преградила имъ дорогу. Весь народъ пятился и старался дать кому-то мѣсто. Вскорѣ волны народа раздвинулись, и собесѣдники увидѣли почтеннаго генерала, дороднаго и высокаго; не смотря на бѣлизну волосъ, глаза старца сверкали; онъ шелъ довольно скоро и бодро, поглаживая длинные усы, придававшіе строгому лицу видъ суровый, грозный. За нимъ шли: адъютантъ, нѣсколько гвардейскихъ офицеровъ въ синихъ мундирахъ, и тмочисленная толпа народа. Когда генералъ поровнялся съ нашими знакомцами, глаза его остановились на Блеклымъ, и онъ протянулъ руку.

— «Здавствуй, товарищъ!» сказалъ Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій: «Что, ты не узнаешь меня? Посидѣлъ, братъ, на привязи, да больно длинно привязали: я веревку и отгрызъ...»

— «Князь Яковъ Ѳедоровичъ! Вотъ привелъ Богъ свидѣться!.. Да какъ же ты это, Князь, изъ полона, безъ размѣна?»

— «Э, Долгорукіе безразмѣнные! Приходи ко мнѣ Семенъ, я старому другу радъ. До свиданія!»

И Князь пошелъ дальше со свитой, которая постоянно возрастала. Не прошло еще двухъ недѣль, какъ Князь избавился отъ шведскаго плѣна, по выраженію Петра Великаго, чудеснымъ образомъ. Народъ смотрѣлъ на него, какъ на избавленника чрезъ посредство высшихъ силъ, и не могъ наглядѣться на мужа, извѣстнаго храбростью и совѣтомъ...

— «Ну, сосѣдъ...» сказалъ Полковникъ, потирая себя по лбу: «все дивно: и фонталы и каскады, и машкары и болванчики, да ужъ Князя-то я не думалъ встрѣтить. Нечего сказать, городокъ! Какихъ чудесъ не увидишь!»

Въ это время компанія подошла къ небольшому водопаду, и Полковникъ, забывъ Князя, не могъ довольно надивиться великолѣпному жемчужному паденію воды. Примѣтивъ, что сынъ глядитъ на каскадъ съ презрительной улыбкой, Полковникъ осерчалъ: «Ну, что ты Митька, прикусилъ языкъ; что, небось, въ твоемъ Парижѣ лучше?..»

— «Батюшка, я видѣлъ въ Версали...»

— «Не ври, не ври! Что ты тамъ видѣлъ? Вздоръ! Насъ не обморочишь...»

— «Право, батюшка...»

— «Право, сынокъ, сраму надѣлаю! Если неуймешься, палкой поколочу. Слушай старшихъ, а самъ не выдумывай!»

— «Да что это вы, батюшка, меня лжецомъ дѣлаете? Ну стану ли я говорить вамъ, моему родителю и благодѣтелю, неправду? Не тому вы меня учили, а коли ужъ мнѣ не вѣрите, такъ вотъ кстати спросите у Князя; онъ въ Парижѣ бывалъ, знаетъ.»

— «Слышишь, Варенька...» сказалъ сержантъ на ухо дочери: «какой покорный и умный сынъ...»

— «Слышу, батюшка!» отвѣчала Варенька, покраснѣвъ до ушей... Полковникъ былъ приведенъ въ большое затрудненіе словами сына, въ особенности ссылкою на свидѣтельство Князя Долгорукаго.

— «Добро, добро!» сказалъ онъ сурово: «Сегодня бы еще за справкою пошелъ, да поздно; пора домой, солнце садится...»

— «Что ты это, ваше высокоблагородіе? Ужъ это изъ рукъ вонъ; годовъ семь, восемь не видались, и ты у меня побывать не хочешь. Упаси Господи отъ такого грѣха. И у сержанта есть такая-сякая амбиція. Не обижай!..»

— «Да гдѣ ты живешь?»

— «На Васильевскомъ, во Французской слободѣ...»

— «Что за диво! Да вѣдь и мы съ Митей тамъ же! Ѣдемъ, ѣдемъ!.. Видно, намъ всегда въ сосѣдствѣ жить...» прибавилъ Полковникъ, обращаясь къ Варенькѣ.

— «Далъ бы то Богъ!» отвѣчала Варенька, покраснѣвъ, и опустивъ глаза. Митя глядѣлъ на прелестную дѣвушку съ умиленіемъ. Впечатлѣніе это не скрылось отъ Полковника, и онъ спросилъ: «Ну, а ты, Митя, какъ думаешь?»

— «Я желалъ бы, чтобъ мысли наши всегда были въ такой согласной конвенціи съ Варварой Ивановной, какъ и въ этой оказіи.»

Полковникъ улыбнулся, и сказалъ Сержанту:

— «Послушай, сосѣдъ, до лодокъ далеко: надо пройти весь Царицынъ лугъ; пристань, кажется, у Почтоваго Двора; пусть наши дѣтки идутъ, по новому маниру, впереди; а мы съ тобой будемъ держать аріергардъ и наблюденіе.»

Дмитрій Семеновичъ съ особенною ловкостью

подбѣжалъ къ Варварѣ Ивановнѣ, и предлагая руку, сказалъ: «Угодно вамъ сдѣлать мнѣ честь...»

— «Извольте!» отвѣчала Варенька: «Пойдемъ, да руку то вы спрячьте.»

— «Нельзя. Бонтонъ велитъ...»

— «Да мнѣ онъ не указъ. Пойдемте по просту, я и такъ не устану.»

Пошли. Дмитрій Семеновичъ всю дорогу старался занимать спутницу пріятными разговорами, мѣшая французскія и нѣмецкія слова въ изысканную, хотя и русскую рѣчь. Варенька не отвѣчала. Дмитрій сталъ скучать, и наконецъ спросилъ: «Вы вѣрно не учены этикету?..»

— «Нѣтъ!» отвѣчала простодушная Варенька: «Я знаю все, что мнѣ нужно. Умѣю читать и писать; знаю заповѣди и молитвы; на счетахъ всѣ деньги сочту; могу шить, вязать, мыть кружева, стряпать; умѣю угождать батюшкѣ... а больше, право, ничего не нужно. Лишнее знать, бѣда.»

— «Какъ вы наивны, Варвара Ивановна...»

— «Да перестаньте, Дмитрій Семеновичъ, право мнѣ надоѣло васъ слушать. Говорите по-человѣчески. Вы знаете, что я по-вашему не умѣю, такъ говорите по моему, а не то, я уйду.»

— «Вы меня приводите въ конфузію.»

— «Опять...»

— «Привычка!»

— «Глупая. Умному человѣку можно отъ дурнаго отвыкнуть. Ахъ, посмотрите, Дмитрій Семеновичъ, какое у этого господина непріятное лице..»

— «Да, не совсѣмъ нобль, виноватъ, благородное.»

— «Да чего, онъ кажется на меня глаза выпучилъ...»

— «Ваши грасы тому причиною, виноватъ, прелести...»

— «Подите, вы шутникъ! Я не люблю этого; только право, на меня страхъ нашелъ, какъ я на него посмотрѣла...»

Виновникъ этого разговора, увидѣвъ Вареньку, остановился посреди дороги, и глазами пожиралъ уходящую... Сержантъ, замѣтивъ смущеніе незнакомца, дернулъ сосѣда за полу, и сказалъ дрожащимъ голосомъ:

— «Бѣда, ваше высокоблагородіе, это онъ?»

— «Кто онъ?» спросилъ Блеклый...

— «Онъ!» почти шепотомъ повторилъ Сержантъ, потому что они въ это время поровнялись съ незнакомцемъ, и когда уже отошли нѣсколько шаговъ, Сержантъ продолжалъ: »Онъ, т. е. Ермолаевъ, т. е. нашъ недоросль Прокопка, Меншикова наушникъ и того... Боже сохрани, если ему дѣвка моя пригляпулась... Обернись, ваше высокоблагородіе, погляди, что онъ, ушелъ? Я, право, боюсь оглянуться.»

— «Трусъ!» сказалъ Блеклый.

— «Да сдѣлай дружбу, погляди...»

— «Идетъ за нами...»

— «Пропалъ я!» дрожа бормоталъ Сержантъ: «Пропала моя Варенька! Сосѣдъ! Скорѣе по рукамъ! Въ воскресенье свадьбу сыграемъ... Слы-

нишь... Прибавимъ шагу, авось отстанетъ... Варенька! Поскорѣй, поскорѣй, домой; дождь будетъ...»

— »Что вы, батюшка?.. Ни облачка!..»

— «Не твое дѣло! Я говорю... Слава тебѣ, Господи! Вонъ уже и лодки... А что, идетъ?»

— «Идетъ...»

— «А чтобъ онъ ногу сломалъ, окаянный грѣховодникъ! Варенька, а Варенька, слышь, неторговаться съ извощикомъ; что за лодку ни запроситъ, съ разу садись...»

Всѣ четверо вскочили въ первую лодку, и почти всѣ четверо закричали: «На Васильевскій! Отваливай!»

Ермолаевъ вскочилъ въ золоченый катеръ съ гербами Князя Ижерскаго, съ малиновою палаткой и съ золоченой львиной головой на носу; двѣнадцать веселъ всплеснули, словно крылья огромной птицы, и катеръ полетѣлъ.

— «Нѣтъ, чортъ возьми! Не дождешься насъ на Преображенской Пристани. Ребята, гривну на водку; ступай къ Шлотбургу...»

— «Поздно, батюшка.!.»

— «Пустяки! Всю ночь свѣтло. Воскресенье. Погулять не грѣхъ!» И когда два гребца поворотили противу теченія, къ Охтѣ, Сержантъ успокоился, сѣлъ, оглянулся, и поправивъ ботфорты, сказалъ съ улыбкой: «Что, сосѣдъ, небось я струсилъ! Видишь, какъ распорядился! То-то же! Не попрекай!»

II.

ЭПИЗОДЪ.

Лодка поднялась по Невѣ повыше Литейнаго Двора, и держалась все у береговъ, потому что глубиною трудно было плыть противу теченія. Къ берегу примыкали заборы обширныхъ дворовъ; при каждомъ былъ особенный въѣздъ водою и бассейнъ, или, какъ тогда называли, гавань, съ разукрашенными и простыми лодками: мысль о новой Венеціи обнаруживалась на всѣхъ точкахъ Петербурга. Поровнявшись съ однимъ изъ такихъ дворовъ, гребцы сняли шапки, и надѣли ихъ опять, миновавъ старую бесѣдку, составлявшую границу и украшеніе двора.

— «Кто здѣсь живетъ?» спросилъ полковникъ.

— «Старый командиръ, что насъ изъ шведскаго плѣна выручилъ.»

— «А вы развѣ были въ плѣну?..»

— «Эхъ, ваше высокоблагородіе, насъ было повезли на край свѣта, да Князь Яковъ Ѳедоровичъ, уразумилъ его Господь Богъ, поворотилъ никуне оглобли...»

— «Князь Яковъ Ѳедоровичъ!.. Ахъ разскажи, пожалуй!» сказалъ Блеклый.

— «А вотъ, изволите видѣть, ваше высокоблагородіе, нарвское дѣло знаешь?»

— «Самъ былъ, да Богъ миловалъ. Такую рану злодѣи состроили, что безъ памяти, надо быть, дня два пролежалъ, а проснулся хуже чѣмъ на кладбищѣ. Нѣмцы меня вылѣчили, а тамъ не до-

стерегли; ушелъ ночью къ Шереметевскому отряду, и опять давай служить.»

— «Э, такъ ваше высокоблагородіе и всего-то дѣла не изволили видѣть... Нѣмецъ фельдмаршалъ тотчасъ спасовалъ. Видно, ужъ стакнулся прежде съ Королемъ; онъ, знаете, съ утра со всѣмъ войскомъ словно на лыжахъ на насъ нагрянулъ. Фельдмаршала Декроева словно куропачку за хвостъ взяли, со всѣмъ штабомъ. Некруты новые, пороху не нюхали, штыковъ не видали, съ пушками не братались, кто въ лѣсъ, кто по дрова, а гвардейскіе полки подъ Яковомъ Ѳедоровичемъ были, такъ тутъ взятки гладки; такъ, голой рукой, за-дарма не возьмешь; того гляди, на силу не посмотримъ, такую затрещину отпустимъ, что скрозь пройметъ. Тутъ, знаете, какъ суматоха началась, такой крикъ поднялся, что команды не слышно; только барабанъ стучитъ, словно трещотка въ деревнѣ; мы всѣ въ строй. Яковъ Ѳедорычъ на конѣ, какъ гаркнетъ, такъ отъ одного его слова будто сильнымъ вѣтромъ подуло; будто, знаете, по большому карабельному парусу шквалъ пробѣжалъ, а тутъ со всѣхъ сторонъ генералы, полковники, офицеры къ нему скачутъ: «Погубилъ насъ измѣнщикъ!» кричатъ. «Пьяный лежитъ, не выспался и насъ проспалъ!» — «Что намъ дѣлать, Яковъ Ѳедоровичъ?» — «Впередъ, друзья!» Яковъ Ѳедоровичъ съ коня въ отвѣтъ: «Съ нами Богъ! Никто же на ны! Бросимъ трусовъ, будемъ командовать молодцами! Впередъ!» — Мы, батюшка, только этого и ждали. Ура и на штыки! Пошли

— земля заохала; гулъ словно по льду идетъ; Шведъ было и лапку къ намъ протянулъ. Команда: пали! — выпалили. Шведы будто ничего, однако впередъ не идутъ. Мы на нихъ съ натискомъ; запищали, да и ну пятиться... Тутъ ужъ, батюшка, ваше высокоблагородіе, ума не приложу, что вздумалось Якову Ѳедоровичу «стой!» закричать. Отъ его голоса, будто свайка, все войско на мѣстѣ задрожало и остановилось... Прошелъ добрый часъ. Глядимъ. Яковъ Ѳедоровичъ отъ Шведовъ ѣдетъ; скомандовалъ, мы перестроились, и вмѣсто того чтобы на злодѣя нашего ударить, къ мосту поворотили. Распустили знамена, подняли барабанный бой, будто къ молебствію итти, пошли! Мостикъ дрянной, рѣчка небольшая да быстрая, Яковъ Ѳедоровичъ и еще человѣкъ пять, шесть стоятъ и глядятъ на переправу. Вотъ какъ уже Преображенцы и Семеновцы перешли, остался нашъ запасный баталіонъ, да какой-то полевой полкъ, плохой, только нами онъ и въ строю держался. Чортъ ихъ знаетъ, откуда ни возьмись, Шведы на насъ со всѣхъ сторонъ... «Измѣна!» закричалъ Яковъ Ѳедоровичъ, да ужъ на штыки принять не успѣли; полевые струхнули — бѣжать, а насъ всѣхъ съ командерами въ полонъ и забрали... Послѣ уже узнали мы, что Король, какъ мы его приструнили, вотъ онъ и послалъ просить Якова Ѳедоровича: Что ты со свѣта меня изжить хочешь, присталъ комнѣ съ своими гвардейцами, словно банный листь. Отстань, пожалуйста; я тебя казной и всякимъ добромъ надарю.» — Князь ему въ отвѣтъ: «Знаемъ

мы ваши свейскія сказки! Ты же самъ на меня лѣзешь, а потомъ попрекаешь!» — «Вотъ те Христосъ...» говоритъ хитрый Король... «право я тебѣ ни какого зла не желаю, только ты моей Нарвы не тронь. Ступай себѣ, Князь, съ Богомъ домой, по-добру по-здорову, а я завтра тоже во-свояси пойду. Видишь, какъ я хочу тебя уважить.» Соблазнилъ хитрецъ Князя, тотъ его росказнямъ и повѣрилъ. Ударили по рукамъ, поцѣловались, Князь и уѣхалъ къ намъ; какъ уѣхалъ Князь, Король въ палаткѣ и запрыгалъ и засвисталъ; созвалъ всѣхъ своихъ министеровъ, свейскихъ бояръ, колдуновъ, всю подъисподнюю, и ну совѣтъ держать. Ухитрились окаянные. Только что наши лучшіе баталіоны Нарову перешли, онъ собралъ всѣ свейскія силы, и насъ полонилъ. Колдуны тутъ не мало ему помогали. Да извѣстное дѣло, колдовство въ прокъ никому не пойдетъ. Скрутили самаго раба Божія, да басурману за алтынъ и продали. Вотъ тебѣ, не колдуй, измѣнщикъ, не соблазняй! Проучили, да и намъ-то пришлось терпѣть науку. Ужъ, батюшка, ваше высокоблагородіе, не то, что нашъ военный экзерциръ. Въ каторжную запропастили; по трое сутокъ ѣсть не давали, въ десять лѣтъ попа не видали, хуже звѣря инаго; тотъ ужъ хоть подъ снѣгомъ травку найдетъ; да руда не каша, копай да копай; со злости кусочки серебра глотаешь, наглотаешься, да потомъ въ госпиталѣ на хлѣбѣ и водѣ по недѣлямъ лежишь. Наслалъ Богъ на Шведовъ за нашу обиду горькую казнь: пошелъ голодъ все

царство мести, въ сутки гору мертвецовъ накидаетъ; мы на ту пору, человѣкъ съ полсотни, въ госпиталѣ безъ болѣзни отлеживались; чуть приставъ на крыльцо, мы въ третьемъ жильѣ такъ заохаемъ, что онъ къ намъ и зайти боится... Видятъ они, что Богъ ихъ голодомъ за насъ моритъ, а кормить нечѣмъ, вотъ они всѣхъ насъ похватали, ночью на шкуну побросали, и связать позабыли, такъ и пустили въ море. Эхъ батюшка, вольныя мысли на морѣ приходятъ; мы глаза высмотрѣли, не видать ли гдѣ нашего берега... Куда! Ночь да вода... Насъ укачало, къ утру всѣхъ сонъ одолѣлъ. Какъ солнцу встать, мы всѣ разомъ проснулись, будто кто всѣхъ подъ бока толкнулъ... Глядимъ, между нами старикъ сидитъ, бѣлый, бѣлехонькій, такой старый, усы до пояса, лице знакомое, насъ всѣхъ само собой въ струнку вытянуло...

— «Здравствуй, Агаѳонъ!» меня морозомъ по кожѣ повело!.. Голосъ знакомый... Приглядываюсь, а страхъ глаза сводитъ, отъ радости духъ занимаетъ; я протру глаза, а на нихъ слезы; что ты будешь дѣлать! Узнать-то узналъ, да языкъ отняло... Туда, сюда, кое-какъ слова, словно смола, капать стали, али вотъ какъ дѣти читать учатся: бе, а...ба...тю...шка го...су...дарь... Тутъ я ужъ и не досказалъ, заплакалъ навзрыдъ, товарищи также узнали, да въ полону бабьемъ стали, не выдержали, за мной такъ и зарыдали, а потомъ, откуда ни возьмись молодечество, какъ гаркнемъ: «Здравія желаемъ, ваше

превосходительство, Князь Яковъ Ѳедоровичъ! Ура!..» Такъ Шведы чутъ съ перепугу весла не побросали... Тутъ, батюшка ваше высокоблагородіе, мы и полонъ забыли, и говоримъ отцу нашему: «Поздравляемъ тебя, Князь, ваше превосходительство! Привелъ Богъ домой воротиться!..» «Какъ бы не такъ!» говоритъ Князь: «Нашли милостивцевъ! Насъ везутъ туда, гдѣ солнца шесть мѣсяцевъ не видать, гдѣ отъ холода слова мерзнутъ, людямъ по полю ходить нельзя, тотчасъ морозомъ ноги и руки отхватитъ... Ну, да Богъ милостивъ! Станемъ молиться...» И сталъ Князь съ попомъ молитвы читать и припѣвать, и мы подтянули... Шведы разсмѣялись, а шкиперъ и говоритъ имъ по свейски: «Запоютъ они не такія пѣсни, погоди!..» Когда мы отмолились, шкиперъ насъ за весла и усадилъ, а Шведы давай себѣ пить да свои пѣсни припѣвать... Счетомъ насъ, Русскихъ, съ Княземъ было сорокъ два человѣка, а Шведовъ всего на все штукъ тридцать; у насъ ни ножа, а у нихъ всякаго оружія съ ногъ до головы, словно куклы въ арсеналѣ. Князь и давай смѣкать, да и говоритъ попу: «Послушай, батько! хочешь домой?» Попъ жалобно посмотрѣлъ на Князя. «Хочешь, такъ молись, а въ субботу, завтра, попросимся у Шведовъ вечерню пѣть. Тамъ помнится есть стихъ: «Дерзайте, убо, дерзайте, люди Божіи.» При первыхъ двухъ словахъ бросай весла, при послѣднихъ каждый хватай Шведа, и куда кто можетъ, управь его! Смирно!» прибавилъ Князь, потому что мы уже рты разинули ура закричать... «Послушай!»

сказалъ Князь шкипору: «Мало мы вамъ поработали, что же ты госпитальныхъ за весла усадилъ?» «Не велика бѣда! Издохнутъ, тѣмъ лучше!» — »Видно, сказалъ Князь, голодъ васъ еще не проучилъ; погоди, будетъ буря, тогда мы тебѣ помогать не станемъ. Все равно умирать. Ты бы хоть смѣну завелъ, а такъ не далеко уѣдешь.»

— «Недалеко и ѣхать: денька три, четыре.» — «Ну Богъ вѣсть, сказалъ Князь, куда вѣтеръ подуетъ. А гдѣ, братъ, мои письма въ Умео къ коменданту, отъ сенаторовъ нашихъ?» — «Всѣ цѣлы будутъ..» — «То-то же! Чтобы комендантъ зналъ, кто я, и чтобы на тебя жаловаться мнѣ было способнѣе.»

Шкиперъ, видно, былъ не изъ самыхъ храбрыхъ; струсилъ; прошло съ полчаса, онъ и назначилъ на половину веселъ Шведовъ, а на половину нашихъ, и все держалъ въ такомъ порядкѣ до субботняго вечера. Отецъ Иванъ и запѣлъ; Князь за нимъ, мы подпѣваемъ, а голоса дрожатъ, словно листя; ждемъ, не дождемся того стиха; вдругъ отецъ Иванъ возгласилъ: «Дерзайте убо!» Князь схватилъ шкипора за горло, весла наши стали по волнамъ болтаться; ждемъ команды, она какъ тутъ подоспѣла, и такъ сказать, не успѣли оглянуться, какъ кругомъ шкуны заплавали Шведы, на палубѣ валялись убитые, прочихъ повязали, да на самый исподъ судна, а Князь со шкипорской шпагой, и запѣлъ: «Тебе Бога хвалимъ!» Отмолились, Князь и закомандовалъ... Ни дать ни взять подъ Нарвой. Усѣлись мы за весла, а попъ и спрашиваетъ: кто

же то у насъ кормщикомъ будетъ?.. *Святой Никола, древній кормщикъ всѣмъ бѣдственно плавающимъ!* Сказанъ это, Князь взялъ шкипора за шиворотъ, и повелъ на мѣсто, вынулъ шпагу и сѣлъ противъ него. «Ну...» говоритъ Князь: «послѣдній счетъ! Хочешь быть живъ, такъ вези насъ къ Кронштлоту или къ Ревелю; но измѣнить берегись; я не засну!» Вотъ мы поворотили да и грянули: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ.» Ахъ, ваше высокоблагородіе, важно! Какъ вспомнишь, такъ и теперь пѣть хочется...»

И гребецъ, сорвавъ шапку, бросилъ ее къ себѣ въ ноги, и затянулъ за правду: Внизъ по матушкѣ по Волгѣ. Товарищъ, Полковникъ и Сержантъ къ нему пристали, и Нева, къ удивленію береговыхъ жителей и стражей Шлотбурга, огласилась, можетъ быть, впервые звуками волжской великорусской пѣсни.

Лодка спускалась къ Шлотбургу. Вечерѣло. Пробило девять часовъ, и вѣстовая пушка испугала Вареньку. Ей сдѣлалось дурно, но заботливость отца, а еще болѣе Дмитрія Семеновича, возвратила ей чувства... «Этого со мной никогда не случалось..» сказала Варенька. «Сегодня несчастливый день!»

— «Такъ поѣдемъ домой!» сказалъ Сержантъ. «Въ крѣпость нечего заходить, тамъ ничего нѣтъ любопытнаго.»

— «Самое важное...» отвѣчалъ Блеклый: «я видѣлъ, когда этотъ городъ Шлотбургъ былъ еще

только шанцами, и когда мы съ Шереметевымъ взяли его приступомъ!»

— «Эхъ, ваше высокоблагородіе!» сказалъ гребецъ: «и мы тутъ были...»

— «Ой ли! Такъ мы сослуживцы? Да отчего же вы не на службѣ?..»

— «Да вотъ съ Княземъ поджидаемъ Государя, а пока, что сидѣть руки сложивши? Господъ возимъ, да деньгу зашибаемъ; лодки Князь подарилъ, дай Богъ ему здоровье!..»

Прошло еще около получаса и лодка причалила къ Преображенской Пристани, противъ Спасской Церкви, находившейся между домомъ Меншикова, нынѣ Первымъ Кадетскимъ Корпусомъ и двѣнадцатью Коллегіями, для которыхъ тогда еще били сваи подъ фундаментъ.

—

III.

милости.

Прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ. Наступила осень. Каждый день ожидали въ Петербургѣ Государя. Князь Яковъ Ѳедоровичъ оставался не у дѣлъ. Его спутники, по-прежнему, разъѣзжали по Невѣ въ яликахъ, и промышляли деньгу. Блеклый посѣтилъ Князя, удостовѣрился, что сынъ не лжетъ, и весьма огорчился, что на свѣтѣ есть города лучше Петербурга; но Князь утѣшилъ Полковника, увѣряя, что не пройдетъ и ста лѣтъ, новорожденный Петербургъ перещеголяетъ всѣ европейскія столицы...

— «Увидимъ, увидимъ!» сказалъ Полковникъ, и Князь, желая перемѣнить такой пустой разговоръ, спросилъ Блеклаго, по какой причинѣ могъ онъ оставить полкъ, и переѣхать въ Петербургъ.

— «Тяжба, ваше сіятельство! Затягалъ проклятый! Не знаю, чѣмъ-то здѣсь кончится.»

— «Стало быть, дѣло уже въ Сенатѣ?»

— «Въ Сенатѣ.»

— «Что жъ, ты былъ у господъ сенаторовъ?»

— «Каждый день, у всѣхъ по разу. И на порогъ не пускаютъ. Говорятъ, что мое дѣло сторона, да и чего я лѣзу съ Княземъ Папой тягаться...»

— «Такъ у тебя тяжба съ Зотовымъ!»

— «Съ Зотовымъ.»

— «Ну, братъ, плохо. А много ли иску?..»

— «Все мое состояніе. Одна деревенька, и та хищнику приглянулась; говоритъ: на его землѣ построена. Сначала присталъ: продай! Ну, скажи пожалуй, Князь, какъ можно деревню продать съ церковью, гдѣ на церковномъ дворѣ и отецъ и дѣдъ и прадѣдъ лежатъ? Ну, что ему вздумалось! «Не продашь?» говоритъ: «Постой же, я тебя!» Было время уже къ жатвѣ. Князь Папа охоту устроилъ: да четыре нивы, десятинъ съ пятьдесятъ, или и поболѣе, почитай до земли помялъ; такъ и пропало. Я на него въ судъ. Челобитной не берутъ. «Жаловаться?» говоритъ: «Постой-же, я тебя!» Да и подалъ на меня челобитную, что будто я на его землѣ деревню построилъ. Пошло слѣдствіе. Жена

меня изъ полка выписала; пріѣзжаю; слѣдуютъ, т. е. пьютъ, ѣдятъ, а чего не проглотятъ, такъ въ повозки кладутъ, да въ городъ къ себѣ и отсылаютъ. Я къ самому Государю. Пошелъ указъ: дѣло въ Сенатѣ разсмотрѣть. Былъ я въ сенатской канцеляріи. Приказные и говорятъ мнѣ: «Дѣло твое, полковникъ, правое, да князь Папа человѣкъ сильный; хотятъ засудить тебя...» — «Да какъ же меня засудятъ?» говорю я: «На моей сторонѣ и законъ и правда» — Приказные говорятъ: «Видишь, что выдумалъ! Законъ, правда! Да противъ тебя Князь Папа.» — «Да вѣдь Государь за неправду взыщетъ.» — «До Бога высоко, до Государя далеко. Государю дѣла много...»

— «Жаль...» сказалъ Князь: «что я не сенаторъ; я бы тебя отстоялъ.»

— «Да, ужъ нечего говорить, ты бы Зотову въ зубы не посмотрѣлъ; да въ томъ-то и горе наше, что тебя въ Сенатѣ нѣтъ.»

— «Но Писаревъ хорошъ, правдолюбивъ, и дѣло смыслитъ...»

— «Видно, у тебя, Князь, съ Зотовымъ тяжбы не было...»

Вбѣжалъ въ комнату опрометью слуга, и почти кричалъ: «Государь, Государь, Государь!»

Не успѣлъ Яковъ Ѳедоровичъ, дородства ради, приподняться съ креселъ, какъ вошелъ въ комнату Государь въ дорожномъ платьѣ...

— «Поздравляю!» сказалъ Государь, заключая въ объятія знаменитаго мужа, и сталъ осыпать его поцѣлуями, называя всѣми нѣжными словами. «Го-

лубка ты моя, дядя любезный, старикъ ты мой безпримѣрный!» говорилъ, говорилъ и ну плакать. Яковъ Ѳедоровичъ себѣ, Полковникъ и слуга давай тоже хныкать; такой плачь, будто похороны, а лица у всѣхъ веселые...»

— «Благо одѣтъ, ѣдемъ!» сказалъ Государь: «Меня всѣ въ церкви ждутъ, такъ ужъ пусть милость къ тебѣ передъ Богомъ услышатъ!..» и обратясь къ слугѣ, примолвилъ. «Шубу Князю и шапку!« Уѣхали. Княжеская одноколка была также готова. Слуга приказалъ подать, усадилъ Полковника, самъ сталъ на запятки и поѣхали за Государемъ.»

— «Что, дядя? Каковъ городъ?» спросилъ Государь.

— «Богъ родивъ Тебя, сдѣлалъ чудо, а ты и самъ давай творить чудеса. Помози Господи!..»

— «Да такіе вѣрные слуги, какъ ты, Яша! Погляди: вотъ у меня литейный дворъ — устроенъ хорошо. Это у меня лѣтній садъ, порядочный, да еще не все готово... Вонъ тамъ у меня изъ сада двѣ улицы пойдутъ; а по набережной: вотъ это мой домъ; дворъ Скляева надо будетъ откупить, да теперь еще пока денегъ мало. И фамилія у меня не большая. Посмотрю, что съ Алексѣемъ будетъ... А тамъ дальше, я мѣста пораздавалъ Рагузинскому, Ягужинскому, Анраксину, Кикину, до самого Адмиралтейства.»

Одноколка повернула мимо Адмиралтейства налѣво, на широкую площадь, тогда еще достигавшую до береговъ рѣчки Мьи. Вся площадь была разрѣзана аллеями; повернувъ на право, возлѣ укрѣпле-

ній Адмиралтейства, одноколка перенеслась на другую, также весьма обширную, площадь. «Вотъ тамъ у меня...» сказалъ Государь, указывая налѣво: «морскія слободы. Все мои новички и Нѣмцы живутъ, а направо Исаакій Далматскій. Хочу этотъ соборъ побольше сдѣлать, да понимаешь, дядя, пускай война отойдетъ, денегъ больше будетъ.» Одноколка подкатилась къ паперти собора, стоявшаго на самомъ берегу Невы рѣки, гдѣ нынѣ приходится сенатская церковь. На паперти ожидали Государя: Преосвященный Ѳеофанъ, Синодъ, Сенатъ, генералитетъ, члены коллегій. Множество народа окружало соборъ. — Послѣ краткой привѣтственной рѣчи, сказанной Ѳеофаномъ, Государь взялъ за руку Якова Ѳедоровича, и обращаясь къ Архіепископу, сказалъ: «Не Меня должно привѣтствовать; Я по вся дни съ вами, гдѣ бы ни былъ въ царствѣ или внѣ царства моего; онъ у насъ сегодня торжественникъ. Мы обрѣли его, яко нѣкій кладъ, потерянный предками. Не довольно ума, надо великія храбрости, чтобы одержать такую чудесную викторію, и обратиться изъ плѣнника въ плѣнителя. Благодарствую!» И Государь снова разцѣловалъ Князя. «Возблагодаримъ теперь Господа Бога...» прибавилъ Петръ: «за толикія милости!» Послѣ обѣдни и молебствія, Государь отдѣльно сталъ принимать поздравленія. Когда подошелъ къ нему Сенатъ, Государь сказалъ: «Поздравляю господъ Сенатъ съ новымъ сотрудникомъ и сотоварищемъ, Княземъ Яковымъ Ѳедоровичемъ Долгоруковымъ...» Сенатъ благодарилъ, Князь кланялся

на всѣ стороны. Полковникъ Блеклый, стоявшій въ углу собора, палъ ницъ, и пролилъ радостныя слезы. Между тѣмъ чины продолжали поздравлять Государя. Подошли члены Ревизіонъ-Коллегіи. «Знаю, сказалъ Государь, что вамъ безъ президента нелоѣко. Президъ вашъ вернулся изъ Швеціи. Дядя Яша, сдѣлай дружбу, займи это мѣсто!» Между многочисленными чинами новой Имперіи подошли и два кригсъ-коммисара. Государь сталъ гнѣвенъ и грозенъ. Кригсъ-коммисары онѣмѣли и окаменѣли. Всѣ опустили глаза. «Передъ Господомъ говорю вамъ...» сказалъ Государь: «что я найду виновныхъ, и не будетъ пощады, хотя бы въ преступникахъ нашелъ я ближнихъ людей моихъ. Я бережливъ, а не скупъ, денегъ даю довольно, а войско терпитъ нужду и недостатки. Пока все изслѣдую докладно, я дамъ вамъ голову, которая рукамъ грабить отечество не дозволитъ. Князь Яковъ Ѳедоровичъ! будь пожалуй моимъ генералъ-пленипотенціялъ-кригсъ-коммисаромъ; тебя на всѣ должности станетъ! Просимъ всѣхъ къ Данилычу, хлѣба соли кушать!.» И всѣ отправились изъ церкви на Васильевскій...

Тамъ, во Французской Слободѣ, въ скромномъ домикѣ Ониксова, бывшаго по случаю прибытія Государева на службѣ, происходила сцена совершенно инаго рода. Дмитрій Семеновичъ стоялъ у небольшаго столика, за которымъ Варвара Ивановна внимательно вышивала золотомъ приношеніе для новой Андреевской Церкви.

— «Такъ вы не хотите со мной дискурировать, то есть разговаривать, Варвара Ивановна?»

— «Когда вы, Дмитрій Семеновичъ, такую дичь врете, что право, скучно слушать.. »

— «Дичь! Если я говорю, что Амуръ меня ранилъ, что я ослѣпленъ вашими наивными грасами, что я влюбленъ до безумія, что я почту себя блаженнѣйшимъ человѣкомъ, если вы согласитесь покориться Гименею...»

— «Послушайте! Подите вонъ, или говорите толкомъ, чего вы отъ меня хотите?..»

— «Ахъ, mon Dieu! Вашей руки!..»

— «Жениться, что ли?..»

— «Точно такъ, Варвара Ивановна.»

— «Стало быть, вы меня любите?»

— «Люблю-ли я васъ? Больше чѣмъ жизнь, больше чѣмъ...»

— «Да не правда, не правда! Отвѣчайте, о чемъ васъ спрашиваютъ, а въ Парижъ не бросайтесь. Ну, любите меня?»

— «Люблю.»

— «Вотъ это дѣло. И я васъ люблю.»

— «Что я слышу? Можетъ-ли это быть?»

— «Да изъ чего мнѣ врать? Люблю и хочу за васъ выйти замужъ, если батюшка соизволитъ...»

— «А если онъ не позволитъ, неужели вы не властны...»

— «Это что вамъ въ голову приходитъ? Не соизволитъ, поплачу, погорюю, да и перестану любить...»

— «Нѣтъ, Варвара Ивановна, вы шутите...»

— «Да что я за шутиха такая? Такими вещи-

ми не шутятъ; да вотъ и батюшка. Сейчасъ все окончимъ!»

— «Помилуйте, Варвара Ивановна! Я полагаю, надо соблюсти нѣкоторыя церемоніи...»

— «Пожалуйте, не мѣшайтесь не въ свое дѣло. Батюшка, батюшка! Хорошо, что вы пришли. Дмитрій Семеновичъ на мнѣ жениться хочетъ...»

— «Какъ тебѣ не стыдно, душечка, не въ свое дѣло мѣшаться?»

— «А чье жъ это дѣло?»

— «Не дѣвичье, а свахино.»

— «Да вѣдь не сваху замужъ хотятъ взять, а меня; такъ я сама себѣ сваха. Такъ вы, батюшка, не хотите меня замужъ выдать?..»

— «Да кто тебѣ это говоритъ? Хочу...»

— «Да за Дмитрія Семеновича; за другаго, можетъ быть, мнѣ любо не будетъ...»

— «Ну, такъ и за Дмитрія Семеновича, только все таки не противъ обычая; пусть отецъ его посватаетъ; да и не худо бы, того, знаете, Дмитрій Семеновичъ, записи сдѣлать: она у меня одна, ты у отца одинъ; у каждаго по деревенькѣ, сосѣдніе, такъ и хорошо бы то вмѣстѣ... Да вотъ кстати и его высокоблагородіе.»

Когда Полковнику объяснили все дѣло, онъ гнѣвно посмотрѣлъ на сына, и сказалъ: «Послушай Митя, зачѣмъ ты это не въ свое дѣло мѣшаешься? А я у тебя развѣ даромъ отецъ? Ну, благо, что сосѣдъ согласенъ, а если бы отказалъ, ты бы мнѣ только сраму надѣлалъ. Поди домой, али на прогулку, а мы потолкуемъ.

— «Варенька, ступай-ко и ты, маленько по хозяйству пригляди!»

Молодые люди вышли, и оба вмѣстѣ занялись хозяйствомъ.

— «Ну, сосѣдъ! Свадьбѣ быть, да еще не скоро.»

— «Это почему?»

— «Да почемъ знать! Можетъ быть у Мити ни кола, ни двора не останется. Зотовъ сильную руку имѣетъ. Говорятъ, что нашу деревню ему засудятъ.»

— «А Государю развѣ сказать нельзя?»

— «Поди, стану я, служивый человѣкъ, на Сенатъ жаловаться.»

— «А почему же и нѣтъ?»

— «А потому, что Государь этого не любитъ.»

— «Да за то правду любитъ. Да что и деревня. Сынъ твой малый славный; дослужится, а пока и моей деревеньки на насъ станетъ.»

— «Нѣтъ, сосѣдъ, чужаго хлѣба не хочу, да и сыну не позволю. Подождемъ, пока тяжба кончится.»

— «Э, пустое, сосѣдъ!»

— «Говорю тебѣ, не хочу.»

— «Какъ волишь, а жаль, право, молодежи.»

— «Мѣсяцъ другой обождать, не велика важность. Прощай!»

— «Куда же ты?»

— «Государь изъ церкви звалъ къ Меншикову хлѣба-соли кушать; пора. Я только такъ забѣжалъ, посмотрѣть, что Митя дѣлаетъ. Боюсь; ходитъ такимъ дуракомъ. Говоритъ, будто въ Пари-

же всѣ министры такъ ходятъ: слякоть, грязь, а онъ въ чулкахъ, въ башмакахъ, на шеѣ словно юпка какая; молодой человѣкъ, а парикъ съ гору. Правда, видѣлъ я, нѣмецкій резидентъ на него похожъ. Тоже, будто игрушка съ веревочкой, да нашему брату не приходится. Скажи-ко Варенькѣ; можетъ, онъ ее послушаетъ...»

— «Эхъ, сосѣдушка, и она рядиться любитъ. Молодость.»

— «Скажи лучше, дурь... Ну, да Богъ милостивъ, прощай!»

Сержантъ позвалъ дочку. Дмитрій Семеновичъ, заслышавъ голосъ отца своего, ушелъ, и со всѣхъ ногъ бросился къ Меншикову саду, Осень сильная стояла на дворѣ; но Дмитрій Семеновичъ не хотѣлъ щегольскаго парижскаго костюма прикрывать длиннополой шубой. Надѣвъ маленькую шляпу на высокій парикъ, Дмитрій Семеновичъ пробирался съ большою осторожностью по деревянной кладкѣ, положенной по берегу новаго, еще неоконченнаго канала. По бокамъ грязь непсходная; и въ сапогахъ не легко пробираться съ одной линіи на другую. Государь, полагая, что къ столу итти еще рано, сѣлъ въ одноколку Князя Ижерскаго, и отправился осматривать работы по острову вмѣстѣ съ Александромъ Даниловичемъ.— Увидѣвъ Дмитрія Семеновича въ щегольскомъ нарядѣ, Государь разсмѣялся.

— «Что это за птица, Даниловъ?..»

— «Не знаю.»

— «Людей-то у насъ въ Петербургѣ не мно-

го. Генералъ-Губернатору можно бы всѣхъ знать, особенно изъ дворянъ. Посмотри, одѣлся петиметромъ! Нашелъ время—и тепло и не грязно! Постой же, я его проучу!»

И Государь, кивнувъ Дмитрію Семеновичу пальцемъ, примолвилъ: «Мой господинъ, пожалуй сюда!» Дмитрій Семеновичъ былъ въ отчаяніи, но нельзя было ослушаться: онъ спрыгнулъ въ грязь, и едва доползъ до царской одноколки. Государь продолжалъ ѣхать шажкомъ, распрашивая Дмитрія Семеновича, кто онъ, откуда, когда и для чего былъ въ Парижѣ, какіе успѣхи оказало во Франціи просвѣщеніе, и остался въ полнѣ доволенъ отвѣтами Дмитрія Семеновича.

Государь въ заключеніе сказалъ: «Ну, хорошо, прощай! Я тебя не забуду, только надѣнь сапоги; грязь.» И уѣхалъ. Дмитрій Семеновичъ понялъ шутку, и оглядывался только, не видалъ ли кто либо этой непріятной сцены... О ужасъ!.. На мосткахъ стоялъ отецъ, поднявъ палку.

— «Осрамилъ ты меня!» закричалъ Полковникъ. Дмитрій Семенычъ взбѣжалъ на мостки въ однихъ чулкахъ, и обнимая гнѣвнаго родителя, сказалъ:

— «Ну, батюшка, помогъ Богъ Государю представиться. Осталося уконтентованъ. Похвалилъ и сказалъ: я тебя не забуду...»

— «Полно такъ ли?»

— «Спросите у самого Государя.»

— «Вотъ, болванъ! Стану я у Государя спрашивать; да гдѣ же твои башмаки?»

— «Башмаки?.. Не знаю; надо быть въ грязи

остались, да мнѣ ихъ не нужно. Государь приказалъ въ сапогахъ ходить.»

— «Осрамилъ, осрамилъ...» опять завопилъ Полковникъ: «Нѣтъ, какъ хочешь, Митя, а я тебя дома поколочу.»

— «Не извольте трудиться, батюшка; погодите денекъ. Государь пришлетъ за мною.»

— «Пусть пришлетъ. Государь тебя изъ своихъ царскихъ рукъ побьетъ, а я изъ отцевскихъ... Ступай домой, слышишь, и пока я не ворочусь, изъ комнаты ни шага. Ступай!»

—

IV.

РЕЗОЛЮЦІЯ.

На другой день поутру, весь дворъ Я. Ѳ. Долгорукаго былъ наполненъ просителями, чиновниками и посѣтителями съ льстивымъ словцемъ. Полковникъ Блеклый пришелъ раньше всѣхъ, и немедленно допущенъ былъ къ Князю.

— «Ну, пріятель, я за твоимъ дѣломъ послалъ вчера-же; ночью прочелъ: ты кругомъ правъ; ступай домой и спи спокойно. Оно по очереди стоитъ еще далеко. Чай придется рѣшать передъ самыми святками, такъ ты не кручинься...»

— «Да пусть и послѣ Новаго года, только бы выиграть...»

— «Выиграешь, выиграешь, честное слово! Только теперь, любезный, ступай съ Богомъ; некогда. Царь разомъ меня работой надѣлилъ за троихъ; ну, а ты самъ знаешь, *любить Царя* значитъ *лю-*

быть Отечество. Все надо дѣлать не спѣша, по правдѣ, потому что *Царю правда лучшій другъ*. Я ужъ не умѣю запинаться, коли дѣло знаю, а я его долженъ знать, иначе не служи! *Служить такъ не картавить, а картавить такъ не служить*. Ну, ступай съ Богомъ!»

Блеклаго смѣнили кригсъ-комиссары. Долгорукій, сиди въ огромныхъ креслахъ, и разглаживая свои длинные усы, сталъ говорить медленно, почти не обращая вниманія на предстоящихъ: «Читалъ я сегодня ночью ваши вѣдомости и отчеты... не приведи Богъ, какое плутовство и воровство. Я бы васъ и помиловалъ, ради Христа, да вѣдь вы не мнѣ враги, а государству. Знаю, за вами сильные руку тянутъ, только мой своякъ — человѣкъ нрава твердаго и крутаго; Государь ему поручилъ розыскъ; онъ никого не побоится. Вы, господа, изъ службы моей съ Богомъ, по закону, не по волѣ моей, сами знаете. Я до шведскаго плѣна этой частью управлялъ, такъ изъ опыта говорю, что вамъ будетъ плохо. И на что вы синяго сукна такую пропасть накупили? Гвардія не велика, а зеленаго, дай Богъ, на два, на три полка. Гдѣ я теперь достану? То сгніетъ за-дарма, а зеленое въ-три-дорога покупай теперь за непривозомъ, и вонъ уже сегодня ходилъ Наумовъ въ ряды; цѣна поднялась втрое; вѣрно, отъ васъ же купцы прослышали. Да не удастся. Наумовъ! Позвать купцовъ.»

Адъютантъ Князя привелъ двухъ купцовъ. Князь началъ опять: «Ну, бороды, что-же вы мнѣ сукна?»

— «Какого твоему сіятельству угодно? Синяго али зеленаго!»

— «А какъ цѣна?»

— «Синему рубль и семь копѣекъ, зеленому три рубля.»

— «Ну, нечего дѣлать, я торговаться не мастеръ, только для вѣрности, подпишите цѣны» — Купцы подписали.

— «Ну, такъ сдѣлайте дружбу, ко мнѣ на дворъ поставьте сегодня тридцать тысячь аршинъ синяго...» Купцы не выдержали, и громко ахнули.

— «Благо подписано...» сказалъ Князь.

— «Батюшка, государь, возьми половину зеленымъ...»

— «Дорого, друзья мои. Мы нынче армію въ синее нарядимъ, а гвардію въ зеленое...»

— «Батюшка-государь, уступимъ! У насъ синяго и нѣтъ столько, а зеленое мы на поставку припасали.»

— «То есть...» сказалъ Князь: «въ зеленомъ нужда, такъ въ три рубля и вогнали. Да слава Богу, перемѣна, и зеленаго мнѣ не нужно.»

— «Батюшка-Государь, про запасъ возьми.»

— «Пожалуй, по рублю безъ копѣйки все возьму, сколько у васъ ни есть; на гарнизоны синяго не дамъ; да инвалидовъ обошью.

— «Батюшка-государь, возьми по полтора рубля.»

— «Нѣтъ друзья, казна не моя; по рублю возьму, а не то, лучше синяго.» — Купцы согла-

сились взять, за то и другое, по рублю семнадцати копѣекъ...

— «Подпишите!» Подписали условіе.

— «Ну..» сказалъ Князь: «такъ синяго не нужно, а сколько зеленаго ни есть, все ко мнѣ на дворъ. Коммисары принимать не будутъ; мы съ Наумовымъ сами примемъ.» Купцы отошли съ печальными лицами.

— «Знаю я...» сказалъ Князь: «что у меня на всю нужду и теперь зеленаго не хватитъ; такъ, Наумовъ, напиши предписаніе выдать на Ижерскій Полкъ синее. Пусть годокъ носятъ, а я на слѣдующій зеленаго припасу.»

— «Да вѣдь Ижерскій Князя Меншикова полевой армейскій полкъ, а не гвардія.»

— «Эхъ, Наумовъ, будто я не знаю! Я Государю доложу; онъ за дѣло еще никогда не спорилъ, а между тѣмъ отъ Меншикова мнѣ покою не будетъ. Вчера три раза объ отпускѣ сукна просилъ. Ну, конецъ! Позовите секретаря Ревизіонъ-Коллегіи!» Князь занялся дѣлами по третьей должности. Прошло не мало времени, докладываютъ: Зотовъ пріѣхалъ.

— «Батюшка, Яковъ Ѳедоровичъ, помилуй, что ты это дѣлать хочешь? Слышалъ я, что ты изъ Сената дѣло мое съ Блеклымъ взялъ. Помилосердуй! Не стой за вора, это окаяный ябедникъ. Сто челобитень на меня подалъ; Государю нажаловался. Надо проучить, а то всякая дрянь будетъ насъ, сановниковъ и совѣтниковъ царскихъ, обижать; не смѣй и наказать озорника; что же мы, на что

же насъ въ чины жалуютъ, когда всякая шавка можетъ по судамъ насъ волочить? Писаревъ было со мной не соглашался. Погляжу я, какъ онъ судитъ. Не по моему, такъ право, въ венгерское такого подмѣшаю, что живота никогда не залечитъ, и чарами не заговоритъ.»

— «Знаю, знаю!» сказалъ Князь: «Только за что ты, дядя, моего брата на прошлыхъ святкахъ опоилъ?»

— «А зачѣмъ Царь власть далъ подчивать до упада? На то я Князь Папа. Пей, не поперечь; долженъ выпить.»

— «Такъ ты, пожалуй, и Сенатъ святками пугать станешь....»

— «Да ужъ не попадайся, кто за меня не постоитъ.»

— «Ну, а если Государь провѣдаетъ...

— «Да ужъ не умничай, Яковъ Ѳедоровичъ! Завтра слушать хотѣли. Пожалуй, оставь дѣлу итти, какъ я хочу; я за тѣмъ пріѣхалъ, и ты за меня стой! А будетъ у тебя какое дѣло, я за тебя постою.»

— «Нѣтъ, дядя, такого дѣла за мною не будетъ; но ужъ такъ и быть, покривлю душой. Буду стоять за тебя.»

— «Ай да спасибо! Вотъ старый другъ! Я тебѣ этого никогда не забуду...»

—

У Оникова сидѣли гости. Полковникъ съ сыномъ. Пили за пожалованіе Ивана Степановича гвардіи въ офицеры. Первая бутылка венгерскаго

была на исходѣ, когда доложили и вслѣдъ за докладомъ вошелъ въ комнату Полковникъ Ермолаевъ.

— «Ну, батюшка, Иванъ Степановичъ, насилу отыскалъ!» сказалъ Прокопъ Ермолаичъ, съ язвительною улыбкой: «Живемъ по сосѣдству, а до сей поры и не знакомы. Да позволь поздравить себя. Вчера по моему слову, Князь Государя о тебѣ попросилъ. Государь отвѣчалъ: «Знаю, знаю; охотно; ему давно пора быть офицеромъ; да всего не упомнишь. Спасибо вамъ, помощникамъ моимъ, что вы мнѣ мой долгъ напоминаете!» — А знаешь ли, сосѣдушка, что Князь придумалъ; говоритъ: «Пускай Ониксовъ въ Ижерскій Полкъ переходитъ, прямо капитанъ, черезъ годъ подполковникъ. Такъ вотъ я и пришелъ тебѣ сказать, что ты уже не въ Семеновскомъ, а въ Ижерскомъ. Завтра будетъ приказъ, а послѣ завтра и роту дадутъ...»

Слова Прокопа Ермолаевича сыпались, будто присяжные рубли считаютъ. Выпуча глаза и разинувъ ротъ, Ониксовъ не могъ слова вымолвить отъ удивленія. Варенька вскочила съ своего мѣста, и цѣлуя отца, поздравляла съ такимъ неожиданнымъ возвышеніемъ... Подали еще венгерскаго. Ермолаевъ послалъ къ Князю Меншикову на погребъ. Принесли разныхъ винъ. Отецъ прогналъ Вареньку; и едва на другое утро проснулись собесѣдники на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ вчера начали бесѣдовать. Блеклые, опохмѣлясь, ушли домой. Ермолаевъ остался.

— «Ну, сосѣдушка, познакомиться, мы познакомились:» сказалъ онъ... «теперь бы не худо и породниться...»

— «Что ты это врешь, ваше высокоблагородіе!»

— «Не вру, а просто, твоя дочка меня опутала. Вотъ уже четвертый мѣсяцъ прошелъ, какъ я ее въ Лѣтнемъ подмѣтилъ. Такъ, знаешь, меня словно обухомъ по лбу. Будь я каналья, провались я сквозь землю, если я не по уши въ Варвару Ивановну втюрился, и такъ ужъ сказалъ себѣ: али она будетъ моей женою, али ужъ никому не достанется...»

Иванъ Степанычъ струсилъ и отвѣчалъ: «Прокопъ Ермолаичъ, ваше высокоблагородіе, не погуби!.. Право не могу, она уже не моя; ты и жениха видѣлъ вчера у насъ; по рукамъ ударили. Ты себѣ знатную невѣсту найдешь... Прокопъ Ермолаичъ, помилуй!»

По мѣрѣ трусости Ониксова, дерзость Ермолаева возрастала.

— «И слушать не хочу! Подавай Варвару Ивановну, али быть тебѣ черезъ недѣлю солдатомъ; потомъ и даромъ не возьму. Вѣдь я тебѣ честное дѣло предлагаю: руку, чинъ, значеніе...»

— «Господи Боже мой! Куда мнѣ дѣваться! Да послушай, Прокопъ Ермолаичъ, ты человѣкъ умный, на все смѣтку имѣешь; сдѣлай такъ, чтобы слово назадъ воротить...»

— Да мнѣ что за дѣло! Говори: отдашь или не отдашь?»

— «Право не знаю... Какъ Варенька...»

— »Зови ее! Она вѣрно поумнѣе тебя...»

Позвали Вареньку. Иванъ Степановичъ дрожащимъ голосомъ сказалъ: «Душечка, Варенька, ангелъ мой, ненаглядная моя, послушай, мое золото, вотъ Прокопъ Ермолаевичъ проситъ тебя принять честь, т. е. такъ сказать супружествомъ тебя осчастливить, быть его женою, съ позволенія сказать. .»

Варенька посмотрѣла на Ермолаева, и расхохоталась.

— «Безъ шутокъ? Покорнѣйше благодарю. Я почитай уже Дмитрію Семеновичу жена; вотъ передъ святками Семенъ Михайловичъ выиграетъ дѣло, а передъ масляной свадьба; ихъ маменька пріѣдетъ.»

— «Не бывать тому, Варвара Ивановна! Князь Меншиковъ не допуститъ.»

— «Да ему какое дѣло? У него есть своя княгиня, а у меня будетъ свой князь...»

— «Такъ я же знаю, что я сдѣлаю. Насильно на васъ женюсь.»

Иванъ Степановичъ отъ ужаса сѣлъ въ кресла, а Варенька еще пуще расхохоталась, и сказала съ обычнымъ простодушіемъ:

— «Да я васъ, Прокопъ Ермолаичъ, ухватомъ такъ провожу со двора, что вы отдумаете на мнѣ жениться. Я презлая, и на такое чучело, какъ вы, не промѣняю моего Димитрія..,»

— «Чучело?..»

«Да чучело, пугало, холопская харя. Вотъ вамъ!..»

— «Варенька, Варенька!» возопилъ Иванъ Степанычъ: «Что ты со мною дѣлаешь!»

— «Да, ты же самъ, батюшка, разсказывалъ про него, что онъ — Прокопка, казненнаго стрѣльца недоросль, за воровство въ некруты отданъ...»

— «Убила, уморила!» кричалъ Иванъ Степанычъ. Ермолаевъ схватилъ шляпу, и въ бѣшенствѣ убѣгая, кричалъ въ свою очередь: «Зарѣжу, утоплю; всѣ въ Сибири будете!»

Прошло около недѣли. Однажды по утру приходитъ Полковникъ Блеклый. Лицо его было блѣдно; черты измѣнились; досада и горесть осѣняли нахмуренное чело его.

— «Что съ тобой, ваше высокоблагородіе?» спросилъ Иванъ Степановичъ, примѣтно струсивъ.

— «Проигралъ...» отвѣчалъ Блеклый.

— «Много ли?»

— «Все! И счастіе моего Мити. Зотовъ одолѣлъ. Меня обвинили; свадьбѣ не бывать. Пусть Митя служитъ и кормится, а я — подъ пушки! Дурацкая пуля справедливѣе людей...»

— «А Долгоруковъ?»

— «Обманулъ. Прощайте!»

— «Да куда ты это? Сходилъ бы къ Якову Ѳедоровичу, авось дѣло бы уладилъ.»

— «Не хочу съ нимъ знаться; какой онъ сенаторъ! За сильнаго тянетъ. Постой, дойдетъ до Государя, ребра пересчитаетъ. Вчерашній сенаторъ! Не хочу. Прощайте! Ни меня, ни Мити больше не увидите! Дай вамъ Господь всякаго благополучія, а тебѣ, Варенька, хорошаго женишка; прощайте!

Не хочу! Сенаторъ! Честное слово! Постой, постой, дойдетъ до Государя...» И Полковникъ исчезъ, а Варенька залилась слезами. Не успѣлъ Иванъ Степанычъ опомниться, съ крикомъ и шумомъ вошелъ Ермолаевъ. «Пожалуй твою шпагу!» сказалъ вошедшій Ониксову. Иванъ Степанычъ сполна струсилъ, прижался въ уголъ и сталъ плакать. Варенька наскоро отерла слезу, и выступила впередъ. «Что вамъ угодно?»

— «Шпагу твоего отца, или твою руку...» отвѣчалъ Ермолаевъ грубо: «Князь приказалъ его арестовать по моему доносу. Бумага у меня въ карманѣ. Хочешь, сдавайся — и миръ...»

Иванъ Степанычъ присѣлъ въ углу на полъ, и жалобно простоналъ: «Варенька! Выручи!»

— «Я твоя!» сказала Варвара Ивановна поблѣднѣвъ, но довольно твердымъ голосомъ: «Бери, но любить не стану! Только мнѣ замужъ раньше года нельзя. Вотъ видишь, я плакала; мы только что получили горькую вѣсточку. Матушка умерла въ деревнѣ. Черезъ годъ — я твоя... Хочешь?»

— «Идетъ, Варвара Ивановна! По рукамъ, Иванъ Степанычъ! Извини, что я тебя подъ такое горе, да еще и судомъ напугалъ. Побѣгу теперь къ Князю; скажу, что наша взяла, а потомъ, прибѣгу съ вами обо всемъ нужномъ толковать; до вечера далеко...» Ермолаевъ ушелъ...

— «Что ты соврала?» спросилъ Ониксовъ, едва выговаривая слова.

— «Молчи, батюшка, эта ложь наше спасеніе.

Богъ послалъ эту выдумку. Кажись, Яковъ Ѳедовичъ уже къ нимъ на островъ переѣхалъ...

— «А тебѣ на что?»

— «Да ужъ не спрашивай, дай только гривну..»

— «Послушай, Варенька...»

— «Все одно, не пустите, ночью уйду; только этому недорослю стрѣлецкому ничего не говорите; будетъ все по моему.»

—

Вечерѣло. Послѣ краткаго отдыха, Князь Яковъ Ѳедоровичъ читалъ вечернія молитвы. Докладываютъ: Варвара Ивановна Ѳаликсова. Зови. Вошла Варенька, и бухъ Князю въ ноги.

— «Что вамъ угодно, милостивая госпожа?» спросилъ Князь, вставъ съ креселъ и съ трудомъ поднимая гостью. Варенька разсказала все свое горе. Князь усмѣхнулся и отвѣчалъ: «Послалъ я уже за Семеномъ Михайлычемъ, да не зналъ, что онъ такъ плохъ. Честному моему слову не повѣрилъ. Да, вотъ и онъ кстати! Ну, что тебя не видно, пріятель?»

Блеклый молчалъ.

— «Ты на меня сердишься?» спросилъ Князь ласково.

— «Нѣтъ!» отвѣчалъ Полковникъ сквозь слезы.

— «Мы рѣшили твое дѣло неправильно.»

— «Не знаю!»

— «Какъ не знаешь!»

— «Господа Сенатъ лучше знаютъ...»

— «Не упрямься, пріятель! Я моему честному слову не измѣню. Садись и пиши!»

— «Князь, перестань морочить! Довольно и одной шутки! Отъ второй съ ума сойду.»

— «Говорятъ тебѣ, садись и пиши!» Блеклый повиновался.

— «По титулѣ...» сказалъ Князь, и продиктовалъ Полковнику челобитную на высочайшее имя, въ коей Блеклый жаловался на неправильное рѣшеніе Сената.

— «Ну..» продолжалъ Князь: «теперь подпиши, ступай прямо въ новый Зимній Домъ и отдай Государю, а о прочемъ не заботься!»

Полковникъ вздохнулъ тяжело, сложилъ прошеніе, и ушелъ, не сказавъ ни слова...

— «Ну, а вамъ, сударыня, спасибо! Вы мнѣ много помогли, я и объ васъ позабочусь. Скажите вашему Дмитрію, что у меня есть ваканція съ добрымъ жалованьемъ и приличнымъ занятіемъ; пусть завтра прійдетъ въ Ревизіонъ-Коллегію, поутру, часу въ седьмомъ, до сената; я тамъ буду. А теперь поздно. Наумовъ, проводи барышню до дому; недалеко; по сосѣдству, во Французской Слободѣ. Ну, съ Богомъ!»

Не прошло и часа, изъ Зимняго Дома денщикъ царскій прискакалъ: Государь Князя зоветъ, и мѣшкать не приказалъ: нужное дѣло. Князь былъ давно готовъ къ этому приглашенію, и немедленно отправился во дворецъ. Государь былъ одинъ, въ новомъ дубовомъ кабинетѣ, и зашивалъ свои башмаки, при двухъ огаркахъ, оправленныхъ въ точеные собственноручно подсвѣчники.

— «Кто тамъ?» спросилъ Государь.

— «Слуга твой...» отвѣчалъ Князь: «По зову!»

— «Послушай, Князь!» спросилъ Государь, продолжая работать: «Скажи мнѣ, кто по Сенату правъ, Блеклый или Зотовъ?»

— «Блеклый.»

— «Но зачѣмъ же ты подписалъ опредѣленіе въ пользу Зотова?»

— «Государь! Сильная рука Зотова одолѣла; наступаютъ святки, а онъ моего брата, по злобѣ, уже опоилъ. Если бъ я обвинилъ его, и мнѣ была бы, можетъ быть, та же участь, а какъ ты, Государь, передѣлаешь по своему и насъ обвинишь, то не на кого будетъ ему и сердиться...»

Государь долго молчалъ, покраснѣвъ примѣтно. Наконецъ, не глядя на Князя, сказалъ тихо: «Ступай съ Богомъ!» —

Поутру весь Сенатъ былъ въ волненіи; со вчерашняго вечера Государь потребовалъ къ себѣ дѣло Блеклаго, и до девятаго часа утра, оно въ Сенатъ еще не возвращалось. Никто не рѣшался приступить къ слушанію другихъ дѣлъ; безпокойство было написано на лицахъ всѣхъ сенаторовъ. Наконецъ, въ девять часовъ ровно, генералъ-адъютантъ вошелъ въ присутствіе, и приказалъ читать высочайшую резолюцію. Государь рѣшилъ въ пользу Блеклаго, написавъ въ заключеніе собственноручно: чтобы *на всѣхъ господъ сенаторовъ наложить знатный штрафъ, а на Князя Долгорукова вдвое противу другихъ, потому что онъ умнѣе другихъ вдвое.*

—

V.

КОРАБЛИ.

Наступилъ новый 1712 годъ. Было уже 4-е число января. Князь Яковъ Ѳедоровичъ сидѣлъ съ своими приближенными въ кабинетѣ; передъ нимъ лежали чертежи корабля.

— «То-то, Ѳедя, подалъ я мысль Государю на сенаторовъ возложить построеніе запаснаго флота, да теперь и самъ не радъ. Кесарь, Меншиковъ, Князь Папа, Стрѣшневъ, Мусинъ-Пушкинъ давно уже свои корабли строятъ, а мнѣ — гдѣ работниковъ взять? Что, Дмитрій Семенычъ, ты справлялся?»

— «Справлялся, ваше сіятельство...» отвѣчалъ молодой Блеклый: «Въ Петербургѣ всѣ мастеровые наняты, въ морскихъ слободахъ всѣ мѣста способныя для постройки уже забраны. Сараи поставлены, чуть не ночью работаютъ. Да я досталъ таки мѣстечко для вашего сіятельства за рѣчкой Пряжкой, да на праздникахъ въ Олонецъ съѣздилъ, тамъ и мастеровъ и работниковъ нанялъ. Послѣ Крещенія всѣ будутъ. Корабль будетъ знатный, мастера опытные; только рукъ мало, долго строить прійдется.»

— «Все равно, лишь бы построить. Не изъ хвасти я вызвался Государю корабль снарядить, а ради нуждъ царскихъ. За усердіе не взыщетъ. И мой прочнѣе будетъ. А тебѣ спасибо, Дмитрій Семеновичъ! Знатно служишь... Ужъ ты на себя возьми, по дружбѣ, за всѣмъ кораблемъ смотрѣть.

Денегъ не жалѣй! Ну, Ѳедя!» продолжалъ Князь, обращаясь къ Наумову: «А ты роспись запасному отпуску сукна отослалъ?»

— «Отослалъ.»

— «А когда же исполнятъ?»

— «Да по ближайшимъ полкамъ уже исполнено. Только въ одномъ Ижерскомъ не принимаютъ зеленаго сукна; говорятъ, что не того колера прислали, пошли къ Князю жаловаться...»

— «Я ихъ въ гвардію, ради суконной нужды, пожаловалъ, я ихъ и разжаловалъ. Будетъ; пощеголяли. А будетъ у меня въ синемъ недостатокъ, такъ я и гвардію на годокъ арміей сдѣлаю. Вздоръ! Мы всѣ дома! Не изъ чего чваниться; мотать не будемъ. По одежкѣ протягивай ножки; такъ мнѣ самъ Государь наказывалъ.»

— «Полковникъ Ермолаевъ, адъютантъ его свѣтлости!» сказалъ слуга.

— «Проси!» отвѣчалъ Князь: «Вѣрно Свѣтлѣйшій за колеръ осерчалъ, да зачѣмъ однако же посылать ко мнѣ этого мерзавца?»

Ермолаевъ вошелъ въ кабинетъ Князя съ дерзостью, какую внушала незаслуженная протекція временщика, и не дожидаясь вопросовъ Князя, безъ предварительныхъ привѣтствій, даже безъ поклона сказалъ:

— «Его свѣтлость приказалъ вашему сіятельству дать ему знать, для чего на полкъ его отпущено сукно не того калибра...»

— «Что ты говоришь?»

— «Не того калибра!» повторилъ полковникъ.

— «Глупъ, братъ ты...» отвѣчалъ Князь съ улыбкой: «да и тотъ таковъ же, кто тебя въ полковники произвелъ *). Прощай!..»

— Ну, что, Дмитрій Семенычъ?» сказалъ Князь, когда Ермолаевъ скрылся: «А все таки, этотъ уродъ у тебя невѣсту отбилъ.»

— «Отбилъ, ваше сіятельство! Ужъ такой невѣсты мнѣ не найти... Да еще до срока далеко... Такой сорванецъ, какъ Ермолаевъ, чего добраго, попадется; а пока ему поперечить нельзя. Придушатъ отца, а онъ и такъ изъ трусовъ. Что дѣлать! Варенька больше для него отъ слова не отпирается, да пока жениха и на глаза не пускаютъ. Только и терпѣливъ же, окаянный; ждетъ!.. Въ церкви только и видятся. Конечно, если дойдетъ до Государя, не видать ему невѣсты; да кто же станетъ Царю говорить? Развѣ ты, Князь?...»

— «Нѣтъ, Дмитрій Семенычъ! Люблю я и тебя и отца, да къ Государю съ доносомъ не по моей части, не пойду, а при случаѣ не ручаюсь. Царю правда лучшій другъ.»

—

Наступила и весна; и Нева вскрылась, и Меншикова корабль приготовленъ къ спуску. Въ назначенный день, Государь съ Государыней, со всѣми иностранными посланниками и вельможами своей новой Имперіи пожаловалъ на корабль. Яркое солнце пылало во всей полуденной красотѣ своей; па-

*) См. Дополненія къ Дѣяніямъ Петра Великаго, Голикова, томъ XVII, стр. 194 — 197.

луба чернѣлась посѣтителями; раздалось молитвенное пѣніе; застучали топоры; грянула музыка и пушки, и новорожденный окунулся въ материнскихъ волнахъ Невы рѣки... Корабль при спускѣ не пошохнулся. Государь осматривалъ его во всѣхъ подробностяхъ: чудо, не работа; желѣзо, не плотность; чистенекъ, опрятенъ, словно выточенъ. О! Александръ Данилычъ на это мастеръ! Не успѣлъ корабль улежаться на своей зыбкой постелькѣ, по всей палубѣ, какъ будто по волшебному мановенію, раскинулись столы, и покрылись вкусными яствами и винами. Гости заняли мѣста, не по чинамъ, въ разсыпную. Государь подозвалъ строителя, и сказалъ: «Данилычъ! Милости, милости проси! Все сдѣлаю!»

— «Ваше Величество!» сказалъ Князь съ видомъ искренняго смиренія: «Позволь тебѣ, Государь, представить Полковника Ермолаева! За что его Князь Долгоруковъ и съ тобою вмѣстѣ обидѣлъ? Послалъ я его къ Князю за дѣломъ, а онъ и его и того, кто его въ полковники пожаловалъ, дураками назвалъ. Заступи насъ, Государь, и помилуй!..»

Ермолаевъ упалъ на колѣни предъ Государемъ, и также кричалъ: «Защити и помилуй!..»

Наумовъ, слыша этотъ разговоръ, бросился на другой конецъ палубы, гдѣ Долгоруковъ покойно сидѣлъ за столомъ, разговаривалъ съ какимъ-то иностранцемъ о красотахъ Римской Исторіи.

— «Ваше сіятельство!» шепнулъ Наумовъ на

ухо Князю: «Меншиковъ съ Ермолаевымъ на тебя жалуются.»

— «Пусть ихъ жалуются, какъ хотятъ...» отвѣчалъ Князь громко и покойно: «Имъ-же хуже!»

Въ эту же минуту подошелъ къ Якову Ѳедоровичу Государь, гнѣвный, грозный, со сверкающими глазами.

— «Давно ли я у тебя въ дураки попалъ?» спрашиваетъ Государь.

Долгоруковъ всталъ, и поклонясь отвѣчалъ: «Клевета, Петръ Алексѣевичъ!»

— «Ты говорилъ-же полковнику, присланному отъ Меншикова, что онъ дуракъ, и тотъ дуракъ, кто его въ полковники произвелъ?»

— «Говорилъ, и повторяю...»

— «Да кто-же въ чины жалуетъ? Вѣдь я?»

— «Нѣтъ, Государь! Не ты! Ты на верху, и на свой счетъ моихъ словъ не принимай, а садись и выслушай.»

Государь сѣлъ. Долгоруковъ началъ:

— «Стыдно тебѣ, Государь, такой клеветѣ и повѣрить. Ты знаешь, какъ я тебя разумѣю; можетъ быть, да и вѣрно получше твоего Александра, потому что за недостойнаго никогда не просилъ. Сказать, я сказалъ, но не про тебя, а про Меншикова, и вотъ почему. Ермолаевъ не изъ дворянъ, а сынъ казненнаго измѣнника, стрѣльца Ермолая; по деревнѣ Прокошкой его звали, и за проказы въ рекруты отдали; онъ у Князя сначала на посылкахъ былъ, потомъ сталъ наушничать, льстить, и самаго Князя то въ грѣхъ, то въ обманъ вво-

дитъ а онъ его къ чину и представляетъ; много ли времени прошло, а онъ уже полковникъ. Ужъ если Князь, довѣренный твой слуга, наичаще съ тобою бываетъ, коли ты его уже своимъ наперснымъ человѣкомъ сдѣлалъ, такъ ужъ и долженъ вѣрить, и паче въ такихъ малыхъ дѣлахъ; не дѣлать же тебѣ слѣдствій по всякому письменному и словесному представленію Князя. Ты вѣришь, а Князь своего клеврета въ полковники и произвелъ. Теперь ты меня, Государь защити! Спроси: за что Ермолаевъ полковникомъ? Гдѣ служилъ? Въ какой баталіи отличился? За что чины получилъ? Изслѣдуй, Государь! На мои слова не полагайся! И я человѣкъ, могу обмануть тебя, Государь, а невинный пострадаетъ. Но я...»

Долгоруковъ всталъ; глаза его блистали; всѣ черты лица приняли какую-то торжественность. Князь продолжалъ тихо: «Но я виноватъ. Зналъ, не донесъ. Потому не донесъ, что теперь только могу сказать, что говорю правду. Суди насъ, Государь!»

Государь всталъ, и сказалъ ласково: «Хорошо, дядя! Я все обслѣдую!» Потомъ, обратясь къ Ермолаеву, сказалъ тихо, но грозно:

— «Господинъ полковникъ! Отдай свою шпагу дежурному, и съ глазъ долой, до указа...»

Происшествіе это имѣло оборотъ совершенно противный тому, какого ожидалъ Князь Меншиковъ. Пиръ и веселіе разрушились. Государь почти ничего не ѣлъ; уѣхалъ, не простясь съ Княземъ Меншиковымъ; гости немедленно разъѣхались;

изъ первыхъ отправился домой, на лодкѣ, Долгорукій; но каково же было его удивленіе, когда войдя въ свой кабинетъ, нашелъ тамъ Меншикова. Свѣтлѣйшій ходилъ взадъ и впередъ, закинувъ за спину руки: лице выражало досаду. Увидѣвъ Долгорукаго, Меншиковъ остановился по срединѣ комнаты, и всплеснувъ руками, сказалъ жалобно: «Что ты со мною сдѣлалъ, ваше сіятельство?»

— «Ты виноватъ, ваша свѣтлость! Ты истецъ, я отвѣтчикъ!»

— «Виноватъ, дядя, прости!»

— «Не въ моей власти! Дѣло дальше Сената пошло.»

— «Выручи! Ты одинъ Государя на милость преклонить можешь!»

— «Не могу! Корабль не готовъ! Государь на меня и такъ за медленность сердится.»

— «Завтра всѣ мои работники на твоемъ кораблѣ будутъ. Да чего, завтра, сегодня, сейчасъ. только ты мнѣ моего Ермолаева ворота...»

— «Вотъ дай спустить корабль, такъ при спускѣ, вмѣсто милости, Ермолаева тебѣ выпрошу.»

— «По рукамъ, Князь!»

— «По рукамъ.»

Князья разстались. Долгорукій сталъ молиться, какъ вдругъ откуда ни возьмись гости. Членъ Ревизіонъ-Коллегіи, Бригадиръ Блеклый, нашъ старый знакомый, вслѣдъ за нимъ Подполковникъ Ижерскаго Полка Иванъ Степанычъ Оникеонъ, котораго почти насильно втащила въ кабинетъ Князя, Варенька. Долгорукій, сложивъ святцы, сказалъ

тихо: «Не радуйтесь чужому горю: и въ злодѣѣ несчастіе заслуживаетъ состраданіе.» Прибѣжавшіе благодарятъ Князя за послугу, съ трепетомъ отступили. «Ермолаевъ арестованъ...» продолжалъ Князь: «не избѣжитъ суда, но несчастіе его не освобождаетъ васъ отъ даннаго слова. Теперь надо отъ него получить добровольный, непринужденный отказъ... Еще поздній гость!» сказалъ Князь увидѣвъ молодаго Блеклаго: «и вѣрно за тѣмъ же.»

— «Я пришелъ доложить вашему сіятельству...» отвѣчалъ Дмитрій Семеновичъ: «что на нашъ корабль пришло до двухъ тысячъ работниковъ отъ Князя Меншикова; хотятъ служить безъ платы.»

— «Вздоръ! Не хотятъ! Имъ велѣли! А ты всѣмъ заплати наравнѣ съ нашими. А какъ скоро поспѣетъ теперь корабль?»

— «Недѣли черезъ двѣ. Вчернѣ и такъ готовъ.»

— «Ну, такъ черезъ двѣ недѣли я буду просить помилованія вашему общему врагу, Ермолаеву.»

— «Ваше сіятельство!» сказалъ Дмитрій Семеновичъ: «Я хотѣлъ просить васъ о томъ-же, потому что амбиція не позволитъ имѣть профитъ въ чужомъ несчастіи!»

— «Но въ такомъ случаѣ ты потеряешь любимую невѣсту.»

— «Не можетъ быть! Богъ справедливъ и милостивъ.»

— «Богъ справедливъ и милостивъ!»

Князь поцѣловалъ Дмитрія въ лобъ, повелъ всѣхъ въ гостинную, усадилъ, и приказалъ подать разнаго

рода сласти и вина.—Иванъ Степанычъ постоянно больше и больше трусилъ. Онъ не могъ повѣрить, чтобы ихъ принималъ и угощалъ русскій вельможа.

Не смотря на всѣ усилія Петра, дворы русскихъ сановниковъ сего времени походили на небольшія крѣпости, окруженныя стѣною; лично, кромѣ равныхъ съ ними, никто не смѣлъ и не могъ ихъ видѣть. Людей даже трудно было вызывать. Нерѣдко посланецъ отмораживалъ руки, пока отворяли ему калитку. Иностранные резиденты, пріѣхавъ въ Петербургъ, на другой или на третій день, по европейскому обычаю, отправлялись ко всѣмъ сановникамъ съ визитами; простоявъ болѣе часа у воротъ, они были допускаемы къ объясненію съ дворниками, потомъ съ дворецкимъ, потомъ съ управляющимъ, наконецъ входили въ гостинную. Сановникъ выходилъ и садился въ кресла, не приглашая сѣсть резидента. Иностранецъ говорилъ свою рѣчь. Выслушавъ, сановникъ спрашивалъ: Что тебѣ отъ меня нужно? Естественно резидентъ отвѣчалъ: Ничего, я пріѣхалъ такъ, посѣтить васъ. —Сановникъ на это говорилъ: Напрасно безпокоился; прощай! И мнѣ отъ тебя ничего не нужно. — И съ этимъ комплиментомъ резидентъ отправлялся къ другимъ, за тѣмъ же. Исключенія были рѣдки, и потому неудивительно, что отъ ласки и радушія Князя Долгорукаго, Иванъ Степанычъ совершенно струсилъ. Когда Князь отворачивался, Иванъ Степанычъ толкалъ Вареньку ногою, или даже дергалъ за юпку, приговаривая: «Что ты это разсѣлась, будто дома! Подвинься на краишекъ!

Князь смотритъ.» Когда, взявъ кубокъ, Князь провозгласилъ здоровье Ивана Степаныча, чувства Ониксова помутились; онъ вскочилъ, вытянулся въ струнку, и такъ ревнулъ «Здравія желаю, ваше сіятельство!» что Князь отъ смѣха захлѣбнулся и сталъ каплять.

— «Виноватъ!» возопилъ испуганный Иванъ Степанычъ: «Никогда не буду...»

— «Да не смѣшни, Иванъ Степанычъ! Что ты сомною чинишься!» — «Что я за шутъ!» подумалъ Иванъ Степанычъ, и обидясь, сталъ пятиться къ дверямъ, попалъ на стулъ, опрокинулъ; стулъ ударился объ столъ, стоявшій въ углу, съ китайскою вазою; ваза полетѣла подъ ноги Ивана Степаныча. Испуганный до нельзя, онъ сталъ прыгать, желая отскочить отъ дорогаго фарфора, но, по обычной ловкости и обширности ботфортовъ, попадалъ ногами въ вазу. Объятый ужасомъ, онъ выбѣжалъ на дворъ, и сталъ кричать во все горло: караулъ! Люди было принялись за него, но Иванъ Степанычъ, у самыхъ воротъ, встрѣтясь съ Ермолаевымъ, котораго подъ стражей вводили на дворъ, опрометью бросился опять въ покои, забѣжалъ въ образную, упалъ на колѣни, громко повторяя: «Святые угодники! спасите!..»

— «Что тамъ такое?» спросилъ изумленный Долгорукій.

— «Арестанта привели...» отвѣчалъ Наумовъ.

— «Да что я, острогъ что ли?»

— «Отъ Государя.»

— «Отъ самаго Государя! Давай его сюда.

Вошелъ Ермолаевъ, и сталъ валяться въ ногахъ Князя: «Прости меня, ваше сіятельство, вѣчно тебѣ холопомъ служить буду. Государь говоритъ, что мнѣ помилованія не будетъ, а только не такъ строго накажетъ, если ты простишь.»

— «Не могу...» сказалъ грозно Долгорукій. «Прощеніе у Бога да у Государя, а не у насъ, грѣшныхъ людей; у нихъ милость, а у насъ законъ. Вотъ, погляди, и эти тобою обижены; въ Сибирь пошлютъ, и невѣста съ тобой должна ѣхать. Такъ ужъ водится. Я Варвару Ивановну знаю. Слово дала, не отречется, а я знаю, какъ ты то слово получилъ, такъ ужъ извини, просить за тебя не стану...»

— «Батюшка, государь, князь, ваше сіятельство, я ей слово назадъ отдаю, на мой счетъ свадьбу справлю; только изъ бѣды выручи!»

Иванъ Степанычъ просунулъ голову изъ образной, и сказалъ тихо: «Князь, а князь! Не выручай! Онъ меня со свѣта сживетъ; я его знаю давно; право, не выручай; онъ тебѣ насолитъ. Благо попался... Не выручай!»

— «Послушай, Ермолаевъ!» сказалъ Князь: «Вѣдь ты потомъ, пожалуй, скажешь, что невѣсту по неволѣ уступилъ. Воля при тебѣ; если доброхотно отказываешься, такъ вотъ икона; у меня и кольца найдутся; за священникомъ недалеко сбѣгать...»

— «Право, охотно! Хоть вѣнчай ихъ; мнѣ теперь не только Варвара Ивановна, и свѣтъ не милъ.»

— «Ну, такъ и быть!» сказалъ князь, и ужъ очень поздно ввечеру совершилось обрученіе Дмитрія Семеновича Блеклаго съ Варварой Ивановной Ониксовой, въ присутствіи дочери и нѣкоторыхъ родственниковъ Князя, созванныхъ на скорую руку.

Прошло двѣ недѣли безъ двухъ дней, и корабль Князя Долгорукова былъ спущенъ на Неву рѣку, съ тѣмъ же церемоніяломъ. Государь былъ вполнѣ доволенъ. Съ неизъяснимымъ удовольствіемъ поглядывалъ Петръ на маститаго старца, украшеніе государства и государствованія. По обыкновенію столы были раскинуты; для высочайшихъ особъ приготовлено было особое мѣсто. Государь приказалъ подать третій стулъ, и усадивъ хозяина на средній, взялъ за руку Императрицу, и подведя къ Князю, сказалъ: «*Дядя нашъ больше намъ другъ, нежели подданный. Никто столько насъ не любитъ, какъ онъ. Всегдашняя правда, говоренная имъ мнѣ, и ревность его къ отечеству сіе доказываютъ ясно и ты обязана его стольже много любить, какъ и я. Проси, другъ мой, у меня...*» прибавилъ Государь, обращаясь къ Князю: «*я все для тебя сдѣлаю.*

Князь улыбнулся, и отвѣчалъ: «*Хорошо, посмотрю, сдѣлаешь ли, о чемъ попрошу.*» —

— «*Сдѣлаю...*» повторилъ Государь, и Князь вставъ, сказалъ: «*Прости арестованнаго полковника! Больше ни о чемъ тебя не тружу.*»

— «Дядя! Благо тебѣ, если враговъ прощать умѣешь. Ужъ я этого и не ожидалъ. Быть по твоему.»

Князь всталъ изъ-за стола, и подозвавъ Наумова, сказалъ: «Сходи, Ѳедя, къ Ермолаеву, да и выпусти его изъ-подъ ареста государевымъ именемъ; только крѣпко на крѣпко накажи ему, что если самъ государь будетъ о чемъ либо его спрашивать, то бы не осмѣливался ничего утаивать. *Правда Царю лучшій другъ!*»

— «Слушаю-съ!» отвѣчалъ Наумовъ.

— «Да кстати...» прибавилъ Князь: «попроси его сегодня ввечеру къ Ониксовымъ на свадьбу; пусть помирятся...»

— «Все слышу, дядя...» сказалъ Государь: «все знаю, да не все будетъ по твоему. Я у Ониксовыхъ на свадьбѣ самъ хочу быть; а съ Ермолаевымъ встрѣчаться не желаю... Ермолаевъ сегодня же уѣдетъ на Уралъ, въ дальнюю крѣпость въ коменданты. Да, Александръ Данилычъ; это я уже о тебѣ хлопочу.»

Всѣ умолкли. Прошло нѣсколько мгновеній; Государь завязалъ бесѣду, и всѣ оживились непринужденнымъ веселіемъ.

Съ корабля всѣ переѣхали на Васильевскій Островъ, и въ приходской церкви Князя Меншикова, у Спаса на берегу, Князь Долгоруковъ стоялъ посаженымъ отцемъ у Варвары Ивановны.

Богатые пиры на княжескій счетъ продолжались шесть дней. На седьмой случилось происшествіе, составляющее содержаніе особаго разсказа.

ЧАСОВОЙ.

Историческая повѣсть.

—

I.

Какъ женихи женихова провожали.

Лефортово, какъ хотите называйте: село, или предмѣстье, стояло у самой Москвы особнякомъ и представляло довольно странную и занимательную противуположность съ Бѣлокаменной Старушкой; посреди обширнаго сада возвышался великолѣпный Лефортовскій дворецъ, построенный признательнымъ Монархомъ для достойнаго любимца, отличный архитектурою ото всѣхъ боярскихъ хоромъ или лучше сказать городковъ. Отъ ограды, красивыми улицами во всѣ стороны расходились деревянные домики, числомъ до пяти сотъ; это были казармы Лефортовскаго полка. Нѣкоторые изъ этихъ домиковъ были пообширнѣе и обыкновенно стояли посреди улицы или роты. Въ одномъ изъ этихъ большихъ домовъ, не смотря на позднюю пору, окна были освѣщены и ставни не заперты. У капитана Бломберга сидѣлъ гость, Василій Семеновичъ Подсвинковъ, дьякъ посольскаго приказа, человѣкъ пожилой, такъ будетъ лѣтъ

около пятидесяти; бывалый, какъ говорятъ, потому что онъ точно бывалъ за моремъ по разнымъ посольскимъ дѣламъ и порядочно изломалъ нравы и языкъ на нѣмецкой ладъ. Капитанъ Бломбергъ былъ изъ Вестфаліи родомъ, имѣлъ тамъ родныхъ и, во время проѣзда Василія Семеновича черезъ отчизну Бломберга, родственники не упустили случая переслать капитану письмецо, а это письмецо доставило обоимъ пріятное знакомство, особенно для Подсвинкова, и по весьма естественной причинѣ. У Бломберга было три дочери, старшей, Шарлотѣ, было восемьнадцать лѣтъ, второй Розѣ — двѣнадцать, меньшой и того меньше. Старшая была на чудо хороша, а Подсвинковъ, который весьма былъ уже расположенъ ко всему иностранному, расположился и къ хорошенькой Шарлотѣ, тѣмъ болѣе, что по его мнѣнію, пришла настоящая пора жениться. Время было лѣтнее; погода прекрасная, Шарлота съ сестрами сидѣла у сосѣдокъ, въ небольшомъ саду и не смотря на то, что сестрицы напоминали ей, что пора спать, она никакъ не рѣшалась итти домой, какъ будто выжидала пока гость отца не уберется восвояси. Но нетаковъ былъ Василій Семеновичъ Подсвинковъ. Онъ получилъ въ приказѣ такую привычку, что могъ просидѣть трое сутокъ сряду. По заграничному манеру, тянулъ себѣ пуншикъ съ французской водкой, курилъ изъ глиняной трубки, и бесѣдовалъ съ капитаномъ, который также курилъ трубку, тянулъ пуншъ и также бесѣдовалъ. Только и разницы было въ поведеніи двухъ собесѣдниковъ,

что Подсвинковъ по привычкѣ сидѣлъ, а капитанъ по привычкѣ ходилъ по комнатѣ взадъ и впередъ церемоніальнымъ маршемъ, соблюдая при поворотахъ воинскіе пріемы. Еще разница, или сходство, какъ угодно: дьякъ непремѣнно хотѣлъ говорить по нѣмецки, а капитанъ по Русски.

— «Полно, Василій Семеновичъ, полно!» говорилъ Блюмбергъ: «Сдѣлай милость, не смѣши! Ты по нѣмецки не можешь говорить свободно. Надо имѣть особенный талантъ къ языкамъ. Вотъ я, напримѣръ, по Испански выучился въ три дни!...»

— «Ну, ужъ и въ три дни!»

— «Ей Богу, въ три дни. Да это что! Пустой языкъ, дрянь, въ одинъ день я просмотрѣлъ лексиконъ и къ вечеру уже зналъ всѣ Испанскія слова. На другой день взялъ и выучилъ Грамматику; на третій я уже написалъ Испанское письмо къ Кардиналу въ Мадритъ. Тутъ даже нѣтъ ничего удивительнаго, а вотъ происшествіе съ Турецкимъ языкомъ такъ въ самомъ дѣлѣ удивительно!»

— «А что же было съ турецкимъ языкомъ?»

— «А вотъ что! Пошли мы, ты знаешь, съ генераломъ, въ турецкій походъ, я всю дорогу и думаю: какъ же я буду въ Турціи разговаривать, а турецкій языкъ, надобно тебѣ знать, ужасно труденъ. На самой уже границѣ, на ночлегѣ, я думаю: какъ же это будетъ? Завтра мы въ Турціи, а я еще ни одного слова не знаю. Думалъ, подумалъ, и заснулъ. Сплю. Вдругъ вижу, ко мнѣ подходитъ Турка и давай со мной по-Турецки.

Мы разговорились. Я такъ и чешу по-Турецки. Онъ обрадовался, да всю ночь со мной и проболталъ. Просыпаюсь, что же ты думаешь, знаю по-Турецки!»

— «Что же ты, небось, во снѣ выучился?!»

— «Во снѣ!»

— «Мудрено, да ужъ если ты разсказываешь, должно быть такъ. По этому ты и теперь по-Турецки знаешь?»

— «Зачѣмъ! Пока былъ въ Турціи, такъ и зналъ; вышелъ изъ Турціи, на самой границѣ, всѣ слова забылъ, будто у меня кто турецкій языкъ изъ кармана уворовалъ.»

— «Мудрено, право мудрено; да мало чего такого нѣтъ на свѣтѣ; чего и не слыхивали и невидывали другіе. Вотъ, чай, другой Шарлоты Богдановны не бывало, нѣтъ, да и не будетъ...»

Бломбергъ посмотрѣлъ на Подсвинкова и усмѣхнулся....

— «Видишь, въ послахъ...» сказалъ капитанъ: «всякой хитрости научился; знаетъ, съ которой стороны подъѣхать. Я тебѣ далъ слово и не отрекаюсь. Быть ей твоею женою, только—бороду долой, да и платье....»

— «Богданъ Крестьяновичъ, помилуй! Ты развѣ не знаешь, какой норовъ у моего милостивца, боярина Ивана Ивановича. Вѣдь боринъ меня съѣстъ, если бороду сниму. Не забудь, вѣдь онъ у меня самая больная рука; къ князю Ѳедору Юрьевичу, къ Лопухинымъ, и къ другимъ близкимъ царскимъ людямъ я не вхожъ; Иванъ Ивановичъ

на дняхъ хочетъ меня въ думные дьяки выпросить, а я вдругъ ему и удружу бородой. Ну, а тамъ, какъ я стану думнымъ, тогда мнѣ боярская рука не нужна; могу бороду снять; тогда меня станетъ Государь знать и жаловать....»

— «Ну, такъ тогда и свадьбѣ быть....» сказалъ Бломбергъ сухо, выколачивая бережно трубку....

— «Что ты, что ты, Богданъ Крестьяновичъ! Право не въ мочь; Шарлота Богдановна больно хороша. Ты живешь въ своей ротѣ; тутъ кругомъ холостьба; не только тутъ у васъ солдаты, капралы и сержанты, да есть и офицеры не женатые. Молодежъ. Глазъ у иного такой вострый, у иного черный; такъ смотри, чтобы подъ часъ съ недобраго глаза....»

— «Полно, Василій Семеновичъ! Не такая у меня Лотхенъ. Вотъ, не дальше будетъ, какъ съ недѣлю, Михайло Волковъ, ты чай слышалъ, у Государя въ товарищахъ, въ одномъ капральствѣ; онъ, да князь Михайло Михайловичъ Голицынъ, тоже Преображенскій солдатъ; Государя на часахъ смѣняютъ; одну артель ведутъ; кажется близкіе люди; такъ этотъ Волковъ вздумалъ было Лотхенъ къ себѣ приколдовать. Что-же вышло? Не онъ ее, а она его — до смерти испортила; дурь навела; того гляди, разумъ повредитъ. Да это что! Съ измолода она въ большой славѣ. Въ Турціи у меня про нее спрашивали; Турецкій султанъ подсылалъ ко мнѣ большую казну, и камни и лошадей, а ужъ какая была одна лошадь, такъ на чудо. Лошадь, какъ лошадь, только вмѣсто зу-

бовъ, настоящіе жемчужины, а въ глаза — карбункулы вставлены.... Я сказалъ: пожалуй, только быть Шарлотъ султаншей—одной; а прочихъ женъ пускай на волю отпуститъ.... Вотъ послы недавно пріѣхали.... Опять распрашивали.... Видишь, до сихъ поръ въ Царьградѣ думаютъ, да раздумываютъ, да я нарочно такую загвоздку вклеилъ, что и перелезть имъ нельзя. Тото-же!... Вѣдь я не какой нибудь простой человѣкъ; слово далъ и сдержу... А ты для такой красавицы и бородой не хочешь поплатиться.... Да что борода? дрянь; у инаго и на головѣ волосъ нѣтъ, а никто и не узнаетъ; такіе нынче важные парики, а бороду и чай еще лучше сдѣлаютъ....»

— «Какъ, бороду?..»

— «Ну да, бороду. Нужно къ боярину итти, подклеилъ и пошелъ; воротился домой, парикъ съ бороды долой и человѣкъ....»

Подсвинковъ призадумался. Въ это время, на дворѣ послышался дѣвичій шепотъ; двери отворились и всѣ три сестры опрометью вбѣжали въ комнату....

— «Генералъ идетъ къ намъ, генералъ, самъ генералъ!» кричали всѣ три вмѣстѣ. И въ самомъ дѣлѣ, Лефортъ нагнулся въ дверяхъ и выпрямился уже въ комнатѣ. Гораздо труднѣе было и нагинаться и входить его спутнику, Преображенскому солдату Михайлѣ Яковлевичу Волкову. Подсвинковъ не безъ труда поднялся со стула; Бломбергъ бросился къ мундиру....

— «Не трудись, капитанъ!» сказалъ Лефортъ:

«Я къ тебѣ не по службѣ, а по приватному дѣлу. Поднеси капитанъ и мнѣ трубочку, покуримъ вмѣстѣ и поразсудимъ.»

Бломбергъ съ перваго взгляда смѣкнулъ за чѣмъ пожаловали поздніе гости: и сватъ и женихъ были ему крѣпко не по-нутру; но, соблюдая Европейскую учтивость, Бломбергъ поднесъ трубки обоимъ гостямъ; кивнулъ Лотхенъ; та зачерпнула изъ большой фаянсовой чаши пуншу и поставивъ на подносъ два стакана, приказала поднести меньшей сестрѣ; всѣ усѣлись, сестрицы всѣ три на одномъ стулѣ.

— «Ну, Богданъ Христіановичъ, давно невидались!»

— «Давненько, ваша эксцеленція, Францъ Яковлевичъ! Изволили съ Государемъ дальній походъ справлять....»

— «Сегодня только утромъ въ Преображенское пріѣхали. Я еще и дома не успѣлъ побывать. Прямо отъ Государя къ вамъ.»

Бломбергъ всталъ, поклонился, и мимоходомъ значительно и самодовольно взглянулъ на Подсвинкова и Шарлоту. Лефортъ продолжалъ:

— «Очень пріятный вояжъ! Мы видѣли Русское море. Очень далеко и холодно; Архангельскъ, — хуже Кожуховки, что на Коломенской дорогѣ; солнце лѣтомъ не заходитъ; ночь—двѣ три минуты, и не ночь, а только солнца не видно. А зимою говорятъ день часа два три и пошла ночь.... Со всѣмъ на краю свѣта. Это море очень неудобно. Я совѣтовалъ Государю достать другое.»

— «Да гдѣ же его теперь достать?» замѣтилъ

Подсвинковъ, желая блеснуть познаніями своими и войти въ разговоръ съ такимъ случайнымъ человѣкомъ, первымъ любимцемъ Царскимъ.... «Не извольте забыть, Францъ Яковлевичъ, что всѣ моря разобраны....«

— «Велика бѣда! Могутъ быть отобраны »

— «Гдѣ намъ!»

— «Конечно, гдѣ вамъ!» сказалъ Лефортъ, презрительно улыбнувшись и обратясь къ Бломбергу:

— «Впрочемъ, мы провели время очень весело! Очень много видѣли новаго, полезнаго. Апраксинъ остался въ Архангельскѣ, а князь сдѣланъ Адмираломъ....»

— «Какой князь, съ позволенія спросить, ваша эксцеленція?»

— «Князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій. Умная голова. Я уважаю даже его упрямство. Онъ не то что другіе. Онъ и упрямится умно!... Есть въ доказательствахъ его правда и соль.... Завтра мы будемъ встрѣчать его торжественно, но объ этомъ послѣ. Въ Преображенскомъ, благодаря Богу и дисциплинѣ нашей, нашли мы все въ порядкѣ, кромѣ сердца Михайлы нашего. (Волковъ покраснѣлъ, опустилъ глаза и ни съ того ни съ сего всталъ и вытянулся въ позицію, званію его присвоенную). На силу допытались мы, въ чемъ дѣло. И то уже князь Михайло его выдалъ. Ваша дочь, капитанъ, совершенно его обворожила! Я обѣщалъ Государю пойти къ вамъ сватомъ.... Кажется, я все сказалъ. Не откажите, Богданъ Крестьяновичъ, нашей общей просьбѣ....»

Эффектъ, произведенный снятовствомъ Лефорта былъ весьма разнообразенъ. Шарлота такъ перепугалась, что даже вскрикнула и ухватилась обѣими руками за сестеръ; движеніе это было такъ судорожно, съ такою силою, что бѣдныя дѣти закричали во все горло; Бломбергъ всталъ со всею почтительностію, но съ выраженіемъ неудовольствія; Подсвинковъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ отъ страха.

— «Ваша эксцеленція!» такъ началъ Бломбергъ: «Жаль, что вы не удостоили меня такою великою честію нѣсколько дней ранѣе. Теперь уже поздно. Вы знаете, что я держу мое слово свято и нерушимо. Однажды подгулялъ я и далъ слово Бургомистру проплыть подо льдомъ отъ проруба до проруба — и проплылъ.... Другой разъ я побился объ закладъ, что самъ себѣ сломаю руку и не позову костоправа, самъ вылечусь. И руку сломалъ, и костоправа не позвалъ, и самъ себя вылечилъ. О, я чортъ на слово. Въ третій разъ....»

— «Да скажите, на этотъ разъ кому вы дали слово?...»

— «Василію Семеновичу!» сказалъ Бломбергъ съ гордостью: «Вотъ вамъ Василій Семеновичъ, дьякъ посольскаго приказа. Съ Англійской королевой разговаривалъ и былъ съ нею на охотѣ. Въ Бранденбургѣ ходилъ по саду съ курфирстомъ подъ руку, за панибрата; у Флорентійскаго Герцога пѣлъ съ его женою вдвоемъ музыку; съ генеральными штатами цѣловался, не христосовался, а просто цѣловался, какъ братъ и равный.... Сверхъ того былъ на мысѣ Доброй Надежды....

— «Не былъ, Богданъ Крестьяновичъ...» робко прервалъ Подсвинковъ.

— «Вздоръ! Я говорю, что былъ. Ужъ я лучше знаю, гдѣ кто былъ, гдѣ не былъ. Да не въ томъ сила. Я далъ слово—и Шарлота будетъ женою Василія Семеновича, если онъ исполнитъ наше условіе. Притомъ же и Шарлота любитъ своего жениха безъ памяти...»

— «Нѣтъ, я не...» хотѣла сказать Шарлота: «не люблю» да не успѣла. Бломбергъ закричалъ:

— «Вздоръ! Ужъ я лучше знаю кого она любитъ. Во снѣ Васильемъ Семеновичемъ бредитъ... Недавно вышила персидскими шелками его вензель въ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ...»

— «Вашъ вензель, батюшка!..»

— «Вздоръ! Не мой! Что же, я будто азбуки не знаю? Какъ ты это смѣешь, негодница, въ глаза мнѣ, отцу, и еще при его эксцеленціи, при чужихъ людяхъ, говорить неправду?.. Не могу. Слово мое нерушимо и свято. Однажды...»

— «Эхъ капитанъ...» прервалъ Лефортъ: «жаль, жаль, что ты поспѣшилъ словомъ. Да нельзя ли какъ нибудь сдѣлаться съ Василіемъ Семеновичемъ. Авось онъ невѣсту уступитъ.»

У Подсвинкова волоса дыбомъ встали; всякая посольская хитрость пропала; онъ глядѣлъ на Бломберга умоляющимъ взоромъ и капитанъ поспѣшилъ на выручку...

— «Уступитъ! Да какъ это онъ осмѣлится сдѣлать съ человѣкомъ благороднымъ, съ нѣмецкимъ дворяниномъ, у котораго въ предкахъ было не-

сколько бароновъ, нѣсколько замковъ и даже одинъ Имперскій городъ?.. Я за этакую шутку вызову его на дуэль, и убью съ перваго раза, какъ я убилъ пашу Турецкаго, который вызвалъ меня на дуэль...»

— «Я этого что-то не помню, капитанъ!»

— «Истинное достоинство всегда скромно. Я этого не говорилъ никому, даже товарищу и другу моему барону Коненкиндену, съ которымъ вмѣстѣ дробью изъ двухъ пистолетовъ мы убили сорокъ Турокъ. И объ этомъ ваша эксцеленція ничего не знаетъ, не правда ли? Жаль, что баронъ умеръ. Онъ бы подтвердилъ слова мои. Повторяю, истинное достоинство всегда скромно; но вы меня принудили къ откровенности... Однимъ словомъ, если Василій Семеновичъ откажется отъ Шарлоты, убью, если откажется отъ дуэли, все таки убью. Но я знаю, кого избралъ въ мужья моей дочери! Онъ не откажется!.. Не правда ли, Василій Семеновичъ?..»

— «Правда, истинная, сущая правда, Богданъ Крестьяновичъ!» говорилъ Подсвинковъ, такимъ голосомъ, какъ будто проказникъ кается дядькѣ въ шалости.

— «Послушай, Бломбергъ!» сказалъ Лефортъ, перемѣнивъ учтивый и дружескій тонъ на повелительный: «Конечно ты отецъ, и потому начальникъ дочери. Но не забудь, что она не можетъ выйти замужъ безъ твоего согласія, точно такъ, какъ ты не можешь жениться безъ моего. Но могу ли я тебя женить насильно на вдовѣ моего ключни-

ка?.. Такъ и ты долженъ сначала посовѣтоваться съ сердцемъ дочери. Изо всего вижу, что Шарлота Подсвинкова не любитъ, а къ Волкову неравнодушна...»

— «Ахъ, не правда, генералъ!» закричала Шарлота, выбѣжала на середину и оторопѣла.

— «Ага!» сказалъ торжествующій Бломбергъ: «Я умѣю читать въ сердцѣ. Однажды...»

— «Неужели, Шарлота Богдановна!» воскликнулъ Лефортъ, не слушая Бломберга: «Неужели вы безъ шутокъ влюблены въ Василья Семеновича...»

— «Терпѣть не могу и Василія Семеновича и Михаила Яковлевича, и еще десятка подлипалъ, отъ которыхъ ни въ киркѣ, ни на улицѣ прохода нѣтъ. Всѣхъ, всѣхъ не люблю.»

— «Всѣхъ?» спросилъ Лефортъ, съ коварной улыбкой...»

— «Почти всѣхъ...»

— «А кто же этотъ счастливецъ?..

Шарлота всплыхнула, расплакалась и убѣжала изъ комнаты... Въ это время кто-то прискакалъ на лошади, соскочилъ у дома, стоявшаго противу оконъ Бломберга, постучался въ дубовую калитку и скрылся. Собесѣдники невольно обратили вниманіе на поздняго гостя, посмотрѣли въ окно, размѣнялись взорами и молча стали собираться по домамъ...

— «Жаль!» сказалъ Лефортъ: «Очень жаль, да насильно милъ не будешь. Прощай, Михаилъ! Ступай въ Преображенское, доложи обо всемъ Госу-

дарю, если спросить; а такъ, отъ себя, Царя не безпокой. И безъ тебя у Него много дѣла. Потеряль невѣсту; не кручинься; на Москвѣ красавицъ много. Ну, прощай, капитанъ! Ахъ, чуть было не забылъ. Завтра, часу въ шестомъ, быть твоей ротѣ на Мясницкой; князя встрѣчать указано. Вотъ тебѣ и сватъ!» ворчалъ Францъ Яковлевичъ, уходя. На улицѣ съ нимъ повстрѣчалась какая-то знакомая фигура, но увидавъ генерала отвернулась. Лефорту было не до проходящихъ; и время уже позднее; онъ и побрелъ себѣ шажкомъ къ своему дворцу, а фигура усѣлась подъ Бломберговы окна. Тамъ капитанъ провожалъ гостей:

— «Простите, не осердитесь! Слово благороднаго человѣка — его неволя... А ужъ ты, Василій Семеновичъ, будь благонадеженъ. Это она такъ, нарочно, ради того, чтобы отъ солдата отдѣлаться. Она вся въ меня. При случаѣ умѣетъ лишнее слово выкинуть... Видишь, что задумали! Чтобы Шарлота фонъ Бломбергъ была солдаткой. Haben sie nicht! Я хочу, чтобы она была посланницей въ Царьградѣ, на зло Султану. Завтра я съ моей ротой съ шестаго часу буду торчать на Мясницкой. Дай Богъ до обѣденъ князя дождаться. Мнѣ будетъ скучно. Приходи толковать о свадьбѣ... Только смотри... бороду... бороду...»

Волковъ поджидалъ Подсвинкова на улицѣ, да и не одинъ. Въ товарищи къ нему пристала незнакомая намъ фигура..

— «Что, Мина, удалось сватовство?» спросилъ незнакомецъ насмѣшливо.

— «Нѣтъ!» грубо отвѣчалъ Волковъ: «Постой же, я Государю на нихъ нажалуюсь. А ужъ этому Подсвинкову задамъ...»

— «Эхъ, ты, молодецъ! Ты такъ дѣлай, чтобы обиду пополамъ съ добромъ мѣшать. Слышалъ ты, на чемъ капитанъ стоитъ?»

— «На чемъ, Яша?»

— «А на томъ, чтобы дьякъ бороду снялъ... Вотъ ты ему и сними бороду своеручно... Оно знаешь, дьяку придется и больно и выгодно. Бороду даромъ снимутъ, а передъ бояриномъ онъ правъ; за то напищится онъ поросенкомъ.»

— »А что, Яша, выдумка тебя стоитъ...»

— «Только гляди, Миша, дай и мнѣ поглядѣть на потѣху. Ты знаешь, смѣхъ для меня, что для тебя хлѣбъ.»

— «Вотъ и онъ! Не отставай же Яша! Я его...» Волковъ подошелъ безъ церемоніи къ Подсвинкову и сказалъ:

— «Слышь, ты, женихъ! А гдѣ ты будешь бороду снимать?...»

Подсвинковъ молчалъ и шелъ впередъ поспѣшно.

— «Не трудись въ нѣмецкую цырюльню ходить, я тебя и здѣсь по заморскому окарнаю, ни волоска не останется; до-чиста выщиплю...» И съ этими словами протянулъ руку, чтобы немедленно приступить къ операціи; Подсвинковъ, какъ ни былъ тяжелъ на подъемъ и нагруженъ пуншемъ, но говорятъ, отъ страха крылья растутъ; заревѣлъ Подсвинковъ: «Разбой, воры!» да и давай Богъ ноги. Бѣжитъ, будто молодость. Только лужи подъ нимъ

расплескиваются мелкими брызгами; только отъ подковокъ иной разъ искра отскочитъ, освѣтитъ и улицу, и червую тѣнь бѣгущаго, и снова темно. Ботфорты, аммуниція и ростъ Волкова замедляли преслѣдованіе. Яша былъ на легкѣ, но Богъ знаетъ, почему, съ полпути заблагоразсудилъ воротиться; еще разъ подошелъ къ окнамъ Бломберга; но окна и ставни были уже заперты. Яша вздохнулъ и ушелъ въ калитку, у которой все еще стояла его лошадь.

—

II.

Какъ Яша и другу и недругу сослужилъ службы.

На мясницкой, въ Китай городѣ, въ Кремлѣ и вообще во всѣхъ улицахъ, гдѣ слѣдовало проѣзжать торжественному поѣзду, толпилось множество народа который безпрестанно сбивалъ съ мѣстъ какъ нѣмецкихъ солдатъ, такъ и стрѣльцовъ. Капитаны сердились, кричали, приводили строй въ порядокъ, но не на долго. Особенно толпа выходила изо всякаго повиновенія въ самомъ Кремлѣ, гдѣ, на пепелищѣ, послѣ недавняго пожара, уничтожившаго болѣе сорока жилыхъ домовъ, возвышалось временное, огромное строеніе изъ дерева, снаружи украшенное лѣпными арабесками, аллегоріями, росписанными масляными и сухими красками, изукрашенными золотомъ и плюшками, которыя весьма много отнимали красоты и великолѣпія. На подъѣздѣ, покрытомъ краснымъ сукномъ, возвышался балдахинъ, на витыхъ и золоченыхъ столбикахъ; шагахъ въ пятидесяти отъ этого стро-

нія, построена была также временная кухня со дворомъ и особой пекарней; изъ четырехъ огромныхъ трубъ валилъ такой дымъ, что народъ крестился и ожидалъ пожара. Ни дать ни взять, показалось бы нашему брату, что за высокой оградой кухоннаго двора, кипятъ четыре парохода, и вотъ сей часъ понесутся въ Кронштадтъ; дымъ—слуга вѣтра, дѣло извѣстное; и хозяинъ нагнулъ покорнаго слугу; тотъ прямо повалилъ въ окна хоромъ боярина Ивана Ивановича. Время было лѣтнее; хоромы боярскія богатыя, время утреннее, чай и седьмой часъ еще не изошелъ; бояринъ, лежа на пуховикахъ, прохлаждался; всѣ окна были раскрыты. У оконъ стояли въ нарядныхъ платьяхъ боярскіе кліенты и подчиненные, искатели милостей, льстецы и люди служебные; какъ завидѣли они, что дымъ несется прямо на боярскія хоромы, давай запирать окна; заперли во время, потому что дымъ набѣжалъ, ударился въ разноцвѣтныя стекла, въ опочивальнѣ потемнѣло, но въ комнаты не удалось ему ворваться; онъ и полетѣлъ дальше...

— «Что за диво?» сказалъ бояринъ медленно, выдавливая каждый слогъ, будто изо рту вишневыя косточки выбрасываетъ... «Саранча, что ли?»

— «Нѣтъ, это дымъ съ новой пекарни, бояринъ...» сказалъ Подсвинковъ, низко кланяясь: «Пекутъ, варятъ про князя; встрѣчу готовятъ...»

Бояринъ презрительно улыбнулся; таже улыбка пробѣжала по лицамъ всѣхъ присутствующихъ; бояринъ откашлялся; нѣкоторые сдѣлали тоже, но

весьма нотные; потому, что въ этихъ хоромахъ тонъ равенства ни въ чемъ не допускался.

— «Ну, подите вонъ покуда!» сказалъ боярин. Всѣ присутствующіе поклонились и на цыпочкахъ одинъ за другимъ вышли въ столовую. Одинъ только Подсвинковъ осмѣлился остаться, но чувствуя всю мѣру своей дерзости, опустилъ глаза и вертѣлъ въ рукахъ свою высокую шапку... Между тѣмъ два карла обували боярскую ногу, а шутъ Кирюшка подалъ Ивану Ивановичу изурочное полотенцо и серебряную мису съ водой.

— «Ты что торчишь?» спросилъ боярин, протирая полотенцомъ заспанные глаза: «Кажись, сказано...»

— «Милости твоей отческой будь не во гнѣвъ... По сыновнему дѣлу пришелъ я къ отцу моему и милостивцу...»

— «Ну, какое тамъ дѣло? Можешь на выходѣ доложиться...»

— «Не прогнѣвайся, боярин, тамъ ушей много, да злыхъ языковъ не меньше...»

— «А что, видно опять кошечью проказу выкинулъ?» сказалъ Кирюшка: «Чай красавица какая опять челомъ бьетъ въ приказѣ, какъ по веснѣ было...»

— «Да и то дѣло еще не покончено, Василій...»

— «Да вотъ я за тѣмъ и пришелъ къ боярскому одру твоему, бить челомъ, чтобы и то дѣло и другое разомъ покончить ..»

— «Эхъ, ты, мой котъ Васька!» замѣтилъ

шутъ: «Видно ты нынче сказки читать сталъ; тамъ, правда, разсказываютъ, что однимъ взмахомъ богатыри по семи головъ отсѣкали, да вѣдь то сказки! Извѣстно, что у каждаго дѣла два конца, какъ у палки, а гдѣ таки видано, чтобы у двухъ дѣлъ — одинъ конецъ былъ.»

— «Ну, что же ты молчишь, Василій? Отвѣчай, гдѣ это видано?»

— «Мало ли чего не видано, не будь во гнѣвъ твоей боярской милости! Ужъ коли я, примѣрно сказать, женюсь на другой, такъ Дуня Поярцева по неволѣ пойдетъ на мировую...»

— «Видишь, котъ, что выдумалъ!» сказалъ Кирюшка: «Гляди, чтобы тебѣ и Дуню во вторую жену не прикинули...»

— «Тото, гляди, чтобы не прикинули!» повторилъ бояринъ, уже на ногахъ, потягиваясь передъ зеркаломъ...

— «Э, ужъ это моя бѣда!» сказалъ Подсвинковъ съ усмѣшкой, пріободрясь шутливымъ тономъ боярина: «Ты только, отецъ мой и милостивецъ, на законный бракъ разрѣши, а ужъ съ Дуней поладимъ. Не изъ какихъ изъ важныхъ, и руки у нея нѣтъ; изъ жильцевскихъ дочерей; за горстъ рублей отстанетъ. Только бы мнѣ получить твое отцевское благословеніе....»

— «Да что ты это, боярина, все батькой кликаешь?» опять заворчалъ шутъ, подавая боярину домашнюю шубу: «Чего добраго, злые языки и за правду пронесутъ, что ты съ родни намъ.»

— «Ну, ужъ ты, Кирюшка, привязываешься къ

дьяку!» сказалъ бояринъ: «Дѣло онъ задумалъ разумное. Безъ жены не хорошо, не обычайно, заморемъ пахнетъ. Ну, такъ ты, Василій, жениться хочешь?»

— «Хочу, бояринъ.»

— «И невѣста есть?»

— «Есть, бояринъ.»

— «Добраго рода племени?...»

Подсвинковъ запнулся и побагровѣлъ. Не зналъ онъ, какъ сказать боярину, что невѣста иностранка и иновѣрка.

— «Изъ какого званія?» продолжалъ допытываться бояринъ.

— «Изъ военныхъ, милости твоей не во гнѣвъ...»

— «Что ты врешь, Василей?»

— «Какъ я смѣю врать! Отсохни языкъ мой, если лгу. Капитанская дочка....»

— «А какъ зовутъ отца?...»

— «Бломберговымъ....»

— «Нѣмка?» закричалъ бояринъ.

— «Нѣмка....» шепотомъ отвѣчалъ Подсвинковъ.

— «И вѣры Нѣмецкой?...»

Подсвинковъ бухъ боярину въ ноги; но къ удивленію послышалъ не гнѣвныя рѣчи, а громкій смѣхъ; Кирюшка и карлики вторили боярину звонкимъ хохотомъ; Подсвинковъ, лежа на полу, не смѣлъ поднять головы и не зналъ, что съ нимъ творится.... Акомпаньементъ Кирюшки и карликовъ пуще и пуще раздражалъ боярскіе нервы....

— «Ахъ, уморилъ, зарѣзалъ, уходи, умру со

смѣху!» по временамъ вскрикивалъ бояринъ и продолжалъ хохотать съ такою силою, что окна дрожали.... Потокъ боярской веселости должно было унять, чтобы подъ смѣхъ чего либо нездороваго съ бояриномъ не приключилось и Кирюшка, который хорошо очень вѣдалъ боярскій норовъ, первый удержался отъ хохота и глядя въ окно, сказалъ спокойно:

— «Чай сегодня много друзей у князя Ѳедора Юрьевича не станетъ....»

— «У Ромодановскаго?» спросилъ нахмурясь бояринъ: «Да развѣ у него есть друзья?»

— «А пѣтухи?»

— «Какіе пѣтухи?»

— «Да какіе же пѣтухи бываютъ? Куриные, дѣло извѣстное; ну, а ты знаешь, князь-нелюдимъ; у него только и забавы, что пѣтушьи драки, а сегодня на пиру блюдо гребешковъ со всей Москвы пѣтуховъ изведетъ....»

— «Чай теперь отъ старины отстанетъ, чай въ угодность Нѣмцамъ бороду положитъ; чего добраго, жену свою отпуститъ; на Нѣмкѣ женится, вотъ ужъ тогда и Василью будетъ можно и у себя соблазнъ завести....»

Подсвинковъ, не подымаясь съ полу, обрадовался было обороту разговора, но послѣднія слова боярскія снова бросили его въ жаръ и холодъ.

— «Ну, попался же я!» думалъ Подсвинковъ: «Онъ этакъ меня на полу до обѣдень продержитъ. Видишь, какъ умнаго свѣта не любитъ; ахъ, ты, Русская канва! И тою безъ чухонскаго масла пода-

вишься... Дуракъ я, надо было прежде въ думные проситься, а ужъ тогда и безъ спроса женился бы. Тфу ты, какъ меня нечистый попуталъ. И встать нельзя и лежать неловко...»

Въ это время, Кирюшка сталъ боярина золотымъ поясомъ опоясывать; онъ уже обходилъ боярина во второй разъ; карлики бѣгали за нимъ, и придерживали концы; а Иванъ Ивановичъ, съ улыбкою поглядывая на лежащаго на полу Подсвинкова, продолжалъ трунить и подшучивать.

— «Видишь, какъ за моремъ обнѣмечился. На своихъ красавицъ и глядѣть не хочетъ; постой же, вотъ какъ отойдетъ проклятый нѣмецкій походъ, что въ Архангельскѣ Нѣмцы выдумали, такъ я примусь за тебя, Василей, по-отцевски; на Дунѣ женю.»

Подсвинковъ вздрогнулъ; бояринъ продолжалъ:

— «Дамъ я тебѣ нѣмецкій соблазнъ разводить. А еще въ мою опочивальню ходитъ, будто честной человѣкъ; всякій разъ такъ рожу уложитъ, что подумаешь будто за нимъ никакого грѣха нѣтъ... А онъ, гляди какой художникъ. На Нѣмкѣ жениться вздумалъ... Ну, заговорили бы на Москвѣ, да не о тебѣ, что ты? Чушка, дрянь! А обо мнѣ пошли бы толки, что-де я такого богопротивника на дворѣ терпѣлъ... Да ты бы лучше вздумалъ еще на козѣ жениться!... Видишь, уродъ! Пятый десятокъ; плѣшивѣть сталъ; умъ съ волосами лезетъ; вотъ я тебя! Женю на Дунѣ, да въ Ярославль въ палатную службу...»

У Подсвинкова и ноги и руки свело, а неумолимый бояринъ продолжалъ:

— «Вотъ я за тобой присматривать велю: чай съ Нѣмцами якшаешься; а потомъ ко мнѣ ходишь? А? Чай табакъ потребляешь, наше мѣсто свято, да потомъ проклятый запахъ проклятаго зѣлья по моимъ хоромамъ разносишь? А?..»

Подсвинковъ совершенно съежился и походилъ на огромную черепаху. Боярину стало жаль дьяка, и не жаль, а лучше сказать правду. Онъ былъ совершенно готовъ къ выходу; да и дальній трезвонъ доносилъ, что торжественный поѣздъ вступилъ уже въ улицы города... Надобно было идти на службу и бояринъ сказалъ проходя въ столовую:

— «Вставай, Василей! Довольно тѣшиться; пора и за дѣло... Ты видно вчера хмѣленъ былъ, али того гадкаго зѣлья окурился; не можетъ быть, чтобы спроста да съ правды такой грѣхъ пришелъ бы тебѣ въ голову. Вставай! Да поди въ церковь; отъ чаръ отмолись; грѣхъ отцу духовному повѣдай, да и постись, чтобы, знаешь, блажная кровь не шалила. Вставай, глупинькой, вставай! Богъ проститъ...»

— «Вставай!» сказалъ Кирюшка, проходя за бояриномъ въ столовую: «Скажи спасибо, что скоро отпустили. Небудь служба, мы бы надъ тобой побольше потѣшились; въ другой разъ, Василей, въ другой разъ! Наше не уйдетъ!»

Карлики обрадовались, что ихъ службѣ отдыхъ пришелъ и убѣжали въ другія двери; всталъ Подсвинковъ и, словно селезень, давай расправляться

и потягиваться; холодный потъ все лице взмочилъ; душно было въ опочивальнѣ боярской; не смѣлъ онъ выдти въ столовую; ему казалось, что уже вся Москва извѣстна о бесѣдѣ его съ бояриномъ; другими ходами идти не посмѣлъ; съ горя, подошелъ къ окну, отворилъ и глядѣлъ безъ мысли, безъ вниманія на волненіе пестрой толпы: трезвонъ приближался къ Кремлю; конные Нахалы подъ начальствомъ своего ротмистра князя А. М. Черкасскаго, съ трудомъ разчищали дорогу къ великолѣпному крыльцу деревяннаго зданія; и конечно, усилія ихъ оказались бы безуспѣшными, еслибы на Кремль не прискакала партія Алешей и Абросимовъ, съ своимъ удалымъ ротмистромъ Яшкой, главнымъ царскимъ шутомъ....

— «Эй, вы, бороды!» кричалъ Яша: «Слышь, у всѣхъ имена отыму, кто назадъ не подастся! Вотъ такъ по свѣту и будете шататься безъименными! Ну, что, не хотите назадъ, такъ постойте; эй, Алешка цырюльникъ, давай сюда мыльникъ и бритву. Не я буду; кто высунетъ бороду впередъ, долой бороду.»

Толпа отхлынула на обѣ стороны; крикъ женщинъ и дѣтей, маленько подавленныхъ общимъ движеніемъ, доказывалъ, что Яшка не дѣлалъ пустыхъ угрозъ и могъ исполнить подобное обѣщаніе. Алеши и Абросимы разъѣхались по широкой улицѣ, составленной изъ двухъ плотныхъ стѣнъ разнородныхъ зрителей; Яшка красовался на конѣ, разодѣтый въ соломенныя латы, весьма искусной работы; на головѣ у него была огромная боярская

шапка, вдвое выше противъ обыкновенныхъ; на груди висѣла цѣпь изъ луковицъ; сапоги у него были красные — сафьянные, какъ будто для контраста, расшитые золотомъ. Шуба изъ нѣжнаго бѣлаго мѣха, который опредѣлить было трудно; свернутая, она была пристегнута къ турецкому сѣдлу. Не смотря на странную одежду, глаза женщинъ больно заглядывались на Яшку, уста улыбались; и Яша зналъ, что онъ собой молодецъ и дразнилъ лошадь; та подъ нимъ такъ и выплясывала, а Яша, подбоченясь, оглядывался, искалъ знакомыхъ, и ужъ какъ, чтобы у Якова Ѳедоровича въ такомъ множествѣ не было знакомыхъ.

— «Что, Авдотья Никитишна?» сказалъ онъ, подъѣзжая къ красивой женщинѣ, разодѣтой въ пухъ, и того пуще раскрашенной бѣлилами и румянами: «Не краснѣй, Дуняша! Обсыплется! Береги румянецъ для Василія Семеновича! Чай скоро свадьба?»

Не смотря на такую обиду, Поярцева не смутилась и дерзко отвѣчала:

— «Съ тебя видно за слова пошлины не берутъ, Яковъ Ѳедоровичъ!»

— «Не берутъ! Русскій товаръ, да за то ужъ самый свѣжій; каждой красавицѣ любъ и пригоденъ. Ты вѣдь не дѣвушка, Авдотья Никитишна! Вѣдь не я, Москва говоритъ, такъ съ тобой мнѣ чиниться не приходится. А ужъ я не виноватъ, что ты такъ долго съ Подсвинковымъ свадьбу справляешь. Не умѣешь жаловаться.»

— «Да что ты это, право, Яковъ Ѳедоровичъ и

при чужихъ людяхъ, и при родныхъ моихъ, на бѣдную сироту клеплешь; лучше бы ты батюшкѣ Государю про мое горе доложилъ.»

— «Да что я, доносчикъ, что-ли! Не мое дѣло! А если ты круто дѣла своего не повернешь, такъ гляди, Подсвинковъ въ Лефортовомъ свадьбу и сыграетъ....»

— «Въ Лефортовомъ?» воскликнула Авдотья Никитишна: «Вотъ я его поймаю, да за бороду въ приказъ и поведу.»

— «Ну, одна не справишься! Попроси Волкова Преображенскаго; онъ твоему горю поможетъ....»

И съ этими словами Яшка поскакалъ къ воротамъ гдѣ, по случаю приближенія торжественнаго поѣзда, произошло опять волненіе и суматоха; не успѣлъ Яшка привести все въ порядокъ обычными угрозами, какъ по всему Кремлю раздался трезвонъ; изъ-подъ воротъ показалась партія Налетовъ, за ними Преображенская, Семеновская и Лефортовская роты солдатъ, наконецъ Государева парадная карета. Въ ней сидѣлъ позади адмиралъ князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій, а на переди, генералы Гордонъ и Лефортъ. За тѣмъ опять потѣшныя войска; опять кареты съ ближними царскими людьми; наконецъ пѣшкомъ, въ сопровожденіи разныхъ военныхъ чиновъ, Государь въ парадномъ Преображенскомъ мундирѣ. Громкое ура смѣшалось съ гуломъ колоколовъ; на паперти Успенскаго собора, адмиралъ былъ встрѣченъ всѣми Московскими боярами и палатными людьми. Во все продолженіе обѣдни народъ не расходился; Яшка съ

трудомъ удерживалъ неприкосновенность улицы къ новому строенію. Наконецъ всѣ гости Царскіе, числомъ до 400, дамы и мужчины, прошли изъ соборовъ въ Новую Залу; начался обѣдъ, и толпы зрителей дружно и спокойно смѣшались съ войсками. Случай свелъ многихъ дѣйствующихъ лицъ моей повѣсти въ одно мѣсто; на валу, гдѣ стояли пушки и бомбардиры, на травкѣ сидѣла покойно офицерша Бломберговой роты, Христина Ивановна Бацъ; съ ней были три ея дочери и три капитанскія, просто, но чисто одѣтыя въ бѣлыя платьица и разныя ленты. Подсвинковъ уже былъ здѣсь, да ему мѣшала молодежъ военная, которая, какъ только сдѣлали роспускъ, тотчасъ бросилась на валъ, и поступила подъ начальство г-жи Бацъ; у самой пушки, маленько въ сторонѣ отъ собесѣдниковъ, сидѣлъ на зеленомъ ящикѣ Яшка; онъ, казалось былъ погруженъ въ глубокую думу, но все таки успѣвалъ поглядывать на Шарлоту и мѣняться значительными взорами. Изрѣдка Яша приподымался и пристально поглядывалъ на толпу, какъ будто ожидалъ еще кого-то.... Подсвинковъ старался быть любезнымъ, но всѣ усилія оставались напрасными. Шарлота не отвѣчала ему ни слова, отворачивалась и шепталась съ сестрами и сосѣдками.

— «Ну, просидимъ же мы здѣсь долго!» сказала мадамъ Бацъ: «Чай пиръ будетъ до ночи. Я велѣла кухаркѣ принести сюда гуся и колбасъ, да какъ ее сюда не пропустятъ; голодныхъ много; пожалуй еще снюхаютъ и отымутъ. Вотъ бы вы,

Василій Семеновичъ, что нибудь съ царской кухни выпросили.... Вы человѣкъ важный! Васъ всѣ знаютъ....

— «А ужъ никто его такъ хорошо незнаетъ, какъ Дуня Поярцева!» Сказалъ Яшка громко и опрометью бросился на кухонный дворъ....»

Подсвинковъ оглянулся и побѣднѣлъ. Такая тайна въ рукахъ любимаго Царскаго шута, не-удержится въ тайнѣ; и отъ Царскихъ ушей не далеко; смущеніе его болѣе и болѣе увеличивалось, потому что мадамъ Бацъ пристала къ нему съ ножемъ къ горлу, кричитъ: «Подай да скажи, кто эта Дуня?» Напрасно дьякъ отпикивался, отдѣлывался разными уловками; къ мадамъ Бацъ присоединились дѣти и даже сама Шарлота сдѣлала тотъ-же вопросъ. Въ то-же время съ кухоннаго двора Яша и трое Алешъ несли блюда съ кушаньемъ, приборы, хлѣбъ, пиво и вино.... «Кому бы это?» подумала мадамъ Бацъ, умильно глядя на блюда и уже издали различала куропатокъ отъ рябчиковъ.... Чувство преступной зависти вспыхнуло не въ сердцѣ, а въ желудкѣ, но какова же была ея удивленіе, когда этотъ богатый обѣдъ предсталъ къ услугамъ мадамъ Бацъ и ея общества.

— «Спасибо, голубчикъ!» сказала она шуту по Русски: «Да за что ты это намъ благодѣтельствуешь?»

— «Кушай, матушка, на здоровье; это мой пай съ Царскаго стола; у меня былъ большой голодъ, а Дуня Поярцева съ собою унесла. Кушай ма-

тушка, кушай батюшка, Василій Семеновичъ; только для Дуни кусочекъ оставь; чай сейчасъ и она пожалуетъ; ужъ право завидно, Василій Семеновичъ, какъ вы больно съ нею любитесь....»

— «Провались ты сквозь землю, чертенокъ!» подумалъ Подсвинковъ. И у него также Дуня Поярцева апетитъ, да въ придачу языкъ отняла; онѣмѣлъ; знай оглядывается: не идетъ ли? Голодъ занялъ рты собесѣдниковъ, но какъ только мадамъ Бацъ проглотила пару жареныхъ дроздовъ и стаканъ пива, а потомъ уже, и то изъ любопытства больше, съ разстановкою, стала заниматься сигнеперой стерлядью, докучливые вопросы возобновились.... Подсвинковъ незналъ, куда дѣваться.... Между тѣмъ опасность положенія его возрасла значительно съ приходомъ Волкова.

— «Гдѣ ты это пропадаешь?» сказалъ шутъ на встрѣчу Волкову: «Василій Семеновичъ безъ тебя соскучился; говоритъ, что ты и бритва и гребень, и ужъ незнаетъ какими словами хвалить. Видно ты ему удружилъ....»

— Да онъ самъ незахотѣлъ. Я вызвался ему бороду вырвать, да онъ убѣжалъ. Немогъ догнать. Благо встрѣтились; теперь не уйдетъ....»

— «Да послушай, кавалеръ....» съ трудомъ выговорилъ Подсвинковъ: «я на тебя жалобу подамъ!»

— «Э, не дѣлай этого, Василій Семеновичъ!» прервалъ шутъ: «Жалоба Дуни Поярцевой который мѣсяцъ въ приказѣ лежитъ. Никто еще и не читалъ; и не будетъ читать; такъ что ужъ тутъ

жалобу, лучше бороду подай; Дуня тоже бородатыхъ не любитъ; Волкову поможетъ.... Да вотъ и она....»

Подсвинковъ опрометью бросился въ сторону и скрылся въ толпѣ. Яша помиралъ со смѣху; мадамъ Бацъ спрашивала: «Да гдѣ-же Дуня?...»

— «Гдѣ нибудь....» отвѣчалъ Яша: «Видно я ее невыдумалъ, когда онъ такъ ея испугался. Просимъ винца прикупнать!» И Яша нагнулся, чтобы послужить мадамъ Бацъ; въ это время Шарлота, тихо, какъ будто про себя, сказала:

— «Боже мой! Одного выжили, другой торчитъ.»

И ужъ точно, можно сказать, что Волковъ торчалъ, вытянувшись въ струнку и пожиралъ взорами Шарлоту, такъ, что той и взглянуть было не куда. Шутъ подошелъ къ Волкову.

— «А что, Миша? Будутъ сегодня огни?»

— «Будутъ!...»

— «Говорятъ, въ новомъ залѣ будутъ плясать по заморскому.»

— «Будутъ.»

— «Вотъ видишь, Миша, а ты меня не слушалъ, такъ ты и не будешь плясать. А ужъ я выпрошусь у Государя и съ Шарлотой Богдановной отдеру не одинъ танецъ, и про тебя все ей буду разсказывать....»

— «Пожалуйста, Яша!»

— «Гмъ! Только все лучше-бы, когда-бы ты самъ...»

— «Да какъ-же мнѣ это сдѣлать, когда я плясать не умѣю.»

— «Эхъ, братъ, плевое дѣло. Главному нѣмецкому танцу я въ полчаса выучился. Тутъ есть мастеръ, онъ теперь ко двору приторгованъ; дворню нѣмецкой пляскѣ обучаетъ; сегодня у него льготный день. Онъ бы тебѣ за полтину всю хитрость показалъ, а до вечера еще далеко; десять разъ выучишься....»

— «Да гдѣ же твой мастеръ живетъ?»

— «За каменнымъ мостомъ, по Москвѣ, направо, третія ворота. Теперь чай обѣдаетъ, а потомъ вѣрно пойдетъ огни смотрѣть, или при музыкантахъ стоять будетъ, да палкой ладъ выбивать. И это его дѣло....».

— «Ахъ, Яша, пойдемъ со мной!»

— «Душой бы радъ, да мнѣ указано за значками смотрѣть и какъ подадутъ изъ зала значекъ, изъ пушекъ палить.»

— «Да ты развѣ бомбардиръ, что-ли?»

— «Нѣтъ, да значки разумѣю. Да и тебѣ я не помочь; мастеръ всѣхъ изъ комнаты гонитъ, когда учитъ. И подѣломъ, того гляди хитрость перейметъ....»

— «И то правда! Такъ что же, мнѣ одному итти, что ли?»

— «Одному! Да поскорѣе....»

— «Дай же я Шарлотѣ Богдановнѣ откланяюсь....»

— «Настоящій ты Мина! Ужъ коли теперь откланяешься, такъ тебѣ сегодня ужъ съ нею и говорить не приходится. Вѣдь это что значитъ, прощайте, покойной ночи! Понимаешь ли?...»

— «И то правда. Такъ я пойду....»

— «Ступай! Ступай! Вонъ съ моста, на право, третія ворота....» И, указывая на Замоскворѣчье, Яша проводилъ Волкова.

Между тѣмъ барыни откушали; изъ остатковъ стали питаться всѣ три Алепи; а Яша подошелъ къ собесѣдницамъ: мадамъ Бацъ, изъ благодарности, рѣшилась поговорить съ шутомъ....

— «А что, голубчикъ, ты развѣ сегодня не у должности? Другой за тебя ломается?»

— «Наше дѣло шутовское, доманнее; а теперь у Государя пиръ горой; такъ домашнимъ много дѣла; всѣ на должности; глядишь, чтобы вездѣ былъ порядокъ. Вотъ теперь за пушками; а ужо ввечеру, за бабами глядѣть буду....»

— «За какими бабами!»

— «А вотъ, изволишь видѣть, какъ Москву всю зажгутъ, Государь, со всѣмъ дворомъ, и поѣдетъ по городу; и придворныя барыни, какія есть при Царицахъ и Царевнахъ, тоже поѣдутъ; тутъ залъ уберутъ, опростаютъ; тамъ въ серединѣ два крыльца нутреннія сдѣланы; на одно крыльце музыку поставятъ, пусть себѣ гудитъ подъ плясъ; а на другое крыльце позволилъ Государь мнѣ городскихъ женщинъ пускать, которыя по чище одѣты; пусть глядятъ и присматриваются, какой теперь новый порядокъ и устройство женской потѣхѣ.»

— «Это значитъ, будетъ балъ....»

— «Какой балъ! Просто пляска ночная, а потомъ огни изъ пороха.»

— «Ахъ, Боже мой! А намъ нельзя на то крыльце....»

— «А почему же нельзя! Въ моей волѣ....»

— «Голубчикъ ты нашъ! Пропусти!!...»

— «Значекъ, значекъ!» закричалъ Яша: «Не пугайтесь, барыни, тутъ у насъ такая трескотня пойдетъ, что ну, да два! Закрой, заткни уши, Шарлота Богдановна....»

Яша бросился къ пушкарямъ, раздались выстрѣлы: собесѣдницы чуть не попадали, прижались къ мадамъ Бацъ, будто цыплята подъ крылья курицъ... Мало по малу стали онѣ привыкать, потому что пальба была продолжительна. Любопытные изъ опасливости отступили, такъ, что изъ посторонихъ на валу только и осталась компанія нашихъ дамъ; пальба наконецъ прекратилась; но не надолго; опять значки, опять выстрѣлы и эта продѣлка повторилась нѣсколько разъ. Мадамъ Бацъ порывалась было сойти съ вала, но такимъ образомъ она могла потерять Яшу и не попасть на хоры во время бала. О, изъ-за этого, она была готова позволить, чтобы изъ пушекъ палили ей надъ самымъ ухомъ... Кончилась наконецъ заздравная пальба; сентябрское солнце склонилось къ западу. Рослый, статный мужчина, въ Преображенскомъ мундирѣ, въ сопровожденіи Лефорта и Гордона, вышелъ изъ торжественнаго зала черезъ малое крыльце и сталъ осматривать приготовленную иллюминацію; по движенію рукъ, можно было замѣтить, что Онъ дѣлаетъ замѣчанія, подаетъ совѣты, учитъ новому дѣлу; человѣческія

тѣни подымались на высокія лѣса съ зажженными фитилями. Народъ вездѣ падалъ на колѣни, снималъ шапки и кричалъ: ура! не смотря на то, что Онъ, проходя въ толпѣ, вездѣ подавалъ знакъ рукою, чтобы увольнили Его отъ докучныхъ изъявленій преданности и восторга, потому что Онъ ходилъ по хозяйству, хотѣлъ быть неузнаннымъ и тѣмъ искуснѣе, незапнѣе поразить гостей великолѣпнымъ зрѣлищемъ. Къ площадкѣ, гдѣ устроенъ былъ фейерверкъ, надо было проходить черезъ валъ, мимо нашихъ собесѣдницъ.

— «Вотъ она!» сказалъ Ему Лефортъ, тихо, проходя мимо Шарлоты: «Не удалось мнѣ быть у нея сватомъ!»

— «Богъ милостивъ, генералъ!» отозвался Яша: «Не для Волкова, пойдешь для другаго...»

— «Ужъ не для тебя ли?»

— «Почемъ знать, чего не вѣдаешь!»

— «Право, готовъ тебя сватать, хотя въ отказъ трудно сомнѣваться...»

— «То-то и бѣда, что за другаго!» сказалъ Яша: «Не я буду, за себя, ты умѣлъ бы сосватать и Персидскую шахиню!»

Просмѣялись генералы и прошли дальше. Женщины ничего не слышали изо всего этого разговора; они не могли глазъ свести съ мужчины въ Преображенскомъ мундирѣ, и провожали Его взорами до самой площадки. Мадамъ Бацъ крѣпко опечалилась и перепугалась, замѣтивъ, что и Яша пошелъ туда же, но вотъ они осмотрѣли

всѣ приготовленія, и тою же дорогой возвращались назадъ...

— «Идетъ, идетъ!» закричали нѣмки барыни; одна Шарлота молчала и стояла за мадамъ Бацъ, потупивъ глаза въ землю.

— «Погляди, Шарлота!» продолжала Бацъ: «Да это просто великанъ-красавецъ, про котораго есть Богемская сказка... Погляди!...»

— «Несмѣю!..»

— «Отъ чего?..»

— «Боюсь ..»

— «Отъ чего?..»

— «Говорятъ, онъ все знаетъ...»

— «Да развѣ...»

Но мадамъ Бацъ не кончила своего вопроса. Мужчина, въ Преображенскомъ мундирѣ, поравнявшись съ пушками, сказалъ весело:

— «Господинъ шутъ! Какъ только будетъ достаточно темно, подай ты мнѣ значекъ. Выпали! А по третьему выстрѣлу вели зажигать иллюминацію! Прощай! Счастливо оставаться!.. А выборъ твой одобряю, только безъ отцевскаго согласія и думать объ этомъ не моги!»

— «Изволь идти на мѣсто! Поговоримъ о дѣлѣ на досугѣ: дѣлу время, а потѣхѣ часъ! Того гляди, солнце прозѣваю, а филинъ станетъ зрячимъ...»

Лефортъ началъ было какую-то длинную рѣчь.

— «Э!» сказалъ Яша: «Такъ васъ не выживешь отсюда. Пали!»

Генералы поспѣшили въ торжественный залъ; раздался выстрѣлъ... Смерклось...

— «Ну, что, видѣла ты Государя!» спросила мадамъ Бацъ.

— «Нѣтъ!» сказала Шарлота... «Мнѣ кажется, я никогда его не увижу. Всякій разъ невольное чувство клонитъ голову внизъ... Вы слышали: *безъ отцевскаго согласія...*»

— «Такъ что же?»

— «Да ничего!» перебилъ шутъ: «Вотъ я только одѣнусь по иншему; выпалю раза два, да и проведу васъ въ залъ. Тамъ на покоѣ насмотритесь на всѣхъ, сколько душѣ угодно...»

Въ это самое время, Алеша какой-то, — а можетъ и Абросимка, по ночи не разберешь, — поднесъ Яшѣ богатый кафтанъ, который шутъ надѣлъ поверхъ своихъ латъ; снялъ дурацкій шлемъ, и черные кудри красиво разбѣжались по щекамъ и плечамъ; взялъ у того же Алешки или Абросимки шляпу, надѣлъ; отдалъ ему принадлежности шутовскаго наряда и оружіе; топнулъ ногой, повернулся гоголемъ, чихнулъ, сказалъ: «Благодарствую!» вынулъ изъ кафтана огромный платокъ, обтеръ лице, руки, еще разъ перевернулся на одной ножкѣ, и закричалъ: «Эй, вы, звѣзды небесныя! Сюда, ко мнѣ на землю! Разъ, два, три! Ну, что? Экія лѣнивыя! Вотъ я васъ пушкой спугну! Пали!»

Выстрѣлъ.

— «Ну, что? Э, да вы изъ рукъ вонъ! Слон-

но старые бояра, чванитесь! Видно въ шутовскихъ рукахъ не бывали! Вотъ я васъ! Пали!»

Третій выстрѣлъ...

— «Гляди, гляди! Сколько разомъ попадало. Что, небойся, командира по голосу узнали. Ну, горите же здѣсь у меня въ гостяхъ, пока я васъ на волю не отпущу... А мнѣ съ вами тутъ толковать некогда. Пойдемъ, пора!»

И Яша, схвативъ за руку Шарлоту, весело побѣжалъ къ торжественному залу... Мадамъ Бацъ со свитой насилу успѣвала за Яшей и Шарлотой, и злилась, что никакъ не можетъ подслушать ихъ тайнаго разговора... А объ чемъ же они говорили?

—

III.

Отъ чего Василій Семеновичъ ходилъ и не заходилъ въ Приказъ.

Музыка прекрасно насвистывала на кларнетахъ и флейтахъ менуэты и контрадансы. Балъ походилъ на рядъ живыхъ картинъ; все измѣнялось въ танцахъ какъ то чинно, съ придуманною важностью; смѣсь бородатыхъ и безбородыхъ гостей, кафтановъ и фрязей, сарафановъ и платій, мундировъ и жалованныхъ нарчевыхъ одеждъ представляла дѣйствительно занимательную и никогда еще на Москвѣ не виданную картину; у мадамъ Бацъ глаза такъ и разбѣгались; то и дѣло распрашивала она: «этотъ кто, эта кто? что это музыка наигрываетъ? что дамамъ подносятъ?..»

Напрасно Яша старался отдѣлываться скорыми отвѣтами; наконецъ, видя, что ухода г-жѣ Бацъ не будетъ, притворился спящимъ. Тутъ мадамъ Бацъ забыла всѣ услуги Яши. Искоса нѣкоторое время поглядывала на него и поругивала; но, примѣчая, что и это средство не беретъ, раздумала сердиться и предалась безмолвному созерцанію великолѣпнаго и новаго зрѣлища. Никакого въ томъ сомнѣнія не было, что Христина Ивановна Бацъ была иностранка, но изъ простыхъ; въ большихъ городахъ бывала, да только проѣздомъ, когда съ молодымъ мужемъ, офицеромъ Женевской службы, по вызову Лефорта, ѣхала въ Россію. Неудивительно, что подобный балъ былъ ей въ диковинку и скоро и безотчетно захватилъ все ея вниманіе. Шарлота сидѣла позади всѣхъ; искала случая взглянуть на Яшу, и когда вниманіе всѣхъ совершенно было увлечено внизъ, Шарлота легонько толкнула ногой ногу Яши и началась шепотомъ тайная бесѣда. Да объ чемъ же они говорили? О, когда разговариваютъ влюбленные, невлюбленные ничего въ ихъ рѣчахъ не поймутъ, хотя бы и слышали; а тутъ на бѣду влюбленные такъ тихо говорили, что даже мадамъ Бацъ ничего не слыхала; договорились они однако же до того, что одинъ къ другому придвинулись на самую близкую дистанцію и очнулись тогда только, когда шумъ ракетъ поднялъ и взволновалъ всю публику и внизу и вверху; задняя стѣна, какъ будто волшебною силою, разлетѣлась, и гости внизу спокойно могли любоваться фейерверкомъ изъ за-

лы; но сидѣвшіе на хорахъ должны были выйти на валъ, что и произведено съ величайшимъ безпорядкомъ, подъ начальствомъ мадамъ Бацъ... Въ эту суматоху удалось Шарлотѣ и Яшѣ остаться лишнюю минуточку на хорахъ и досказать взаимно что-то весьма важное, секретное... На валу толпа раздѣлила команду г-жи Бацъ, но присутствіе Яши помогло бѣдѣ; фейерверкъ сгорѣлъ; люди, исполненные страха и удивленія, стали расходиться. Холодная ночь заставила и мадамъ Бацъ съ компаніей подумать о возвращеніи домой, а лукавый Яша сталъ съ ними прощаться.

— «Послушай, голубчикъ!» сказала мадамъ Бацъ: «Неужто ты нашей Шарлоты не пожалѣешь?»

— «Да изъ чего я стану жалѣть объ ней? По мнѣ всѣ равны. Вотъ только ты, Христина Ивановна, лихомъ нашей службы не поминай...»

— «Удружилъ, голубчикъ, нечего сказать, удружилъ! А что всѣ равны, такъ ужъ этому не вѣрю...»

— «Ахъ Боже мой, какъ холодно!» торопливо сказала Шарлота, стараясь прервать непріятный разговоръ, который ясно доказывалъ, что мадамъ Бацъ что-то смѣкала...

— «Слышишь, голубчикъ?» сказала Бацъ: «слышишь, Шарлотѣ холодно. Умѣлъ ты и голодъ ея заморить, и жениховъ спровадить, и всякимъ зрѣлищемъ потѣшить; а ужъ будто теперь не выручишь?..»

— «Вотъ тебѣ и бѣда жалостнымъ быть. Я все

ради жалости одной дѣлалъ, а ты Христина Ивановна бабскія сплетни затѣваешь...»

— «Что ты, что ты, голубчикъ, никому ни слова не скажу, только выручи...»

— «Побожись, да поклянись!»

Бацъ побожилась, а Яша бросился къ крыльцу, гдѣ стояло множество колымагъ и разныхъ рыдвановъ.

— «Чья колымага?» спросилъ Яша. Кучеръ узналъ шута, снялъ шапку и почтительно отвѣчалъ: «Барская.»

— «Да какого боярина?»

— «Ивана Ивановича!»

— «Подавай!»

Кучеръ оторопѣлъ. Приказаніе повторилось. Колымага подана. Мадамъ Бацъ и шесть дѣвушекъ безъ труда помѣстились. Яша вскочилъ на запятки и колымага потащилась по безконечнымъ улицамъ Москвы въ Лефортово. Когда, по приказанію Яши, лошади остановились у дома Блюмберга, мадамъ Бацъ не выдержала.

— «Видишь, какой!» сказала она съ улыбкой: «И квартиру знаетъ...»

Когда же съ благодарностью отпускала Яшу и колымагу, опять съ лукавой улыбкой прикинула:

— «Милости просимъ къ намъ, у насъ и сосѣдки бываютъ...»

— «Послушай, Христина Ивановна!» сказалъ Яша тихо, на ухо мадамъ Бацъ: «Если ты своего языка не уймешь, такъ ужъ не сердись на меня. Будетъ бѣда и мужу, и тебѣ, и дочкамъ, и до-

мочадцамъ, и курицы твои даже нестись перестанутъ. Коли добромъ нельзя, такъ я тебя уйму по своему. Не забудь, у меня свой полкъ; мои Алешки и Абросимки, не только вещи, дочерей разтаскаютъ; самое тебя украду, да куда нибудь въ Коломенское, али въ другое мѣсто въ птичникъ запру, воды не дамъ, типунъ тебѣ на языкъ и сядетъ...»

— «Что ты, что ты, голубчикъ?!» говорила перепуганная Бацъ: «Вѣдь между собою почему не пошутить...»

— «Знаю тебя, бабье племя, у васъ между собою цѣлый міръ значитъ. Гляди! Гляди! Я вѣдь самъ на сплетни мастеръ. Такую выкину клевету, что ничемъ неотколдуешься... На себя грѣхъ приму. На очныхъ ставкахъ не запнусь. Страму на всю Москву надѣлаю. Перестанетъ мужъ тебя вѣрной женой называть...»

— «Ахъ ты, чертенокъ!..»

— «Хуже, хуже, какъ въ задоръ пойду. Прощай!» и Яша укатилъ въ Москву на легкѣ, дѣвушки зябли у воротъ и домой просились, но мадамъ Бацъ не могла успокоиться и глазами провожала колымагу, которая уносила такого страннаго врага.

— «Пойдемъ, Христина Ивановна, къ намъ...» сказала Шарлота, не безъ удовольствія замѣчая смущеніе сосѣдки: «У насъ и ужинать готово, и батюшка вернулся...»

— «Пойдемъ! Я и домой боюсь теперь идти: Францъ еще не воротился; по всему видно. Пой-

демъ!» И капитанъ встрѣтилъ своихъ и сосѣдскихъ дочерей громкимъ смѣхомъ...

— «Знатно, знатно! Нечего сказать! Я уже думалъ, что васъ Персіяне украли! Да потомъ на балу вижу всѣ наши на хорахъ сидятъ. Это я приказалъ васъ на хоры пустить...»

— «Какъ?» спросила изумленная мадамъ Бацъ: «Такъ это царскій шутъ по вашему приказанію...»

— «Само собою разумѣется! Я былъ занятъ службой и долженъ былъ фамилію поручить другому...»

— «Такъ и обѣдъ?..»

— «Какой обѣдъ?»

— «Съ Царской кухни...»

— «Я, я послалъ...»

— «Такъ и колымагу...»

— «Я нанялъ...»

— «Да вѣдь въ Москвѣ нѣтъ еще наемныхъ колымагъ...»

— «Заводятся! Это первая для опыта. Только одна и есть на всей Москвѣ; я сначала самъ отъѣхалъ, а потомъ и за вами послалъ... Хорошо, что отыскали.»

— «Ахъ, ты плутъ!» закричала мадамъ Бацъ: «Ахъ онъ, шутовская харя; говорилъ и дѣлалъ, какъ будто все отъ него идетъ. Можетъ быть, онъ и не Царскій шутъ...»

— «Царскій, Царскій, Христина Ивановна; я самъ его изъ Персіи для Царя выписалъ, самъ крестилъ...»

Тутъ мадамъ Бацъ опомнилась и расхохоталась

Она вспомнила нѣкоторыя привычки капитана и старалась перемѣнить разговоръ. Капитанъ и самъ былъ недоволенъ своими выходками и спросилъ на-скоро:

— «Ну, что, видѣли Государя?..»

— «Не всѣ...» сказала Бацъ, улыбаясь и посмотрѣла искоса на Шарлоту.

— «Какъ не всѣ!»

— «Да, не всѣ! Многимъ некогда было; и правду сказать, если судить о человѣкѣ, не по чину и званію, а по уму и наружности, такъ Подсвинковъ противу этого никуда не годится...»

— «Противу какого этого?»

— «Это ужъ наше дѣло!» отвѣчала мадамъ Бацъ, не безъ смущенія.

— «Да я отъ васъ не отстану, Христина Ивановна; вы мнѣ скажете, непремѣнно скажете...»

— «Да намъ какое дѣло? Вѣдь мужъ мой, а не я,—офицеръ. Я у васъ не подъ начальствомъ!..»

— «Да вы мнѣ должны сказать, кто лучше Подсвинкова, кто смѣетъ быть лучше Подсвинкова, кто имѣетъ на это право, когда я избралъ и утвердилъ его женихомъ моей Шарлоты. Понимаете ли, избралъ и утвердилъ?! Если я избралъ его, то онъ долженъ быть первымъ красавцемъ. И онъ точно будетъ первымъ красавцемъ, когда сниметъ бороду. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, въ Подсвинкова влюбилась жена и всѣ двѣнадцать дочерей Амстердамскаго бургомистра. Не забудьте, онъ тогда былъ съ бородой; а что же будетъ безъ бороды? Мой вкусъ извѣстенъ всѣмъ и каж-

дому. А позвольте спросить, кто выбиралъ невѣсту для президента Женевской республики?.. Я! — Кто выбиралъ жениховъ для трехъ принцессъ въ разныхъ государствахъ?.. Готлибъ Бломбергъ! — Кто женился на первой въ свѣтѣ красавицѣ?.. Богданъ Бломбергъ. — У кого теперь дочь первая красавица, а другія дочери будутъ первыми красавицами въ скорости?.. У Богдана Христіановича Бломберга! — У кого сосѣдки всѣ красавицы; а пуще всѣхъ Христина Ивановна?.. А? У кого?.. Кажется довольно доказательствъ превосходства моего вкуса! Такъ послѣ этого, позвольте спросить, кто же этотъ красавецъ, который, вѣроятно, по молодости только и по неопытности, считается быть лучше Подсвинкова!..»

— «Да это, капитанъ, можетъ быть для вашихъ дочерей, а для моихъ...»

— «Нѣтъ! Тутъ есть шашни! Вы хотите только увернуться... И что же онъ, важный человѣкъ? Можетъ быть думнымъ дьякомъ, думнымъ боярономъ, чѣмъ Подсвинковъ непремѣнно будетъ и въ самой скорости!..»

— «Э, полноте, капитанъ! Этотъ съ Царемъ не разлучно. Самъ Царь при насъ сказалъ: Будь покоенъ; Я все улажу.»

— «Что такое, что такое?..» И Бломбергъ побѣднѣлъ; а Христина Ивановна, боясь дальнѣйшихъ распросовъ, забрала дочерей и, не прощаясь, ушла во-свояси...

— «Лотхенъ!» воскликнулъ капитанъ: «Признавайся!»

— «Батюшка, клянусь вамъ, что Христина Ивановна сказала неправду.»

— «О я знаю, что она ужасная лгунья; этотъ порокъ помрачаетъ ея красоту; все такъ; но эта ложь походитъ на правду... Хорошо, что у меня завтра свободный день. А то бы ты погибла; ты, цвѣтъ женскаго пола, отцвѣла бы въ нижней рангѣ, простой солдаткой, а умерла бы много-много офицершей. Посмотри сюда, Лотхенъ! Ты никогда не обращала вниманія на эту картину; это родословное древо нашей фамиліи. Гляди сюда и учись уважать родъ Бломберговъ...» И капитанъ снялъ со стѣны какое то родословное древо какого то германскаго рода, которое удалось ему купить гдѣ то на ярмонкѣ за грошъ. Оно было писано по латынѣ, на языкѣ, котораго не знали ни Бломбергъ, ни Шарлота. Долго толковалъ онъ дочери о подвигахъ всякаго кружка и квадрата, прижимая каждый пальцемъ. Шарлота уснула въ третьемъ колѣнѣ.

— «Недостойная!» сказалъ Бломбергъ, вставъ и вѣшая на мѣсто картину: — «Пошла спать!»

Шарлота повиновалась. Бломбергъ выкурилъ еще три трубки, улегся и также заснулъ; но, по военной своей натурѣ онъ проснулся гораздо раньше дочери, всталъ, одѣлся и отправился на Мясницкую, гдѣ жилъ Подсвинковъ. Было такъ рано, что почти вездѣ ставни были еще заперты; неудивительно, что Бломбергъ засталъ Подсвинкова еще въ пуховикахъ и самъ собственноручно и собственноустно разбудилъ будущаго своего зятя, къ немалому испугу и удивленію послѣдняго.

— «Къ ружью!» кричалъ Блюмбергъ: «Въ походъ!»

— «Куда?»

— «Въ цырульню!»

— «Бога ты не боишься, Богданъ Крестьяновичъ! Ты ничего еще не знаешь, какъ принялъ меня бояринъ... Ужъ теперь и самъ не знаю...»

— «Что же, ты не хочешь жениться на Шарлотѣ, что ли?»

— «Я?.. Да кто тебѣ сказалъ? Да я скорѣе провалюсь сквозь землю, прежде позволю себѣ отсѣчь руку, прежде...»

— «Такъ чего ты зѣваешь?..»

— «Ахъ, Богданъ Крестьяновичъ, право было бы лучше, если бы мнѣ ужъ быть въ Думѣ и оттуда въ церковь...»

— «Да ты, Василій Семеновичъ, знаешь ли, что вчера было сказано на балу въ новомъ палѣ?»

— «А что такое?»

— «Бородатыхъ больше въ думу не принимать; не только дьяковъ, да и бояръ.»

— «Быть не можетъ!»

— «Я самъ слышалъ отъ Франца Яковлевича.»

— «Неужто и за правду!..»

— «За правду. Тутъ и про тебя рѣчь зашла. Говорили: знатно посольскую хитрость разумѣетъ, да сказано: въ думу нельзя; борода! Я самъ слышалъ.

— «Да пусть только зайкнутся, я сей часъ бороду долой. Ты думаешь, Богданъ Крестьяновичъ,

что мнѣ самому любо съ бородой ходить. Да что ты будешь съ бояриномъ дѣлать, загрызетъ...»

— «А ты отгрызайся! Пугни его доносомъ, тѣмъ другимъ; станетъ бояться; сговорчивѣе будетъ; ихъ только и уймешь страхомъ. Да впрочемъ я пришелъ Василій Семеновичъ постановить послѣдній аккордъ. Какъ хочешь, такъ и будетъ. Вчера въ новомъ залѣ, объявленъ походъ, въ Кожуховку; ты, я чай, про него слыхалъ; тамъ построенъ городокъ; братъ будутъ потѣшные: защищать стрѣльцы и старый строй; намъ, Лефортовцамъ, указано Москву беречь; такъ не оставлять же мнѣ дочки въ пустыхъ казармахъ. Женись и бери ее къ себѣ въ домъ. Походу быть 22 Сентября, а свадьбѣ завтра!»

— «Завтра?!

— «Неотмѣнно и безпремѣнно!»

— «Послушай, Богданъ Крестьяновичъ!..»

— «Ничего не слушаю! Вчера въ новомъ залѣ я такое слышалъ, что если ты завтра не женишься, такъ можетъ быть не женишься никогда!..»

— «Никогда?!»

— «На Шарлотѣ, никогда. Самъ Царь хочетъ въ сваты къ Волкову идти. Я самъ слышалъ. Понимаешь ли?»

— «Богданъ Крестьяновичъ, Богданъ Крестьяновичъ, нельзя-ли мнѣ жениться сегодня?..»

— «Завтра и кончено; а сегодня бороду долой; завтра въ тихомолку обвѣнчаемъ; пріѣдетъ Сватъ; что дѣлать и радъ бы, да поздно; обвѣнчана.»

— «Ну, видно, что другъ. Ай, да спасибо,

Богданъ Крестьяновичъ. Правду молвить, что на боярина смотрѣть? И для другихъ нѣкоихъ дѣлъ надо поспѣшить свадьбой. Да только платья нѣмецкаго сдѣлать не успѣю...»

— «Ради большой нужды, пожалуй, и въ старомъ вѣнчайся.... Только бороды не забудь!...»

— «Послушай, Богданъ Крестьяновичъ! Вѣдь ты дочь за меня отдаешь, не падчерицу; такъ не худо бы до времени въ тайнѣ про нашу свадьбу...»

— «Да зачѣмъ объ ней безъ нужды славить. Самъ я знаю, и тотъ и другой посердятся. А потомъ и перестанутъ. И я точно также женился; тесть выгналъ и меня и жену мою изъ дома и лишилъ наслѣдства и ее и меня... Мы были очень богатые люди, да упрямство нашего отца...»

— «Да развѣ ты женился на сестрѣ?..»

— «Эхъ, какой ты, право... Не на сестрѣ, а отецъ моей жены былъ опекуномъ моимъ. Понимаешь-ли? Не только прогналъ изъ дома, преслѣдовалъ, вездѣ насъ искалъ и мы по неволѣ бѣжали въ Московію... Понимаешь-ли?»

— «Чортъ тебя пойметъ!» подумалъ Подсвинковъ: «Каждый день тоже, да на иной ладъ разсказываетъ.»

— «Ну, такъ до завтра, у насъ, въ Лефортовской церкви, у Апостоловъ Петра и Павла, такъ, часу въ восьмомъ...»

— «Попозже, Богданъ Крестьяновичъ, пусть когда смеркаться станетъ...»

— «Хорошо, хорошо! Видишь, какой я сговорчивый. Ну, порукамъ, весь расходъ на твой счетъ;

ты же весь обычай знаешь... Мнѣ по русски жениться не случалось; а то бы я самъ распорядился. Ну, смотри же, въ сумерки, а священнику, пожалуй, по сосѣдству, я дамъ знать; пусть отпоетъ. Ну, прощай, я нарочно по раньше зашелъ, чтобы успѣть къ сбору вернуться. Посидѣлъ бы, да самъ видишь, некогда. Безъ меня въ полку и дня пробыть не могутъ; однажды я уѣхалъ къ одному боярину въ подмосковную; пробылъ тамъ три дня; возвращаюсь: половина полка разбѣжалась. На силу собралъ... И то иныхъ уже догналъ у самой Шведской границы. Опоздай часомъ и поминай какъ звали. Такъ прощай, жаль что некогда. И надо тебѣ сказать, что у васъ на Москвѣ день ужасно коротокъ. Не успѣешь оглянуться — и ночь; а у насъ въ Германіи день вдвое больше... А дѣла сколько? Генералъ въ Преображенскомъ то и дѣло сидитъ съ Государемъ, прочіе капитаны — ты знаешь... Вотъ я одинъ и управляйся... Не держи меня, пожалуйста, право не могу. Ты знаешь, на досугѣ, охотно съ тобою сижу, а теперь право нельзя, ей Богу нельзя... Прощай!..»

— «Кто его держитъ!» думалъ Подсвинковъ, провожая Бломберга, который безпрестанно останавливался, прощался и пополнялъ прощаніе примѣрами и случаями изъ безконечно-разнообразной жизни своей и предковъ. Наконецъ ушелъ-таки Богданъ Крестьяновичъ, а Подсвинковъ сталъ одѣваться.

— «Шила въ мѣшкѣ не утаишь...» разсуждалъ

громко Подсвинковъ: «Да и что мнѣ боярин Иванъ Ивановичъ? Правда, жаловать перестанетъ; руку потеряю; да вѣдь не онъ же въ Посольскомъ приказѣ сидитъ; ну, пожалуй, думнымъ не сдѣлаютъ, такъ въ Туречину или куда ни есть пошлютъ. Я свое наверстаю. Право, нечего бояться. Оно, конечно, лучше бы въ думѣ безъ бороды сидѣть... Чортъ знаетъ, а самъ, я право не знаю, чего хочу, чего боюсь. Такая въ мысляхъ разладица; словно мятель въ головѣ? И чего тебѣ, Василей, надо? Вотчина своя, холопья свои, денегъ изъ разныхъ государствъ довольно; а теперь еще жена красавица, умница! Что умница? Бабій умъ — все таки кружево, паутина, а красота.... красота... губки... А?.. Плечики... Такъ морозъ по кожѣ и пробѣгаетъ...»

— «Послушай, Василій Семеновичъ!» сказалъ Бломбергъ, входя въ комнату: »Знаешь, что я выдумалъ? Чтобы намъ больше тайности показать, такъ отъ вѣнца, я Шарлоту къ себѣ на время возьму, а ты домой одинъ поѣзжай...»

— «Что? Что такое!» закричалъ Подсвинковъ перепуганный и появленіемъ и предложеніемъ Бломберга: «Все, что хочешь — изволь, а ужъ этого Богданъ Крестьяновичъ, не моги думать! Что я, рыба, что ли? Мало тебѣ бороды моей; видно заноза глубока, когда на такое страмное дѣло иду...»

— «Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ! Я вѣдь только такъ спросилъ. Мнѣ же и некогда. Право, ты всегда заговоришь, заболтаешь; хорошо, что я человѣкъ

Она вспомнила некоторыя привычки капитана и старалась перемѣнить разговоръ. Капитанъ и самъ былъ недоволенъ своими выходками и спросилъ на-скоро:

— «Ну, что, видѣли Государя?..»

— «Не всѣ...» сказала Бацъ, улыбаясь и посмотрѣла искоса на Шарлоту.

— «Какъ не всѣ!»

— «Да, не всѣ! Многимъ некогда было; и правду сказать, если судить о человѣкѣ, не по чину и званію, а по уму и наружности, такъ Подсвинковъ противу этого никуда не годится...»

— «Противу какого этого?»

— «Это ужъ наше дѣло!» отвѣчала мадамъ Бацъ, не безъ смущенія.

— «Да я отъ васъ не отстану, Христина Ивановна; вы мнѣ скажете, непремѣнно скажете...»

— «Да вамъ какое дѣло? Вѣдь мужъ мой, а не я,—офицеръ. Я у васъ не подъ начальствомъ!..»

— «Да вы мнѣ должны сказать, кто лучше Подсвинкова, кто смѣетъ быть лучше Подсвинкова, кто имѣетъ на это право, когда я избралъ и утвердилъ его женихомъ моей Шарлоты. Понимаете ли, избралъ и утвердилъ?! Если я избралъ его, то онъ долженъ быть первымъ красавцемъ. И онъ точно будетъ первымъ красавцемъ, когда сниметъ бороду. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, въ Подсвинкова влюбилась жена и всѣ двѣнадцать дочерей Амстердамскаго бургомистра. Не забудьте, онъ тогда былъ съ бородой; а что же будетъ безъ бороды? Мой вкусъ извѣстенъ всѣмъ и каж-

дому. А позвольте спросить, кто выбиралъ невѣсту для президента Женевской республики?.. Я!— Кто выбиралъ жениховъ для трехъ принцессъ въ разныхъ государствахъ?.. Готлибъ Бломбергъ! — Кто женился на первой въ свѣтѣ красавицѣ?.. Богданъ Бломбергъ. — У кого теперь дочь первая красавица, а другія дочери будутъ первыми красавицами въ скорости?.. У Богдана Христіановича Бломберга! — У кого сосѣдки всѣ красавицы; а пуще всѣхъ Христина Ивановна?.. А? У кого?.. Кажется довольно доказательствъ превосходства моего вкуса! Такъ послѣ этого, позвольте спросить, кто же этотъ красавецъ, который, вѣроятно, по молодости только и по неопытности, рѣшается быть лучше Подсвинкова!..»

— «Да это, капитанъ, можетъ быть для вашихъ дочерей, а для моихъ...»

— «Нѣтъ! Тутъ есть шашни! Вы хотите только увернуться... И что же онъ, важный человѣкъ? Можетъ быть думнымъ дьякомъ, думнымъ боярином, чѣмъ Подсвинковъ непремѣнно будетъ и въ самой скорости!..»

— «Э, полноте, капитанъ! Этотъ съ Царемъ не разлучно. Самъ Царь при насъ сказалъ: Будь покоенъ; Я все улажу.»

— «Что такое, что такое?..» И Бломбергъ побѣднѣлъ; а Христина Ивановна, боясь дальнѣйшихъ распросовъ, забрала дочерей и, не прощаясь, ушла во-свояси...

— «Лотхенъ!» воскликнулъ капитанъ: «Признавайся!»

глаза покажу. Стыдно... А она говоритъ: Не поскупись, Василій Семеновичъ; я такъ сдѣлаю, что не ты къ ней, а она къ тебѣ сама придетъ! Ну, теперь, сама скажи: Чортъ, не Трофимовна!..»

Дуня и руки опустила, какъ услышала про необыкновенное искуство Трофимовны. Нельзя было не повѣрить; доказательства на лице; Василій Семеновичъ такъ любезенъ, такъ ласковъ; намѣренія его такъ искренни; онъ такъ хлопочетъ, такъ заботится, чтобы свадьбу поскорѣе устроить. Дуня разстаяла отъ радости; заплясала, на все согласилась безъ сопротивленія.

— «Одна бѣда!» сказалъ Василій Семеновичъ, почесываясь: «Капитанъ уже прослышалъ обо всемъ объ этомъ; видно ему разсказала та самая колдунья, что и меня къ его дочкѣ приколдовала... Приходилъ уже сегодня...»

— «Видѣла, видѣла!»

— «Грозился и говоритъ: Хоть тресни, да женись, и женись завтра. Не то жаловаться буду. Не печалься, Дуня; пусть его жалуется; что онъ съ женатаго возьметъ? Головой меня Нѣмцу не выдадутъ. Да и не за что. За одни слова не казнятъ. Только, если намъ съ тобой на Москвѣ вѣнчаться, такъ, того гляди, помѣшаетъ. И Трофимовна на это намѣкала. Спрашивала, есть у тебя, Василій Семеновичъ, вотчина, а есть въ той вотчинѣ церковь. Понимаешь-ли?»

— «Такъ что же, Вася, чего думать, поѣдемъ...»

— «Спасибо, Дуня, что ты для меня на все готова. Такъ вотъ, какъ мы сдѣлаемъ. Мнѣ нель-

зя сегодня собраться; надо изъ приказа на срокъ льготу взять; искупить того сего; будто, знаешь, для Нѣмки, и разное исправить; а тебѣ, Дуня, ѣхать сегодня, одной; знаешь, чтобы чего не подмѣтили. Кстати, у меня теперь на дворѣ и лошади; есть у меня и рыдванъ; такъ ты, Дуня, что понужнѣе изъ вещей, забери съ собою, да какъ смеркнется и улепетывай; не далече; за Воскресенскимъ будетъ верстъ двадцать; завтра къ вечеру на мѣстѣ станешь, а я завтра передъ обѣднями улизну, чай подъ Воскресенскимъ тебя догоню; а ужъ на ночь безотмѣнно буду въ мою усадьбу... Ну, что, Дуня? Хочешь, завтра поѣзжай со мной; правда, захватить могутъ; ну, да авось не подмѣтятъ. Одинъ то я никого небоюсь, а съ тобой...»

— «Да зачѣмъ же тебѣ со мной! Я, пожалуй, хоть сейчасъ поѣду...»

— «Такъ чего-же лучше! Эй, Прохоръ!...»

И рыдванъ былъ готовъ въ одно мгновеніе; Дуня справилась духомъ; на радостяхъ про всѣ нужныя вещи позабыла; простилась, усѣлась въ рыдванъ и поплелась въ недальній путь, волнуемая гордыми надеждами. Уѣхала Дуня, а Василій Семеновичъ, хотя и не былъ смѣшливаго десятка, но отпустивъ такую штуку, вышелъ изъ характера и сталъ хохотать во все горло... Прохоръ перепугался, прибѣжалъ унимать дьяка, видитъ — хохочетъ; Прохоръ давай и себѣ смѣяться, пуще, пуще, да такъ расхохотались, что собаки на дворѣ всполошились и подняли лай... Это постороннее

внѣшательство въ семейную радость остановило смѣхъ; Василій Семеновичъ побоялся новаго гостя, махнулъ рукой, захватилъ шапку и пошелъ въ приказъ. Тамъ царствовала смута и скрежетъ зубовъ. Подъячіе производили плачь велій; причиною — былъ новый указъ, по которому не только Московскіе изъ дворянства чиновные люди, стольники, стряпчіе, дворяне и жильцы, но всѣ подъячіе и дьяки всѣхъ приказовъ должны къ вечеру явиться на смотръ въ Преображенское, къ боярину-генералиссимусу, князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому, и остаться тамъ для ученья ратнаго... Подсвинковъ, заслышавъ такую вѣсть, едва не свалился съ ногъ; а какъ подъячіе были всѣ сами въ отчаянномъ положеніи, то и поддержать было некому; *того для* дьякъ сѣлъ на крыльцѣ самъ собою, безъ посторонней помощи и заплакалъ.

— «Никогда я не дрался ни съ кѣмъ!» восклинулъ Подсвинковъ, глотая рыданія: «Только Прохора бью дома подъ часъ, и то не ради военнаго дѣла, а ради здоровья; сидячая наша приказная жизнь; надо же повозиться передъ обѣдомъ, а ратнаго дѣла незнаю, не вѣдаю; пропади оно; и посольская наука наша не ради войны, а ради мира придумана. Наше дѣло замирять тѣхъ, что дерутся. Ахъ, ты, Господи милостивый, я и на Кремль безъ нужды не хожу, потому что тамъ терчатъ пушки. Чортъ ихъ знаетъ, иной разъ начинены порохомъ; такъ и дрожишь, когда мимо проходить доводится; какъ ратный строй гдѣ увижу, отойду въ уголокъ, да и зажмурюсь: слѣпъ стою, пока строй не прой-

дѣть... А тутъ, чего добраго, самому въ руки дадутъ пушку. Вымахивай!... Да еще стрѣлять велятъ... Ай...» Отъ одного воображенія, Подсвинковъ кричалъ во все горло; подъячіе поддакивали, да подтягивали... Но вдругъ отчаяніе Подсвинкова поутихло; онъ всталъ и, съ трудомъ передвигая ноги, не заходя въ приказъ, поплелся домой; дома написалъ на бумагѣ, что незапный недугъ одолѣлъ его, въ постель свалилъ, о чемъ приказу и доноситъ...

— «Эй, Прохоръ, сходи въ приказъ, отдай писаніе мое боярину, да прикинь, что я лежу въ растяжку; тутъ написано, какимъ недугомъ я изломанъ...»

— «Ахти Господи! Какимъ же ты недугомъ изломанъ? Кажись здоровъ, какъ боровъ...»

— «Самъ ты боровъ, Прохоръ! Надо такъ говорить! Видишь, выдумали потѣху, изходъ ратный изъ подъячихъ; хотятъ насъ, что голубей соколамъ, на съѣденіе солдатамъ подставить; велика важность; въ полчаса всѣхъ насъ съ косточками скушаютъ. Тамъ написано: такъ и прежде бывало. Не бывало, Прохоръ! Вотъ-тъ Христосъ не бывало. Я не какой дуракъ, лѣтописи читалъ. Не бывало! Ходили чиновные люди изъ дворянъ, это правда, да не приказные. Кто же будетъ дѣлами заправлять на Москвѣ? Поди же, Прохорушка, отдай писаніе, а я раздѣнусь, семью полотенцами обвяжусь, улягусь, боленъ; противу всякой службы, а паче ратной, недугъ — причина; и по уложенію и по всякимъ статьямъ; отмѣтятъ: лежитъ боленъ и въ

покоѣ оставятъ. Ступай же, Прохорушка, ступай! Да подъ шумокъ завтра и другое дѣло уладимъ. Зайди ты къ Чижу, да спроси: готово-ли по заказу? коли не готово, пусть и глазъ не кажетъ; а самъ пусть завтра на зарѣ и заказъ принесетъ и всякій снарядъ свой цырюльный... Ты только скажи, онъ знаетъ...»

—

IV.

Какъ Василій Семеновичъ опасно занемогъ и еще опаснѣе выздоровѣлъ.

Весь вечеръ пролежалъ Василій Семеновичъ въ постелѣ, потому, что такой себѣ недугъ выдумалъ, который перепугалъ и бояръ приказныхъ и сослуживцевъ. То тотъ, то другой посылали холопей о здоровьи Подсвинкова навѣдаться, а дьякъ, Василій Тимофеевичъ Постниковъ, отправлявшій съ Василій Семеновичемъ вмѣстѣ разныя посольства и капитанъ Бломбергъ, пришли провѣдать больнаго лично; Бломбергъ былъ въ отчаяніи, безъ умолку разсказывалъ страшныя исторіи изъ жизни своей и предковъ; Постниковъ улыбался лукаво и столько же вѣрилъ словамъ Бломберга, сколько и воздыханіямъ Подсвинкова. Когда Бломбергъ пошелъ въ другую комнату набивать трубку, Постниковъ нагнулся къ больному и сказалъ тихо:

— «Послушай, тезка! Вѣдь Кожуховскій походъ потѣха, а не война.—Ничего худаго не сдѣлаютъ. —Съ обѣихъ сторонъ свои; даже не оцарапаютъ

никого, а прогнѣвишь старшихъ. Вѣдь тамъ нѣтъ ни одного Турки!»

— «Есть, тезка, есть.»

— «Что ты бредишь?»

— «Право есть! И престрашный, хуже самаго Крымскаго хана, хуже всей Татарщины.... Ужъ этотъ меня не помилуетъ. Убьетъ и скажетъ: Невзначай убилъ... Даже не взыщутъ съ него за мою душу....»

— «Право ты грезишь....»

— «Вотъ тѣ Христосъ, есть!»

— «Кто же?»

— «Солдатъ Волковъ! Трехъ аршинъ; иной разъ въ четыре кажется.... Турка! Что противъ него вся Туречина.... Да, ужъ что дѣлать, пошелъ бы я на вѣрную смерть, коли на то кличутъ; да немогу. Недугъ такой вострой. Охъ..... »

Вошелъ Бломбергъ и овладѣлъ разговоромъ. Курилъ онъ, болталъ, и закурилъ и заболталъ Постникова; пожалѣлъ тотъ Подсвинкова, да и откланялся. Тогда Бломбергъ приступалъ къ больному:

— «Послушай, зятюшка!» сказалъ онъ: «Вѣдь я смѣкаю, отчего ты въ постель слегъ, вѣдь ты не боленъ....»

— «Не боленъ, Богданъ Крестьяновичъ! Здоровъ, какъ рыба, къ услугамъ твоимъ и Шарлоты Богдановны....» И съ этими словами, Подсвинковъ весело вскочилъ и сѣлъ на постели. Бломбергъ до того изумился, что выронилъ трубку, разинулъ ротъ и не могъ произнести слова.

— «А, что, каково?» продолжалъ Подсвинковъ:

«Видишь на какія хитрости пускаюсь, что теряю — и все ради Шарлоты Богдановны — Видишь, отрекся я отъ ратной чести; вѣдь ты меня незнаешь, первой храбрости человѣкъ, цѣлый строй бы помялъ подъ Кожуховымъ; показалъ бы такую удаль, что меня тотчасъ бы изъ приказа въ полкъ взяли, капитаномъ сдѣлали....»

— «Врешь, врешь! До капитана далеко! Ранга трудная; одной храбрости мало. Тутъ у васъ маленько полегче, а у насъ, возьми прежде городъ, а потомъ уже капитанскую рангу!»

— «Да полно, тестюшка, вѣдь ты меня въ ратномъ строю не видалъ?»

— «Невидалъ!»

— «И не увидишь. Не хочу у тебя чести отымать, что ты у насъ первый капитанъ.»

— «Ну, этого я чай и никто отъ меня не отыметъ; мнѣ два раза предлагали въ полковники. Нехочу. Что полковникъ! Лежи себѣ вверхъ брюхомъ, а за тебя капитаны управляются. Нехочу...»

— «Вотъ и я такой! Какъ сяду въ думу, кончено, нехочу ничего. Вотъ я для этого и въ походъ не пошелъ. Оно, конечно, потѣха, а если я въ задоръ войду; я себя знаю; горячка; того гляди на пушку наткнусь, а та пушка по ошибкѣ съ пулей.... Кончено..... И Шарлота Богдановна безъ жениха; и даромъ жизнь потерялъ на дрянномъ игрищѣ. Вотъ я и придумалъ; слягу въ постель, а завтра въ Преображенское уже поздно; боленъ, не позовутъ, а я и женюсь ...»

— «Важно, Василій Семеновичъ, важно! Мнѣ

одается; будто все это я самъ выдумалъ. И знаешь ли еще новинку? Получилъ я нарядъ. Завтра весь полкъ Лефортовъ въ Москву вступаетъ. Дочери нельзя мнѣ одной оставить. Я и ее беру къ себѣ на фатеру; мнѣ съ ротой постой приходится на мясницкой. Такъ мы тутъ же гдѣ ни есть по сосѣдству и покончимъ....»

— «Знатно! А ужъ я съ самаго ранняго утра изготовлюсь.»

— «Знатно! Я за этимъ и пришелъ, чтобы тебѣ сказать, а теперь давай Богъ ноги, надо роту приготовить къ завтрему. Прощай! Ай да зять, чудо не голова! Посолъ!... Ну, ужъ и Шарлота, голова, посланница!... Прощай!»

И на этотъ разъ Бломбергъ ушелъ поспѣшно. Подсвинковъ плотно поужиналъ; нѣсколько разъ спрашивалъ у Прохора про Чижа: будетъ ли? и получая утвердительный отвѣтъ, морщился и улыбался. При каждомъ вопросѣ про Чижа, дьякъ хватался за бороду и оглядывался. Наконецъ улегся заправду, уснулъ богатырскимъ сномъ, такъ, что поутру Прохоръ, съ Чижемъ вдвоемъ, на силу на великую могли добудиться, причемъ Прохоръ получилъ приличную награду, за то, что холопскими руками смѣлъ отгонять сонъ отъ Василья Семеновича. Проснувшись, Подсвинковъ и обрадовался и перепугался. Передъ нимъ стоялъ Чижъ, и страннаго вида и въ странномъ нарядѣ. Борода у него была бритая, но такъ какъ онъ былъ самъ цырюльникъ, то бритва уже съ недѣлю не прикасалась къ этой щетинѣ, которая густой щеткой покры-

вала его губы и подбородокъ; на немъ была зеленая истасканная куртка, видимо обрѣзанная изъ преображенскаго мундира, а исподнее платье было драгунское, изъ старыхъ нѣмецкихъ полковъ. Весь апаратъ хирургическій заключался въ кожаномъ чемоданѣ, который пристегивался къ сѣдлу тѣхъ же драгунъ. Онъ держалъ его подъ правой мышкой, подъ лѣвой торчала старая корзинка, не совсѣмъ плотно обвернутая не со всѣмъ въ чистую тряпку.

— «Это ты, Чижъ?» спросилъ Подсвинковъ, поглядывая опасливо на Прохора.

— «Я! Къ услугамъ твоей великой милости.... Только не задержи. Сегодня и дома пропасть дѣла. У меня и въ Преображенскомъ есть свой притонъ; тамъ нынче такая тма народа, что и не умѣстились.... Палатокъ на полѣ наставили; кажетъ тамъ выросла другая Москва. .. Говорятъ, еще не всѣ.... Такъ, не прикажетъ ли милость твоя?...»

— «Чижъ!» значительно прервалъ Подсвинковъ; потомъ велѣлъ Прохору принести горячей воды и запереть на замокъ всѣ двери и ворота....

— «Ну, Чижъ! Много денегъ возьмешь; богатъ будешь, коли не проболтаешься. Мѣсяцъ сроку. Слышь! Я тебя не разъ изъ бѣды выручалъ, но ты знаешь, Чижъ, люди добра не помнятъ. Правда, Чижъ?»

— «Правда!»

— «Какъ правда? Такъ ты моего добра не помнишь....»

— «Да, вѣдь милость твоя не про меня говоришь, про людей....»

— «То-то же! Ты гляди, на нихъ не походи; у нихъ благодарность, что вода....»

— «Горячая! Того гляди простынетъ. Присядька твоя милость; не держи меня; чай меня и такъ вездѣ ищутъ....»

— «Ахъ, ты, Господи! Что я творю, окаянный. Конечно, много народовъ видѣлъ я безъ бородъ, да своей какъ-то жаль. И чай больно!... Чижикъ ты мой, не скрывай отъ меня.... Больно?...»

— «Съ непривычки покажется, будто тѣло строгаютъ.... А потомъ, ничего, обойдется...»

— «Чижикъ, голубчикъ, а нельзя ли безъ боли....»

— «Совсѣмъ безъ боли трудно, а можно огнемъ обжечь, знаешь, какъ живность обжигаютъ. Когда ловко удастся, ничего....»

— «А коли неловко?...»

— «Припечетъ. Пузыри будутъ. Все одно, что кипяткомъ.... Да, кто тебѣ виноватъ; зачѣмъ съизмолоду не брилъ бороды; понѣжнѣе волосъ, и боли меньше, а теперь, гляди, какая у твоей милости щетина. Ужъ та, накладная, что я принесъ, на твою не похожа....»

— «Какъ не похожа! Чижъ, ты меня зарѣзалъ....»

— «Вотъ ужъ и зарѣзалъ! Погляди, у тебя рыжая, не ровная, а эта какова.... Ась?» И Чижъ вынулъ изъ кармана искуственную бороду, ко-

торая въ тѣ времена, когда высокое парикмахерское искуство, покрайней мѣрѣ въ Россіи, было еще въ колыбели, — могла назваться образцевою. Но совершенство работы больно опечалило Подсвинкова; у него, какъ мы видѣли, была борода рыжая клочьями, а искуственная была темнорусая, полная, окладистая. Чудо, не борода!

— «Погибъ я!» закричалъ Подсвинковъ: «Ахъ, ты, злодѣй, окаянный, что ты сдѣлалъ?»

— «Бороду, какой и дворцевый мастеръ лучше не сдѣлаетъ. Правда, я у него учился, да за то теперь онъ можетъ у меня поучиться....»

— «Ахъ ты, песъ поганый, да развѣ это моя борода?»

— «Да я и самъ знаю, что не твоя; стану я этакую гадкую бороду дѣлать! Не только мастеръ, мои мальчишки станутъ смѣяться. Да что тебѣ толковать. Хочешь бери, хочешь не бери. Я по уговору дѣлалъ; за бороду деньги заплочены. Прощай!»

— «Чижъ! Куда ты, Чижъ?...»

— «Ищи себѣ другаго мастера! Русскаго не найдешь! Я одинъ на всю Москву! Ступай къ Нѣмцамъ; за алтынъ продадутъ, да и такого чучела ради чести одной, не станутъ дѣлать!»

— «Чижикъ ты мой, голубчикъ, да подумай ты самъ, кто ни взглянетъ, тотчасъ смѣкнетъ, что борода у меня чужая....»

— «Эко диво! А ты не можешь сказать, что послѣ болѣзни и гуще пошла, и мягче стала, и

потешила. Видишь, большой головы на такую дрянь не хватаетъ....»

— «Правда твоя, Чижикъ, правда! Кстати же я теперь и при смерти боленъ....»

Чижикъ посмотрѣлъ на дьяка съ удивленіемъ, а Подсвинковъ со слезами на глазахъ, глядѣлъ на проклятую накладку и на всѣ стороны ее переворачивалъ....

— «Помилуй, Чижикъ, положимъ, что борода хороша, да какъ же она держаться будетъ?»

— «А клей на что? Вотъ тебѣ цѣлая банка; въ горячей водѣ щепотку этого порошку роспусти, разболтай, бороду насусоли, да накладку и приложи полотенце. И самъ не узнаешь, что чужая! Ну, садись же, Василій Семеновичъ, право некогда....»

— «Огнемъ или ножемъ?»

— «Чѣмъ хочешь!»

— «Ну, огнемъ!»

— «Такъ зови же Прохора; одинъ не справлюсь.»

— «Ножемъ.... Ножемъ....»

— «Только не думай много, садись!...»

— «Чинишь ты мой! Еще рано. Повремени!..»

— «Слышишь, къ обѣдни звонятъ....»

— «Къ заутренѣ, Чижикъ!»

— «Къ обѣднѣ!»

— «Право къ заутренѣ...»

— «Ну, такъ прощай!»

— «Сижу, Чижикъ, сижу....»

Въ одно мгновеніе, Чижикъ ножницами скинулъ съ Подсвинкова главную массу бороды. За каж-

дымъ пристукомъ ножницъ, Подсвинковъ охалъ, но едва бритва коснулась щеки, Василій Семеновичъ заревѣлъ и съежился.

— «Смирно!» закричалъ Чижъ: «Не то обрѣжу!»

За симъ бритва уже спокойно ходила по лицу Подсвинкова; движенія руки Чижа сопровождались глухими стенаніями; работа Чижа дошла до половины. Вдругъ страшный стукъ у воротъ, прекратилъ тайное занятіе. Подсвинковъ подбѣжалъ къ окну и къ ужасу своему увидѣлъ, что Прохоръ, вопреки всѣмъ запрещеніямъ, отворяетъ калитку. Дьякъ едва не лишился памяти, когда увидѣлъ, что на дворъ входитъ Царскій шутъ Яша...

— «Чижикъ, спасай меня, я погибъ!» кричалъ Подсвинковъ, обвертывая со всѣхъ сторонъ голову полотенцами. Чижъ понялъ опасность; убралъ наскоро съ полу волоса, спряталъ инструментъ, — и съ чемоданомъ и съ корзинкой, по указанію дьяка, ушелъ въ другую комнату. Подсвинковъ, увидавъ, что всѣ признаки недавняго рукопроизводства изчезли, невольно улыбнулся. Между тѣмъ щелканье ключей приближалось; двери спальни отворились и вошли: шутъ Яша, Прохоръ и еще какой-то мужчина, въ нѣмецкомъ платьи....

Яша какъ увидѣлъ лежащаго въ полотенцахъ и пуховикахъ Василья Семеновича, всплеснулъ руками и заплакалъ:

«Бѣдный, бѣдный, Василій! Умеръ! Совсѣмъ умеръ! Вотъ тебѣ и холостьба! и похоронить некому! Возился, возился, да и свадьбы не успѣлъ сыграть. Какъ хочешь, Карло Карлычъ, а надо

его на этотъ свѣтъ воротить; вынимай-ка свой буравчикъ; добудемъ крови, авось очнется....»

— «Я не умеръ, Яковъ Ѳедорычъ, право не умеръ....»

— «Полно, полно, Василей Семеновичъ, непритворяйся, что живъ, не повѣримъ. Ты человѣкъ прямой; никогда не умѣлъ хорошо притворяться; отъ того тебя и въ послы наряжать перестали.»

— «Ахъ, Яковъ Ѳедоровичъ, право я не умеръ! Какъ-же я умеръ, когда говорю?...»

— «Право, ничего не слышу. Тебѣ кажется, что ты говоришь, а ты умеръ, совсѣмъ умеръ...»

— «Яковъ Ѳедоровичъ, сжалься надъ моимъ недугомъ; мнѣ теперь не до шутокъ; боленъ; всѣми костми изломанъ; головы повернуть не могу; жаръ такой былъ, что комната пуще бани для меня стала. Чуть не задохся; теперь маленько полегчало....»

— «А будетъ еще легче, какъ мы съ Карломъ Карловичемъ тебя полечимъ. Ухъ, какъ легко будетъ. Въ вечеру самъ въ Преображенское прибѣжишь муштроваться. Ну-ка, приступай, Карло Карловичъ къ осмотру....»

— «Къ какому осмотру?» спросилъ Подсвинковъ, и чуть было со страху не позабылъ, что боленъ; чуть было не поднялся съ постели....

— «Видишь, Василій Семеновичъ, ты шутокъ не любишь; да и недугъ твой такой, что шутокъ не терпитъ; мы-же тебя, какъ роднаго, любимъ; помочь хотимъ; такъ прежде по ученому надо осмотрѣть, гдѣ и какая немочь, а ужъ потомъ

за-разъ и выгонимъ ее изъ тѣла. Карло Карловичъ, начинай!...»

— «Да зачѣмъ же осматривать, когда я вамъ словами разскажу....»

— «Э, нельзя! У тебя жаръ; ты, можетъ быть, бредишь; какъ можно вѣрить горячкѣ. Это разъ, а другое — ты шутокъ не любишь, такъ я скажу безъ шутокъ. Царю подана роспись обо всѣхъ Нѣтчикахъ, которые по указу въ Преображенское не явились на смотръ. Чудно показалось Государю, что въ одинъ день полъ-Москвы захворало; вотъ Государь и указалъ намъ съ Карломъ Карловичемъ обыскать ваши недуги и по правдѣ донести; такъ не гнѣвайся, Василій Семеновичъ! Царскую волю правимъ, и это слово наше послѣднее. Лежи смирно, а мы бережно тебя осмотримъ, да и донесемъ, что ты боленъ, ходить не можешь. Ну-те, Карло Карловичъ, съ головы всякое начало. Я полотенцы развверну, а ты осматривай....»

— «Полотенцы!» заревѣлъ Подсвинковъ и вскочилъ....

— «Видишь, какая злая горячка! Ну-те, ну-те, Карло Карловичъ, не бойтесь, мы его попридержимъ; эй, ты, чурбанъ, чего стоишь, глаза выпялилъ? Бери за руки больнаго....»

— «Нетронь, убью!»

— «Не бойтесь, Карло Карловичъ, двери заперты, неуйдетъ!»

— «Двери заперты!» закричалъ Подсвинковъ, вырываясь изъ рукъ шута: «Прохоръ! Волю дамъ, только оттащи ты отъ меня этого медвѣдя.»

Прохоръ схватился за Яшу, Подсвинковъ изо всей силы рванулся къ окну; выскочилъ; въ калиткѣ съ кѣмъ-то повстрѣчался и, опрокинувъ гостя, безъ оглядки бѣжалъ по Мясницкой между двухъ рядовъ Бломберговой роты... Громкій хохотъ провожалъ бѣгущаго; опрокинутый въ калиткѣ тесть, ругалъ зятя самымъ отчаяннымъ образомъ, обчищая съ мундира грязь, которая, по древнему обычаю стояла у калитки неосушимою лужей.

— «А что?» спросилъ Яша, выходя съ Царскимъ врачемъ въ ту же калитку: «Говорятъ, что Нѣмцы лечить не умѣютъ; ни рукой, ни ногой шевельнуть не могъ; приняли въ руки, — побѣжалъ, будто встрепанный и вѣрно прямо въ Преображенское. Пойдемъ, Карло Карловичъ, дальше. У насъ больныхъ много, надо вылечить всѣхъ до вечера. А ты тутъ зачѣмъ?» спросилъ Яша Чижа, который, пользуясь смутой, тихонько ползъ изъ калитки...

— «Я?... Ничего! Такъ! За дѣломъ заходилъ по дорогѣ.»

— «А сдѣлалъ дѣло?...» спросилъ Яша, съ лукавой улыбкой.

— «Помѣшали!»

— «Ужъ не мы-ли? Не вѣрь, Чижъ! Не такой нашъ лекарскій промыселъ; мы ничего не испортимъ, а поправлять многое умѣемъ. Вотъ и мой тестюшка, тоже скажетъ. Вѣдь онъ меня давно знаетъ, самъ меня крестилъ, и такой добрый, хочетъ меня женить на родной дочери... Да мнѣ

что-то не хочется. Больно хороша для шута! Не правда ли, Богданъ Крестьяновичъ!»

Блюмбергъ промычалъ что-то и отошелъ къ своей ротѣ. Чижъ поворотилъ въ Преображенское, а врачи отправились по своей практикѣ. На полпути стоялъ цырюльный дворъ Чижа; мальчишки отъ нечего дѣлать всѣ торчали на улицѣ и не безъ изумленія увидѣли Василія Семеновича въ самомъ безпорядочномъ и странномъ спальномъ уборѣ. Встрѣтили они Подсвинкова громкимъ хохотомъ; но когда увидѣли, что онъ прямо бѣжитъ къ крыльцу дома, перепугались, бросились на дворъ и попрятались. Подсвинковъ нашелъ въ большой палатѣ Чижову жену, которая, въ торопяхъ спѣшила на дѣтскій крикъ; какъ увидѣла она гостя, вскрикнула и обомлѣла.

—«Матушка ты моя, голубушка!» кричалъ Подсвинковъ: «Спрячь меня, сохрани куда нибудь, врагъ за мной идетъ; отыщетъ слѣдъ, окаянный! Спаси, не оставь!..»

Это воззваніе еще болѣе перепугало Чижову жену; на дняхъ еще читали Царскій указъ о бѣглыхъ и праздношатающихся; по странному виду Подсвинкова, можно было подумать, что онъ не изъ числа добропорядочныхъ людей... Чижова дрожала всѣмъ тѣломъ. Испугъ ея возрасталъ, а Подсвинковъ видя что никто за нимъ не гонится, пріободрился, сталъ развертывать полотенца, поглядѣлъ въ зеркало и сказалъ спокойно:

— «Ну, что дѣлать, сталось, бороды не воро-

тишь, надо и остатки долой; гдѣ у твоего мужа ножи, подай ихъ сюда...»

— «Ножи?... Разбой, воры!» закричала Чижова жена и вѣроятно бы надѣлала суматохи, если бы въ то же время въ комнату не вошелъ Чижъ...

Свиданіе было самое трогательное. Чижъ увелъ Подсвинкова въ свою спальню и занялся окончаніемъ прерваннаго подвига; между тѣмъ одинъ изъ мальчиковъ сбѣгалъ за Прохоромъ и платьемъ. Явился и Прохоръ. Василій Семеновичъ наклеилъ бороду, пріодѣлся, но идти домой не захотѣлъ. Чижъ легко согласился укрыть дьяка до вечера, тѣмъ болѣе, что Подсвинковъ не скупился на обѣщанія. Наступилъ и вечеръ. Подсвинковъ безпрестанно поглядывалъ въ окно, скоро ли смеркнется такъ, что возвратный путь и свадьбу можно будетъ совершить въ безопасности. Къ особенному удовольствію, на концѣ улицы онъ замѣтилъ ратныхъ людей, и между ними легко узналъ Бломберга.

— «Ай да тестюшка!» сказалъ онъ съ самодовольствіемъ: «Выручаетъ, дай Богъ ему здоровье. И ратныхъ людей взялъ про случай, чтобы у него проклятый шутъ зятя не отнялъ... Только зачѣмъ такъ рано. Почитай день. Что же это онъ мимо идетъ. Богданъ Крестьяновичъ!» Подсвинковъ отворилъ окно и кричалъ во все горло: «Богданъ Крестьяновичъ! Куда ты? Я здѣсь!»

— «Ну, попался! А еще посолъ! Поди-ка сюда!»

Подсвинковъ безпрестанно ощупывая бороду,

вышелъ торжественно на крыльце, гдѣ его уже ожидалъ Бломбергъ...

— «Ну, тестюшка!» сказалъ дьякъ тихо: «Перепугалъ меня проклятый, да покрайней мѣрѣ все уладилось; бороды нѣтъ, это чужая... Ну, чтоже ты не радуешься, Богданъ Крестьяновичъ!»

— «Нечему, Василій Семеновичъ, нечему! Пойдемъ!»

— «Пойдемъ, а въ какой церкви будемъ вѣнчаться?... Да куда же ты идешь?»

— «Въ Преображенское!»

— «Развѣ Шарлота Богдановна тамъ?»

— «Нѣтъ!»

— «Такъ почему же мы туда идемъ?»

— «По Государеву указу!»

— «Богданъ Крестьяновичъ, что это значитъ? Что, развѣ уже и ты съ Волковымъ за одно...»

— «Не я, а служба моя съ ними за одно!..»

— «Да растолкуй ты мнѣ порядкомъ.»

— «Изволь.» И капитанъ вынулъ изъ кармана бумагу и прочелъ: «Ордеръ капитану Бломбергу! Отыскать дьяка Подсвинкова, укрывающагося на Москвѣ и въ какое бы позднее время оный дьякъ ни былъ найденъ, сообщить его персонально въ Преображенское, подъ личнымъ конвоемъ и сдать на руки старшему офицеру на гауптвахтѣ, или же, если поиманъ будетъ весьма поздно, то въ съѣзжую палатку стараго строя... Францъ Лефортъ...»

— «Богданъ Крестьяновичъ!»

— «Полно, полно! Ужъ лучше непросись, а крѣпись. На другой день послѣ похода свадьбу сыграемъ, а въ строю береги себя; горячкѣ воли не давай; я самъ слышалъ, что Волковъ хочетъ тебѣ прикладомъ голову разломить...»

— «Богданъ Крестьяновичъ! Я уйду, а ты и донеси...»

— «Ты съума сошелъ, Василій Семеновичъ! Что бы я, первый во всемъ войскѣ капитанъ, былъ ради дружбы, родства и свойства, измѣнщикомъ присягѣ! Да послѣ этого я самъ себя разстрѣляю...»

— «Богданъ Крестьяновичъ, Богданъ Крестьяновичъ, помилуй, отпусти!»

— «Послушай Василій Семеновичъ! Не страми же и ты меня! Въ конвоѣ есть и офицеры, тотчасъ разнесутъ, что ты трусъ...»

— «Трусъ, Богданъ Крестьяновичъ, право, трусъ.»

— «Шути, шути, а они заправду подумаютъ...»

— «Да какія тутъ шутки! Право меня или убьютъ, или я самъ умру со страха.»

— «Не бойся, я къ Шарлотѣ добрый караулъ приставилъ; муха къ ней не пролетитъ, вздоръ! А оно правда отсрочка, да за то, какъ ты подъ Кожуховымъ отличишься, такъ тогда и свадьбу веселѣе справлять.»

— «Отличусь, Богданъ Крестьяновичъ, не дай Богъ, какъ отличусь...»

— «Вотъ видишь самъ! Да и знаешь ли, про между насъ сказать, коли въ свалкѣ Волкова по-

встрѣчаешь, такъ нечего жалѣть... Понимаешь-ли? Тутъ грѣха нѣтъ. Вѣдь онъ-же хочетъ тебя убить...»

— «Да ты не ошибся ли, Богданъ Крестьяновичъ, можетъ быть только побить?»

— «Говорятъ тебѣ: убить...»

— «Немогу, Богданъ Крестьяновичъ, самъ видишь, немогу идти! Ноги отнялись...»

Подсвинковъ на этотъ разъ не притворялся, у него точно отнялись ноги, да по выговору слышно было что и языкъ собирается сдѣлать тоже. Неумолимый Бломбергъ приказалъ гдѣ нибудь въ ближайшемъ домѣ достать носилки. Достали гдѣ то рогожку на двухъ палкахъ, посадили Подсвинкова и понесли въ Преображенское.

—

V.

Какъ капитанъ Бломбергъ, не попавъ въ одинъ походъ, отправился въ другой.

На Кремлѣ у переходовъ стояло множество женщинъ, подъ покрывалами и безъ оныхъ; между ними изрѣдка кое гдѣ торчали старики, — которымъ дряхлость не позволяла принять участіе въ походѣ, — именитое купечество, да боярскіе шуты, которые по случаю отъѣзда всѣхъ бояръ, въ Преображенскому, оставались праздными и про запасъ, на улицахъ и площадяхъ, собирали городскія сплетни. Во всѣхъ домахъ окна были открыты; въ нихъ, будто въ рамахъ, красивыми группами, пестрѣли преимущественно женскія головки.

Не смотря на то, что на небѣ исходилъ уже Сентябрь мѣсяцъ, на землѣ было еще тепло, даже жарко, потому что солнце, съ лѣтней привычки, приближаясь къ полудню, щедро разливало на всю Москву палящее пламя. Лефортовцы стояли на стражѣ у Кремлевскихъ дворцовыхъ зданій, у Приказовъ, у воротъ и вообще гдѣ нуженъ военный присмотръ. Офицеры, свободные отъ фрунта и карауловъ, ухаживали за знакомыми и не знакомыми горожанками. Больше другихъ привлекала къ себѣ взоры офицеровъ мадамъ Бацъ; можетъ быть и не мадамъ Бацъ, а Шарлота, но офицеры употребляли въ этомъ случаѣ отводъ, потому что возлѣ Шарлоты стоялъ капитанъ Бломбергъ, а всему полку было извѣстно, что Бломбергъ терпѣть не можетъ когда молодежъ пустыми взорами сбиваетъ съ толку Шарлоту, невѣсту дьяка Подсвинкова. И надо сказать правду, Бломбергъ удивительно фехтовалъ глазами и съ необыкновенною быстротою отражалъ нескромные взоры дерзкой молодежи. Мадамъ Бацъ непреминула воспользоваться стѣсненнымъ положеніемъ Шарлоты. Съ быстротою Бломберга, она отвѣчала на умильные взгляды офицеровъ, только въ другомъ тонѣ, и такъ искусно вовлекла всѣхъ окружающихъ въ общій разговоръ, что капитанъ никакъ немогъ воспрепятствовать приближенію непріятелей. Онъ съ своей стороны сдѣлалъ все, что могъ. Подошелъ къ Шарлотѣ и сталъ такъ близко, что она даже шепотомъ не могла сказать слова, котораго бы онъ не услышалъ.

— «Мы не дождемся ихъ сегодня!» сказала мадамъ Бацъ, поправляя прическу: «И если бы мы, свои, не были вмѣстѣ, пришлось бы умереть отъ духоты, жара и скуки.»

— «Совершенно справедливо, Христина Ивановна, совершенно справедливо!» замѣтилъ офицеръ Мурандштраусъ, холостякъ, лѣтъ сорока съ хвостикомъ: «То есть это удивительно, Христина Ивановна, какъ вы всегда говорите точную правду и такъ сказать, самую истину; никогда не преувеличиваете, и такъ сказать, ничего не уменьшаете. Можно рѣшительно утверждать, что, по части разума, вы между женщинами чудо, или такъ сказать, явленіе необыкновенное...»

— «А вы думаете, что я не люблю комплиментовъ? Да, что я, не женщина, что-ли? Къ чему притворяться? Я очень вамъ благодарна за этотъ комплиментъ.»

Мурандштраусъ растаялъ и отвѣчалъ:

— «Да это не комплиментъ, а сугубая правда; точно такая, еслибы я сказалъ, что вы и Шарлота Бломбергъ красавицы...»

— «А тебѣ какое дѣло?» грубо прервалъ Бломбергъ: «Красавицы, да не для тебя. Притомъ же... фонъ-Бломбергъ; а еще Нѣмецъ; свой обычай забылъ... Однажды мнѣ случилось...»

— «Да я не знаю, за что вы сердитесь, Богданъ Крестьяновичъ!» перебила мадамъ Бацъ: «Вѣдь говорятъ не про васъ, а про Шарлоту, такъ пусть она и обижается...»

— «Да я...»

— «Да что вы? Возитесь съ подъячими и заразились отъ нихъ грубостью; потеряли обхожденіе. Вотъ я ничего такъ не желаю, какъ увидѣть вашего будущаго зятя на конѣ, при оружіи... Должно быть ужасно смѣшно...»

— «Отчего же должно быть ужасно смѣшно?..»

— «Да какъ эта чернильница можетъ держаться на сѣдлѣ?»

— «Отъ чего же чернильница?»

— «Удивительно, какъ его и въ старомъ строю не забраковали!

— «Забраковать Подсвинкова! Да знаете ли вы, что Василія Семеновича бояринъ Иванъ Ивановичъ къ себѣ въ есаулы, то есть въ адъютанты, взялъ!..»

— «Ну, такому генералу и я бы въ адъютанты годилась...»

— «Ахъ!..» сказалъ тихо Мурандштраусъ, но такъ, что Христина Ивановна очень хорошо могла разслушать: «Охъ!.. Еслибы такіе были на свѣтѣ адъютанты, кто бы не пожелалъ быть генераломъ!»

Христина Ивановна улыбнулась въ ту сторону, гдѣ стоялъ Мурандштраусъ, а глаза смотрѣли въ противную сторону, на Бломберга; есть такой способъ улыбаться, право есть; и жаль что этому способу не учатъ въ женскихъ пенсіонахъ. Опытомъ каждое пріобрѣтеніе трудно, и часто уже получается несвоевременно, когда въ немъ не настоитъ надобности. Но мадамъ Бацъ этотъ способъ былъ крайне пригоденъ; оттого она могла вести вдругъ двѣ бесѣды, съ мужемъ и съ по-

сторонним, а иногда и съ двумя посторонними, какъ случилось и на Кремлѣ у переходовъ. Одному она улыбнулась, а на другаго посмотрѣла весьма степенно, даже сурово и безъ видимаго промежутка, продолжала...

— «И очень рада я, что нашъ полъ неучаствуетъ въ этомъ походѣ. Не велика честь разбить такого генерала съ такими адъютантами!»

— «Да знаешь ли ты, Христина Ивановна!» прервалъ запальчиво Бломбергъ: «что этотъ боярин сдѣланъ главнымъ воеводой въ старомъ строѣ?»

— «Въ шутку, въ насмѣшку; ужъ повѣрь, за правду его не пошлютъ и на волчью облаву...»

Бломбергъ какъ буря собирался разразиться надъ головою Христины Ивановны громомъ и молніей, но мадамъ Бацъ, хотя и была скала, приступная для человѣческаго рода, — однакоже не посмѣвалась надъ яростью стихій и времени и, приготовляясь встрѣтить грозу, стала въ такую позицію, устроила такую значительную мину, вонзила взоры свои не только въ глаза, но въ сердцѣ, въ душу противника. Бломбергъ смутился; даже вспомнилъ, что лѣтъ шесть тому назадъ, когда Шарлота была ребенкомъ, самъ искалъ расположенія Христины Ивановны; но Христина Ивановна была тогда шестью годами моложе, а потому и степеннѣе; сему явленію исторія представляетъ многоразличные примѣры... Шарлота подрастала. Капитанъ не хотѣлъ подавать собою дурнаго примѣра, отставалъ и отсталъ отъ страсти, которая не успѣла укорениться; но совершенно искоренить изъ памяти

какой бы то ни было бывалой наклонности невозможно — и Бломбергъ смутился. Чуть было самъ не сказалъ госпожѣ Бацъ какой то отчаянной любезности, но вдругъ покраснѣлъ, плюнулъ и отвернулся. Въ это самое время по всему Кремлю раздалось: ѣдутъ, идутъ!.. И точно, недалече послышался барабанный бой, на поворотѣ показался стремянный стрелецкій полкъ; хотя стрѣльцы и были уже обучены по новому генераломъ Гордономъ, но какъ съ нѣкотораго времени знаменитый сподвижникъ Петра занимался формированіемъ регулярныхъ войскъ, то и служба у стрѣльцовъ пришла въ забвеніе. Недавнія смуты привели эту надворную пѣхоту въ омерзеніе большей части Московскихъ жителей... Особенно женщины невольно отворачивались отъ страшныхъ лицъ этого войска. Сами они будто чувствовали, какое производили впечатлѣніе. Недовольные новымъ порядкомъ, общимъ мнѣніемъ и сами собой, они проходили потупивъ головы, безъ ратнаго веселія, безъ молодецкаго взгляда... За стремяннымъ, тянулись другіе полки стрѣлецкіе. Тотъ же видъ; тѣже впечатлѣнія... Но вотъ показался полковникъ Лаврентій Сухаревъ съ своимъ веселымъ и стройнымъ полкомъ и радостный говоръ пробѣжалъ въ зрителяхъ, выросъ и громкимъ одобрительнымъ гуломъ провожалъ этотъ четвертый полкъ старой надворной пѣхоты: прошелъ... и опять тоже унылое молчаніе, пока не прошли пятый и шестой стрѣлецкіе полки. Показалась конница и толпа зрителей развеселилась; правду сказать и было

отъ чего. Хотя эта конница и шла ротами или отдѣленіями, но отъ непривычки къ ратному порядку, отъ тѣсноты и неравенства улицъ, вся эта конница перемѣшалась. Семенъ Алексѣевичъ Языковъ съ С. Грибоѣдовымъ предводительствовали Приказнымъ войскомъ, къ которому присоединены были Государевы пѣвчіе. Послѣдніе еще туда-сюда, но Приказные представляли самую пеструю и забавную смѣсь людей, коней и одеждъ. Тамъ горбатый, приземистый дьякъ сидѣлъ на долговязомъ и сухопаромъ конѣ; а сѣдло подъ нимъ Турецкое, чепракъ чуть не изъ чистаго золота, да еще и не одинъ, а два; голова у лошади изукрашена кутасами и перьями; а тамъ подъячій, толстый, такъ, что отъ жира потерялъ очертаніе человѣка и для Академической натуры сталъ ровно негоденъ, а сидитъ на малорослomъ, дюжемъ иноходцѣ, и будто гора какая, съ боку на бокъ переваливается; у того сабля въ рукахъ наголо, молодечество выказываетъ; у того въ ножнахъ покоится; ржавчины два холопа не могли счистить, а у инаго двѣ сабли и съ того боку и съ другаго; нѣкоторые въ рукѣ держали пистолеты, а другіе карабины нѣмецкіе. Тѣ въ нѣмецкомъ платьѣ безъ бороды, тѣ купцами. Масти у лошадей, хуже чѣмъ въ картахъ; тамъ четыре только, а тутъ хоть коллекцію мастей подбирай; начинай съ бѣлаго, тамъ будто съ крапомъ; тамъ сѣроватые, темные, темнѣе и перешли въ яблоки, въ темносѣрые, а тамъ опять посвѣтлѣли; планжевые, золотистые, бурые и т. д. до воронихъ, т. е. до цвѣту во-

роньяго крыла дойдешь, а больше всего пегихъ. Была одна полосатая отъ природы; такая невиданная, что ее сами лошади не признавали и сторонили... Были и съ крашеными хвостами; и все это не въ порядкѣ какого нибудь зоологическаго кабинета, а въ живомъ и безпрестанно измѣняющемся движеніи. Этотъ калейдоскопъ производилъ неописуемый эффектъ; глаза зрителей разбѣгались. Шарлота смотрѣла на этотъ сбродъ, какъ любопытный ребенокъ; ее занимало, веселило странное разнообразіе; она наслаждалась этимъ зрѣлищемъ и вдругъ Бломбергъ все разрушилъ!..

— «Погляди, Шарлота!» сказалъ онъ, толкнувъ ее легонько: «Погляди, какимъ молодцомъ, Василій Семеновичъ!»

— «Правду оказать!» подхватила мадамъ Бацъ: «Между этими уродами онъ не послѣдній; есть и хуже, да мало. Не правда ли, Шарлота?»

— «Правда!»

— «Что ты сказала?» закричалъ Бломбергъ, будто его кипяткомъ окатили...

— «Что вы кричите!..» сказала мадамъ Бацъ, схвативъ Бломберга за руку и взглянувъ на него ласково, даже любовно. Такъ какъ этотъ взоръ пришелся въ пору, именно въ то время, когда въ головѣ Бломберга невольно бродили пробужденныя воспоминанія, то и гнѣвъ изчезъ; мѣсто его заступила какая-то неопредѣленная надежда. Бломбергъ, и самъ не зная почему, сталъ охорашиваться... «Скорѣе бы Шарлоту замужъ!» подумалъ онъ: «Тѣ двѣ другія еще

глупы и неразумны, можно бы приволокнуться... Только, Боже борони, узнаютъ... Дойдетъ до Франца Яковлевича...» Бломбергъ побѣднѣлъ и сталъ оглядываться, какъ будто его поймали in flagrante delicto... Желая успокоить себя и отогнать на время мадамъ Бацъ отъ воспаленнаго воображенія, Бломбергъ сталъ смотрѣть на будущаго зятя и невольно въ душѣ своей повторилъ отвѣтъ Шарлоты. Повторимъ и мы эту *правду*. Подсвинковъ въ Преображенское доставленъ былъ пѣшій и безъ оружія. Князь Ѳедоръ Юрьевичъ приказалъ послать за конемъ и оружіемъ къ Подсвинкову на домъ. Но лошади ушли въ деревню съ Дуней, а оружіе, какое было у отца Василія Семеновича, продано въ старый желѣзный рядъ Прохоромъ, съ вѣдома и даже съ позволенія Василія Семеновича, тотчасъ послѣ вступленія въ наслѣдство. Нечего дѣлать. Ромодановскій, яко генералиссимусъ, собралъ по сему случаю совѣтъ; при общемъ смѣхѣ на счетъ подвиговъ Подсвинкова, положили: вооружить его по-драгунски... Дали Василію Семеновичу лошадь, весьма ученую и умную, больше изъ человѣколюбія, чтобы она его берегла въ предстоящихъ опасностяхъ; нацѣпили съ одной стороны огромную саблю, съ другой карабинъ, въ сѣдло два пистолета, въ руку—пику. Все огнестрѣльное было заряжено; Ромодановскій, не смотря на обычную свою важность, весьма смѣялся и собранію совѣта и его приговору, но боярин Иванъ Ивановичъ счелъ эту выходку за личность къ себѣ, и какъ только былъ объявленъ

главнокомандующимъ противной стороны, тотчасъ поспѣшилъ утѣшить Подсвинкова:

— «Старый стрѣмникъ!.. Всякое зло умѣешь дѣлать, дѣвицъ обижать, взятки брать, и то и третіе... А! Постой же! Дай къ Москвѣ будемъ, женю, непремѣнно женю! На Дунъ женю! Экой, право...» продолжалъ бояринъ, смягчая голосъ: «Ужъ я бы тебя не пожалѣлъ! И такъ по Москвѣ изволь ѣхать въ ротѣ, какъ указано, а ужъ на мѣстѣ я хозяинъ... Быть тебѣ при мнѣ есаудомъ неотходно... Не ради жалости, а ради опаса, чтобы въ конецъ нашихъ не острамилъ. Пошелъ вонъ! На мѣсто!..»

И нарядили Василія Семеновича, какъ указано, и на Москву выпустили. Ученый не ученаго не понимаетъ, и конь не понималъ Василія Семеновича, дьякъ хочетъ пріудержать его ретивость, а тотъ на дыбы, думаетъ: видно хочетъ ѣздокъ красоваться, а Василій Семеновичъ ни живъ, ни мертвъ, брюхо коня ногами обхватитъ, держится, что есть силы, да грузенъ; съ драгунскаго сѣдла ползетъ; поводья выронитъ, да за холку; конь и опустится и пойдетъ шажкомъ; конь бы еще ничего; нашелъ Василій Семеновичъ и съ нимъ снаровку; совсѣмъ за поводья не держится; а конь себѣ, по ученому, за одно съ другими, и ходитъ; да вотъ бѣда: карабинъ и пистолеты заряжены; то и дѣло прислушивается, не выпалитъ ли тотъ или другой; сабля проклятая стучитъ, того гляди изъ ноженъ выскочитъ, ноги поранитъ; не удивительно послѣ этого, что дьякъ, блѣдный, полумертвый, на Мо-

сквѣ ѣдетъ на конѣ, будто чучело; одною рукою карабинъ, другою саблю, подальше отъ себя держитъ, а туловищемъ на сѣдлѣ отъ пистолетовъ пятится. Товарищи, которые похрабрѣе, въ толпѣ глазами ищутъ знакомыхъ, а Василій Семеновичъ только того и желаетъ, чтобы ни онъ Москвы, ни Москва его не видала... Первый взглядъ на Подсвинкова возбуждалъ смѣхъ во всѣхъ, включительно съ Бломбергомъ, но такъ какъ строй двигался, по тѣснотѣ Кремля и множеству толпы, весьма медленно, то Бломбергъ имѣлъ довольно времени догадаться и убѣдиться въ догадкѣ. Бломбергъ вспыхнулъ, покраснѣлъ.

— «Посмотрите, Христина Ивановна!» сказалъ капитанъ, запинаясь, и желая отвлечь вниманіе дамъ отъ Подсвинкова: «Вотъ и самъ главный воевода стараго строя.».

— «Гдѣ, гдѣ!..»

— «Вотъ, на бѣломъ конѣ!..» И капитанъ загородилъ Христинѣ Ивановнѣ видъ на ту сторону, гдѣ еще былъ видѣнъ Подсвинковъ...

Въ богатыхъ одеждахъ, на дорогихъ коняхъ, которые выплясывали со всею граціей свой лошадиный танецъ, проѣхали простые и комнатные стольники, и вслѣдъ за ними на бѣломъ конѣ, закрытомъ почти до самой земли богатымъ чепракомъ, въ великолѣпнѣйшемъ Русскомъ вооруженіи, появился боярин Иванъ Ивановичъ. Чернь и приверженцы стараго порядка, не выдержали и заревѣли; но вдругъ, незапно, какъ одинъ человѣкъ, всѣ смолкли. Сопровождавшіе боярина, изъ первыхъ ро-

довъ, Русскіе вельможи ѣхали безъ бородъ и въ нѣмецкомъ платьѣ... Думные дворяне и думные дьяки, въ такомъ же костюмѣ, заключили шествіе. Прошли, а народъ безмолвный стоялъ на Кремлѣ въ унынiи и будто весь думалъ одну и туже думу... Но не долго продолжалась эта молчаливая элегія о былomъ-прошедшемъ... Вдали раздавались флейты и трубы, прерываемыя барабаннымъ боемъ. Толпа оживилась любопытствомъ. Шутъ Яша первый въѣхалъ на Кремль на добромъ конѣ, въ костюмѣ, составлявшемъ смѣсь казацкаго съ нѣмецкимъ; богатая сабля болталась у боку; на круглой, высокой шапкѣ торчала разноцвѣтная китка или султанъ; за нимъ гурьбой, безъ строя, ѣхали Абросимки и Алеши; Абросимки въ красныхъ кафтанахъ и синихъ шароварахъ съ казацкими шапками и пиками. Алеши всѣ были въ сѣромъ и всѣ на одинакихъ сѣрыхъ коняхъ. Для Московскихъ жителей эта молодая вольница была страшнѣе-старыхъ стрѣльцовъ; это были градскіе брадобреи и вѣстовщики; ни виномъ, ни деньгой нельзя было ихъ испортить. Удалой ротмистръ держалъ ихъ въ ежевыхъ рукавицахъ. На вѣчныхъ посылкахъ, они не могли однакоже избаловаться. Шутъ умѣлъ смотрѣть за ними и ночью и въ глухихъ захолустьяхъ. И служба и отдыхъ у этой вольницы, сопровождались шутками; и теперь на Кремлѣ отъ ихъ смѣха гулъ идетъ; между ними были такіе звонкіе голоса, что какъ засмѣется, такъ будто во всю Ивановскую пѣсню поетъ; такъ и заливается...

— «Вотъ онъ!» въ одно время почти вскрикнули и мадамъ Бацъ и Шарлота, и обѣ, какъ будто условясь, схватились за руки.

— «Ошиблись!» сказалъ мрачно Бломбергъ: »это не Волковъ; это легкое нерегулярное войско, и при томъ конное, а Волковъ простой и пѣшій солдатъ.»

И мадамъ Бацъ и Шарлота посмотрѣли на Бломберга и расхохотались.

— «Чему вы обрадовались?»

— «Ахъ, Богданъ Крестьяновичъ! Неужели васъ не смѣшитъ Царскій шутъ? Посмотрите, какія онъ дѣлаетъ намъ рожи. Здравствуй, миленькой, здравствуй, Яковъ Ѳедоровичъ... Береги себя въ походѣ. Ты знаешь, по тебѣ не одна будетъ плакать. .»

— «Эй, Христина Ивановна! Гляди! Алешъ сей часъ на тебя пущу! Языкъ отрѣжутъ!..» сказалъ шутъ, который, пользуясь медленностію отставшихъ пѣхотныхъ полковъ, счелъ обязанностью дождаться ихъ у переходовъ.

— «Ахъ, ты, право какой!» сказала мадамъ Бацъ; «вѣдь я твою руку держу; за тебя горой стою, а ты...»

— «Да вѣдь я, кажется, просилъ молчать, а не болтать. Хорошо, что Богдана Крестьяновича здѣсь нѣтъ, а то бы онъ Богъ знаетъ что подумалъ...»

— «Я здѣсь!» сказалъ капитанъ, выдвигаясь впередъ.

— «А, ты здѣсь, Богданъ Крестьяновичъ! Радъ,

очень радъ! Здравствуй, здравствуй! Давно не видалъ! Что ты не сталъ еще заикой?»

— «Это почему?»

— «Какъ почему! Потому, что кто съизмолоду гладко лжетъ, тотъ на старость заикается. Право, такъ! А ты ужасно гладко вралъ.»

— «Послушай ты, шутъ поганый, я тебя съ сѣдла стащу...»

— «Гладко, гладко врешь, ну дальше!»

— «Да я тебя сей часъ въ съѣзжую избу отведу...»

— «Гладко, гладко! А не смѣешь! Я на службѣ...»

— «Да какъ же ты такое говоришь?...»

— «Говорить правду — это моя служба. А за правду нечего сердиться... Дай руку...»

— «Поди ты, чтобы я себя передъ всею Москвою опозорилъ...»

— «Ну, такъ подай мнѣ руку Шарлоты Богдановны...»

— «Что́, что такое?»

— «Что такое? Али не ясно?.. Я не Подсвинковъ. Тайностей не люблю; при всемъ честномъ народѣ, прошу у тебя Шарлоту Богдановну въ жены...»

— «Что... Что?» Бломбергъ побагровѣлъ и съ трудомъ выговаривалъ свои односложные вопросы.

— «Экой безтолковый! Жениться хочу! Понимаешь-ли? Вотъ ты любишь ложь, а я правду. Правду я сказалъ, а ты теперь солги что ни есть. Чай за словомъ въ карманъ не полезешь... Ну-ка, начинай!...»

— «Я съ тобой говорить не хочу; я буду жаловаться, требовать, чтобы за такую обиду мнѣ тебя головой выдали...»

— «Гладко, гладко! Ну дальше!.. А я дуракъ думалъ, что ты меня за тѣмъ и выписалъ изъ Персіи, за тѣмъ и крестилъ самъ, чтобы женить на своей дочери. За чѣмъ же ты и колымагу у боярина Ивана Ивановича велѣлъ нанимать, и Царскимъ столомъ кормить и Царскими потѣхами тѣшить. Ась, за чѣмъ?»

— «Пойдемъ Шарлота, я невыдержу, тутъ еще исторія будетъ!...»

— «Христина Ивановна!» сказалъ нутъ пригнувшись къ ней съ лошади: «Вотъ теперь выручай языкомъ и чѣмъ хочешь; приколдуй пожалуй, коли умѣешь, только гляди за нимъ; глазъ не спускай, что бы онъ мнѣ Шарлоты не мучилъ... Не то, худо будетъ... Наши подходятъ. Прощай!» И Яна поѣхалъ съ своими подъ переходы. Показались красные солдаты. То былъ Бутырскій полкъ; за нимъ прошли Семеновцы и Преображенцы. Въ нарядной Государевой каретѣ проѣхали бояринъ Матвѣй Степановичъ Пушкинъ и думный дьякъ Никита Моисѣевичъ Зотовъ; за каретою въ нарядномъ платьи или стремянные конюхи пѣшкомъ и рота конныхъ нахаловъ, съ ротмистромъ княземъ Черкаскимъ. Налеты, пѣшіе, предшествовали двадцати стольничьимъ коннымъ ротамъ; каждая принадлежала кому либо изъ бояръ и другихъ чиновныхъ людей высшей ранги; была собрана и содержалась ихъ иждивеніемъ; за стольничьими

или рейтарскія съ карабинами. И тогда уже появился генералиссимусъ, князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій, на конѣ, но въ старомъ русскомъ вооруженіи, окруженный всѣми палатными людьми, генералами, иностранными офицерами и многочисленной прислугой... Всѣ полагали, что въ числѣ важныхъ лицъ, сопровождавшихъ генералиссимуса, былъ и самъ Государь. — И потому громкое ура встрѣтило и провожало князя и его спутниковъ далече: нѣкоторыя толпы бросились по слѣдамъ войска; другіе бѣжали на валы и стѣну и любовались великолѣпнымъ шествіемъ, которое въ это время тянулось черезъ каменный мостъ. Къ вечеру Москва совершенно опустѣла; любопытство увело жителей столицы за войсками; многіе предвидѣли, что маневры продолжатся не одинъ день и уѣзжали съ съѣстными припасами и запасами... Лефортовцы, занимая и охраняя Москву, ходили по улицамъ большими партіями. Капитанъ Бломбергъ, оставшись старшимъ въ полку, за отсутствіемъ Лефорта, который также ушелъ въ походъ въ свитѣ Ромодановскаго, не могъ воротиться домой, на временную квартиру, раньше полуночи. Но тамъ уже всѣ спали. Капитану ложиться спать не позволяла ни рангa, ни служба: онъ и вышелъ на улицу, сѣлъ у воротъ на прилавкѣ, — сидитъ и наблюдаетъ. Первымъ предметомъ наблюденія какъ-то невольно сдѣлалось тускло освѣщенное окно, довольно низкое, такъ что капитанъ сидя могъ различать въ комнатѣ какую то тѣнь, по всѣмъ примѣтамъ, женскую... Она возя-

лась съ постелью; прилаживала ее на ночь и никакъ не могла приладить. Въ это самое время по Мясницкой проходила большая партія Лефортовцевъ съ офицеромъ. «Стой!» закричалъ Бломбергъ. «Все-ли благополучно?»

Офицеръ, г. Бацъ, высокій и плотный мужчина, въ шинели, подошелъ къ капитану и донесъ о благополучіи всего столичнаго града.

— «Это Бацъ...» подумалъ капитанъ: «Москва будто вымерла... Должно быть и Христина Ивановна въ Лефортово одна не поѣхала; только она теперь чай спитъ... Послушай Бацъ!» сказалъ капитанъ громко: «Ты за чѣмъ тутъ съ такою большею партіею бродишь?»

— «Такъ изволили приказать!»

— «Тутъ меня одного довольно. Однажды я защищалъ цѣлый замокъ самъ-другъ съ моимъ конюхомъ. Да тутъ и жители все именитые люди, смирные, у каждаго холопья, да собаки. А ты ступай въ Китай... тамъ лавки, надо оберегать торговлю купечества, потому что Государь торговлю покровительствуетъ.»

— «Тамъ съ карауломъ стоитъ офицеръ...»

— «Знаю. Да мало. Страхъ у меня великъ. Ступай и ты, ходи тамъ, а я пришлю смѣну.»

— «Слушаюсь. Только позвольте женѣ слова два сказать.»

— «Пожалуй!»

Г. Бацъ бросился прямо къ тому тускло освѣщенному окну. Постучался: окно отворилось; перекрестились, поцѣловались. У Бломберга сердце

такъ и ёкнуло... Ушли Лефортовцы; окно затворилось; а свѣтъ не гаснетъ. Давай Бломбергъ мимо того окна ходить; до того доходился, что окно опять полуотворилось...

— «Богданъ Христіановичъ! Что вы тутъ дѣлаете?»

— «Берегу сонъ вашъ, Христина Ивановна!»

— «Да мнѣ не спится...»

— «И мнѣ тоже...» и бесѣда завязалась.

—

VI.

Ратные подвиги и похожденія Василія Семеновича.

Походъ уже продолжался нѣсколько дней; боярину Ивану Ивановичу въ первый день посчастливилось не дозволить Ромодановскому перейти черезъ Москву рѣку, подъ деревней Кожуховой; онъ воротился въ свой лагерь, расположенный за Москвой, въ самомъ близкомъ разстояніи отъ небольшаго землянаго городка, нарочно построеннаго по всѣмъ правиламъ тогдашней фортификаціи; боярин, стрѣльцы и Подсвинковъ торжествовали побѣду, весьма непродолжительную, потому что на другой же день Ромодановскій, не смотря на всѣ препятствія, полагаемыя ему противникомъ, перешелъ рѣку со всѣмъ войскомъ, и, въ виду непріятельскаго городка и лагеря, самъ расположился станомъ.

— «Ну, теперь много зубовъ даромъ выбьютъ,» сказалъ бояринъ, ложась на пестрый персидскій коверъ въ богатомъ шатрѣ своемъ. Холопья ста-

вили на столъ ужинъ и робко поглядывали на главнокомандующаго. По всему было замѣтно, что бояринъ не охотно участвовалъ въ этой потѣхѣ, чувствовалъ, что его избрали главнымъ воеводой какъ будто въ наказаніе за упрямое соблюденіе старыхъ нравовъ и обычаевъ; что неминуемой неудачей похода хотѣли убѣдить его въ недостаткахъ стараго артикула и въ безполезности состава и свойствъ стараго строя.

— «И къ чему все это!» сказалъ бояринъ. «Не нравится? Ваша воля, отмѣните! Слава Богу, старый строй Казань взялъ, Малую Россію къ большой воротилъ; отъ разныхъ сосѣдей сколько городовъ отобралъ... Коли прежде было хорошо, отъ чего теперь стало дурно. Дивно! Право дивно! Точно на смѣхъ... Выростетъ, самъ догадается, что по пустякамъ только насъ мучилъ. Да ужъ тогда не воротитъ стараго. До тла испортилъ. Почитай съизнова старое надо будетъ заводить. Пожалуй еще бороды отростутъ, хоть и тѣ щетиной будутъ казаться; а ужъ порядки, порядки! Пропали безъ возврата!.. Ты что тутъ торчишь, страмникъ?»

— «Я къ милости твоей пришелъ челомъ бить...» отвѣчалъ низко кланяясь Подсвинковъ: «указалъ ты мнѣ быть есауломъ при твоей особѣ.»

— «Есауломъ!!» съ презрительной улыбкой сказалъ бояринъ: «Да куда же тебя послать труса! Бумаги и слова со страху растеряешь.»

— «Зачѣмъ же мнѣ бумаги носить, когда я

могу писать бумаги. Пусть носятъ тѣ, которые писать не умѣютъ.»

— «Видишь къ чему приговаривается. Жаль, что я дурака съ собою не взялъ; онъ бы тебѣ за меня на такую глупую рѣчь отвѣчалъ. А жаль, что не взялъ. Вотъ теперь на отдыхѣ и потѣшить некому...»

— «Да позволь, бояринъ, намъ дурацкой мудрости попытаться!»

— «Экой норовъ подъячій! Готовъ въ дураки пойти, лишьбы пороха не нюхать. Да ужъ нечего дѣлать, пожалуй, сиди въ моемъ шатрѣ за дурака. Такъ, помалой мѣрѣ, не острамишь меня, что за такого зайца руку держалъ. Ну, коверкайся!...»

Подсвинковъ не успѣлъ исполнить боярскаго приказанія; ударили въ станъ тревогу; бояринъ пошелъ посмотрѣть въ чемъ дѣло, а Подсвинковъ ухватился за какое то холодное блюдо и уплелъ его до чиста. Цѣлые сутки не ѣлъ; подкрѣпился Подсвинковъ, да и прилегъ на войлокахъ, лежавшихъ въ углу шатра; прилегъ, да и заснулъ богатырскимъ сномъ. Проснулся отъ пушечной пальбы... Глядитъ: пологи шатра отброшены; по всему пространству, раздѣляющему двѣ противныя арміи густыми облаками стелется дымъ, идетъ свалка; военные клики оглашаютъ окрестность... Подсвинковъ укуталъ голову въ войлоки и притаилъ дыханіе: болѣе двухъ часовъ пролежалъ онъ въ углу шатра, изрѣдка поглядывая на сраженіе; въ послѣдній разъ посмотрѣлъ онъ на поле и вскочилъ:

и конница и пѣхота, все стремилось къ палаткѣ главнокомандующаго. Чего добраго, бѣглецы растопчутъ, раздавятъ. Подсвинковъ выскочилъ изъ шатра; давай и себѣ дальше за палатку бѣжать и кричатъ: «Стрѣляютъ, бьютъ, рѣжутъ, уходите, уходите!» На бѣду, линія лагеря была не далека отъ главнаго шатра; эта линія состояла изъ глубокаго рва во всю окружность лагеря; этого Подсвинковъ не зналъ, да со страху и не видѣлъ; вскочилъ на небольшую насыпь, видитъ: ровъ подъ ногами, да съ разгону удержаться не могъ; ноги сами впередъ ушли, да по откосу и потащили за собою Подсвинкова. Съѣхалъ онъ въ ровъ, будто на салазкахъ съ горы, а ему на встрѣчу:

— «Василій Семеновичъ, Василій Семеновичъ, не выдай!»

Оторопѣлъ Подсвинковъ; стоитъ во рву на ногахъ и оглядывается; тамъ онъ не одинъ; нѣсколько человѣкъ во рву ковры подослали на разныхъ пунктахъ, кто въ шашки, а кто въ зернь играетъ.

— «Что за чудо?» думаетъ Подсвинковъ: «Али это за правду? Все знакомые; вотъ дьякъ изъ большаго приказа, вотъ съ копюшеннаго богатый подъячій. Ну! Неловко я попался. Надо умненько повернуть дѣломъ... А что вы тутъ дѣлаете, честные господа, а?» спросилъ Подсвинковъ такимъ тономъ, какъ будто онъ подосланъ бояриномъ, съ тайнымъ наказомъ.

— «Василій Семеновичъ, не выдай!» шепотомъ говорили игроки: «Не кричи, Василій Семеновичъ! Скажи: нигдѣ не нашелъ. Тамъ народа и безъ

насъ довольно. Другіе вонъ въ тотъ лѣсокъ ушли, да мы поразмыслили, что тамъ, чего добраго на какую ни есть засаду наткнешься, а тутъ и не видно, и ужъ вѣрно станъ будутъ брать спереди. Какъ возьмутъ, мы въ свалкѣ и выполземъ, да и сдадимся.»

— «Кто это такъ умно выдумалъ?»

— «Ужъ видно съобща выдумали. Гдѣ-таки одной головѣ такую хитрость придумать. А не хочешь ли, Василій Семеновичъ, медку? У насъ всего довольно и кушанья и питей; позапаслись. Кто ихъ знаетъ? Можетъ быть, они до вечера провозятся... Такъ не прикажешь ли?»

— «А что, и заправду, отдохну и я; куда какъ ратная служба мучаетъ; да еще въ рядкахъ ничего; а ужъ осаломъ, неприведи Богъ! Ступай туда, скачи туда; тотъ кричитъ: стой! тотъ руки спуталъ; обыскиваютъ, да и отпустятъ; опять скачи, опять стой; пусть же теперь другіе за меня, а я уморился; отдохну, спасибо добрымъ людямъ, что противу такого зла прибѣжище придумали. А медокъ знатный!» заключилъ Подсвинковъ, прикушавъ изъ серебряной кружки и облизываясь: «Жалъ душкомъ вытянуть...»

— «Пей, Василій Семеновичъ, этого у насъ добра хоть прудъ пруди!..»

— «Ой-ли?» сказалъ Подсвинковъ и холодное серебро плотно прижалось къ жаднымъ губамъ, какъ вдругъ, надъ головами собесѣдниковъ раздался знакомый голосъ:

— «Съ этой стороны, пусть шестой Стрѣлец-

кій полкъ станъ бережетъ; вонъ уже и вижу, Преображенцы изъ лѣсу выходятъ... Э, да тамъ и копница и Бутырцы... Два полка Стрѣльцовъ сюда!.. Ба! А вы тутъ что дѣлаете?» спросилъ бояринъ, примѣтивъ нашихъ собесѣдниковъ. Всѣ отвернулись отъ грознаго лица боярскаго, стараясь остаться неузнанными. Одинъ только Подсвинковъ, по новому военному званію своему лагернаго шута, поднялъ вверхъ и глаза и стаканъ, сдѣлалъ дурацкую гримасу и спросилъ плаксивымъ голосомъ: «Мы?»

— «Да отвѣчай, болванъ, не кобенься!»

— «Мы?.. Мы въ засадѣ сидимъ. Видимъ, что тебя вороги уходили; ты про этотъ конецъ позабылъ сгоряча; ни одного ратника тутъ не поставилъ; мы и рѣшили помочь нашему милостивцу, нашему мудрому боярину, костьми нашими легли мы во рву глубокомъ, устроили засаду и воротовъ поджидаемъ.»

— «Ахъ ты, лгунъ и страмникъ! Постой же, благо Преображенцы на насъ идутъ, пусть засаду потреплютъ...»

— «Преображенцы!»

— «Да, Преображенцы! Вонъ, изъ лѣса уже вышли; строй ладятъ...»

— «Бояринъ, милостивецъ! Погляди и скажи: Волковъ тамъ?»

— «Ну, ужъ этого молодца за семь верстъ отъ строя отличишь. Вонъ, погляди, цѣлою головою всѣхъ выше и впереди идетъ...»

— «Идетъ!»

И Подсвинковъ никого и ничего не слушаясь, побѣжалъ рвомъ къ городку, бѣжалъ, бѣжалъ и остановился у воротъ городка.

— «Пустите!» закричалъ онъ.

— «Не указано!» отвѣчалъ часовой.

— «Я есаулъ, адъютантъ отъ боярина. Пусти, голубчикъ, съ наказомъ къ коменданту...»

— «Да тутъ никакого коменданта нѣтъ! Тутъ Паша правитъ...»

— «Турка? Вотъ тебѣ разъ!..»

— «Да, хоть и не Турка, а все таки Паша. Такъ названъ... Видишь, будто мы нехристи, будто мы вороги Церкви Православной; будто уже мы басурмане, али что ни есть нечистое на Святой Руси; а мы же его самого берегли; самъ намъ каланчу въ честь и почетъ выстроилъ, а Турками прозвалъ...»

— «Сухаревскій! Сухаревскій! Вотъ такъ по рѣчамъ и угадалъ. Знатный полкъ, вотъ я именно и посланъ отъ боярина къ Лаврентію полковнику съ наказомъ. Пусти же меня, голубчикъ, видишь Преображенцы близко.»

— «Э, пѣтухи; мы имъ хвосты укоротимъ, спѣсь собьемъ!..»

— «Пожалуйста, голубчикъ, а пуще вонъ этому что, какъ висѣльница какая, надъ всѣми торчитъ... Сдѣлай дружбу, не жалѣй!.. Онъ мнѣ самъ говорилъ, что одной рукой любаго Сухаревца черезъ городокъ переброситъ. Говоритъ: что они? пьяницы, ратнаго дѣла не разумѣютъ; и вѣрность только отъ лѣности оказали. Пожалуйста, побей,

пусть впередъ не чванится. Да этакого чорта-дьявола и совсѣмъ убить не грѣхъ. Пусти же ты меня!.. Видишь, онъ уже кричитъ... Голубчикъ ты мой, право худо будетъ, если не пустишь! Наказъ отымутъ...»

— «Такъ подай наказъ сюда, а я тамъ передамъ...»

— «Да что ты, мой богатырь. Вѣдь наказъ у меня не на бумагѣ, а на языкѣ... Пусти!..»

— «Эй!» сказалъ часовой: «Вонъ, тутъ кто-то пришелъ; есауломъ боярскимъ себя называетъ, наказъ, говоритъ, тайный принесъ, отведите его къ полковнику...»

И ворота полуотворились, Подсвинковъ проскочилъ почти въ щелку... Повели его къ полковнику:

— «Ну, что, какой наказъ?» спросилъ Сухаревъ, сидя на пушкѣ.

— «Наказалъ тебѣ боринъ...» отвѣчалъ смѣло Подсвинковъ: «наказалъ тебѣ держаться храбро и крѣпко; Преображенцовъ побить на голову, а пуще солдата Волкова.»

— «Видно Волковъ боярина чѣмъ ни есть обидѣлъ...»

— «О, Волковъ великій обидчикъ. Бояринъ на него смотрѣть не можетъ. Говоритъ: вся надежда на Сухарева.»

— «Не на таковскаго напалъ. Я вѣдь знаю, что это не битва за правду, а прикладный мушпиръ; тутъ бить никого не надо.»

— «Только одного Волкова, Лаврентій, одного Волкова.»

— «Да поди ты съ своимъ Волковымъ. Мнѣ какое дѣло до боярскихъ обидъ. Ступай ты назадъ, да скажи боярину, что я мою службу знаю...»

— «Назадъ! Видишь, что выдумалъ; мнѣ велѣно оставаться въ городѣ до указа.»

— «Ну, такъ оставайся! А мнѣ право некогда. Не мѣшай смотрѣть на сраженіе...»

— «Да что! Смотрѣть и я не прочь! Я и на кулачный бой смотрѣть хожу за Донской монастырь, или на Дѣвичье поле; только тамъ нынче перестали баръ водить... Что это, Лаврентій? Я, знаешь, человѣкъ письменный. Мое дѣло приказъ, да посольство. Въ разныхъ земляхъ мунтры военные при мнѣ показывали. Да я всегда отъ нихъ сторонилъ; послу на бранную потѣху чужихъ людей смотрѣть не приходилось...»

Сухаревъ посмотрѣлъ на Подсвинкова съ почтеніемъ и даже съ пушки поднялся. Василій Семеновичъ былъ человѣкъ вострый, тотчасъ замѣтилъ какое впечатлѣніе произвела рѣчь его на полковника и продолжалъ въ пріятельскомъ тонѣ:

— «Что это, Лаврентій! Кажись бояринъ сюда идетъ!«

— «Да, видишь, бояринъ! Станъ со всѣхъ сторонъ прижали, что бы намъ подмоги не могъ подать; такъ и въ наказѣ написано. Да бояринъ вотъ теперь со стремяннымъ полкомъ къ намъ ударится; потѣшные будутъ мѣшать старому строю, да не помѣшаютъ; бояринъ войдетъ въ городокъ, а тѣхъ прочихъ отрѣжутъ. Какъ войдетъ бояринъ,

такъ потѣшные и начнутъ осаду... Бояринъ, боярин!»

И все сбылось по словамъ Сухарева. Бояринъ Иванъ Ивановичъ вошелъ въ сарай, наскоро сколоченный изъ барочнаго лѣса и внутри обитый сукномъ. Туда же собрались всѣ главные начальники арміи. Подсвинковъ, улучивъ минуту, сталъ возлѣ боярина,

— «Хоть бы перекусить чего нибудь!» сказалъ Иванъ Ивановичъ: «Глупо я сдѣлалъ. Надо было поваровъ и тутъ и тамъ посадить. А теперь дѣло долго потянетъ. Сказано: 15-го числа, раньше не сдаваться, а теперь четвертое.»

— «Да что, бояринъ, милости твоей не во гнѣвъ будь сказано...» замѣтилъ Подсвинковъ: «лишь бы припасы, а я и самъ въ поварскомъ дѣлѣ кое что смѣкаю; коли хочешь, кашицу сварю, всякую птицу зажарю; и на заморскій ладъ могу кое что изготовить. Въ большихъ путяхъ не разъ самъ былъ поваромъ.»

— «Что?» сказалъ бояринъ гнѣвно: «Готовъ и поваренкомъ быть, лишь бы не сражаться!.. Страмникъ! Постой же, не я буду, если тебя на Дуня не женю, да въ Ярославль на службу не спроважу. Хорошо, что я зайцевъ не ѣмъ, а то бы велѣлъ самаго тебя къ обѣду зажарить. Что тамъ? Надо быть труба... Ну, потѣха! Хоть бы отдыха на полчаса дали, а то ни сѣсть, ни съѣсть. Вози, да вози. Ну, что тамъ?»

Вошелъ комнатный стольникъ и есаулъ, князь

Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ и отвѣчалъ на послѣдній вопросъ боярина:

— «Парламентеръ, то-есть разговорщикъ отъ генералиссимуса пріѣхалъ, на трубѣ играетъ и говоритъ, что быть тѣсной и крѣпкой осадѣ.»

— «Вѣдь мы это и безъ него знаемъ; и въ томъ наказѣ такъ написано. Ну, пусть себѣ осаду начинаютъ, коли ѣсть не хотятъ, а мы перекусимъ. Стану я натощакъ городокъ защищать. Пока позавтракаю, такъ они и подойти не успѣютъ....»

— «Да ужъ это, Иванъ Ивановичъ, такой обычай у Нѣмцевъ. Надо разговорщика позвать сюда въ большую палату и будто заправду съ нимъ разговориться....»

— «Ну, зови!»

Долгоруковъ скоро вернулся съ Царскимъ шутомъ, Яшей. У парламентера на лѣвой рукѣ висѣла труба, и въ той же рукѣ торчало бѣлое знамя. Яша остановился передъ бояриномъ со всею театральною важностью и сказалъ торжественно....

— «Генералиссимусъ у вратъ града вашего! Рать великая, рать несмѣтная, армія искусная обливаетъ вашу фортецію.—Сдавайтесь на аккордъ, военноплѣнными, или мы васъ къ тому принудимъ! Война или миръ? Отвѣчайте!...»

— «Прикажи миру быть, бояринъ!» шепотомъ сказалъ Подсвинковъ: «Видишь, знать, имъ тоже захотѣлось обѣдать, замирись, а я, пожалуй, трактатъ поѣду писать....»

— «А что, въ самомъ дѣлѣ!» сказалъ бояринъ:

«Изъ чего намъ проливать кровь Христіанскую; обжигать бороды порохомъ, тонуть въ водѣ, ломать кости въ пустыхъ свалкахъ. Ступай, Подсвинковъ, съ Яковомъ Ѳедоровичемъ. Замиряйся! Да и не все ли равно, днемъ ли раньше, днемъ ли позже? Вѣдь и въ наказѣ написано, что намъ сдаться военноплѣнными. Ну, мы и сдаемся! Быть по вашему! Кажется, сердиться не за что. Мы васъ тѣмъ удовольствуемъ, чего вамъ такъ хотѣлось. Зачѣмъ такъ, даромъ, порохъ и людей тратить... Пусть же теперь не говорятъ, что я упрямъ, что со мною уходу нѣтъ... Сдаюсь, сдаюсь... Ступай, Подсвинковъ, замиряйся, а ты, Лаврентій, пошли поскорѣе въ станъ за моими поварами.»

— «Государь бояринъ, Иванъ Ивановичъ!» замѣтилъ шутъ: «Да твоего отвѣта мнѣ нельзя въ станъ княжескій нести....»

— «Почему нельзя?»

— «Да вѣдь я посланъ только ради обычая, а не заправду. Больше для приклада, нежели для самого дѣла. Ты на всю мою рѣчь долженъ сказать: Пошелъ вонъ! Небоюсь я вашей арміи, не боюсь я вашихъ осадныхъ штрументовъ, ничего не боюсь! Мой городъ не простой городъ, а фортеція. Народу у меня довольно, фуража и провіанта на годъ; отвѣдайте нашихъ пушекъ и знайте, что не такъ-то легко получить надъ нами викторію!»

— «Ахъ, ты, шутъ стриженный!» сказалъ въ сердцахъ бояринъ: «Это ужъ ты не меня ли учить задумалъ? Пошелъ вонъ! Вотъ все, что изъ твоей рѣчи для меня пригодно. Пошелъ вонъ! Сдаюсь и

кончено, а о прочемъ, пусть Василій съ вами толкуетъ. Довольно уже мнѣ и такъ безчестія, что тебя ко мнѣ посломъ нарядили. Пошелъ вонъ!»

— «Иванъ Ивановичъ!» замѣтилъ Долгоруковъ. «Да вѣдь это форма только. Намъ по наказу сдаваться нельзя!»

— «Эхъ, Яша, вижу, вижу, что и ты за Нѣмцевъ тянешь! Самъ подумай, не все ли равно, что мы сдадимся 4-го или 15-го дня. Одинадцать дней—безъ трехъ сутокъ, двѣ недѣли; на Москвѣ, ни приказныхъ, ни палатныхъ, ни служилыхъ людей; сегодня морозъ былъ утромъ; видно Царь самъ смѣкаетъ, что перехватилъ срокомъ. И настоящей войны въ Октябрѣ не ведутъ, а тутъ потѣшная шутка. Да хоть бы и по вашему было; зачѣмъ съ запросомъ присылать? Бери себѣ городокъ. Право мѣшать не стану. А этой хари видѣть не могу. Пошелъ вонъ! Не то велю вытолкать. А ты чего стоишь, Василій. Ступай! Проводи посла! Онъ тебѣ подъ стать, да и замиряйся. А я, пойду, сосну. Всю ночь тревожили.... А ты, Лаврентій, прикажи поварамъ плотную перекусу приготовить; да какъ будетъ готово, разбуди!...»

—

VII.

Какъ Василій Семеновичъ защитилъ одною своею личностію Кожуховскій городокъ отъ генеральнаго приступа.

На пригоркѣ, въ доброй верстѣ отъ городка и боярскаго стана, посреди палатокъ, правильно

расположенныхъ, возвышался шатеръ князя генералиссимуса; на обширной площадкѣ, передъ шатромъ, князь генералиссимусъ смотрѣлъ на непріятеля въ зрительную трубу и по временамъ передавалъ трубу генералу и главному инженеру арміи, Гордону; тутъ же стояло весьма много бояръ, окольничьихъ, стольниковъ, разныхъ воинскихъ чиновъ и два Преображенскіе солдата, прикомандированные къ главной квартирѣ. Одинъ изъ нихъ былъ самъ молодой Государь Петръ Алексѣевичъ, другой, князь Михайло Михайловичъ Голицынъ, оба стояли возлѣ Ромодановскаго; первый частенько Самъ бралъ трубу въ руку и дѣлалъ различныя примѣчанія.

— «Что это?» спросилъ Государь: «Яша ѣдетъ назадъ, да не одинъ, а съ кѣмъ-то изъ приказныхъ; и тотъ приказный пѣшкомъ бѣжитъ...»

И точно Подсвинковъ, боясь отстать, и чтобы гдѣ нибудь не повстрѣчаться съ Волковымъ, бѣжалъ пѣшкомъ, а Яша нарочно ѣхалъ рысцей, кое гдѣ подгоняя лошадь и немало любовался истомой и страхомъ Подсвинкова...

— «Послушай, Яковъ Ѳедоровичъ!» жалобно говорилъ дьякъ: «Да ужъ нельзя ли тебѣ шажкомъ пройтись. Лошадь измучишь...»

— «Что ты это, Василій Семеновичъ! Лошадь привычная, а на службу Самъ Государь смотритъ. Ты развѣ не видишь?»

У Подсвинкова духъ захватило. Онъ не могъ бѣжать далѣе, хотя оставалось до лагерной линіи не

болѣе ста шаговъ. Яша поскакалъ въ лагерь, спѣшился и подошелъ къ генералиссимусу.

— «Ну, государичъ!» сказалъ онъ по своему: «Плохо намъ приходится; и себя показать негдѣ. Бояринъ съ тобою сражаться не хочетъ. Сдается. Прислалъ дьяка аккордъ писать....»

— «Да какъ онъ смѣетъ поступать противу инструкціи?» спросилъ гнѣвный Государь.

— «Видно, что смѣетъ! Я его военному порядку училъ; слова въ ротъ клалъ; не трудно было ему за мной тѣ рѣчи сорокой проговорить. Такъ куда; пуще осерчалъ и говоритъ: не хочу драться. Сдаюсь на аккордъ. Что 4-е, что 15-е, все равно, а 4-е еще и лучше; къ пуховикамъ ближе, да и велѣлъ столъ готовить.»

— «Оставлю же я его безъ обѣда! А ты зачѣмъ?» спросилъ Государь съ возрастающимъ гнѣвомъ у Подсвинкова. Тотъ поклонился Царю въ ноги и молвилъ:

— «Великій Государь! Отъ великаго воеводы, до послѣдняго холопа въ старомъ строѣ, уразумѣли мы всѣ, что ратное искуство твое нѣмецкое превыше облакъ и звѣздъ; безъ битвы побѣжденными признаемся и охотно идемъ къ тебѣ въ полонъ, къ Отцу и Государю нашему....»

— «А, это ты, Подсвинковъ?» спросилъ князь генералиссимусъ: «Видно бояринъ твоего совѣта спрашивалъ? Только гдѣ же у тебя казенная лошадь, казенный карабинъ и сабля? А?...»

— «Украли, князь! При самомъ началѣ войны украли.»

— «Видно проспалъ.»

— Нѣтъ, князь, нашъ милостивецъ и отецъ родной, съ коня украли, какъ только мы за серпуховскія ворота вышли. И слышалъ какъ кто то съ одной стороны карабинъ, съ другой саблю подрѣзалъ....»

— «Зачѣмъ же ты вора неизловилъ....»

— «Ахъ, батюшка государь князь милостивецъ! Ловилъ, да хуже; слезъ я съ коня, да за воромъ побѣжалъ; воръ тотъ безъ вѣсти пропалъ, а другіе воры, видно съ ними за одно, лошадь и съ сѣдломъ и съ пистолетами увели. Такъ я и безоруженъ сталъ и пѣшкомъ весь походъ отбываю...»

Въ это время Государь, присѣвъ на пушкѣ, карандашемъ что то написалъ наскоро и отдавая Подсвинкову, сказалъ:

— «Поди, да отнеси своему боярину, и скажи, чтобы онъ впередъ отъ дѣла шуткой не отыгрывался; а то я надъ нимъ такъ подшучу, что плакать будетъ. Ступай!»

Подсвинковъ бросился съ площадки опрометью. Неуспѣлъ онъ отбѣжать и пятидесяти шаговъ, раздался вѣстовой выстрѣлъ. Подсвинковъ на мѣстѣ упалъ и не смѣлъ оглянуться. Барабанный бой по всей линіи заставилъ его поднять голову; вся армія была въ движеніи, рогатки сняты; полки отдѣленіями выступали въ поле. Поднялся Подсвинковъ на ноги и ну бѣжать. Добѣжалъ до воротъ и уже не говорилъ, а только мычалъ; впустили его и въ городокъ; онъ къ боярину; нельзя; почиваетъ.

— «Будетъ ему за такія шутки!» сказалъ онъ прерывающимся голосомъ: «Пустите! Указъ отъ самого Царя!»

— «Что ты тамъ разшумѣлся!» спросилъ боярин, спѣшно вставъ съ походной постели.

— «На, на, читай! Хороши твои шутки! Чуть было меня не высѣкли. Читай, читай!»

— «Ахъ ты уродъ, уродъ! Все по твоей милости. Вѣдь ты мнѣ дурацкой совѣтъ подалъ...»

— «Да вѣдь я у тебя за шута; мое дѣло шутки отпускать, а твое дѣло ратную хитрость и порядки вѣдать. Слышишь, идутъ!»

— «Идутъ! Постой же я тебя! Эй, кто тамъ, Лаврентій! Возьми ты этого страмника, да на самый валъ поставь; пусть теперь городокъ защищаетъ; да гляди, чтобъ не пятился. Лаврентій! Вели тревогу ударить. На валы! Я тебя, окаяннаго совѣтчика! Видишь, что выдумалъ! Тащи его, Лаврентій, тащи!..»

Барабанный бой приближался. Сухаревскіе стрѣльцы высыпали на валы. Подсвинкова поставили на главный редутъ, между рядовыхъ. Туда же въ скорости пришелъ и бояринъ со всѣми главнѣйшими членами; непріятель быстро приближался; впереди несли лѣстницы, ясно было, что идутъ на приступъ. Сухаревцы воспламенились. Одинъ Подсвинковъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ; смущеніе его тѣмъ болѣе увеличилось, что и накладная борода отказывалась служить далѣе; отъ двухъ перегоновъ и внутренняго волненья, отъ жара и пота, клей не выдер-

жалъ и борода по краямъ совершенно отстала... Съ необыкновенною быстротою начался приступъ; но Сухаревцы сдержали слово и отразили непріятеля съ отличнымъ искуствомъ; всѣ лѣстницы были ловко отброшены; одна только уцѣлѣла; ее поставилъ передъ самымъ Подсвинковымъ огромный солдатъ; какъ сталъ онъ на лѣстницу, такъ три стрѣльца не только не могли опрокинуть ее, но даже поворотить на мѣстѣ. Усилія стрѣльцовъ не допустить солдата взойти на валъ придвинули Подсвинкова на самый краишекъ; а солдатъ уже глядѣлъ на нихъ орлиными глазами. Подсвинковъ взглянулъ и зажмурился. Онъ узналъ Волкова... «Убьетъ, убьетъ!» кричалъ онъ во все горло; а Волковъ уже былъ на самомъ верху лѣстницы; стрѣльцы его оттаскивали; чтобы удержаться на мѣстѣ, Волкову, для упора, надо было за что нибудь схватиться и онъ схватился за бороду Подсвинкова; оборвалась борода, оборвался и Волковъ и полетѣлъ стремглавъ въ ровъ. Общій смѣхъ привлекъ къ этому пункту самого боярина, въ то самое время, когда стрѣльцы, откинувъ лѣстницу, дали свободу Подсвинкову...

— «Это что!» вскрикнулъ бояринъ, увидавъ превращеніе: «Гдѣ твоя борода!»

— «Волковъ вырвалъ; окарналъ, обесчестилъ на всю жизнь!!.. Куда я теперь дѣнусь?»

— «Вретъ, вретъ!» раздался громкій басъ изо рва. Бояринъ нагнулся и увидѣлъ, что Волковъ отряхаетъ съ себя песокъ и грязь бородою Подсвинкова. «Видишь, какой!» продолжалъ Волковъ,

выходя на поле: «Свою бороду нѣмцу продалъ, а подставилъ чужую, Чижовской работы...»

Бояринъ не выдержалъ, схватилъ Подсвинкова за голову, повернулъ вверхъ подбородкомъ и неистово закричалъ: «Бритая!»

Неизвѣстно, что угрожало Подсвинкову, за этотъ ужасный, непростительный въ глазахъ боярина, подлогъ. Но вода спасла Подсвинкова и прохладила общую горячность. Множество фонтановъ брызнуло изъ непріятельской среды въ городокъ; первая струя разлучила боярина съ Подсвинковымъ; неожиданность осадной мѣры привела всѣхъ въ смущеніе; породила безпорядокъ; пользуясь общей суматохой, Подсвинковъ побѣжалъ къ воротамъ, назвалъ себя гонцемъ и бросился бѣгомъ къ лѣсу... Но тамъ захватили его Алешки, сидѣвшіе въ осадѣ.

— «Стой! Кто ты!»

— «Я перемѣтчикъ!» смѣло отвѣчалъ Подсвинковъ: «Нехочу служить у боярина, хочу быть подъ началомъ у князя...»

— «Да гляди, чтобъ перемѣтчика не велѣлъ князь повѣсить!»

— «Развѣ такой у васъ обычай!»

— «Говорятъ, такой! Ну, сиди же здѣсь, пока кончится приступъ.»

И Подсвинковъ, между страхомъ и надеждою, отдохнулъ въ лѣсу, отъ необыкновеннаго движенія, которое заставили его испытать въ этотъ день различныя обстоятельства. Онъ видѣлъ, какъ вода затопила городокъ, какъ полилась черезъ

верхъ съ валовъ, какъ Стрѣльцы опустили знамя. Побѣдители выпустили изъ городка и воду и Стрѣльцовъ. И каждая армія по прежнему заняла свой лагеръ. Тогда и въ лѣсъ къ Алешкамъ прискакалъ удалой ихъ ротмистръ.

— «Что, даромъ только простояли?» кричалъ онъ издали.

— «Нѣтъ, не даромъ! Удалось глухаря поймать...»

— «Что я вижу? Василій Семеновичъ, да ты, кажись, бѣглецъ?»

— «Не бѣглецъ, а перемѣтчикъ...»

— «Ну, еще хуже! Распростись съ животомъ...»

— «Бѣглецъ, Яковъ Ѳедоровичъ, право бѣглецъ!»

— «И то не легче! Разница самая дрянная. Бѣглеца аркебузируютъ, т. е. пулями прострѣлятъ, а перемѣтчика повѣсятъ.»

— «Да за что-же, Яковъ Ѳедоровичъ!»

— «Какъ за что? Царскою службою не брезгай! Указовъ держись; трусовъ царству ненужно... Ужъ кто бороду съ битвы потерялъ, плохой ратникъ...»

— «Да я не для ратнаго дѣла сдѣланъ; меня изъ посольской глины вылѣпили; я уже малымъ бывало отца съ матерью, крестьянъ со старостой, попа съ попадьей мирилъ. Кому что на роду написано. Яковъ Ѳедоровичъ, не отъ Царской службы я ушелъ, а отъ обычая боярскаго. Хотѣлъ меня за то убить, что я, въ угодность новымъ порядкамъ, бороду скинулъ...»

— «Полно, Василій Семеновичъ; помнишь ли, какъ по всѣмъ приказамъ читали, что, кто хочетъ, бороду снимай, нѣмецкій кафтанъ натягивай; небось, тогда не обрился. А какъ задумалъ ты жениться на Нѣмкѣ, такъ на все пошелъ. Напрасно! Ужъ не видать тебѣ теперь Шарлоты Богдановны, какъ не видать свѣта Божьяго. Жаль мнѣ тебя, Василій Семеновичъ, видишь, плачу; да что ты будешь дѣлать; у меня служба прежде всего. Чтобы полегче тебѣ умирать, такъ ужъ такъ и быть, назовемъ бѣглецомъ. Смотрите же, ребята, не выдавать ротмистра! Я и солдатъ упрошу, что въ тебя стрѣлять будутъ, чтобы прямо въ сердце мѣтили. Такъ сразу и опрокинешься; и не спохватишься, какъ умрешь »

— «Яковъ Ѳедоровичъ, помилуй!»

— «Слышишь, труба; кто поотсталъ, али далеко зашелъ въ станъ, — такъ вотъ труба созываетъ. Эй, ребята, вяжите его. Дружба дружбой, а служба службой. Ну, что же вы, поворачивайтесь!. »

— «Яковъ Ѳедоровичъ! Помилуй! Тебя Государь жалуетъ; выпроси меня у Его Царскаго Величества! Десять дворовъ подарю, да что десять, все... право все, только выручи...»

— «Поздно, Василій Семеновичъ, поздно! Даромъ бы отпустилъ, да есть причина. Что мнѣ лгать, Василій Семеновичъ... Ложь — дурное зелье. Ростетъ, да плода не носитъ... А на правду ты не пристанешь.,.»

— «Пристану! Вотъ-тѣ Христосъ, пристану!

Что хочешь приказывай, не ослушаюсь, Яковъ Ѳедоровичъ! Убей, если лгу.»

— «Смотри же, Василій Семеновичъ, ужъ довольно тебѣ быть нѣтчикомъ. Теперь всему войску отдыхъ объявленъ; завтра полки безъ дѣла простоятъ; можемъ такое дѣло уладить, что Государю будетъ угодно. Авось помилуетъ тебя за тяжкую вину. Ступайте, дѣтушки! Куда ротмистръ дѣвался, ни гугу... Нѣтъ, такъ еще чего добраго, всполоматся, искать станутъ. Нѣтъ, не такъ, а вотъ какъ! Скажите князю Михайлѣ, что я по важному дѣлу къ Москвѣ отлучился, на ночь, а утромъ стану на службу. Эй, Алешка курчавый, ты и пѣшій промаешься до завтра; скажи, что у тебя лошадь лѣшій изъ подъ сѣдла стащилъ, али волкъ зарѣзалъ, али въ вѣдьму перевернулась, да ты лучше моего выдумаешь; а коня Василію Семеновичу подай!»

И два всадника поплелись проселкомъ черезъ лѣсъ въ Бѣлокаменную.

Уже на предмѣстьи, проѣзжая Козьмодемьянскою улицею, путъ Яша подъѣхалъ поближе къ Подсвинкову, и сказалъ значительно: «Ну, Василій Семеновичъ, помнишь ли слово?..»

— «Помню, и никогда не забуду, милостивецъ мой и кормилецъ Яковъ Ѳедоровичъ! Что ни прикажешь, все сдѣлаю!»

— «Былъ ты нѣтчикомъ не одинъ разъ; вошло въ привычку; приходится тебѣ еще разъ отъ себя и отъ слова своего отречься; только этотъ разъ за правду, а не то прямо подъ аркебузы

поведу. Какъ пріѣдемъ мы на Мясницкую... я вѣдь все знаю, Василій, отъ меня ничто не закрыто; знаю и то, что ты свой домъ, на время похода, Бломбергу уступилъ. Вотъ мы и пріѣдемъ на Мясницкую въ твой домъ... Понимаешь-ли?..»

— «Несовсѣмъ, Яковъ Ѳедоровичъ!»

— «Ну, такъ я тебѣ получше разтолкую. Вотъ какъ мы пріѣдемъ и взойдемъ къ тебѣ въ домъ, ты и скажешь капитану: Богданъ Крестьяновичъ, по доброй волѣ, ото всего сердца отрекаюсь отъ Шарлоты Богдановны и нынѣ и присно и во вѣки...»

— «Яковъ Ѳедоровичъ, что ты? Потеряль я бороду, боярскую руку, а теперь ты и невѣсту отымаешь...»

— «Да за то животъ при тебѣ останется.... Хочешь или не хочешь? Мнѣ все равно. Не отдашь невѣсты по доброй волѣ, такъ убьютъ; и безъ тебя свадьбу сладимъ...»

— «Яковъ Ѳедоровичъ, не могу, право не могу...»

— «Ну, такъ чего и въ Москву ѣхать; воротимся; до утра хоть Богу успѣешь помолиться; а ни свѣтъ ни заря отцевъ увидишь; поворачивай оглобли!»

— «Яковъ Ѳедоровичъ, да что тебѣ этотъ Волковъ? Братъ или сестра? Что ты изъ за него хлопочешь. Коли онъ твою руку купилъ, такъ сторгуемся!.. Я большие дамъ.»

— «Эхъ, Василей Семеновичъ, что мнѣ Волковъ; не ему, а мнѣ ты помѣха; не его хочу женить на Шарлотѣ Богдановнѣ, а себя...»

— «Ты... Ты самъ!..»

Подсвинковъ немогъ говорить дальше, а шутъ взявъ за уздцы дьякову лошадь, поворачивалъ въ обратный путь...

— «Куда?» отчаяннымъ голосомъ вскрикнулъ Подсвинковъ.

— «Извѣстно куда; въ станъ, подъ аркебузы, али на висѣльницу, какъ хочешь, мнѣ все равно. Я пожалѣлъ тебя, да ужъ теперь и самъ каюсь...»

— «Отрекаюсь!»

— «Ну, отрекаешься, такъ помни, что ужъ этого слова назадъ не возьму...»

И неслушая ни плача, ни проклятій, которыми Подсвинковъ осыпалъ кого то въ третьемъ лицѣ, Яша молча ѣхалъ впередъ и несводилъ глазъ съ движенія рукъ соперника. Пріѣхали. Капитанъ съ дочерьми сидѣлъ за ужиномъ, а Прохоръ прислуживалъ. Появленіе Подсвинкова удивило Бломберга...

— «Молодецъ!» закричалъ Бломбергъ: «Ай да Василій Семеновичъ, молодецъ! Удружилъ, нечего сказать. Изъ стана ночью ускакалъ, что бы съ невѣстой повидаться; и бороду припряталъ, что бы милѣе показаться; невѣстѣ приглянуться.... Прохоръ! вина!..»

Бломбергъ не обращалъ ни какого вниманія на жесты и мимику Подсвинкова, который и лицемъ и руками подавалъ ему разные знаки и, остановясь у порога, не смѣлъ подвинуться впередъ и безпрестанно оглядывался на дверь...

— «Ну, что-же ты не идешь?» спросилъ Блом-

бергъ, наливая другой стаканъ для Подсвинкова... «Кого поджидаешь? Развѣ не одинъ?»

— «Не одинъ, Богданъ Крестьяновичъ, тотъ другой лошадей привязываетъ.»

— «Кто же тотъ другой...» вставъ и подходя съ стаканами спросилъ капитанъ...

— «Я!» отвѣчалъ Яша, входя въ комнату. Капитанъ чуть стакановъ не обронилъ, отступая въ недоумѣніи; Шарлота также радостно вскрикнула, а Яша выхватилъ у Бломберга одинъ стаканъ, чокнулся съ нимъ, поклонился Шарлотѣ, примолвилъ: «за здравье дорогой невѣсты моей и будущаго тестя!» и духомъ и выпилъ.

— «Что, какъ, ты смѣешь говорить такія дерзости и при настоящемъ женихѣ Шарлоты...»

— «Василій Семеновичъ, чтожъ ты молчишь!..»

— «Богданъ Крестьяновичъ... Не серчай!..»

— «Ну, а ты что?..»

— «Я такъ, ничего... Яковъ Ѳедоровичъ изъ бѣды, изо смерти меня выручилъ, такъ и я его выручаю...»

— «Не такъ, не такъ, Василей Семеновичъ, изволь говорить по уговору ..»

— «Да погляди, Яковъ Ѳедоровичъ, какая красавица...»

— «Тото-же! Только одна жизнь краше ея и то не всякому. Э, вижу, на тебя затонъ нашелъ, такъ ненужно мнѣ рѣчей твоихъ; прощайте, Богданъ Крестьяновичъ; мы ѣдемъ.»

— «Отрекаюсь!» закричалъ Подсвинковъ, чувствуя, что дюжая рука шута куда то его тащитъ...

— «Отъ чего ты отрекаешся?» закричалъ въ свою очередь капитанъ. Яша сталъ подсказывать; за нимъ дьякъ произнесъ торжественно условную формулу; капитанъ исполнился гнѣва-ярости, стаканъ съ виномъ ударился прямо въ лицо Подсвинкова и расплеснулся... Шарлота обрадовалась, выбѣжала на середину и схватила Яшу за руку...

— «Ну!» сказалъ Яша: «Теперь я женихъ! Богданъ Крестьяновичъ, люблю твою дочь пуще жизни и умру, если ты не отдашь. .»

— «Вонъ!» заревѣлъ капитанъ: «Вонъ изъ дома! Прохоръ, вытолкай его!..»

Подсвинковъ и головой и руками подавалъ знаки Прохору, чтобы не смѣлъ ослушаться капитанскаго приказанія... Но Прохоръ оторопѣлъ и понялъ знаки на выворотъ...

— «Полно, бѣсноваться!» продолжалъ шутъ: «Сладимъ дѣло полюбовно, а не то, худо будетъ. Я уйду, только не одинъ, а съ Подсвинковымъ, и ужъ ты его никогда не увидишь...»

— «Отрекаюсь, отрекаюсь!» закричалъ дьякъ...

— «Да я не отрекаюсь и на своемъ поставлю. Волей неволей, женю!.. А ты, дурацкая харя, вонъ!»

— «Пойдемъ, Василій Семеновичъ, видно сватовство надо на иной ладъ завести... Пойдемъ!»

— «Богданъ Крестьяновичъ! Спаси животъ мой! Ты ничего незнаешь еще; каюсь; да больно хотѣлъ Шарлоту Богдановну видѣть; сбѣжалъ; меня и поймали...»

— «Ну, велика бѣда!

— «Какъ-же не велика! Ужъ только за ходатайствомъ Якова Ѳедоровича аркебузируютъ. Будь не онъ, повѣсили бы...»

Бломбергъ расхохотался. Шутъ, видя, что хитрость его не удается, и готова обнаружиться, схватилъ Подсвинкова за поясъ и потащилъ къ дверямъ...

— «Ну, напугалъ-же тебя, шутъ!» смѣясь, сказалъ капитанъ: «Это не война, а забава! Станутъ изъза пустяковъ людей на смерть стрѣлять или вѣшать! Посадятъ куда нибудь въ съѣзжую избу, въ который ни есть полкъ. Просидишь на хлѣбѣ и водѣ недѣльку, другую; вотъ и все тутъ...»

— «Только-то!» весело воскликнулъ Подсвинковъ и рванулся изо всей мочи изъ рукъ шута. «Э, такъ ты думалъ у меня обманомъ невѣсту выманить?! Прохоръ, что-же ты капитана не слушаешься?.. А? Вонъ!»

— «Вонъ!» закричали всѣ трое и бросились на Яшу; Шарлота заслонила его собою и этимъ удержала нападеніе...

— «Прочь, Шарлота!» кричалъ Бломбергъ...

— «Не выдамъ, не выдамъ моего друга, моего жениха... Одного его люблю!.. И будь, что будетъ, а за другаго не пойду...»

— «Врешь!»

— «Клянусь Богомъ! Уходи Яша и будь покоенъ... Не удастся никому къ такому мужу меня приневолить... Я хочу, я требую, уходи!..»

— «Изволь, Шарлота Богдановна, только Подсвинкова мнѣ отдайте, онъ мой плѣнникъ...»

— «Вонъ!» закричали опять всѣ трое, бросились на Яшу, и въ этотъ разъ не помогло бы и заступничество Шарлоты, если бы шутъ не благоразсудилъ выскочить изъ западни... Всѣ трое выбѣжали за нимъ на улицу; но, къ удивленію, Яши нигдѣ не было видно; обѣ лошади стояли у забора и думали обычную думу.

— «Онъ гдѣ нибудь здѣсь! Спрятался! Да чортъ съ нимъ. Еще не такъ-то поздно; надо эту исторію разомъ покончить; у тебя много враговъ, Василій Семеновичъ; хитрости у нихъ, какъ грибы, ростутъ; только и я непромахъ; все вижу, все разумѣю и смѣюсь надъ дурацкими уловками. Постой же, я сей часъ распоряжусь по своему. Прохоръ, ступай ты вонъ въ тотъ домъ, что на углу; спроси Кирилу Андреича, купца — хозяина, скажи, что дѣло; пусть пріѣдетъ и къ намъ пожалуетъ. За скоростью и онъ въ посаженые годится, а я ужъ самъ зайду къ Христинѣ Ивановнѣ, упрошу; она для меня все на свѣтѣ сдѣлаетъ (значительная улыбка); видишь у нея и окно отворено... Для того (Бломбергъ запнулся, но на лицѣ было написано великое блаженство) для того, что она сама любитъ Шарлоту...»

— «Такъ пойдемъ, Богданъ Крестьяновичъ, и я съ тобой!»

— «А ты зачѣмъ? Ты еще пожалуй все испортишь. Мало напуталъ; ты ступай къ Шарлотѣ, да ухаживай, да гляди, про вѣнчаніе ничего не намекай; разомъ покончимъ, а потомъ стерпится, слюбится; все пойдетъ, какъ по маслу. Ступай, ступай!»

Подсвинковъ ушелъ въ калитку, изнутри засовомъ задвинулъ и убрался въ хоромы; Прохоръ уже былъ на самомъ углу; капитанъ пожиралъ глазами открытое окно Христины Ивановны; да не смѣлъ подойти, потому что у самаго окна кто то стоялъ и покачивалъ головою... Христина Ивановна точно не спала и поджидала къ себѣ дорогаго гостя. Она видѣла, какъ Богданъ Крестьяновичъ воротился въ домъ Подсвинкова; на вопросительный взоръ кивнула ему головой утвердительно; сидитъ Христина Ивановна у окна, да и думаетъ: Видишь, какъ я его сердце зазнобила; какъ послалъ мужа въ Китай, такъ всю ночь безъ смѣны продержалъ на часахъ; говоритъ, позабылъ; а небось меня не позабылъ; ну, да и Подсвинковъ, какъ у себя дома оглянется, ахнетъ; почти всѣ вещи изъ его дому Богданъ Христіановичъ ко мнѣ перетаскалъ. Говоритъ: Полно, Христина Ивановна, церемоніи творить; вѣдь это мой зять, у насъ все общее; что мое, что его, все равно... А мужу моему, небось, никакого гостинца не сдѣлалъ, только горячку подарилъ; изморозилъ, простудилъ, ходьбой привелъ въ три дни въ худобу, и отослалъ въ Лефортово въ госпиталь; нечего сказать, присталъ въ плотную. Не легко отъ него отдѣлаться... Да и не къ чему... Это кто?..»

Пока такъ разсуждала Христина Ивановна, подъѣхали и наши гости; хоть и не поздно еще было, да разобрать было трудно, потому что и туманъ на дворъ и вечеръ; пока догадывалась Христина Ивановна, кто бы это къ Богдану Христіановичу

пріѣхалъ, пока досадовала, что поздніе гости капитана задержатъ, пока разсматривала стоявшій у самаго окна столбъ, неизвѣстно, почему тутъ поставленный, и размышляла, не для указовъ ли тутъ была клѣтка, не висѣла ли тутъ кружка для подаянія; пока все это дѣлалось, вдругъ на дворѣ Подсвинкова крикъ, застучала калитка, къ столбу подбѣжалъ мужчина, и за тотъ столбъ и спрятался... Глядитъ, выглядываетъ... Не успѣла она затворить окна, мужчина, будто летучая мышь, бросился въ окно, пригнулся, да волчкомъ, мимо самаго носа Христины Ивановны, соскочилъ на полъ. Ахнула Христина Ивановна, въ потьмахъ не разобрала; кому такъ поздно быть, кромѣ Богдана Христіановича?..

Она и давай допрашивать: Богданъ Христіановичъ, отъ кого ты это убѣжалъ? Ты вѣдь меня остраминь, если такъ ходить ко мнѣ станешь... При всѣхъ людяхъ такъ и вскочилъ, будто бомба. Впередъ знала я, что наша любовь какъ жиръ на верхъ всплыветъ. Не даромъ я не хотѣла сдаваться... Не даромъ просила: не пей лишняго! Въ пьяномъ видѣ кто за себя поручится? На мое и вышло...»

Все это Христина Ивановна проговорила такъ быстро, что Яша едва успѣлъ сообразить въ чемъ дѣло; но сообразя, не мало обрадовался...

— «Постой же, ужъ коли такъ, надо запереть скорѣе окно, что бы погоня слѣдовъ не нашла.» Но Христина Ивановна не могла исполнить своего намѣренья... Не смѣла подойти къ окну; прижа-

лась къ Яшѣ и впотомъ сказала ему: «Молчи, молчи! Тамъ кто то уже стоитъ!»

Яша посмотрѣлъ въ окно и расхохотался. По голосу узнала Христина Ивановна, что ночной ея гость не Бломбергъ; обомлѣла бѣдная и въ ужасѣ присѣла на полъ, полагая что набѣжали разбойники, и насталъ часъ ея послѣдній.

— «Полно, Христина Ивановна!» сказалъ Яша тихо: «Конечно женѣ, врозь отъ мужа, сторонною любовь разводить не годится! Да кто же безгрѣшенъ! Яша, Царскій шутъ, своихъ не выдаетъ, только смотри-же, Христина Ивановна, помогать Яшѣ, а не то...»

— «Молчи, идутъ...»

— «А будешь помогать?...»

— «Буду, тс!!! Буду...»

И Яша притаился у стѣнки; по деревянной кладкѣ, которая можетъ быть на четверть пониже окна проходила, раздались неровные шаги; показался человѣкъ, въ которомъ легко было узнать капитана; проходя мимо столба, онъ замедлилъ походку и сталъ приглядываться; вдругъ сорвалъ со столба что-то, бросилъ оземь и сказалъ хотя и тихо, но съ примѣтнымъ волненіемъ:

— «Тфу къ черту! Кого это угораздило тутъ шапку вѣшать. Видно, какой пьяница. Христина Ивановна, а Христина Ивановна!..»

Христина Ивановна молчала, но шутъ толкнулъ ее и нечего дѣлать, Христина Ивановна отозвалась.

— «Можно?»

— «Почемужъ... Только право я сегодня такъ нездорова; жаръ такой... Охъ!»

— «Вы больны!»—И капитанъ ступилъ на стулъ одной ногой, а другой на полъ... «Ахъ, милая моя Христина Ивановна! Да что вы мнѣ роть зажимаете? я знаю что вы о моей любви не охотно слушаете; да ужъ теперь, Христина Ивановна, поздно. Вы въ моей волѣ. Должны слушать... Только сегодня семейныя дѣла лишаютъ меня пріятной бесѣды. Я къ вамъ за дѣломъ пришелъ; будьте у Шарлоты посаженой матерью...»

— «Когда?»

— «Сей часъ...»

— «Сей часъ?»

— «Да, я ужъ послалъ за отцемъ; оттуда Прохоръ зайдетъ въ церковь; все готово; женихъ и невѣста дожидаютъ...»

— «Вотъ тебѣ разъ!» говорилъ проходившій мимо окна Прохоръ: «Дома нѣтъ. Видишь, важный какой, уѣхалъ походъ смотрѣть...» Еще что то бормоталъ Прохоръ, но уже не было слышно...

— «Все равно, все равно, милая Христина, ангелъ мой, любовь моя, говорю вамъ, что изо всѣхъ тридцати пяти интригъ, которыя мнѣ удалось имѣть съ баронессами, герцогинями и другими дамами, ни одна не была такъ для меня полна счастія и наслажденія, что каждая минута съ вами — для меня пріятнѣе генеральнаго сраженія; имѣть въ плѣну васъ — о, это все равно, что имѣть въ своихъ рукахъ плѣнникомъ великаго могола... Но, не смотря на все это, и вы и я, мы

должны отречься на сегодня отъ продолжительной бесѣды; удовольствуемся поцѣлуемъ...»

И громкій поцѣлуй огласилъ комнату.

— «Ну, теперь одѣвайтесь и приходите поскорѣе къ намъ. Шарлота васъ ждетъ съ нетерпѣніемъ. А я пойду искать свидѣтелей...»

— «Возьмите меня за свидѣтеля!» крикнулъ Яша: «Я все знаю, все видѣлъ, все слышалъ... А за другаго свидѣтеля возьмите мою шапку, что на столбѣ висѣла.»

— «Христина Ивановна!» глухимъ голосомъ сказалъ капитанъ.

— «Это онъ!»

— «Это онъ... Яковъ Ѳедоровичъ...»

— «И ты меня не предупредила...»

— «Я васъ толкала...»

— «А теперь ни меня, ни Богдана Крестьяновича вытолкать не льзя!» сказалъ шутъ садясь на окно. «Ну, Богданъ Крестьяновичъ, что теперь будетъ? Въ окно нельзя; черезъ двери также трудно, потому что я сей часъ сосѣдей кликну. Хозяинъ калитки не отпиралъ, такъ видно Богданъ Крестьяновичъ другимъ путемъ сюда проползъ. Вотъ при дворѣ то будутъ смѣяться. Чай хохоту на годъ хватитъ; а ужъ какъ Бацъ изъ болѣзни выдетъ, такъ смѣхомъ не кончиться, косточки поломаетъ; и я помогу. А спасибо, Богданъ Крестьяновичъ, за науку; я и самъ теперь на Шарлотѣ жениться не хочу; заведу я съ нею любовь тайную, вотъ, ни дать ни взять, какъ ты; да еще и лучше; Подсвинковъ не Бацъ; не страшенъ;

на всю Москву любиться будемъ. Ай люли, ай люли!»

И капитанъ и Христина Ивановна стояли передъ шутомъ, потупивъ головы, какъ приговоренные къ смерти...

— «Послушайте вы, мои голубки! Что любовь, сладка, что ли? Вкусная сыта, медомъ пересыщена, дайте-ка и мнѣ отвѣдать! Въ вашихъ рукахъ мое счастье и счастье Шарлоты; въ моихъ рукахъ ваша добрая слава, да когда себѣ на память приведу честной норовъ Франца Яковлевича, такъ ужъ, верти не верти, а на одномъ безчестіи не обойдется...»

— «Чего-же ты хочешь дьяволъ?» простоналъ Бломбергъ.

— «Родительскаго твоего благословенія! скажи: —Шарлота твоя.... Выпущу изъ завадни и будто ничего не слышалъ, ничего не видѣлъ. Ты слово свое молодцемъ держишь, по упрямству; знаю; а если не сдержишь.... такъ извини, ко всѣмъ боярамъ поѣду и стану въ лицахъ разсказывать, какъ все было... Ну, такъ Шарлота моя?»

— «Твоя!» сказалъ Бломбергъ и бросился въ объятія Христины Ивановны: «Видишь ли, милая, какую жертву я дѣлаю для тебя...»

— «Ну, полно!» сказалъ шутъ: «Моя, такъ моя! Пойдемъ-же сговоръ справлять... Это что?»

На быстромъ конѣ кто-то проскакалъ черезъ улицу; въ туманѣ нельзя было разсмотрѣть, кто именно; крики Подсвинкова и Прохора еще болѣе возбудили общее любопытство и опасенія. Шутъ

и капитанъ выскочили на улицу; Христина Ивановна заперла окно и задернула занавѣску... Не успѣли Яша и Бломбергъ выдти на середину улицы, какъ на нихъ съ крикомъ и плачемъ наткнулись Подсвинковъ съ Прохоромъ... .

— «Что такое? Что такое?» вричалъ капитанъ.

— «Умыла, убѣжала, уѣхала, ускакала, улетѣла...»

— «Шарлота?»

— «Шарлота Богдановна! Проклятый Прохоръ все испортилъ; пришелъ; говоритъ: былъ у посаженаго; дома нѣтъ; надо теперь поскорѣе къ попу въ приходъ сбѣгать; такъ ты матушка, доложи батюшкѣ, пусть другаго посаженаго самъ ищетъ .. Какъ услышала это Шарлота Богдановна, такъ и оторопѣла. Что ты, Прохоръ, промолвила она, да неужто сегодня и вѣнчаться?... А тотъ болванъ, ворона, сова глупая: Сейчасъ, матушка, вотъ только я въ приходъ сбѣгаю... Хорошо, Прохоръ, хорошо! сказала притворщица: «Сходи! А я ужъ за посаженымъ сама сбѣгаю; по своей дунѣ выберу... Да шмыгъ изъ комнаты въ калитку, на моего коня прыгъ и ускакала; пока я въ калитку вылезъ, она уже была на концѣ улицы...»

— «Ахъ ты, тетеря!» закричалъ капитанъ: «Не умѣлъ невѣсты уберечь, такъ ступай же вонъ! Ты ей больше не женихъ. Видѣть тебя поганаго не хочу. Какой изъ тебя мужъ, когда ты и дѣвчонки въ рукахъ удержать не могъ! Слышишь! Прощай! Только я тебя и видѣлъ... Яковъ Ѳедоровичъ...»

Но Яша былъ уже на конѣ, на скаку успѣлъ только сказать: «Помни слово...» и пропалъ изъ виду...

— «Послушай, Богданъ Крестьяновичъ...» началъ было Подсвинковъ...

— «Слушать не хочу! На глаза не показывайся! Пойдемъ, Прохоръ...» И капитанъ съ Прохоромъ вошли на дворъ Подсвинкова. Прохоръ запиралъ калитку; дьякъ стучался въ свои ворота...

— «Что, пустить его? спросилъ Прохоръ.

— «Не смѣй! Пусть идетъ на свое мѣсто, подъ Кожухово.»

— «Слышь, Василій Семеновичъ!» повторилъ Прохоръ: «Нѣмецъ баитъ: ступай на свое мѣсто, подъ Кожухово...»

— «Прохоръ, я тебѣ спину вздую! Вѣдь это мой домъ.»

— «Слышь, Нѣмецъ, дьякъ баитъ, что это его домъ.»

— «Вретъ! Пошелъ спать, Прохоръ, а ключи сюда подай...»

— «Ну, видно что вретъ!» сказалъ Прохоръ: «А я всегда думалъ, что это его домъ. Видишь, никогда не думай, такъ и не будешь того знать, чего ненадо. Прощай, Василій Семеновичъ! Пора угомониться; пѣтухъ запѣлъ, прощай!»

— «Прохоръ, Прохоръ!...» но Прохоръ ушелъ и все утихло на дворѣ Подсвинкова, а несчастный дьякъ, въ тоскѣ-кручинѣ, сѣлъ на столбикъ противу окна Христины Ивановны и пошелъ думать,

и о бородѣ и о ратныхъ подвигахъ, и о невѣстѣ; все отняли злые люди; даже собственный, отцовскій, родовой домъ оттягали.»

— «Вотъ тебѣ и Нѣмка, вотъ тебѣ и Шарлота Богдановна!» Такъ заключилъ дьякъ горькую думу и пошелъ ночевать къ священнику.

—

VIII.

Какъ Шарлота Богдановна съ часовымъ бесѣдовала.

Широко лежалъ станъ Ромодановскаго насупротивъ Стрѣлецкаго и землянаго городка; туманъ скрывалъ войска, но огни пробивались сквозь густую дымку тумана; казалось звѣзды переселились съ неба въ эти бѣлыя волны, покрывавшія окрестность... Луна, будто Русская кормилица, круглой полной молодицей всплыла надъ усыпленной Москвой; на небѣ все стало видно, за то земля казалась будто послѣ потопа; кое гдѣ чернѣли пригорки, темные валы Землянаго Городка да вершины деревъ; у самаго лѣса, къ которому примыкалъ лагерь Ромодановскаго, въ шагахъ десяти отъ большой дороги пылалъ огромный огонь; вокругъ огня гурьбой сидѣли Абросимки и Алешки; у нихъ только что отошелъ ужинъ и пѣсни, и завязалась бесѣда:

— «Что, Алеша Буравъ?» спросилъ Алеша Курчавый: «Такъ по твоему, ротмистръ къ своей нѣмкѣ поѣхалъ...»

— «А то куда-же? Дивно мнѣ, что одинъ въ Москву пустился; а то всегда меня съ собой бралъ;

когда въ Лефортово ѣхать, онъ и пристаетъ ко мнѣ: Ну, Буравъ, мой сподручникъ, поѣдемъ! Всякой разъ я у него и выманю алтынъ, другой, да и поѣду.... У меня въ Лефортовѣ знакомецъ есть: солдатъ, да изъ Русскихъ. Вотъ у него нашъ притонъ. Какъ пристанемъ къ тому солдату, сей часъ свѣчку на окно; глядимъ, а въ томъ домѣ, гдѣ нѣмка живетъ, тоже свѣчка стоитъ въ окнѣ. Ротмистръ свѣчку погаситъ и тамъ погаснетъ; будто одной рукой тушитъ. Вотъ онъ пождетъ, посидитъ, да и уйдетъ. Мы съ знакомцемъ сидимъ, да толкуемъ: языки умаются, мы и заснемъ; иной разъ передъ самымъ утромъ ротмистръ насъ своимъ приходомъ разбудитъ. И опять на коней, и въ Преображенское. Я залягу и сплю, а онъ на службу, болтаетъ безъ устали, всѣхъ тѣшитъ, со всѣми другъ; говорятъ, не долго онъ у насъ останется. Хочетъ его Государь за море послать. Толкуютъ, что тутомъ быть ему мало; что у него разума на посла хватитъ; да все отнѣкивается, нѣмки жаль, съ самой весны — любовь ведетъ...»

— «А чтожъ ты, Буравъ, видѣлъ ту нѣмку?..»

— «Станетъ онъ свое сокровище другимъ показывать. Не равенъ часъ ..»

— «Ну, ужъ ты, Буравъ, не страшенъ для красной дѣвушки. У тебя одинъ носъ, такъ будто погода вѣтеръ сулитъ... Такой красный...»

Засмѣялась гурьба, да и затихла. Въ ближнемъ лѣсу раздался конскій топотъ. Всѣ вскочили отъ огня и бросились на дорогу; въ толпу Алены вскочила всадница...

— «Стой! Кто ѣдетъ!» закричалъ Алеша Курчавый, схватилъ подъ уздцы лошадь и ахнулъ: «Ба! Да это мой златогривка! Э, да какую же ты мнѣ красавицу принесъ. Увезъ чучело, а воротился... Да чуръ, наше мѣсто свято, ужъ не оборотень ли какой...»

— «Нѣтъ, Алеша!» смѣло отвѣчала всадница: «Не оборотень, а твоего ротмистра невѣста!»

Всѣ Алеши и Абросимки сдернули шапки и командѣршѣ низко поклонились.

«Ахъ, ты, какая хорошая, ахъ, ты, какая бѣлолицая, кровь съ молокомъ!.. Ну, чета, чета, нечего сказать. Вся въ ротмистра! Вотъ тужить будетъ, что не застала...»

— «Да онъ у насъ остался, на Москвѣ, а меня послалъ съ важной вѣсточкой къ самому Государю. Проводите!»

— «Эй, ребята! Ужъ позвольте проводить мнѣ начальницу, видите, на моемъ конѣ и пріѣхала; такъ ужъ знать эта честь мнѣ на роду написана...»

— «Тебѣ, тебѣ, Алеша! Пойдемъ же, время не терпитъ!»

— «Пойдемъ, матушка. Эй, Буравъ, прими лошадь! Пойдемъ!»

Пошли.

— «А гдѣ же Государь стоитъ!» спросила дорогой Шарлота.

— «Онъ въ княжеской палаткѣ, и не одинъ. Чай теперь не спитъ Еще рано. Тамъ дальше меня не пропустятъ; нашему брату не указано въ

линеяхъ шататься. Знаешь, что такое линея? Это значитъ полки ротами, да ты сама найдешь, дорога прямая, будто выстрѣлилъ. Если кто спроситъ, ты только отвѣчай: «*Царьградъ нашъ будетъ!*» Это окликъ такой военный... Вотъ и первая линея Преображенская. Ступай!..»

— «Кто идетъ?» раздалось у рогатки.

— «Царьградъ нашъ будетъ!»

— «Ступай!..» И Шарлота прошла до самой площаки передъ шатеръ Ромодановскаго, и увидавъ у входа двухъ часовыхъ, остановилась.

— «Кто идетъ?» спросилъ высокій статный Преображенецъ, ходя по деревянной кладкѣ взадъ и впередъ; другой также ходилъ, но въ иную сторону.

— «Царьградъ нашъ будетъ!» отвѣчала Шарлота, запинаясь.

— «Во истинну! Только за чѣмъ бабамъ про то вѣдать? Что ты, матушка, тутъ дѣлаешь, и за чѣмъ такъ поздно?..»

— «Отъ чего поздно? Государь объ этой порѣ еще не спитъ...»

— «Мало ли чего! Не спитъ! Да вѣдь и ему покой нуженъ.»

— «Больше нашего!»

— «Да и послѣ зари, никто не смѣй по стану шататься...»

— «Да ужъ послѣ зари, али до зари, мнѣ все равно; бѣда моя велика, а Государь великъ и добръ, не осердится; помилуетъ, выслушаетъ... Пусти меня къ нему, служивый...»

— «Нельзя, матушка! Здѣсь не Москва! Теперь военное время, Государь въ лагерѣ...»

— «Да какая это война! Дрянь! Изъ за такихъ пустяковъ можно и нашихъ дѣла разбирать...»

— «Кто тебѣ сказалъ, что наша война пустяки?...»

— «Многіе говорятъ...»

— «Много на Москвѣ глупцовъ. Авось поумнѣютъ...»

— «Охъ, ужъ что правда, такъ правда. Много дураковъ. Вотъ и я пришла на одного жаловаться. Только ты пусти меня къ Государю. Увидишь, какъ онъ ему голову взмоетъ, да и моему отцу достанется...»

— «Нельзя, матушка, не указано. Ужъ и это противъ службы, что я съ тобою говорю... И завтра разберемъ, а сегодня ты ноченьку просидишь подъ карауломъ. А какъ тебя зовутъ?»

— «А тебѣ какое дѣло? Видишь, къ Царю не пускаетъ, да еще и допрашиваетъ. Тебѣ то все равно, что сегодня, что завтра, а мнѣ такъ не все равно, за кого идти: за урода Подсвинкова, или за моего ненагляднаго Яшу...»

Часовой остановился на одномъ мѣстѣ и пристально посмотрѣлъ на Шарлоту.

«Что ты на меня глаза выпялилъ? Я и такъ промерзла. всего пути будетъ верстъ десять, я верхомъ ѣздить не привыкла, а тутъ и погони боялась, и жениха, и всего; лошадь измучила; всю изломало и холодомъ прошибло...»

— «Да куда же ты ѣхала!»

— «Да куда больше? Къ самому Государю; у кого просить мнѣ противъ отца защиты. Надъ отцемъ только и властенъ что Богъ да Государь. Куда мнѣ было броситься? Уже въ церковь послали; уже и за посаженымъ послали; не уйди я къ Государю, завтра бы меня и на свѣтѣ не было. Какъ Онъ положитъ, такъ и быть. Велитъ идти за Подсвинкова, заплачу и пойду; только не велитъ. Онъ справедливъ, говорятъ, даромъ что молодъ...»

— «Да развѣ только одни старики и справедливы...»

— «Ну, все таки, знаешь, молодость горячка. Говорятъ и про Петра Алексѣевича, что иной разъ какъ осерчаетъ, да расходится, такъ и умные старики удержать не могутъ... Бѣда, если правда...»

— «Э, матушка, не всякому слуху вѣрь...» отвѣчалъ Часовой съ примѣтнымъ волненіемъ.... «Только право странно, что такая умная дѣвушка хочетъ идти за мужъ за дурака.»

— «Отвѣчала бы я тебѣ, да право некогда и языкъ отъ холода не поворачивается.»

Часовой спустилъ съ плечъ свой полушубокъ и подалъ Шарлотѣ.

— На, прикройся! Сыро и прохладно...»

— «Да что ты, всю ночь растабарывать со мной думаешь? Что я тебѣ далась за разкащица такая?..»

— «А какъ же ты съ Царемъ будешь разговаривать, когда языкъ у тебя холодомъ отнимаетъ...»

— «Да ты развѣ къ Царю меня пустишь?»

— «Нѣтъ, не пущу...»

Шарлота заплакала.

— «Неплачь! Нельзя, такъ нельзя. Порядокъ. А вотъ что можно, такъ можно... Волковъ!... Михайло! Поди сюда!...»

Изъ ближней палатки медленно выползла огромная фигура и вытянулась въ струнку передъ Часовымъ.

— «Что, ты одинъ въ палаткѣ?»

— «Одинъ!»

— «Опростай ее для этой дамы, а самъ ступай въ роту.»

— «Слушаю!»

— «А завтра, какъ встанетъ Государь, проводи эту даму къ нему; суда проситъ...»

— «Слушаю...»

— «Ну матушка, теперь ступай съ Богомъ! Утро вечера мудренѣе. Ложись и спи. Тутъ безопасно... А завтра, дасть Богъ, все устроится...»

— «Ступай вонъ туда!» говорилъ Волковъ указывая на палатку: «Тамъ все есть, что нужно. И чертъ не разберетъ, какіе теперь порядки; бабы по лагерямъ таскаются; спать не даютъ; ихъ бы прикладами провожать отсюда надо; такъ нѣтъ, свою постель уступи; поглядимъ, гдѣ самъ то спать будешь, какъ съ часовъ смѣнятъ; и князю Михайлѣ тоже негдѣ прилечь; видишь, для одной бабы трое безъ мѣста!» И продолжая ворчать, Волковъ исчезъ между солдатскихъ шатровъ. Между тѣмъ Шарлота Богдановна прилегла на солдат-

скую койку, да и задремала. То и дѣло сниться ей Часовой. И ростъ, и кудри, и даже какое то опредѣленное лице... все это врѣзалось въ память бѣдной дѣвушки и не давало ей уснуть какъ слѣдуетъ; къ утру уже и воображеніе утомилось, и сонъ, совсѣмъ не бабскій, а богатырскій оковалъ красавицу. Проснулась она отъ громкаго крика. Вслушивается. Кто то у самой палатки реветъ басомъ: «Вставай! Слышишь, вставай!... Да не лучше ли взойти, да разбудить?..»

— «Немоги! Пусть сама проснется. Яша, послалъ ты за Бломбергомъ?..» Такъ говорилъ Часовой; Шарлота легко узнала по голосу. Схватилась Шарлота съ койки, особенно услышавъ, что часовой кликалъ Яшу и отца. Вскочила, и несмотря на сильное волненіе, на странное свое положеніе, стала оправляться; незабыла ни прически ни платья; не упустила изъ виду и кружки съ водой и полотенца... тутъ только она замѣтила, что въ этой солдатской палаткѣ три койки и великій порядокъ; искала Шарлота гребешка, и нашла математическіе инструменты, ландкарты, письменный приборъ, бумаги, наконецъ гребешокъ, даже зеркальце. Послѣдней находкѣ она крайне обрадовалась и нѣсколько лишнихъ минутъ заставила прождать самого Государя...»

О женщины!...

— «Да что ты тамъ возишься!» опять раздался басъ Волкова: «Выходи! Весь походъ задержала... Часъ десятый будетъ...»

— «Десятый!» И Шарлота бросила зеркало, не

вышла, а выбѣжала изъ палатки; взглянула на площадку — и зажмурясь присѣла... Позиція Волкова была не менѣе интересна; увидавъ, кто былъ въ палаткѣ, онъ вытянулъ руки вверхъ и живо представилъ подобіе вѣтряной мельницы... Эта живая картина дополнилась третьимъ дѣйствующимъ лицемъ, капитаномъ Бломбергомъ, который, въ это самое время подходилъ со всею должною важностью къ площадкѣ, но поравнявшись съ Шарлотой, сбился съ шагу и маршировалъ на одномъ мѣстѣ... На площадкѣ, передъ княжескимъ шатромъ, стоялъ вчерашній Часовой, въ Преображенскомъ мундирѣ, окруженный всѣми главными чинами дѣйствующей арміи. Все это было неподвижно. Чѣмъ не картина? Только одинъ Яша разрушилъ эту картинность; сбѣжалъ съ площадки, поднялъ Шарлоту и подъ руку подвелъ къ Часовому... Ставъ самъ передъ нимъ на колѣни, Яша сказалъ Шарлотѣ: «Дорогая невѣста; стань и ты на колѣни предъ земнымъ образомъ Бога живаго и проси о нашемъ счастьи у Отца, который старше отца роднаго.»

— «Какъ?» вскрикнула Шарлота: «Этотъ Часовой?...»

— «Государь...»

— «Помилуй, Государь, помилуй!»

— «За что?»

— «Право, съ холода, Государь Великій, отъ устали...»

— «Да что такое?...»

— «Ахъ, Боже мой, Боже мой, право не на-

рокомъ я грубила тебѣ... Ты же меня къ Себѣ не пускалъ.. »

— «Хорошо, Шарлота, что на этотъ бракъ отецъ твой согласенъ!» сказалъ Государь: «А то бы не помогла твоя ироническая выходка... Поздравляю! Будьте счастливы. А свадьбу я самъ устрою. До свиданія!...»

Государь ушелъ почти со всѣми приближенными; остался только на площадкѣ одинъ Лефортъ.

— «Г. Бломбергъ!» спросилъ Лефортъ: «Все ли у васъ благополучно?»

— «Честь имѣю донести, что сей ночи, въ два часа, въ военной госпитали вашего имени, скончался офицеръ нашего полка, г. Бацъ, отъ сильной простудной горячки...!»

— «Ну, этотъ грѣхъ на вашей душѣ, капитанъ, но любовь забывчива... Молодая вдова, а вы, молодой вдовецъ. Хорошая партія... Совѣтую жениться!»

Лефортъ ушелъ. Капитанъ стоялъ будто оглушенный громомъ.

— «Ну, чтожъ, Богданъ Крестьяновичъ!» сказалъ Яша: «Дочь выходитъ за дурака, а вы женитесь на дурѣ...»

— «Не правда!» закричалъ капитанъ: «Я одинъ дуракъ! Зачѣмъ я тебѣ отдалъ Шарлоту! И безъ этой жертвы я могъ бы жениться на Христинѣ Ивановнѣ. Бѣдный Подсвинковъ, онъ перенесъ для меня столько непріятностей, обидъ, поруганій, и остался безъ бороды и невѣсты.»

— «Э, полно, Богданъ Крестьяновичъ! и та и

другая выростутъ. Поѣдемъ лучше въ Москву. Государь меня отпустилъ и велѣлъ свадьбу готовить...»

— «Поѣдемъ! Надо обрадовать Христину Ивановну такимъ великимъ для нея счастіемъ. О, Шарлота, для тебя я отказалъ двумъ баронамъ и многимъ богатымъ и прекраснымъ невѣстамъ, а она!..»

— «А она, неблагодарная...» прибавилъ шутъ: «выходитъ за мужъ, и женитъ отца насильно...»

— «Насильно!.. Поѣдемъ .. Поѣдемъ, а то ты еще пожалуй чортъ знаетъ до чего доболтаешься...»

IX.

Какъ кончилась моя повѣсть.

Кожуховскій походъ кончился благополучно. Не только городокъ, но и Стрѣлецкій лагерь взяты приступомъ. Военачальники, даже самъ боярин Иванъ Ивановичъ, взяты въ полонъ; всѣмъ завязали руки назадъ, и представили въ шатеръ князя Ромодановскаго, гдѣ собраны были и всѣ начальники побѣдоносной арміи. Принявъ ласково побѣжденныхъ, князь генералиссимусъ сѣлъ на бѣлаго коня, и въ сопровожденіи всего генералитета и палатныхъ людей поѣхалъ къ войску. И не пріятельскіе, т. е. Стрѣлецкіе и свои, т. е. Бутырскій и Потѣшные полки, выстроены были въ полѣ въ двѣ линіи, лѣвая или побѣжденные преклоняли предъ княземъ оружіе и головы, а правая, т. е.

свои, производили ружейную пальбу и кричали: Ура, Государичъ! Объѣхавъ строй, князь объявилъ полкамъ роспускъ, а самъ возвратился въ палатку, гдѣ приготовленъ былъ блистательный пиръ. На томъ пиръ надлежало потухнуть условной враждѣ, которая не продолжалась и мѣсяца; стали садиться къ столу. Возлѣ Государича по правую руку сѣлъ боярин Иванъ Ивановичъ, по лѣвую Гордонъ, а возлѣ него Лефортъ... Прочіе не могли усѣсться, спорили за мѣста, и шумѣли... Государь еще не садился; онъ тихо разговаривалъ съ княземъ Михайлой и Яшей...

— «Посмотри, Государь...» сказалъ шутъ: «какъ твои бояре мѣстничаютъ... Видишь, на походѣ не смѣли, на указныхъ мѣстахъ торчали, а теперь обрадовались, что у стола могутъ спѣсь и родъ свой показать.»

Государь нахмурился, не отвѣчалъ на шутовскую рѣчь ни слова, подошелъ къ самой серединѣ стола, взялъ стулъ, какой попался, и сѣлъ. Почти всѣ поняли смыслъ нѣмаго выговора и спѣшили усѣсться, гдѣ кому случилось. Шутъ бѣгалъ кругомъ стола и подгонялъ гостей:

— «Проворнѣе, поворачивайтесь, холодныя простынутъ, жаренныя пережарятся, лукъ чеснокомъ станетъ, проворнѣе, проворнѣе!..»

Почти всѣ усѣлись; только двое увлеченные спѣсью и враждой, не садились, осыпали другъ друга историческою бранью, возмущали тѣни предковъ, каждый восхваляя своихъ и унижая противниковыхъ; собраніе смолкло: всѣ обратили слухъ

и вниманіе на ссору, а глаза на юнаго Царя. Государь спросилъ, о чемъ споръ. Оба противника заговорили вмѣстѣ. Презрительная улыбка Царя до того ихъ смутила, что оба стали путаться въ словахъ и наконецъ отъ сильнаго смущенія оба смолкли...

— «Оставьте предковъ въ покоѣ!» сказалъ Государь: «Когда кто какое мѣсто заслужитъ, того у него никто не отыметъ. Только мѣсто не вотчина. А за столомъ садитесь, гдѣ прилучится, или гдѣ хозяинъ укажетъ... Садитесь!» — И не обращая болѣе на нихъ вниманія, сказалъ Ромодановскому: «Государичъ! Дуракъ Яковъ боярамъ, окольничимъ и всѣхъ чиновъ думнымъ палатнымъ людямъ хочетъ челомъ бить. Позволь!»

— «Пусть его! Дурацкое дѣло за столомъ шуткой тѣшить...»

— «Шутка шуткѣ рознь!» отвѣчалъ шутъ: «Вотъ тебя Государь въ шутку въ Государичи пожаловалъ; такого и ранга ни въ какой землѣ не было, а ты въ томъ чинѣ и умрешь... Только чай спѣсь у тебя, что гребень у пѣтуха, на аршинъ выростетъ. Ужъ не мотай головой. Я вѣдь знаю, что ты спѣсивъ...»

— «Да съ чего ты это взялъ?...»

— Ну, постой! Мы тебя сей часъ на чистую воду выведемъ. Завтра моя свадьба. Пріѣдешь ко мнѣ въ гости?»

— «Пріѣду!»

— «Ай да Государичь! Поцѣлуемся!»

— «Такъ чего добраго, и самъ Государь пожалуетъ!»

— «Буду!...»

— «Важно! Бояры милостивцы, окольничіе, и думные люди Московскіе, всѣхъ васъ поименно и до свѣтлаго воскресенія не перечтешь!! Такъ ужъ не взыщите, если гуртомъ стану васъ кликать.»

— «Будемъ, будемъ!» отозвалось нѣсколько голосовъ...

— «Ну, плохо же мнѣ приходится, плохо; вашъ отвѣтъ, что покойная борода у Подсвинкова; клочьями, а въ каждомъ по три волоска, ну нечего дѣлать, надо съ васъ слова что въ Думѣ собирать...» И шутъ подбѣгая къ каждому гостю, заглядывалъ въ глаза и спрашивалъ: будешь? Волей, неволей, всѣ отвѣчали: буду! только одинъ Волковъ вмѣсто буду, отвѣчалъ: побью!

— «Бей пожалуй, только не больно; я тебѣ тоже чужую спину подставлю, какъ Подсвинковъ сдѣлалъ. Ну, милостивцы, вы на Волкова не смотрите; мы супротивники. Онъ стрѣлецъ, а я потѣшный! Только уговоръ лучше денегъ. Всѣмъ на моей свадьбѣ быть безъ мѣстъ!»

Общій смѣхъ огласилъ шатеръ и привелъ въ краску двухъ спорщиковъ... Шутъ продолжалъ:

— «Вѣдь вы это въ думѣ и приказахъ и бояре, и окольничье, и то и се, языкъ сломаешь, память намозолишь, пока всѣхъ перечтешь. Какъ къ столу сажать стану, собьюсь; по платью не различу

никого... Такъ знаете ли что, мои милостивцы пріѣзжайте къ шуту не въ своихъ нарядныхъ платьяхъ, а запросто...»

Ропотъ негодованія зашумѣлъ за столомъ; ни кто не могъ рѣшиться на отвѣтъ.

— «Выдумка тебя стоитъ!» сказалъ Государь: «Быть по твоему. Ты ужъ это все князю на руки отдай; онъ устроитъ, а теперь выпьемъ за здоровье Государича, генералиссимуса, князя Ѳедора Юрьевича!...»

И громкое ура понеслось изъ палатки въ поле, и тамъ еще долго гремѣло въ полкахъ, мѣшаясь съ пушечными и ружейными выстрѣлами.

—

На другой день рано по утру, между Преображенскимъ и Семеновскимъ селами, въ полѣ, было поставлено нѣсколько шатровъ. Яша съ своими Алешами и Абросимками прискакалъ чуть свѣтъ: устроилъ вездѣ порядокъ, разставилъ стражу и вернулся въ Лефортово. Послѣ вѣнца поѣздъ брачный отправился къ шатрамъ и этотъ поѣздъ своею оригинальностью представилъ самую странную картину. Поѣзжане ѣхали въ куляхъ и лычныхъ шляпахъ; одни въ кафтанахъ изъ крашенины, а опушка изъ кошечьихъ лапокъ; у другихъ сермяги разнаго цвѣта, опушенные бѣльими хвостами, у кого соломенные сапоги, у другаго мышачьи рукавицы, лубочныя шапки; кто на быкѣ, тотъ на козлахъ, свиньяхъ или собакахъ; гамъ, смѣхъ, пѣсни особеннаго склада; но за то молодые ѣхали

въ лучшей Государевой каретѣ, за которой или знатные гости, пѣшкомъ, въ старинныхъ бархатныхъ кафтанахъ. Трое сутокъ кипѣлъ пиръ въ палатахъ у Якова Ѳедоровича; наконецъ всѣ разъѣхались; даже молодые. Яковъ Ѳедоровичъ въ лучшемъ нѣмецкомъ платьѣ отвезъ жену свою Шарлоту Богдановну въ новый свой домъ на Покровку... Прошла недѣля... Молодые отправились на свадьбу къ Богдану Крестьяновичу... Прошла еще недѣля... Пришелъ изъ посольскаго приказа подъячій. Говоритъ: «Ты, Яковъ Ѳедоровичъ, долго съ дьякомъ Подсвинковымъ возился. Такъ не знаешь ли, куда онъ пропалъ? Посылали всюду, нигдѣ не могли найти.»

— «Какъ не знать! Уѣхалъ Василій Семеновичъ въ вотчину свою, что за Воскресенскимъ; женился на Дунѣ Поярцевой и медовый мѣсяцъ отживаетъ... Да еще въ придачу бороду роститъ.»

И сбылось по слову Якова Ѳедоровича. Воротился Василій Семеновичъ изъ своей вотчины, и съ молодой женой, и съ сѣдой бородой; отросла, да отъ невзгодъ и волненій отросла сѣдыми волосами... И все успокоилось на Москвѣ... Долго жили наши герои, но гдѣ и какъ, разскажу на досугѣ.

Максимъ Совонтовичъ

БЕРЕЗОВСКІЙ.

Историческій разсказъ.

—

I.

АКАДЕМИКЪ.

— «А что за пречудесная сторона!» говорилъ Опанасъ, въ переводѣ на русскій Аѳонасій, лежа подъ плетеной бесѣдкой, заткапой широкими листьями и завитками винограда: «Ни дать ни взять —Макіевка, только и разницы, что вмѣсто хмѣлю, вино надъ головой растетъ; а у насъ яблоки, да груши, да черешни; или заберешься въ огурцы; не успѣешь заснуть, а ужь сотню проглотилъ. Надо правду говорить. Еслибъ борщъ, да вареники, да водка, такъ тутъ просто того... рай; и на небо не нужно: и послѣ смерти готовъ тутъ жить; и солнце наше; и того — дѣвчата, не то что казачки... Куда же имъ тальянкамъ до казачекъ? далеко куцому до зайца... правда... что-то у нихъ и въ лицѣ такое цыганское; и что ни дѣвка, то съ усами, и то правда; чернобровы, такъ, да ужъ бѣлолицой ни одной; гдѣ тамъ! Параски нашей,

или Марины, что за Мартына вышла, такъ такихъ и промежду господъ не найдешь, да того...»

И Опанасъ зѣвнулъ сладостно; храпѣніе Опанаса раздавалось по всему саду виллы Броски, недавно отстроенной и разубранной съ царственнымъ великолѣпіемъ. Неудивительно; Опанасъ плотно пообѣдалъ на кухнѣ; мѣстные слуги разбрелись по должностямъ, тѣмъ поспѣшнѣе, что у хозяина были гости. Съ Опанасомъ некому было заниматься, да и что за бесѣда въ тепломъ климатѣ послѣ обѣда? Лучшій собесѣдникъ сонъ; а подъ виноградной сѣткой такъ прохладно; ни капля растопленнаго золота, такъ обильно разливаемаго южнымъ солнцемъ въ полдень, не могла пробиться сквозь густую зелень. Опанасъ спалъ сномъ сладкимъ, пользуясь расположеніемъ природы и сада. Я по крайней мѣрѣ больше всего дорожу расположеніемъ природы. Нѣтъ горя, тоски и грустной думы, которыхъ бы не разогнало тихое, ясное, весеннее утро; въ хорошую погоду, человѣкъ не чувствуетъ бѣдности, не хлопочетъ, не печется о суетныхъ плодахъ труда; ему ничего не нужно; какъ Опанасу, ему не нужно ума, памяти; не хочетъ думать; онъ забываетъ все, даже обязанности, хотя бы и любимыя. Вотъ и Опанасъ не сходилъ посмотрѣть, что дѣлаютъ ослы; не справился, когда баринъ поѣдетъ назадъ въ Болонью; будутъ ли тутъ ночевать или нѣтъ; кто этотъ вельможа, къ которому они такъ давно собирались и боялись ѣхать... А долженъ быть человѣкъ весьма важный, потому что самъ старый Мартынъ, какъ

ѣхать на виллу, надѣлъ свою длинную французскую свиту, а на шею повѣсилъ золотую цѣпь, а старый Мартынъ во-первыхъ ни къ кому самъ не ѣздитъ, а во-вторыхъ всѣхъ у себя принимаетъ въ шелковомъ желтомъ халатѣ; а на томъ халатѣ и розмаринъ и незабудки, и воробьи зеленые шелками вышиты. Должна быть важная особа хозяинъ виллы; Опанасъ это предугадывалъ, да лѣнился спросить; такъ и остался въ неизвѣстности. Впрочемъ, еслибы и спросилъ, еслибы ему и отвѣчали, онъ бы не много выигралъ; едвали бы онъ запамятовалъ имена хозяина и другихъ связанныхъ съ нимъ лицъ; что толку, еслибъ Опанасъ и узналъ, что вилла Броски—принадлежитъ кавалеру Броски, какъ въ уединеніи своемъ называлъ себя Фаринелли; что знаменитый пѣвецъ излечилъ неизлечимую болѣзнь короля и сдѣлавшись первымъ министромъ, мудро управлялъ Испаніей. Опанасъ не уважалъ испанскаго короля, потому что въ Неаполѣ видѣлъ тму нищихъ и потому еще, что онъ испанскую водку считалъ истиннымъ ядомъ, а испанскихъ мухъ боялся пуще скорпіоновъ. Еслибы онъ зналъ, что теперь гоститъ у бывшаго испанскаго министра, кто знаетъ, можетъ быть, онъ бы не спалъ такъ покойно, не храпѣлъ такъ гармонически; но этого нельзя сказать утвердительно... Опанасъ рѣдко измѣнялъ своимъ привычкамъ и дома, а ужь въ гостяхъ... что же бы это было за угощеніе. Тутъ же никому до него не было дѣла; онъ былъ ненуженъ даже своему барину; котораго, можно сказать, поглощала затрапезная

бесѣда. Въ прохладной мраморной галлереѣ, украшенной добропорядочною живописью и цвѣтами, за столомъ, покрытымъ серебряной и золотой посудой, сидѣло небольшое общество болонскихъ гостей Фаринелли; старикъ-хозяинъ сидѣлъ въ глубокихъ креслахъ; ноги его покоились на мягкихъ подушкахъ и были покрыты атласнымъ стеганымъ одѣяломъ; на головѣ, совершенно забытой волосами, торчалъ остроконечный бѣлый колпакъ съ красными коймами и красной кисточкой; бороды также не было, и казалось, что на этомъ тѣлѣ никогда не пробивался пухъ мужественнаго возраста; отмѣнно нѣжное и пріятное лицо Фаринелли было изморщено и болѣзненнаго цвѣта, хотя дородство, можно сказать, даже тучность выгодно говорила о состояніи его здоровья. По правую руку отъ хозяина сидѣлъ знаменитый Мартини, президентъ Болонской академіи и музыкальнаго общества. По лѣвую Леопольдъ Моцартъ; возлѣ четырнадцатилѣтній сынъ его Вольфгангъ, а возлѣ Мартини, Опанасовъ баринъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати шести, Максимъ Созонтовичъ Березовскій. Послѣдній былъ въ красномъ кафтанѣ съ черными пуговицами, что ясно въ тѣ времена свидѣтельствовало о недавней потерѣ кого-либо изъ близкихъ родственниковъ. Хотя общій разговоръ шелъ своимъ чередомъ живо и непрерывно, но глаза всѣхъ постоянно были обращены на четырнадцатилѣтнее чудо, освѣтившее современный музыкальный міръ невиданнымъ блескомъ. А Вольфгангъ, пріученый съ семи лѣтъ къ

любопытству и удивленію всѣхъ его окружающихъ, съ семействомъ своимъ включительно, ни мало не смущался и глядѣлъ то на хитрую рѣзьбу столовой утвари, то на отца Мартини, какъ его называлъ тогда весь свѣтъ.

— «Что же, папа!» сказалъ Фаринелли съ лукавой улыбкой, потирая щеку: «кажется ваши сомнѣнія теперь разсѣялись... Пора бы моему другу получить дипломъ и званіе академика ..»

Мартини, безъ малѣйшей перемѣны въ лицѣ, протянулъ подъ столомъ руку и значительно пожалъ колѣно Фаринелли. Министръ, угадывавшій кабинетныя тайны, не могъ смекнуть, что замышляетъ князь музыки и поглядѣлъ на него съ видомъ вопроса.

— «Удивительно!» сказалъ наконецъ Мартини, принужденный къ разговору непонятливостью Фаринелли. «Вы очень хорошо знаете наши уставы —и спрашиваете! Честь быть академикомъ — велика; стыдъ не выдержать испытанія — больше.»

— «Ахъ, папа!» съ живостью прервалъ Вольфгангъ: «Я не боюсь испытанія...»

— «Талантъ твой великъ, но одинъ талантъ можетъ измѣнить...»

— «Есть ли у меня талантъ или нѣтъ, право не знаю. Но у меня, папа, есть наука; эта не измѣнитъ...»

Родъ улыбки, или тѣнь улыбки пробѣжала по лицу Мартини и разморщила высокое чело старца. Онъ произнесъ какое-то глухое междометіе, нѣсколько обращаясь къ Березовскому. Максимъ Со-

зонтовичъ отвѣчалъ учителю такимъ же исподлобіемъ и разговоръ кончился.

— «Я отъ васъ не отстану, папа!» опять началъ Фаринелли.

— «И я тоже» подхватилъ Вольфгангъ... «Назначьте день и часъ моему испытанію...»

— «Завтра!» сказалъ сухо Мартини.

— «Что завтра?» прервалъ Вольфгангъ... «Завтра вы назначите день—или...»

— «Нѣтъ! Завтра быть или не быть тебѣ академикомъ.»

— «Быть!» закричалъ Вольфгангъ и ударилъ о столъ съ такою силою, что посуда заплясала... Слезы выступили у него на глазахъ. Онъ не могъ удержать душевнаго волненія, вскочилъ съ мѣста, побѣжалъ къ старцу, обнялъ его нѣжными, можно сказать женскими руками и повисъ на шеѣ Мартини.

— «Ахъ, папа, вы не шутите! Согласятся ли ваши цензоры, ваши ужасные профессоры?.. Одного изъ нихъ я боюсь; онъ такъ похожъ на медвѣдя... И простите, папа, вы не разсердитесь, а? вы не разсердитесь?.. Мнѣ, кажется, что онъ и въ музыкѣ—медвѣдь...»

— «Другъ мой...» сказалъ сухо Мартини: «всѣ члены нашей академіи получили свои мѣста при мнѣ...»

— «О, тогда простите, папа! Васъ нельзя не обмануть, не обольстить, какъ публику...»

— «А публику можно?..»

— «Можно, папа! Вотъ вы увидите, какъ меня будутъ хвалить за царя Митридата...»

— «А ты ее обманешь?..»

— «Обману, что дѣлать, обману... Опера не мой родъ; я не люблю оперы; пожалуй, я ихъ напишу сколько и какихъ угодно: маленькихъ, большихъ, веселыхъ, плачевныхъ; не моя часть; да что же дѣлать. Надо умѣть сочинять все, иначе нельзя написать ничего.., Квартетъ, папа, квартетъ...»

— «И для голосовъ...» замѣтилъ Мартини.

— «Нѣтъ, сначала для инструментовъ...»

— «Что въ нихъ? Испортишь чувство...»

Вольганъ задумался, и черезъ минуту сказалъ:

— «Хорошо! Да кто же будетъ пѣть мои квартеты?»

— «Глаза!» отвѣчалъ сухо Мартини и оборотился лицемъ къ Фаринелли: «Да, я нашелъ много вещей, въ старой музыкѣ, неисполнимыхъ, но для глаза очаровательныхъ. Massimo, помнишь ли ты наизустъ небольшой четыреголосный стихъ, что ты переписывалъ для себя въ пятницу?..»

— «Помню...» отвѣчалъ Березовскій.

— «Вотъ мы послѣ обѣда попробуемъ... Какъ разъ четыре голоса.»

— «Извольте!» сказалъ Фаринелли: «но каковъ-то у меня голосъ?..» и сталъ пробовать свой знаменитый сопрано; сначала тоны были нечисты, но мало по малу звукъ прояснивался; послѣ двухъ трехъ гаммъ, Фаринелли запѣлъ любимую свою аріэту; всѣ невольно задумались; каждый слушалъ

ее, какъ отрывокъ изъ политической жизни хозяина. Примѣтивъ впечатлѣніе, Фаринелли засмѣялся и остановился на половинѣ послѣдней фразы. Собесѣдники не выдержали, и хоромъ окончили арію. Это повело къ любопытнымъ разсужденіямъ о свойствахъ ритма и каденціи, а между тѣмъ западное солнце съ боку заглянуло въ галлерею и напомнило и гостямъ и хозяину, что уже не рано. Встали. Березовскій, никому не говоря ни слова, забрался въ кабинетъ Фаринелли, написалъ партію четырехголоснаго стиха, и вынесъ ихъ въ залъ, когда Моцарты уже прощались съ хозяиномъ. Видъ любопытнаго отрывка удержалъ всѣхъ и вся дворня, въ томъ числѣ и Опанасъ, сошлись слушать пѣніе къ стекляннымъ дверямъ залы. Всѣ согласились съ Мартини, что это превосходно и можетъ быть исполнено глазами, воображеніемъ, если не достанетъ въ пѣвцахъ искуства и знанія. «Это вѣчно!..» заключилъ Мартини: «а четыре пѣвца, по крайней мѣрѣ въ Болоніи, всегда сыщутся... Простите!»

— «Я съ вами не прощаюсь ..» сказалъ Фаринелли, провожая гостей: «Завтра, пана, пріѣзжайте ко мнѣ откушать съ дѣтьми и призовите новаго академика, непремѣнно академика!..»

— «Двухъ...» робко и едва слышно произнесъ Березовскій и покраснѣлъ до ушей. Фаринелли не слышалъ, что сказалъ Максимъ Созонтовичъ, но Мартини посмотрѣлъ на него своими блестящими, проницательными глазами, покачалъ головой и пошелъ молча къ осламъ. Дорогой Вольфангъ не

давалъ покою своему папа́, котораго всю жизнь такъ много любилъ и уважалъ. Сухость и важность Мартини не отталкивали отъ ученаго старца; напротивъ, какъ-то магически привлекали къ нему всякаго, сообщая немногимъ рѣчамъ его значеніе аксіомъ; вопросы и разсужденія лились изъ устъ филармоническаго кавалера, какъ тогда называли Моцарта въ Италіи. Живая исторія музыки, Мартини удовлетворялъ любопытству чуднаго мальчика съ необыкновенною краткостью и ясностью. Какъ ни занимателенъ былъ ихъ сочный разговоръ, особенно для музыка́нта, но Березовскій отсталъ отъ нихъ и ѣхалъ особнякомъ, въ глубокой думѣ... Опанасъ, примѣтивъ это, догналъ своего барина и нѣсколько времени ѣхалъ возлѣ него молча, собираясь съ мыслями или просто лѣнясь зача́ть разговоръ. Уже въ улицахъ Болоньи Опанасъ рѣшился сказать что-нибудь и почесавшись въ затылкѣ, проговорилъ сквозь зубы:

— «Вотъ ужъ города, такъ такого у насъ нѣтъ; и Кіевъ и Полтава такъ-себѣ, живутъ; да противъ здѣшнихъ городовъ — пасъ.»

— «Эхъ, Опанасъ! Надоѣли мнѣ эти города; пустая моя Украйна милѣе для меня и Флоренціи и самаго Неаполя... Подумай, Опанасъ, шесть лѣтъ, седьмое, мы тутъ маемся; пока языки выломали, пока къ житью-бытью чужому привыкли... Я благодаренъ отцу Мартини; многому я отъ него научился... Только онъ меня и держитъ тутъ; люблю его всею душею...»

— «А что жь? Возьмемъ съ собою на Украйну

и пана Мартына. Пускай послушаетъ нашихъ кіевскихъ пѣвчихъ. Пускай Вуколъ, что въ хорѣ у преосвященнаго, передъ паномъ Мартыномъ, по своему, басомъ протянетъ.»

— «Ой, Опанасъ, панъ Мартинъ свою сторонку такъ любитъ, какъ и мы свою. И правду сказать, есть за что. Божьими дарами словно церковь убрана; цѣлый край будто хоромы добраго и богатаго пана. Ходишь по комнатамъ, будто живыхъ людей, будто живую прекрасную сторону видишь; выйдешь на воздухъ, одна другой краше, картины стоятъ...

— «А на Украйнѣ?..»

— «А на Украйнѣ — и земля и люди степь неисходная, пустыня заглохлая...»

— «Какъ же вамъ не стыдно родную сторону такъ порочить!...»

— «Не порочу я Украйны... Сердце плачетъ, да правду говоритъ. Хотя бы вотъ и мое ремесло. Гдѣ таки найдешь ты тутъ такіе голоса, какъ у насъ на Украйнѣ. Помнишь, въ дожинки какъ распоются наши красавицы: сто горлышекъ такихъ, какихъ нѣтъ ни у одной итальянской актрисы.»

— «Э, мало ли чего, такъ то-же Украйна! Я самъ слышалъ одну дѣвку подъ Лубнами, что съ соловьемъ на выпередки заливалась. Что у нея тамъ въ горлѣ сидѣло, не знаю, только какъ пойдетъ языкомъ плясать, такъ будто дудка какая; то защебечетъ такъ мелко будто макъ сыплется; то загудитъ какъ вѣтеръ въ трубу; то тянетъ долго долго, будто нитку какую безъ конца прядетъ... Пусть

Богъ милуетъ... Я знаю, гдѣ она живетъ. Мы и ее пану Мартыну покажемъ; пусть только съ нами ѣдетъ...»

— «Какъ разъ! Онъ то *свое* дѣлаетъ, да мы чужой соръ возимъ. Намъ бы должно свою ниву пахать; да ба!»

— «Да отчего-же и ба! Вотъ вы теперь майстеръ; такъ и панъ Мартынъ говоритъ; вотъ и поѣдемъ до Кіева, да и заберемъ архіерейскихъ пѣвчихъ, да изъ братняго, да въ науку. А тотъ нашъ Румянецъ подможетъ.»

— «Теперь и Румянцева тамъ нѣтъ; пошелъ на Турокъ.»

— «Такъ чтожъ что пошелъ? Долго-ли ему Турокъ побить? Воротится. А мы покуда такую школу заложимъ, какъ у пана Мартына...»

Березовскій горько улыбнулся; хотѣлъ, но не успѣлъ отвѣчать. Мартини простился съ Моцартами у ихъ квартиры и поджидалъ остальныхъ спутниковъ. Березовскій подъѣхалъ и, не ожидая вопроса, сказалъ съ примѣтнымъ смущеніемъ:

— «Отецъ нашъ! Время мое прошло! Я долженъ оставить васъ! Я ѣду домой! Тамъ я нуженъ... Здѣсь я нуль...»

Мартини молча ѣхалъ дальше. Черезъ нѣсколько минутъ Березовскій опять началъ:

— «Я давно готовъ выдержать строгое академическое испытаніе. Но мнѣ не хотѣлось уѣзжать изъ Италіи. Послѣдняя честь не позволила бы мнѣ уже долѣе оставаться у васъ; и не робость, не трудность, нѣтъ, страхъ лишиться вашего общества удержи-

валъ меня отъ развязки... Опыты моихъ успѣховъ въ музыкѣ извѣстны вамъ, всей Италіи и Государынѣ Императрицѣ... Что я собралъ здѣсь, надо посѣять въ отечествѣ.»

Мартини молчалъ.

— «Прошу послѣдней милости!» продолжалъ Березовскій: «Допустите меня къ испытанію завтра же, вмѣстѣ съ Моцартомъ.»

— «Завтра, изволь! Но не вмѣстѣ... Это противу правилъ, академія не конское ристалище. Не тотъ хорошъ, кто лучше, а кто самъ собою хорошъ, по требованіямъ науки. Завтра, въ 10 часовъ утра — ты; въ 12 Вольфгангъ... до свиданія!»

На другой день рано по утру вся Болонья была взволнована вѣстію, что молодой Моцартъ дерзаетъ насильно ворваться въ святилище музыки, откуда со стыдомъ бѣжали цѣлыя полчища музыкантовъ съ репутаціей; композиторовъ, наводнившихъ итальянскіе театры разнаго рода и достоинства операми; капельмейстеровъ, управлявшихъ довольно важными публичными оркестрами. Званіе академика не только казалось, но въ существѣ было очарованнымъ, недоступнымъ замкомъ; для того, чтобы туда проникнуть, требовалось необыкновенныхъ свѣдѣній и силы духа. Болонскій академикъ во всей Европѣ имѣлъ такое же значеніе, какъ и въ самой Болоніи. Слава и достоинства Мартини и его неподкупныхъ совѣтниковъ были извѣстны всему сколько нибудь образованному міру. Это званіе уничтожало всѣ препятствія къ полученію важнаго мѣста, гдѣ бы то ни было; но избранный день не былъ благопріятенъ для

академиковъ Болонскихъ, какъ вы увидите. Соображая всѣ обстоятельства, остается думать, что всему виною дурно выбранный день. И погода была какая-то необыкновенная, непостоянная; дождь перемежался съ сѣверо-западнымъ вѣтромъ; было холодно, сыро. Не смотря на погоду, улицы были покрыты любопытнымъ народомъ. Bambino! мальчишка! шарлатанъ! отцевская кукла! и тому подобныя выраженія были слышны въ разныхъ мѣстахъ. Особенную дѣятельность языка и ногъ обнаруживали такъ называемые профессоры музыки; они вовсе не принадлежали къ академіи, занимались вольной практикой, учили пѣнію и писанію нотъ или игрѣ на инструментахъ; нерѣдко профессоры знали меньше своихъ учениковъ; этотъ классъ, до нынѣ существующій съ нѣкоторыми перемѣнами, тогда былъ весьма многочисленный; они составляли когорты или партіи извѣстныхъ людей, и даже академиковъ, въ надеждѣ посредствомъ лести, ласкательствъ, протекціи ворваться въ академію; но пока жилъ Мартини, патроны не могли пропустить въ академію ни одного кліента. Хотя на доскѣ, гдѣ обыкновенно выставлялись имена допускаемыхъ къ испытанію, написано было и имя нашего Березовскаго, но объ немъ никто не заботился. Любимый ученикъ Мартини, онъ не могъ не выдержать экзамена, тѣмъ болѣе, что онъ учился въ Болоніи шесть лѣтъ и посѣтилъ всѣ города, гдѣ жили ученые по его части. Никто не сомнѣвался въ успѣхѣ. Напротивъ того, всѣ были увѣрены, что строгость и проницательность Мартини обнаружатъ обманъ, которымъ отецъ

Моцартъ такъ давно дурачилъ всю Европу. Ударило девять часовъ. Двери академіи отворились. Оттуда въ красныхъ тогахъ и черныхъ шапочкахъ попарно вышли академики, цензора и наконецъ Princeps academiae, Мартини. Передъ нимъ на бархатныхъ подушкахъ младшіе капельмейстеры несли президентскій жезлъ и хартію. Вся академія перешла черезъ улицу въ ближайшую церковь, выслушала молебствіе и тѣмъ же порядкомъ возвратилась въ залу засѣданій, куда вслѣдъ за ними ворвалась и толпа народа. Два цензора поднесли Березовскому тему, заданную Мартини, увели его въ боковую комнату, тамъ заперли и воротились на мѣста. Прошло около получаса. Академики во все это время читали книги, каждый про себя; нѣкоторые писали музыку. Крикъ швейцара: Леопольдъ и Амедео Моцарты! раздвинулъ и взволновалъ толпу. Моцарты поклонились президенту, потомъ членамъ, наконецъ публикѣ. Все это совершалось съ театральною важностью. Мартини взявъ со стола жезлъ, другою рукою поднялъ бумажку. Цензора приняли ее почтительно и понесли къ Моцарту... За тѣмъ отца разлучили съ сыномъ и обоихъ заперли въ разныя боковыя комнаты. Публика не утерпѣла и громогласно одобрила эту мѣру предосторожности. Прошло не болѣе получаса. Березовскій и Моцартъ въ одно время трижды застучали въ двери; цензоры выпустили затворниковъ. Очередь была за Березовскимъ. Академики молча просмотрѣли его работу; многіе съ удовольствіемъ улыбались; послѣдній взялъ ноты

Мартини, нѣсколько разъ просмотрѣлъ ихъ съ начала до конца, взялъ опять жезлъ и всталъ; всѣ встали за нимъ и это было знакомъ единогласнаго одобренія... Dignus! сказалъ Мартини и цензоры, взявъ Березовскаго подъ руки подвели къ президенту для принятія диплома. Принявъ грамоту на всемірную извѣстность и музыкальную славу, Березовскій занялъ указанныя президентомъ кресла. Вся эта церемонія совершалась при громкихъ восклицаніяхъ публики. Пришла очередь Моцарта, — и толпа заволновалась и затихла; всѣ глаза были обращены на члена, которому по порядку приходилось читать работу Моцарта. Optime! воскликнулъ первый; mirandum! сказалъ другой. Восклицанія удивленія умножались болѣе и болѣе, возрастая съ переходомъ бумаги изъ рукъ въ руки. Одобрительная полуулыбка Мартини показалась и Моцарту и публикѣ какимъ-то сіяніемъ лучшей, высшей славы; и та же толпа, которая за часъ изрыгала хулу, вложенную въ уста народныя хлопотливою завистью, та же толпа отъ безмолвнаго удивленія перешла къ громовымъ изъявленіямъ восторга. Когда, по уставному порядку, цензоры усадили и Моцарта въ академическія кресла —Мартини поднялъ жезлъ — и все затихло. Рѣчь его была коротка и заключала родъ отцевскаго благословенія и напутствія молодымъ сочленамъ. Этимъ заключилась церемонія и президентъ съ тѣми же спутниками, на тѣхъ же ослахъ отправился къ Фаринелли. Хозяинъ ожидалъ ихъ на дорогѣ и весьма удивился, когда Мартини, вмѣсто одного академи-

ка, представилъ ему двухъ. До этого дня Фаринелли не обращалъ большаго вниманія на Березовскаго, почитая его обыкновеннымъ ученикомъ, прислужникомъ Мартини. — И вдругъ прислужникъ — Болонскій академикъ! Massimo, красивый, бѣлокурый Massimo, игравшій въ бесѣдахъ въ молчанку, сидѣвшій всегда въ углу, тише кошки и — онъ академикъ... Удивленіе Фаринелли возрасло еще болѣе, когда онъ узналъ, что этотъ Massimo — Русскій!

— «Эти Русскіе...» сказалъ онъ задумчиво: «надѣлаютъ много бѣдъ въ Европѣ. Вчера ночью я получилъ извѣстіе, которому съ трудомъ вѣрю... Русскій флотъ въ Дарданеллахъ!»

— «Возможно ли?» спросилъ удивленный Мартини.

— «А могъ ли я ожидать, что твой Massimo сегодня будетъ академикомъ. Какъ въ искуствѣ, такъ и въ политикѣ надо имѣть талантъ. Въ Петербургѣ теперь славная политическая академія и удивительный президентъ. Скоро всѣ наши географіи будутъ негодны. Екатерина сочиняетъ новую... Твой Massimo все-таки для меня загадка...» и Фаринелли сталъ распрашивать Березовскаго о разныхъ подробностяхъ жизни; собесѣдники изъявили также любопытство; Максимъ Созонтовичъ, блѣднѣя, краснѣя и запинаясь, принужденъ былъ разсказать свою исторію.

— «Мнѣ, право, совѣстно...» такъ началъ онъ: «Ужь сдѣлайте милость, извините... Я совсѣмъ не умѣю говорить... И что вамъ за охота и нужда

знать, кто я и откуда, и то и другое... Развѣ отъ того что нибудь прибудетъ или убудетъ... Право, не знаю, какъ вамъ это все и объяснить, потому что объяснять нечего, а стороны моей вы совсѣмъ не знаете и никогда о ней не слыхали. Китай и Америка для васъ ближе, чѣмъ моя Украйна... Тамъ, видите, все иначе, не такъ какъ въ другихъ земляхъ. Украйна не то, чтобы народъ какой былъ, а войско, казачество, рыцарство. И не то, чтобы войско, потому что есть помѣщики и мужики. Край чудный, край богатый, вашему въ Божьихъ дарахъ не уступитъ — да люди науки дичатся, хотя у нихъ подъ бокомъ въ Кіевѣ — академія. Рѣдкій помѣщикъ туда сына отпуститъ. Я былъ счастливѣе другихъ. Отецъ мой въ Петербургѣ по дѣламъ лѣтъ шесть прожилъ. Воротился въ свое село, видитъ: я подросъ; онъ отдалъ меня на руки вѣрному слугѣ и отправилъ въ Кіевъ; чему можно, тому я тамъ научился, а на досугѣ пѣсни складывалъ, составлялъ для нихъ свою музыку; какъ, не знаю, только начала гармоніи лежали въ душѣ моей; я писалъ на два, на три, потомъ и на четыре голоса; выходило складно; и товарищи и учители — дивились; донесли генералу Румянцеву; тотъ меня въ Императорскіе пѣвчіе отрекомендовалъ; отвезли меня въ Петербургъ; въ Петербургѣ сказали, что у меня есть талантъ и отправили въ Италію...»

— «И только?» спросилъ Мартини: «Больше нечего тебѣ разсказать, Массимо!»

— «Да что же вамъ еще разсказывать; что у

меня отецъ умеръ; что мнѣ надо ѣхать въ Петербургъ; тамъ у меня и служба и братья учатся. Богъ имъ не далъ музыки; надо имъ отдать земное въ руки; надо ѣхать поскорѣе; не то братьевъ въ армію на войну безъ меня уведутъ; вотъ и все...»

— «Такъ я-же доскажу, Массимо, если ты не хочешь...» сказалъ Мартини: «Года не прожилъ у меня Массимо, какъ я замѣтилъ необыкновенныя его способности; онъ не учился, а будто шелъ по лѣстницѣ, безъ труда и усталости; послѣ трехъ лѣтъ, я самъ послалъ ко двору Екатерины его церковныя сочиненія и не сомнѣвался въ успѣхѣ. Я видѣлъ пьесы Сарти; онъ не лучше. Я побоялся, чтобы привычка ко мнѣ не имѣла вреднаго вліянія на стиль и манеру; отправилъ его въ Верону, Парму, Миланъ, Римъ и Неаполь. Отовсюду онъ привезъ дипломы и не хотѣлъ нашего. До сего дня я цадилъ его скромность и любовался этимъ несомнѣннымъ признакомъ большаго таланта. Сегодня послѣдовала Emancipatio. Ты не ученикъ мой, а товарищъ. Теперь я могу хвалить тебя, не краснѣя.»

— «И такъ, Массимо, вы хотите насъ оставить; талантъ вашъ похоронить...»

— «Посвятить отечеству; оно въ немъ нуждается. Отецъ Мартини правъ: я пріобрѣлъ стиль и манеру, не отъ него, ото всѣхъ; сочиненія мои могутъ хвалить и чувствовать Итальянцы; дерево одно, но у него много вѣтвей; такъ и у музыки; итальянская музыка только вѣтвь, можетъ быть

главная, но дереву объ одной вѣтви быть нельзя; должны расти и другія; между нихъ должна быть и русская вѣтка; чужеземецъ не съумѣетъ ни привить ее, ни вырастить; для того надо быть Русскимъ. Надо открыть ея начала; ихъ обнаружитъ ученое наблюденіе; я помню такъ сказать цвѣтъ нашего церковнаго пѣнія и народныхъ пѣсень; въ нихъ много своего, какъ въ плодахъ земли; пусть будетъ тыква, да своя, не чужая дыня. Народной музыки еще нигдѣ нѣтъ въ правильномъ развитіи, а уже всѣ противу нее вооружаются. Значитъ она должна быть. Говорятъ: не вкусно, не нравится. Нашему брату подавай нашего перцу, Англичанину — англійскаго, Турку турецкаго, а у искуснаго повара — всѣ хороши. То, что есть — должно быть. Не вытопчешь, не вырѣжешь ничего изъ Божьяго міра. Не уничтожай ничего; улучшай все! Перваго ты сдѣлать не можешь; второму благодатная помощь отъ Бога прійдетъ; ткали рогожу, доткались до батиста...»

Massimo замолчалъ и голова его упала на грудь, распаленная размышленіями и усиліемъ высказать свою мысль.—Итальянцамъ не совсѣмъ была понятна тоска Березовскаго, но маленькій Моцартъ легко понялъ Максима Созонтовича; онъ самъ думалъ тоже... Не смотря на всѣ усилія Фаринелли, разговоръ не могъ возобновиться. Березовскій упорно молчалъ. Бесѣда переходила на другіе предметы, но все какъ-то урывочно, нескладно и гости на этотъ разъ уѣхали раньше обыкновеннаго. Березовскій тихо прошелъ въ свою

комнату и въ какой-то безотчетной задумчивости ходилъ взадъ и впередъ; удивительно, какъ у него голова не закружилась отъ безпрерывныхъ оборотовъ, потому что во всей діагонали его комнатки не было болѣе двѣнадцати шаговъ; онъ умъ въ передней прекратилъ эту ходьбу, похожую на движеніе маятника.

— «Не до насъ!» говорилъ Опанасъ за дверьми: «Изъ Петербурга еще могутъ быть письма отъ Ивана, или отъ Терентія Созонтовича, а то изъ какой-то Ливорны; такого и города нѣтъ: а если и есть, такъ мы тамъ не бывали; кто же до насъ станетъ писать. Вѣрно кому нибудь другому. И безъ насъ есть на свѣтѣ Березовскіе. Вотъ въ Черниговѣ—генеральнымъ судьей—Березовскій...»

— «Да ужъ это навѣрно къ твоему господину...» отвѣчалъ неизвѣстный голосъ: «Поди, доложи!»

— «Стану я докладывать! я могу и просто сказать, да не можно; только что съ панамъ Мартыномъ съ хутора вернулись, отдыхать легли...»

— «Нѣтъ, я не сплю!» сказалъ Березовскій, выходя изъ своей комнаты: «Что такое?...»

— «Да что такое! Навязываетъ письмо. Говоритъ изъ Ливорны...»

Березовскій уже не слушалъ Опанаса; въ рукахъ его дрожало письмо; на немъ странная надпись: *Любезнѣйшему брату нашему Максиму Созонтовичу; въ Болоньѣ, а нѣтъ въ Болоньѣ, то въ другомъ Итальянскомъ городѣ, гдѣ есть пѣвчіе или музыка.* За тѣмъ мелкими буквами приписанъ былъ

по-итальянски дѣйствительный адресъ Березовскаго.

«Вотъ, любезнѣйшій братецъ нашъ Максимъ Созонтовичъ! и не дождались мы васъ, и всѣ въ ротѣ надъ нами смѣялись, глаза колюли, что братецъ итальянскій пѣвчій, за горами пѣсни поетъ, да за Итальянками ухаживаетъ, а насъ уже на коронный коштъ обмундѣрили, обстригли и отослали сюда въ приморскій городъ Ливорну, для того, что, какъ наши корабли изъ Туречины придутъ, то и насъ заберутъ и завезутъ на греческіе острова гарнизоны держать. Мы всѣмъ довольны, только бы хотѣли повидаться съ вами, братецъ Максимъ Созонтовичъ. Намъ изъ Ливорны нельзя, а вамъ сюда можно. Будьте ласковы, любезнѣйшій братецъ, пріѣзжайте. Турковъ слышно на голову побили, корабли вернуться могутъ и насъ заберутъ. Тогда поминайте какъ звали. Съ чувствительнѣйшимъ почтеніемъ и неложною преданностію, остаемся ваши, любезнѣйшіе братцы Иванъ, да Терентій Березовскіе...»

Въ тотъ же день, ночью, Максимъ Созонтовичъ съ Опанасомъ отправились въ Ливорно; на дорогѣ они повстрѣчали многихъ русскихъ и чужестранныхъ курьеровъ, но ни одинъ не могъ или не хотѣлъ объяснить имъ съ какою вѣстію ѣхалъ. Наконецъ они достигли Ливорно; толпы народа волновались по улицамъ; одни другимъ пересказывали всѣмъ извѣстную повость; Максимъ Созонтовичъ не рѣшался спросить въ чемъ дѣло; какое-то невольное опасеніе его удерживало; уди-

вленіе и любопытство его возрасли, когда въ гостинницѣ сказали ему, что всѣ Русскіе, сколько ихъ тутъ ни было, уѣхали въ гавань, на русскій корабль, поутру приплывшій въ Ливорно. Поручивъ Опанасу устроиться на квартирѣ, Максимъ Созонтовичъ поспѣшилъ въ гавань, сѣлъ въ первую лодку, какая ему попалась и поплылъ къ кораблю, видъ котораго наводилъ уныніе и вселялъ тревогу въ душѣ Березовскаго. Безъ мачтъ и парусовъ стоялъ онъ; во многихъ мѣстахъ ребра его были избиты, изломаны; тысячи лодокъ какъ стая хищныхъ птицъ около слоноваго трупа, кружились на покойномъ какъ зеркало морѣ; почти на всѣхъ лодкахъ сидѣли нарядно разодѣтыя дамы; на палубѣ корабля-инвалида гремѣла музыка, раздавались веселые клики; на одной сторонѣ палубы ставили зеленую палатку и сердце Березовскаго радостно вздрогнуло, когда на этомъ шатрѣ, вмѣсто мѣднаго шарика, загорѣлся золоченый крестъ. Окрестъ представлялась картина очаровательная; стѣны, возвышенія, крыши, все покрыто было пестрою толпою народа; на всѣхъ корабляхъ, стоявшихъ въ гавани, развѣвались всѣ европейскіе флаги; казалось вся Европа чему-то радуется, и виновникомъ этой радости явственно былъ русскій разбитый корабль. Гребецъ повернулъ мимо корабля.

— «Причаливай!» закричалъ Березовскій.

— «Нельзя...»

— «Я Русскій!» еще громче прикрикнулъ Березовскій и лодочникъ почтительно снялъ шляпу.

причалили. Въ одно мгновеніе Березовскій взобрался на палубу; но тамъ уже все утихло; солдаты окружали зеленую палатку съ обнаженными головами. Клиръ гремѣлъ молебныя пѣсни; Березовскаго охватило неописуемое чувство; дыханіе у него остановилось; сердце сжалось; мгновеніе— и слезы брызнули въ три ручья; рыдая, онъ бросился въ палатку и распростерся передъ походнымъ престоломъ. Тебѣ Бога хвалимъ, тебѣ благодаримъ, вмѣстѣ со священникомъ запѣлъ Березовскій звучнымъ, серебрянымъ теноромъ, и обратилъ на себя общее вниманіе. Изъ угла раздались крики.. «Это вы, братецъ, это вы, Максимъ Созонтовичъ!..» И братья, проливая радостныя слезы, обнялись съ надлежащею горячностью. Максимъ Созонтовичъ разчувствовался, совершенно забылся и сталъ по порядку обнимать всѣхъ присутствовавшихъ; дошла очередь до какого-то генерала; тотъ не отказался отъ такого искренняго поздравленія: обнялъ Березовскаго и спросилъ: откуда пожаловать изволилъ? Тутъ только опомнился Березовскій, смутился не на шутку и отступая бормоталъ какія-то несвязныя извиненія.

— «Это нашъ братецъ, Максимъ Созонтовичъ Березовскій!» сказалъ братъ Иванъ: «Мы уже докладывали вашему сіятельству.»

Князь протянулъ Березовскому руку. Видя, что тотъ пришелъ еще въ большее смущеніе, князь взялъ его за руку не ниже плеча, поставилъ возлѣ себя и сказалъ тихо: «Радъ знакомству съ вами, но дослушаемъ молебствіе.» Вскорѣ съ ко-

рабля раздались пушечные выстрѣлы и громкое ура! Лодки любопытныхъ Ливорнцевъ отхлынули, хотя это была самая интересная минута праздника. Князь вышелъ на палубу, и принималъ поздравленія.

— «Теперь, господа, пообѣдаемъ!» сказалъ князь. «Мы растаемся кажется на долго. Надо снѣшить. Посидимъ въ темницѣ. Я надѣюсь выпросить у тосканскаго правительства льготу для побѣдителей Турковъ; мы уже очистились отъ чумы чесменскимъ огнемъ. Пусть зачтутъ намъ это время въ карантинный срокъ...»

Это замѣчаніе навело на всѣхъ уныніе. Тутъ только вспомнили всѣ, что по тогдашнимъ правиламъ и понятіямъ о чумѣ, — они безъ исключенія и снисхожденія подвергались сорока-дневному карантину. Положимъ, побѣдители Турковъ — соприкасались съ носителями чумы; но ихъ гости невинно попались въ ту же категорію, не убивъ ни одного Турка; чувство патріотизма перенесло ихъ на корабль, откуда не было возврата до истеченія сорока дней. Но Русскій не знаетъ продолжительнаго унынія. Нѣсколько мгновеній неудовольствіе выражалось короткими фразами; удачная шутка розогнала досаду и пошелъ пиръ горой, продолжавшійся до глубокой ночи. Карантинъ, какъ и всѣ карантины, сначала былъ весьма строгъ; пристава объѣзжали корабль на лодкахъ, не смѣя къ нему приблизиться; но мало по малу стали вступать въ разговоры съ оцѣпленными; привозили все нужное изъ города, принимали подарки; раз-

рѣшеніе изъ Флоренціи пришло тогда уже, когда не было нужды въ разрѣшеніи. Всѣ офицеры не только побывали въ Ливорнѣ, но посѣтили театръ, слушали оперу и на кораблѣ другъ другу сообщали свои небывалыя городскія похожденія по амурной части. Одинъ только Березовскій ни за что не хотѣлъ съѣхать въ городъ до истеченія срока; черезъ другихъ посылалъ наставленія и деньги Опанасу и съ жадностью слушалъ и переслушивалъ разсказы о чесменскомъ побоищѣ. Но вотъ, всѣ градскія власти на великолѣпной лодкѣ пристали къ кораблю, поздравили князя съ неслыханной побѣдой и объявили объ окончаніи карантина. — Князь на скоро простился съ ними и со своими, сѣлъ въ шлюпку, и отправился въ Ливорно. Лодочники окружили корабль и сняли съ него всѣхъ офицеровъ и гостей. Березовскіе также переѣхали въ Ливорно, и само собою разумѣется, расположились на житье у Максима Созонтовича въ выгодной квартирѣ въ лучшей городской гостинницѣ. Опанасъ имѣлъ довольно времени къ принятію дорогихъ гостей. Онъ встрѣтилъ ихъ у пристани.

— «Ѣдутъ! Ѣдутъ!» закричалъ онъ во все горло, завидя Березовскихъ. «А и молодцы же какіе! До Максима добираются; и доберутся, какъ подростутъ. Здравствуйте, Иванъ Созонтовичъ! здравствуйте, Терентій Созонтовичъ! здравствуйте! Вотъ же, Богъ знаетъ гдѣ, на краю свѣта, а привелось увидѣться. А видно таки въ школѣ васъ хорошо кормили! Видишь, какіе толстенькіе. Даромъ что

молодость! Вотъ я люблю васъ за это, что на сухари не похожи... А что за городъ пречудесный! двухъ глазъ мало, всего насмотришься: пойдемте, я вамъ покажу пушкарню, или гдѣ большія веревки вертятъ...»

— «Нѣтъ, Опанасъ! дай намъ прежде дома осмотрѣться, а тогда уже...»

— «Домой, такъ домой, а въ пушкарню завтра. И то правда, что панъ Мартынъ изъ деревни наши деньги получилъ и сюда прислалъ; да еще былъ какой-то жидъ или цыганъ; спрашивалъ васъ, пана Максима. Я ему сказалъ: панъ на морѣ живетъ, ступай туда... Да каждый день приходитъ. И сегодня былъ. Вы съ нимъ осторожно. Должень быть изъ таковскихъ, какъ говорятъ Москали. Вотъ и домъ! Вотъ эта лѣстница наша; мы тутъ одни; и ключъ у меня; вотъ тутъ будетъ спальня, какъ въ академіи; тамъ учиться, а здѣсь обѣдать...»

— «Чему учиться?» спросилъ Иванъ.

— «Вотъ это вы изъ школы выскочили, да и забыли про науку. Нѣтъ, панычу! Максимъ Созонтовичъ все учится, каждое утро поетъ, играетъ и пишетъ.»

Въ это время Максимъ Созонтовичъ распечаталъ огромный пакетъ, присланный отъ Мартини; свертки съ червонцами упали на полъ; но Березовскій не обращалъ на нихъ вниманія; онъ жадно читалъ огромный листъ; то былъ дипломъ Болонскаго музыкальнаго общества на званіе капельмейстера. Новая и важная честь; она чувствительно тронула

Болонскаго академика; онъ зналъ, что этой честью онъ обязанъ Мартини. Не успѣлъ онъ раздѣлить своей радости съ братьями, Опанасъ, взглянувъ въ окно, закричалъ: «Прячьте деньги! Жидъ идетъ!..» И черезъ нѣсколько мгновеній раздался вопросительный звукъ въ двери. «Войдите!» сказалъ Березовскій и въ комнату съ низкими поклонами вошелъ человѣкъ небольшаго роста; наружность его совершенно оправдывала мнѣніе Опанаса...

— «Что вамъ угодно?» спросилъ Березовскій...

— «Много и высоко уважаемый членъ Болонской академіи и капельмейстеръ знаменитаго общества не пріймете за дерзость — искреннѣйшаго желанія содержателя здѣшняго театра — свести съ нимъ знакомство. Отецъ Мартини...»

— «Очень радъ съ вами познакомиться! Садитесь! мы только что воротились изъ карантина! Не успѣли осмотрѣться...»

— О, простите, простите, тысячу разъ простите! назначьте время, когда я могу имѣть счастіе представить вамъ мое предложеніе...»

— «Какое предложеніе?»

— «Санъ Себастіано, театръ нашъ, по удивительному превосходству прима-донны и другихъ сюжетовъ, можетъ быть самостоятельнымъ, но вы знаете, что мы получаемъ всѣ оперы очень поздно отъ переписчиковъ, а это приходится очень дорого; наши слушатели люди торговые, бываютъ въ разныхъ городахъ, слышатъ музыкальныя новости прежде, и въ Ливорнѣ ходятъ въ С. Себастіано только отъ нечего дѣлать. Надо бы свою оперу,

знаменитой руки — и С. Себастіано привлечетъ въ Ливорно слушателей даже изъ другихъ городовъ. У меня оперы не спишутъ, за это ручаюсь. Такъ вы мнѣ позволите ли, знаменитый мужъ, прійдти къ вамъ...»

— «Если за оперой, напрасно будете трудиться. Это не мой родъ... Я далъ себѣ слово никогда не писать оперъ...»

Impressario истощилъ всѣ краснорѣчивыя убѣжденія, расточалъ безстыдную лесть, все напрасно. Березовскій не согласился. Опечаленный Sisto, такъ назывался содержатель Ливорнскаго театра, вздохнулъ, вынулъ четыре билета и, положивъ ихъ на столъ, сказалъ съ улыбкой: «Я не теряю надежды! На этотъ разъ смѣю надѣяться, что вы не откажетесь удостоить С. Себастіано вашимъ посѣщеніемъ сегодня, въ 6 часовъ. «Гекуба» opera Seria! Вашъ преданнѣйшій слуга!»

И неожидая отвѣта, Sisto ушелъ.

—

II.

PRIMA-DONNA.

Что такое — поэзія, если не живое воспоминаніе? Откуда набираютъ поэты столько воспоминаній? Душа помнитъ; разумъ только вѣритъ; а гдѣ что видѣлъ, слышалъ, объ этомъ не спрашивайте; можетъ быть память сохранила впечатлѣніе сна; осуществила воспоминаніе о томъ, что было до рожденія; вездѣ тайна; во всемъ тайна; что было сегодня знаніемъ, завтра отошло въ область по-

басенокъ, въ пищу такъ называемому невѣжеству. Выводы опыта не лучше догадокъ; безчисленны явленія; ни одной причины и тма умничаній, исполняющихъ должность причинъ — но за то явленія увлекательны; ихъ вліяніе волшебно; мелодія, напримѣръ, явленіе самое поэтическое, но что, откуда оно? Съ какого свѣта отголосокъ; какъ пришла она въ Божій міръ, куда летитъ отъ насъ; неужели воздухъ не имѣетъ памяти и ничего не сохраняетъ? Композиторъ, говорите, сочинилъ мелодію. Полноте. Отъ чего же я плачу, слушая эту мелодію, отъ чего я понимаю ее; знаю, что онъ первый облекъ ее въ ноты; этотъ подвигъ принадлежитъ ему, а мелодія моя, ваша. Есть и такія мелодіи, которыя ни мои, ни ваши, а композитора; но эти мелодіи не мелодія; это ноты, сложенныя въ осмитактную фигуру, какъ лоскутки картона въ головоломкѣ (Casse-tête). Нѣтъ, та, *моя — ваша* мелодія не носитъ признаковъ человѣческаго созданія; она унала изъ головы человѣка, какъ золотая пылинка, брошенная случайной волной на прибрежный песокъ; люди хитры; они умѣли усадить безплотный огонь на вожойныхъ свѣтильняхъ; нечего дивиться, что и другое безтѣлесное явленіе могло получить у нихъ такую же осѣдлость и человѣческій голосъ присѣлъ въ клѣткѣ линеекъ на разнообразныхъ крючкахъ. Его читаютъ, какъ мысль словесную; это не бѣда, напротивъ, полезно, но вотъ что жаль: иные слушаютъ музыку будто разбираютъ египетскіе іероглифы и этому несчастію подвергаетъ ученіе.

Братья Березовскіе, военные, слушали увертюру съ удовольствіемъ, арію прима-донны съ восторгомъ; Максимъ Созонтовичъ — ему нечего было читать въ этой музыкѣ; и когда разношерстная публика С. Себастіано, по окончаніи аріи, стала кричать и хлопать—Максимъ Созонтовичъ съ изумленіемъ оглядывался и не понималъ причинъ. Онъ не зналъ, что причину онъ давно потерялъ, выкурилъ ее изъ себя ученіемъ, а окружающіе носили ее безъ устали и вѣроятно всѣ умерли вмѣстѣ съ нею. По прожденной добротѣ и снисходительности, Максимъ Созонтовичъ не хотѣлъ выйдти изъ театра; пусть себѣ поютъ, дослушаю, думалъ онъ; ужъ другой разъ за то не пойду; пошлю Опанаса, ему понравится.— Онъ бы еще что нибудь придумалъ, да на сцену вошелъ хоръ: три души мужеска и двѣ женска пола пропѣли, пробормотали и къ Гекубѣ, то есть прима-доннѣ, подошла молодая дѣвушка, запѣла речитативъ и увлекла все вниманіе Березовскаго. Весь речитативъ состоялъ изъ десяти словъ, но каждое было произнесено такъ вѣрно, выразительно, сильнымъ, звучнымъ и неисповѣдимо пріятнымъ сопрано, что Максимъ Созонтовичъ, къ общему соблазну, воскликнулъ громко: «Вотъ эта знаетъ, что поетъ.» По несчастію, эти слова вырвались по итальянски, возбудили смѣхъ, досаду въ приверженцахъ Гекубы; въ бѣдную дѣвушку полетѣло нѣсколько яблокъ; раздался сильный свистъ; присутствіе Русскихъ, побѣдителей Турковъ, выручило Березовскаго отъ непріятностей; но пѣвица, смущенная, расплака-

ная, должна была сойдти со сцены и во всю оперу болѣе не появляться передъ раздраженными слушателями. Изъ театра молодежь толпами повалила въ кафе; больше всего набралось народа въ кафе, которое смѣтливый хозяинъ назвалъ русскимъ. Офицеры пристали къ Максиму Созонтовичу...

— «Что вы сегодня откололи въ театрѣ? Неужели вамъ не понравилась прима-донна?» спрашивали наперерывъ знакомые и незнакомые. Березовскій качалъ головой въ какой-то странной задумчивости. Докучливые вопросы, умножаясь, принудили его къ объясненію.

— «Я сказалъ, что думалъ. Могъ ошибиться и можетъ быть ошибся. Но прима-донна поетъ, какъ всѣ нынѣшнія итальянскія пѣвицы; ломаетъ музыку, чтобы удивить пустяками... Пѣніе выражаетъ-же что нибудь, а мы половины словъ и не поняли; они погибли въ блестящихъ staccato. И все это, по совѣсти, происходитъ отъ того, что она не понимаетъ, что поетъ... тогда какъ другая...»

— «Хороша собой, какъ прелестная мечта Гвидо-Рени» замѣтилъ офицеръ, который любилъ говорить о живописи. «Она не уйдетъ отъ меня. Я радъ ея несчастію; теперь она будетъ нуждаться въ утѣшеніяхъ, а я на это мастеръ. Отъ Чесмы до Ливорно, я только о томъ и думалъ, какъ бы завести интрижку съ актрисой. Говорятъ, это въ большой модѣ, а вотъ и мы повѣримъ, хороша ли мода. Я уже въ театрѣ пріискалъ себѣ человѣчка, который знаетъ хорошенькую хористку и очень огорчился, когда ее постигло театральное несчастіе. Я

съ нимъ тотчасъ познакомился. Вы знаете, я на это мастеръ; мы сговорились завтра вмѣстѣ обѣдать; условимся и дѣло пойдетъ на ладъ...»

— «Видно, что новичекъ!» сказалъ морякъ, о бросившій ужасными бакенбардами. «Еслибъ ты, Ваня, поѣздилъ по разнымъ странамъ съ наше, ты бы умѣлъ обходиться безъ чужой помощи; въ дѣлахъ любви третій всегда или соперникъ или предатель...»

— «Или плутъ, которому нужны деньги...»

— «Ну, постой же, Ваня! Хотя мнѣ надоѣли женщины до нельзя, да ужъ такъ и быть... я знаю, что я сдѣлаю...»

— «Что же ты сдѣлаешь?»

— «Мое дѣло...»

— «Послѣ меня, пожалуй, но ужъ прежде извини!..»

— «Признаюсь...» прервалъ очень молодой человѣкъ, не имѣвшій еще и офицерскаго чина: «Хористка и мнѣ ужасно понравилась. Я тоже думалъ за ней приволокнуться; но я умѣю быть хорошимъ товарищемъ и уступаю Ванѣ... Мы себѣ найдемъ...»

Такъ дѣлила молодежь между собою вѣрную, по ихъ мнѣнію, добычу; рѣчи ихъ тяжелымъ свинцемъ падали на душу Березовскаго и будили въ ней чувство сильное, чувство прекрасное—состраданіе. Ему хотѣлось бы вырвать у одного изъ рыцарей шпагу, бѣжать къ порогу несчастной и стать на защиту ея невинности... Невинность? О! въ этомъ Березовскій былъ увѣренъ. Въ немногихъ звукахъ роковаго речитатива она сказала Березовскому, такъ тайно, что никто болѣе не

слышалъ, всю чистоту души свѣжей; въ пѣніи ея господствовало спокойствіе совѣсти, въ лицѣ... вотъ лица-то онъ и не успѣлъ разсмотрѣть; это обстоятельство возбудило въ немъ досаду; онъ рѣшился удовлетворить своему любопытству; было еще не поздно; Березовскій схватилъ шляпу и ушелъ... «Куда?» закричало сто голосовъ. «Сей часъ прійду!» отвѣчалъ онъ уже съ площади, и узнавъ въ театрѣ, гдѣ живетъ Sisto, прямо къ нему отправился. Докладываться не было ни какой нужды; двери были отперты; живой разговоръ, какъ ручей, лился шумно въ гостинной...

— «Да кто закричалъ?» говорилъ Систо: «Скажите мнѣ кто кричалъ?»

— «Все равно!» вопила синьора Ладичи, примадонна, еще въ костюмѣ Гекубы.

— «Совсѣмъ не все равно! Какой-нибудь отчаянный Венгерецъ гаркнулъ съ просонья, а вы приняли это...»

— «Повторяю тебѣ, Систо, что для меня все равно. Вонъ Матильду! Вонъ! Сейчасъ! Чтобы она не смѣла являться на однѣхъ доскахъ со мною! Вонъ! Дрянь! Она подучила этого варвара, подкупила своими прелестями...»

— «Синьора Ладичи!» отозвался звучный, покойный голосъ женщины. «Я теряю хлѣбъ насущный изъ вашего упрямства. Это еще не бѣда. Но у меня нѣтъ ни одного любовника...»

— «Сто! Любовника въ твоемъ званіи имѣть не стыдно; но у тебя ихъ много и всѣ должны скрываться въ тайнѣ — это ясно...»

— «Мнѣ, право, совѣстно васъ слушать... Я лучше уйду...»

— «Нѣтъ, не уйдешь! Прежде надо рѣшить, кому изъ насъ оставаться на театрѣ Себастіано...»

— «Позвольте, сдѣлайте милость!» опять началъ Систо. «Прежде надо узнать кто кричалъ?..»

— «Вотъ кто кричалъ!» съ бѣшенствомъ закричала Ладичи, указывая на входящаго Березовскаго...

— «Маэстро Массими!»

— «Маэстро Массими!» повторили женщины и всѣ онѣмѣли...

— «Я не кричалъ, а громко сказалъ мое мнѣніе и въ немъ, кажется, нѣтъ ничего обиднаго. И вамъ, первой пѣвицѣ, должно быть пріятно, что при васъ и второстепенныя актрисы понимаютъ свое дѣло.»

— «Ну, вотъ видите!» прервалъ радостно Систо: «Я вамъ говорилъ, что тутъ не было ничего обиднаго. Слава Богу, что вы, высокопочтенный мужъ, пришли ко мнѣ на помощь; безъ вашего вмѣшательства мы бы никогда не кончили этой исторіи.»

— «А ты полагаешь, что исторія кончена!» съ злобнымъ смѣхомъ вскрикнула Ладичи: «Я или она! Выбирай сегодня, сейчасъ, сію минуту...»

— «Signora divina...»

— «Я или она! Въ послѣдній разъ спрашиваю: я или она!»

— «Конечно вы, но... Она ушла! Господи Боже мой, скорѣе вы, знаменитый маэстро, напишете

десять опер, нежели Ладичи уступить мнѣ на волосъ! Отъ огня, меча, воды и прима-донны избави насъ, Господи! Нечего дѣлать, Матильда, мы должны разстаться...»

— «Я сама это вижу...» сказала Матильда съ тихою грустью: «особенно послѣ сегодняшняго происшествія...» и она печально взглянула на Березовскаго. Максимъ Созонтовичъ былъ тронутъ положеніемъ Матильды, но чѣмъ помочь горю? Душа его волновалась; сердце билось; онъ не смѣлъ смотрѣть на Матильду; она встала тихо со стула, подошла къ Систо и сказала шепотомъ:

— «Потрудитесь со мною разсчитаться...»

— «Въ томъ-то и бѣда» отвѣчалъ смущенный Систо: «что у меня нѣтъ ни павла; вы видѣли сегодня, въ кассѣ со мной сидѣлъ полицейскій чиновникъ и забралъ весь сборъ на уплату долговъ нашихъ... Еще одно, два представленія такія, какъ сегодня... и я чистъ, поправлюсь, заплачу вамъ съ благодарностью, пріищу вамъ мѣсто, гдѣ-нибудь въ ближайшихъ городахъ... Чортъ возьми эту Ладичи! Безъ нея... Право, отдамъ, ей Богу отдамъ; повремените три четыре дня...»

Матильда горько улыбнулась и Систо замолчалъ отъ смущенія.

— «Куда я уѣду!» сказала Матильда: «Зачѣмъ я уѣду! О! я знаю, чувствую сама, что у меня достало бы дарованія и для большихъ ролей, но гдѣ мнѣ учиться, на что нанять учителя...»

— «Въ этомъ вы не нуждаетесь!» поспѣшно перебилъ Березовскій. «Позвольте предложить мои

услуги; я останусь въ Ливорно всю зиму, а въ нѣсколько мѣсяцевъ можетъ быть, синьоръ Ладичи прійдется учиться у васъ...»

— «Какое неожиданное счастіе! какой благопріятный оборотъ принимаетъ наше дѣло! Но, ради Бога, сохранимъ все это въ тайнѣ. Я женѣ не скажу... Что-же вы не радуетесь благополучію вашему, синьора? Кладъ упалъ съ неба, а вы лѣнитесь нагнуться, чтобы поднять его... Кланяйтесь, благодарите! Маэстро Массимо первый ученикъ отца Мартини...

— «Знаю... но гдѣ и чѣмъ мнѣ жить? Меня держали на хлѣбахъ добрые люди въ долгъ; сомнѣвались и надѣялись, что вы заплатите; теперь и сомнѣніе и надежды изчезнутъ...»

— «Кто вамъ сказалъ, синьора? Кто вамъ сказалъ? Вотъ ваши деньги сполна! Расплатитесь съ добрыми людьми. Вотъ вамъ шесть червонцевъ впередъ. Вы будете получать исправно ваше жалованье, и не будете играть на театрѣ. Согласитесь, такого предложенія никто вамъ не сдѣлаетъ...»

— «Но...

— «Да что тутъ много говорить. Берите ваши деньги, ступайте! Помните, что мы съ вами поссорились, разошлись! Тайна между насъ троихъ. Учитесь!...»

— «Но я не хочу быть въ долгу...»

— «О, помилуйте, разсчитаемся! Съ перваго вашего дебюта я выручу всѣ мои издержки втрое! Уходите; Ладичи можетъ возвратиться, замѣтитъ

нашу сдѣлку и тогда сядетъ мнѣ на шею. Ради Бога, уходите! Маэстро Массими васъ проводитъ! Уходите, жена моя воротилась; она съ нею въ дружбѣ! Уходите, ну, такъ я самъ уйду! Прошу покорно оставить и мой театръ и мой домъ! Надѣюсь, мы больше не увидимся, убирайтесь!» и Систо ушелъ, хлопнувъ дверью, въ самое то время, когда красиво разодѣтая, блистательной красоты женщина вошла въ комнату и съ изумленіемъ слушала окончаніе разговора.

— «Что это значитъ, Матильда?» спросила жена Систо съ видомъ милостивой покровительницы: «Неужели ты должна пострадать за глупыя слова какого-то невѣжи? Я въ театрѣ не была, но мнѣ разсказывали...»

— «Простите, прекрасная синьора!» сказалъ Березовскій. Систо взглянула на него гнѣвно, но замѣтивъ красивую наружность гостя, ласково улыбнулась. Березовскій почтительно продолжалъ: «Конечно, Матильда не заслужила такого наказанія за чужую вину, но дѣло кончено. Супругъ вашъ исполнилъ только желаніе Ладичи — и вмѣстѣ желаніе Матильды.»

— «Развѣ такой ребенокъ можетъ уже имѣть желанія?..»

— «Пока только одно: славы первой итальянской пѣвицы!» и схвативъ за руку Матильду, Березовскій почти насильно вывелъ ее изъ дому, при громкомъ хохотѣ жены Систо...

— «Куда идти?» глухо спросилъ Максимъ Созонтовичъ. Матильда рукой указала въ переулокъ

и пошла впередъ молча. Березовскій проводилъ ее до дома, при прощаніи сухо сказалъ: «Простите, до завтра!» возвратился домой, не отвѣчалъ на вопросы Опанаса, не замѣтилъ отсутствія братцевъ; улегся, но спать не могъ.

— «Я испортилъ, я долженъ и поправить это дѣло!» думалъ онъ, метаясь на постели: «Но что, ежели я ошибся!.. Весьма легко... десять словъ!.. заученыхъ на двухъ трехъ счастливыхъ нотахъ... Наружность... (Березовскій покраснѣлъ) наружность чудная, глаза большіе, губы... (лихорадочная дрожь пробѣжала по всему тѣлу)... Но наружность одна не выкупитъ...» — И мысль за мыслію, мечта за мечтой, высыпали шумнымъ, блестящимъ роемъ, какъ-будто ночь освѣтилась горящими разноцвѣтными мушками въ этомъ фантастическомъ мірѣ и пѣли такъ отрадно, и уста... тѣ, что пѣли... Но всего не перескажешь... Приходъ братцевъ, довольно шумный и веселый, на мгновенье разогналъ свѣтлыя мечты; ночь опять потемнѣла, Максимъ Созонтовичъ притворился крѣпко спящимъ; Опанасъ сказалъ, что баринъ легъ не совсѣмъ здорово, и братцы присмирѣли, улеглись и за правду заснули. Тогда изо всѣхъ угловъ, съ неба, изъподъ земли, надъ головой Максима Созонтовича собрались безплотные и завели прежнюю свою пирушку. Крѣпко подружились они съ Березовскимъ, но солнечный лучь разогналъ ихъ и поднялъ на ноги любимца свѣтлыхъ видѣній. Братцы еще спали; а Максимъ Созонтовичъ съ нотами и скрипкой подъ мышкой стоялъ уже въ бѣдной гостин-

ной, откуда разогналъ полунагихъ и полусонныхъ дѣтей. Въ другой и послѣдней комнатѣ этой жалкой квартиры, шушукали нѣсколько человѣкъ, суетились, возились; только и можно было разобрать: Надѣнь, ангелъ мой, бѣлую мою косыночку. Тебѣ она очень къ лицу... Паоло, отойди отъ дверей! стыдно подсматривать черезъ щелку... и тому подобныя родительскія наставленія. Наконецъ тотъ же голосъ произнесъ шепотомъ: Смѣло! смѣло! чего бояться! — Двери тихо отворились, поскрипывая весьма немузыкально и въ гостинную вошла дрожащая Матильда. Она не смѣла поднять глазъ и потому не видѣла, что Максимъ Созонтовичъ, по особенному какому-то чувству, не поклонился, а присѣлъ какъ-то, понизился и зажмурился. И было отъ чего! Только въ полный день Матильду нельзя было назвать красавицей, потому что этого полнаго названія было бы мало; только въ полный день, когда ни одна коварная тѣнь не могла украсть у Матильды малѣйшей частички ея красоты, можно бы утверждать и биться объ закладъ, что она не дѣва земная, а гостья съ другаго міра; знали это и Ладичи и жена Систо, и одѣвали ее уродливо и красили не въ попадъ; и все еще не могли показать ее безобразною. Безлюдный переулокъ съ тѣхъ поръ, какъ сюда переѣхала Матильда, сталъ шумной улицей, блестящимъ гульбищемъ; всѣ театральные слуги были подкуплены богатыми сластолюбцами; во всѣхъ сосѣднихъ домахъ каждая комната въ одно окно отдавалась въ наемъ дорогою цѣною; разными путями соблазнъ

пробирался въ эту неприступную крѣпость — неприступную потому, что тутъ былъ неподкупный и недремлющій комендантъ, Лючія д'Орвеліо, вдова одного банкрута, раззорившагося отъ собственныхъ благодѣяній. Отецъ Матильды былъ прикащикомъ въ купеческомъ домѣ д'Орвеліо; съ паденіемъ хозяина, и Джіакомо Вальоне потерялъ все, сохранилъ только теплую благодарность за прежнее добро; Матильда имѣла хорошій голосъ, и Джіакомо опредѣлилъ ее въ хористки на Ливорнскій театръ, но не могъ жить чужимъ жалованьемъ, хотябы дочернимъ; умеръ, и Лючія взяла Матильду къ себѣ въ домъ, любила и берегла ее, какъ собственную дочь, хотя и своихъ дѣтей было у нея шестеро, малъ мала меньше. На театръ и съ театра Матильду провожалъ всегда старый Космо, родъ самороднаго неприступнаго редута; осада многочисленныхъ обожателей Матильды обратилась въ блокаду. Бѣдность всего семейства и можетъ быть умышленная неисправность Систо угрожали Матильдѣ великой опасностью; но осажденные получили важное подкрѣпленіе; явился Березовскій. Онъ исподоволь выпрямился, осмѣлился взглянуть и чуть было не присѣлъ ниже прежняго. На него съ удивленіемъ смотрѣли черные блестящіе глаза; улыбка удивленія играла на дивныхъ устахъ.— «Что съ вами?» спросила Матильда — и Максимъ Созонтовичъ снова выпрямился; это ужъ такъ въ натурѣ человѣка: безмолвная бесѣда источникъ самаго затруднительнаго смущенія; раздались звуки голоса и откуда берется бодрость и все идетъ на ладъ...

— Такъ, ничего, отвѣчалъ Максимъ Созонтовичъ; — солнце въ глаза... А куда тамъ солнце; окна этой комнаты были обращены на самый сѣверный сѣверъ; удивительно, что Матильда этого не замѣтила и бросилась къ окну чтобы задернуть занавѣску...»

— «Не трудитесь! Это съ безсонницы...»

— «А вы не спали?»

— «Не могъ! Послѣ карантина, не привыкъ еще къ новому мѣсту. И знаете, Атанасіо, постлалъ мнѣ какъ-то неловко; переворачивался съ боку на бокъ; не могъ умоститься.»

— «Зачѣмъ же вы безпокоились! Мнѣ право совѣстно...»

— «О, помилуйте! Я такъ былъ золъ вчера на вашу прима-донну, что право всю ночь только о томъ и думалъ, какъ бы отомстить ей почувствительнѣе.»

— «Я вамъ не вѣрю, маэстро, впрочемъ...»

— «Да отчего же не вѣрите?»

— «Богъ съ нею! Мы говоримъ о ней за глаза. Я не ищу соперничества; куда мнѣ; я и не думаю о первыхъ роляхъ; сказать ли вамъ правду? я ненавижу театра, но...»

Люція приложила палецъ къ губамъ и посмотрѣла на двери. Березовскій вспыхнулъ.

— «Что же это? Такъ васъ принуждаютъ...»

— «Обстоятельства и обязанности. Я пѣла въ хорѣ, точно такъ же, какъ принимаю вашъ вызовъ быть моимъ учителемъ. Но не бойтесь! Я не употреблю во зло вашей снисходительности. Про-

шу у васъ только полчаса времени и только сегодня...»

— «Боже мой, Боже, я готовъ...» Но маэстро какъ ни былъ восторженъ своею ученицею, не могъ кончить фразы; языкъ не повиновался; что сказать, онъ не умѣлъ, а сказать пошлую любезность его бы не достало.»

— «Вы будете такъ добры; испытайте меня; но ради Бога, скажите мнѣ откровенно могу ли пѣть превосходно и во сколько времени, или нѣтъ. У людей много способностей; я стану искать своей и отъищу... Рѣшите, чѣмъ мнѣ быть? Клависина у меня давно нѣтъ, потрудитесь взять скрипку...»

— «Что же мы будемъ пѣть?»

— «Что вамъ угодно. У васъ, кажется, есть ноты...»

— «Да это мои...»

— «Вѣдь вы ихъ возьмете съ собою...»

— «Но вы ихъ не пѣли...»

— «Такъ неужели вы станете слушать мои партіи изъ оперныхъ хоровъ. Позвольте! Вотъ у васъ, кажется, это арія для сопрано...»

— «Точно такъ...»

— «Позвольте...»

И скрипка мгновенно настроена и раздался сильный звучный голосъ, которому сначала сопутствовало легкое пѣніе смычка; мало по малу скрипка стала стихать; замерла и трудная арія, правда безъ вычуръ и украшеній, была пропѣта и пересказана съ безупречною вѣрностью интонаціи и съ замѣчательною правдою выраженія.

Есть лица, весьма обыкновенныя, и при пѣніи хорошѣютъ, а тутъ... Напрасно разсказывать; нельзя и вообразить, не только разсказать подобныхъ впечатлѣній. Березовскій походилъ на скрягу, который нашелъ въ лѣсу кладъ такого объема, что ни поднять, ни спрятать. То просилъ Матильду, чтобы пѣла, то прерывалъ пѣніе, чтобы не услышали ея голоса на улицѣ... «Одну зиму, Матильда, одну зиму и не Ливорно будетъ для васъ поприщемъ. Мы поѣдемъ въ Болонью, въ Парму, въ Миланъ... Отошлите эти шесть червонцевъ — Систо; отошлите; это задатокъ за тяжкую неволю; подайте сюда эти шесть червонцевъ; я ихъ самъ отнесу Систе; я возьму съ него росписку; квитъ! Мы съ нимъ квитъ! Мы не нуждаемся въ его помощи... Мы сами предпишемъ ему условія... Слышите! Я скажу ему, что у васъ нѣтъ таланта, рѣшительно никакого расположенія къ музыкѣ. Онъ оставитъ васъ въ покоѣ, онъ забудетъ про васъ.... О, мы надѣлаемъ чудесъ!.. Но, Матильда!..» и Березовскій посмотрѣлъ на нее такъ значительно, что та вздрогнула. Конечно, Матильда была очень молода, но жизнь при театрѣ, а еще болѣе заботливая Лючія открыли ей многое, что у педагоговъ почитается не нужнымъ къ обученію молодежи. Не такъ поступала Лючія; она не старалась оставлять Матильду въ невинномъ невѣдѣніи, что значатъ пламенные обѣты любезныхъ юношей, богатые подарки пожилыхъ мужчинъ и дружба пожилыхъ женщинъ. Напротивъ, Лючія прошла съ Матильдой теорію странной науки

свѣтской любви между богатою львицею и хорошенькой актриссой. Странный слогъ рѣчей Березовскаго уже порождалъ сомнѣніе. *Мы*, да *мы*! Отъ чего же *мы*? Кто соединилъ ихъ такъ тѣсно? И поѣдемъ вмѣстѣ, и чудесъ надѣлаемъ, и этотъ страшный, палящій взглядъ, слишкомъ ярко обличавшій страстную думу, которую Березовскій не успѣлъ досказать. Матильда не могла не вздрогнуть. Она видѣла ясно, что гость хочетъ уволить ее отъ зависимости Систо, съ тѣмъ, чтобы наложить на нее свое ярмо... что за издержки существенныя, за труды и хлопоты ученія онъ предложитъ страшныя, отвратительныя условія. Протянувъ руку, блѣдная, она хотѣла предупредить ударъ, отвести молнію, но Березовскій не видалъ ея движенія; онъ отвернулся и не зналъ какъ сказать то, что думалъ. Мысли, какъ корабли въ узкой бухтѣ, стѣснились и ни одна не могла выйдти...

— «Матильда! Матильда!» наконецъ робко проговорилъ онъ. «Искуство — мысль Божія и живетъ только въ чистомъ сосудѣ... Птица поетъ такъ сладко, потому что она невинна... Ахъ Господи, какое мученіе; вы меня не поймете, да я и самъ не приберу словъ для моей мысли... Страсть можно выражать вѣрно тогда только, когда мы сами испытаемъ эту страсть; ахъ, не то, совсѣмъ не то... Или лучше сказать, почти то... только не такъ. Представьте себѣ дѣвушку: она любитъ, желаетъ любить, потому что когда она любитъ совсѣмъ, тогда уже любви не выразить; но когда

выйдетъ замужъ, тогда перестанетъ любить, и не то, что перестанетъ любить, но уже не пропоетъ своей любви. Артисту надо понимать страсть, а не чувствовать. Не любите, Матильда, если можете, никого не любите страстно — и я отвѣчаю за ваше первенство... Искуство — есть постъ страстей, математика нравственная, уединеніе въ толпѣ, борьба съ цѣлымъ свѣтомъ, съ самимъ собой... Матильда, достанетъ ли у васъ силъ? Матильда, свободно ли ваше сердце?..»

Рѣчь Березовскаго удивила не только Матильду, но и Лючію; хозяйка наскоро набросила на себя платокъ и выбѣжала въ гостиную посмотрѣть на чудака, который училъ молодую дѣвушку не любить. И какъ же удивилась Лючія, когда нашла, что учителю не было и тридцати лѣтъ, и что, по наружности, онъ могъ научить совершенно противному. Жаръ, съ какимъ говорилъ Березовскій, убѣждалъ Лючію въ его искренности.

— «Ваши совѣты очень хороши ..» сказала она, какъ-будто давно была знакома съ Березовскимъ: «но не забудьте, что Матильда — женщина...»

— «Или пѣть, или хозяйничать на кухнѣ, кормить дѣтей, быть женой!..»

— «Пѣть!» почти вскрикнула Матильда...

— «Ну, вотъ и все! Давайте пѣть!.. Заприте окна... Нѣтъ ли у васъ комнаты поуединеннѣе?.. Постойте! Нѣтъ! Я не могу... Мнѣ дурно... Мнѣ жарко... Оставьте меня одного... Я подумаю...»

Березовскій схватилъ шляпу и ушелъ. Скрипка и ноты остались на столѣ. Удивленныя дамы про

вожали его глазами... Березовскій не зналъ Ливорно, да если-бы и зналъ, это-бы ни къ чему не послужило. Менѣе чѣмъ въ четверть часа, онъ очутился за городомъ, шелъ по прекрасной битой дорогѣ; по обѣ стороны въ небольшихъ промежуткахъ красовались большіе и малые лѣтніе домики; во многихъ ставни были еще заперты: такъ еще было рано; дорога вдругъ круто повернула и видъ моря своимъ великолѣпіемъ и незапностью поразилъ Березовскаго. Онъ остановился, оглянулся: красивый дворъ, домикъ, за нимъ тѣнистый садъ; передъ заборомъ на дорогѣ скамейка. Все это въ порядкѣ вещей; Березовскій почувствовалъ усталость — и это въ порядкѣ вещей; онъ присѣлъ на скамью и возбудилъ опасенія чуткихъ собакъ: продолжительный ихъ лай вызвалъ къ калиткѣ старика, который издали еще кричалъ: кто тутъ? зачѣмъ пришелъ? Но увидѣвъ Березовскаго, почтительно снялъ шляпу, поклонился и сказалъ: «Не извольте бояться, синьоръ, моихъ сторожей; за рѣшеткой вы бесопасны.

— «Это твои собаки?» спросилъ Максимъ Созонтовичъ разсѣянно.

— «Если хотите, одна только моя; вотъ эта бурая; а та другая, видите, вотъ та пѣгая, старая, дороже для меня чѣмъ своя...»

— «Отъ чего же она тебѣ дороже?»

— «Отъ того, что она была любимицей синьора Антоніо.»

— «Такъ чтожь изъ этого?..»

— «А то, что синьоръ былъ мой благодѣтель...»

Березовскій всталъ и пристально посмотрѣлъ на старика.

— «А гдѣ же твой синьоръ?..»

— «У Бога. Умеръ съ горя, а добрая госпожа съ дѣтьми можетъ быть умираетъ съ голода; выгнали ее изъ этого дома; а кому онъ нуженъ? Вотъ другой годъ продаютъ, никто его не хочетъ и даромъ; тамъ, говорятъ, трое сряду разорились; никто не хочетъ быть четвертымъ... Хоть-бы наняли, а то скука будто въ пустынѣ, а отъ города и четверти мили нѣтъ...»

— «Видно, дорожитесь?..»

— «Куда! Сначала запросили что-то много денегъ; потомъ стали сбавлять; а теперь поздно; лѣто на исходѣ, чуть не даромъ отдаютъ...»

— «Да за сколько же?..»

— «Стыдно говорить! Вотъ и вчера приходилъ приказчикъ, говоритъ: Піэтро, что, никто не нанималъ?.. Я говорю нарочно: какъ никто? Были... Такъ что же ты? — Да что я; давали цѣну на смѣхъ; я не смѣлъ... А что же давали? Да стыдно говорить. Пятьдесятъ піастровъ на годъ...— Отдай, Піэтро, отдай! чортъ его побери, заколдованный домъ; только деньги впередъ...»

— «Хорошо, Піэтро, хорошо! Вотъ тебѣ и деньги впередъ!» сказалъ Березовскій, опуская руку въ карманъ. «Сегодня же сюда переѣдутъ жильцы... Но, Піэтро, ты здѣсь не можешь оставаться...»

— «Это почему?»

— «Потому что нельзя...»

— «Такъ спрячьте же ваши деньги назадъ. Безъ меня никому не позволю жить въ домѣ моего благодѣтеля...»

— «Ты правъ, Піэтро, правъ! Но ты исполнишь ли мою просьбу?»

— «Посмотримъ.»

— «Никто не долженъ знать, кто здѣсь живетъ...»

— Только сами не проболтайтесь, а ужъ я ни кому не скажу, кромѣ приказчика.»

— «И приказчику нельзя!»

— «Такъ что же я ему скажу?»

— «Скажи, что наняли Русскіе, вотъ и все тутъ; да прибавь, что отчаянные, не любятъ, чтобы къ нимъ чужіе ходили; понимаешь?..»

— «Если вы правду говорите, такъ и мнѣ что-то страшно...»

— «Почему?»

— «Да помилуйте, слышно, будто они самихъ Турковъ побили.»

— «Да вѣдь то́ Турки...»

— «И то правда...»

— «Ваніихъ не трогаютъ...»

— «И то правда .. Ничего дурнаго не слышно.»

— «Приходится имъ тутъ у васъ съ флотомъ зимовать; такъ для женъ, для дѣтей веселѣе жить за городомъ.»

— «Право, веселѣе. Вотъ я, такъ и въ городъ никогда не хожу. Стукотня, бѣготня, толкаются на улицахъ, такъ что право стыдно... Ну, такъ

быть по вашему. Я пойду комнаты провѣтрю; не хотите ли взглянуть...»

— «Нѣтъ, пріятель, мнѣ все равно и некогда...» И на этотъ разъ Березовскій шелъ въ городъ бодро, весело, ровнымъ шагомъ и прямо къ своей ученицѣ. Онъ засталъ все семейство за скуднымъ завтракомъ; какъ-будто домашній человѣкъ, взялъ послѣдній стулъ и присѣлъ къ столу.

— «Все идетъ какъ нельзя лучше...» сказалъ онъ съ веселымъ спокойствіемъ: «Вамъ надо бѣжать изъ Ливорно! Не пугайтесь! Бѣжать изъ этихъ опасныхъ ущелій, гдѣ въ каждой норѣ таится ядовитый звѣрь. Я нашелъ для васъ тихое и безопасное убѣжище! На берегу моря, въ виду Ливорно.»

И Березовскій разсказалъ, гдѣ и за сколько нанялъ онъ для нихъ квартиру. Не безъ труда согласились дамы туда переѣхать; надежда сдѣлаться извѣстною пѣвицею и быть въ состояніи возвратить Березовскому всѣ издержки, заставила Матильду принять предложеніе. Положили переѣхать ночью, чтобы никто не могъ узнать, куда исчезла Матильда. Старый Космо приготовилъ все къ переѣзду. Въ сумерки явился проводникъ. Березовскій, дамы и дѣти, подъ его начальствомъ, выступили въ походъ пѣшкомъ; за ними шелъ небольшой обозъ подъ надзоромъ Космо. На поворотѣ къ морю, Березовскій указалъ на красивую усадьбу и Лючія вскрикнула, судорожно схвативъ Березовскаго за руку.

— «Что съ вами?» спросилъ онъ заботливо...

— «Великодушный синьоръ! Я оттуда изгнана закономъ!»

— «Какъ!»

— «Это мой домъ! Тамъ сокрушилось мое счастіе,» и въ короткихъ словахъ разсказала свою не интересную, но всегда однакоже страшную исторію, потому что повѣсть всякаго несчастія ужасна, хотя бы это несчастіе заключалось въ короткихъ словахъ: утонулъ, сломалъ ногу, и прочая. Читатель легко можетъ представить бурю смѣшанныхъ ощущеній, волновавшихъ Лючію и Матильду, когда онѣ приближались къ старому монастырю, какъ онѣ во дни счастія называли свою загородную усадьбу; но ужь никакъ не вообразитъ онъ себѣ, что̀ дѣлалось съ Космо и Піэтро, когда они встрѣтились у воротъ. Господа вошли въ садъ черезъ калитку, далече отъ Піэтро и потому встрѣча съ Космо была совершенно для него неожиданна...

— «Космо...» закричалъ онъ: Космо! Ты служишь Русскимъ! Ты покинулъ нашу добрую госпожу! Ты... Ахъ, ты вѣтренная мельница! Пусть тебѣ вѣтеръ изломаетъ крылья, искрошитъ...

— «Піэтро! молчи! Я и самъ ничего не понимаю; вижу чудеса и дивлюсь милосердію Божію... Снимай эту рухлядь, ты ее узнаешь! Отпускай погонщиковъ! Тогда потолкуемъ...»

Піэтро, качая головой, шепотомъ бормоталъ свои сомнѣнія и проклятія, но повиновался старшему, разгрузилъ обозъ, отпустилъ погонщиковъ,

которымъ было заплачено впередъ, заперъ ворота и сказалъ съ чувствомъ:

— «Ну, Космо! оправдывайся!»

— «Пойдемъ, Піэтро, пойдемъ! Посмотри кому я служу...» и потащилъ его въ покои. Съ перваго взгляда на Лючію и ея дѣтей, Піэтро чуть съ ума не сошелъ отъ радости. Безъ всякихъ чиновъ цѣловалъ то дѣтей, то Лючію, и съ тѣмъ же намѣреніемъ подошелъ къ Матильдѣ; она стояла у окна и тихо разговаривала съ Березовскимъ. Странная мысль блеснула въ головѣ Піэтро и сожгла его радость. Онъ отступилъ отъ Матильды въ ужасѣ...

— «Что съ тобой, Піэтро!» спросили всѣ, не безъ страха и участія.

— «Такъ что же это вы думаете! А! За болвана, осла считаете вашего Піэтро! Вы думали: Піэтро пустынникъ, Піэтро въ городъ не ходитъ, Піэтро насъ не любитъ; онъ объ насъ не заботится и не знаетъ... Все знаетъ Піэтро, все. Онъ сидитъ вонъ на томъ камнѣ; темно, теперь не видно, да все равно, вы знаете эту мохнатую глыбу; тамъ сидитъ Піэтро; туда къ нему приходятъ старые знакомцы и разсказываютъ!.. О, лучше, сто разъ лучше, еслибы я ихъ не слышалъ!.. Но неужели вы думаете, что я на все на это позволю...»

— «Что такое?» нетерпѣливо спросила Лючія: «Растолкуй!..»

— «Простъ, Піэтро! куда простъ! Ужъ ему не понять всего этого грѣха и соблазна! А я еще чуть не прибилъ стараго Джюзеппо, когда онъ

сталъ разсказывать, что дочь нашего добраго Вальоне... Собаки раздѣлили мое негодованіе... искусали бѣднаго — а выходитъ онъ правъ!.. Театръ!.. Видишь, куда понесли старинную честность!.. Свели выгодное знакомство съ этимъ народомъ, что побилъ самихъ Турковъ... И мой домъ, святой домъ...»

Всѣ поняли, что́ возбуждало негодованіе Піэтро; но никто не могъ да и не умѣлъ бы его разувѣрить. Одинъ только Космо легонько ударилъ старика по лбу и сказалъ съ улыбкой:

— «Ахъ, ты голова, голова! А я на что́! Ты думаешь, такъ бы я и позволилъ! Видишь ты, мудрость плѣшивая, золотыя горы стояли передъ моимъ носомъ; ты бы всю честность растерялъ; а я моего клада не выдалъ... Что говорить, театръ подлое ремесло: только подмѣтили, кошельки въ рукахъ задрожали: на, бери, Космо, только...

— «И ты не взялъ, Космо!»

— «Ни одного, Піэтро!..»

— «Ну, и защитилъ, спасъ?»

— «Съ театра, братъ, мы увезли, отъ грѣха, не для грѣха! По милости этого благороднаго и великодушнаго человѣка!»

— «Бей Турковъ!» закричалъ Піэтро, схвативъ обѣими руками за голову Березовскаго: «Бей враговъ Христа и Дѣвы Маріи и разливай добро, гдѣ оно добро, а не шутка! Здравствуй благородный, здравствуй великодушный... Но надѣюсь, ты въ этомъ домѣ гость, не хозяинъ...»

— «Гость! и пора мнѣ домой! Твои глупыя сомнѣнья только задержали меня... Такой же вѣрный слуга, какъ и ты, и братья ожидаютъ меня...»

— «Ступай, ступай. Поскорѣй ступай! Не засиживайся! У людей языки красные; клеветой горятъ! Прощай...»

— «Прощай, Піэтро! но не забудь условія! Тайна! Тебѣ разскажутъ зачѣмъ...»

— «Хорошо, хорошо! Я кусокъ стѣны здѣшняго дома. Я ворота: всѣхъ и все вижу, и все молчу, нѣмъ какъ они.»

И Березовскій наскоро простился со всѣми и почти бѣгомъ отправился въ Ливорно...

—

III.

OPERA SERIA.

На другой день Березовскій посѣтилъ своихъ пустынницъ въ качествѣ учителя; пѣли долго, пѣли много; Піэтро слушалъ съ особеннымъ чувствомъ и утиралъ слезы умиленія. Зная, что новая музыкальная академія желаетъ сохранить строжайшее incognito, Піэтро на длинныхъ вервіяхъ привязалъ своихъ собакъ къ оградѣ на улицѣ, такъ что пѣшеходы, проходя по другую сторону дороги, спѣшили миновать поскорѣе заколдованный домъ. Березовскій послѣ урока не остался обѣдать, а возвратился въ городъ, въ сборное мѣсто всѣхъ Русскихъ, красную аустерію, гдѣ его давно ожидали дорогіе братцы и городскія сплетни. Братцы и великое число военныхъ Русскихъ чиновъ уже

сидѣли за общимъ столомъ; Березовскій вошелъ въ столовую залу во время огромнаго аккорда смѣха и хохота; возбудившая его шутка уже улетѣла далече; Березовскій не озаботился ее воротить; полный блаженства необъяснимаго, онъ не разставался съ Матильдой, съ мечтами, говорившими только о ней, и, сидя на мѣстѣ, сохраненномъ для него братцами, вмѣсто супа, питался воспоминаніями... Прямо, насупротивъ, сидѣлъ морякъ, обросшій бакенбартами, и подтруниваль надъ Ваней...

— «Скрылась, исчезла, улетѣла; вотъ тебѣ и посредникъ! А мы безъ посредника всегда и начинаемъ и оканчиваемъ подобныя исторіи. — Да отъ чего-же бы, Ваня, не поискать слѣдовъ! Вѣдь не сквозь землю же она провалилась; не улетѣла же на облака... Нѣтъ, у меня бы она не ушла такъ легко; воротилъ бы съ дороги; заставилъ бы...»

— «Да полноте, пожалуйте!» прервалъ Ваня: «Мнѣ не до шутокъ!»

— «Крѣпко, видно, въ сердце вцѣпилась...»

— «Теперь только чувствую, когда ея ужъ нѣтъ въ Ливорнѣ!»

— «И слава Богу! Такая страсть могла бы довести до женитьбы! А морякъ, по природѣ, существо однополое, холостое... Въ рѣкахъ твердой земли не загуливайся; тамъ вездѣ на тебя западня или засада. Дай слово, Ваня, не влюбляться въ пѣвунью по уши, и я тебѣ отыщу бѣглянку...»

— «Полно шутить!»

— «Какія тутъ шутки! Не только отыщу, — сведу васъ, познакомлю и познакомлюсь и прочая...»

— «Старая хвасть! Спасибо!»

Разговоръ продолжился бы далѣе до неизвѣстныхъ послѣдствій, но въ залу вбѣжалъ Систо, весьма встревоженный и глазами искалъ Березовскаго. Какъ коршунъ, бросился Систо на академика и схвативъ за руку, тащилъ изъ-за стола.

— «Одно слово, великій мужъ! Мы обмануты; надъ нами посмѣялась неопытная дѣвушка. Ребенокъ одурачилъ стариковъ. Деньги мои пропали...»

— «Нѣтъ!» спокойно перебилъ Березовскій: «Вотъ ваши шесть червонцевъ...»

— «Шесть! Но я заплатилъ...»

— «То ея собственность, а вотъ этотъ задатокъ Матильда возвращаетъ вамъ съ извиненіемъ, что не можетъ исполнить нашихъ общихъ желаній. Она совершенно отказалась отъ театра и уѣхала въ Болонью...»

— «Въ Болонью!»

— «Да! Я долго спорилъ, признаюсь, для вашихъ видовъ, но она такъ упряма...»

— «Охъ! Ужъ не говорите пожалуйста объ ея упрямствѣ. Ужъ не я-ли предлагалъ ей самыя выгодныя партіи...»

— «Конечно не въ операхъ...»

Систо опомнился и смутился. Деньги взялъ, спряталъ, сказалъ: «Чортъ ее возьми! Она меня обманула; ограбила, но за то въ другой разъ

буду умнѣе» — и Систо скрылся и слѣдъ Матильды занесло въ памяти безчисленныхъ обожателей ея красоты пескомъ разнообразныхъ впечатлѣній. Никто уже объ ней не заботился. Какъ никто? Само собою разумѣется, кромѣ Березовскаго. Каждый день утромъ продолжительный урокъ приправлялся продолжительною бесѣдой; къ обѣду въ Красномъ трактирѣ капельмейстеръ и академикъ заводилъ русскія пѣсни и все Ливорно собиралось слушать варварскіе напѣвы; каждый вечеръ ученый мужъ слушалъ несносную для него оперу, и еще несноснѣйшую синьору Ладичи; казалось, онъ ловилъ ея недостатки; изучалъ ея средства; мучился соображеніями. Наступила зима; побѣдоносный чесменскій флотъ съ своими орлами усѣлся въ Ливорнской Гавани. Лучшій домъ, убранный съ возможнымъ великолѣпіемъ, едва могъ вмѣстить гостей Чесменскаго побѣдителя; свои, чужіе, всѣ расточали похвалы и поздравленія. Приличія и долгъ требовали того-же и отъ Березовскаго; онъ явился къ графу съ невольнымъ тайнымъ страхомъ.

— «Очень радъ съ тобой познакомиться!» сказалъ графъ, когда Березовскаго ввели въ турецкій кабинетъ: «Давненько въ Италіи?..»

— «Девятый годъ, ваше графское сіятельство!»

— «Слышалъ я о твоей славѣ и успѣхахъ. Очень похвально, любезный, да въ Россіи-то нѣтъ ни одного порядочнаго музыканта. Ты бы, братецъ, подумалъ объ этомъ. Однѣхъ побѣдъ мало для славы государствъ. И то правда, не все вдругъ,

да пора начинать. Вотъ Державинъ хорошо стихи складываетъ; чай Лосенку ты видалъ; порядочный живописецъ: пора бы и за музыку...»

— «Ваше графское сіятельство...»

— «То-то-же! Надо, братецъ, ѣхать въ Россію. Я отправилъ бы тебя курьеромъ къ матушкѣ Государынѣ, да еще него добраго, безъ меня тебя затрутъ, запутаютъ; нынче и нашего *брата* оттираютъ; много ли увидишь, когда станешь ходить въ *потемкахъ*...»

На словахъ: *брата*, въ *потемкахъ*, графъ усиливалъ голосъ, какъ будто намекая на возраставшую тогда силу князя таврическаго.

— «Ваше графское сіятельство...»

— «Да, мой любезный! Будь ты искусный коноводъ, я взялъ бы тебя къ себѣ; у меня — какъ у Христа за пазухой; сюда, братецъ, въ это сердчишко, клевета не найдетъ дороги... У меня добро на рысяхъ ѣздитъ: русская рысь, батюшка! русская! Ей вездѣ дорога; умѣемъ, кормилецъ, и круто поворачивать!...»

Графъ всталъ и съ примѣтнымъ неудовольствіемъ прохаживался по комнатѣ. Березовскій собирался что-то сказать, да графъ не далъ...

— «Такъ, любезный, ты въ этомъ году не поѣдешь въ Петербургъ; ты мнѣ здѣсь нуженъ; надо потѣшить нашихъ удальцовъ русскою оперой; любо имъ будетъ слушать своего сочинителя. Такъ распорядись же, любезный! Тутъ есть какой-то плутишка Систо; у него есть театръ и комедіанты; скажи ему, что я приказалъ тебѣ написать, а ему

представить твою оперу; на эту зиму не успѣешь, а ужъ на ту, вѣрно, справишься; а я тебя утѣшу; скажу тебѣ искренно: то будетъ послѣдняя зимовка и ты увидишь матушку Государыню! Я самъ тебя представлю...»

— «Ваше графское сіятельство!..»

— «Хорошо, хорошо любезный! Благодарности твоей мнѣ не нужно. А есть ли у тебя деньги, чѣмъ прожить? Вѣрно нѣтъ! И какія у тебя деньги! На, любезный, на — двѣсти червонныхъ покуда, довольно для начала! Ступай съ Богомъ, только чуръ не лѣниться; жаль, если твоя физіономія меня обманетъ...»

— «Ваше...»

— «Съ Богомъ! съ Богомъ! Не благодари! то есть не лги! пока ничего не сказалъ, ничѣмъ и не обязанъ; а наговоришь, да не то выйдетъ, жаль... Ну, прощай!

— «Я хотѣлъ просить ваше сіятельство за моихъ братьевъ...»

— « А что? Попались въ исторію, напалили?

— «Не приведи Господи!»

— «Такъ что же?»

— «Обратить на нихъ милостивое вниманіе...»

— «Это ихъ дѣло, любезнѣйшій! Ни твое, ни мое! Ты же умѣлъ обратить на себя общее вниманіе; пусть стараются. А впрочемъ, такъ и быть, для тебя по веснѣ возьму ихъ съ собой въ экспедицію; на берегу подвиговъ не высидишь. Ну, прощай, некогда! а нужно будетъ, пришлю за тобой!»

И графъ придвинулъ кресло къ столу и отвер-

нулся. Что сталось съ Березовскимъ? Какія мысли вынесъ онъ изъ турецкаго кабинета? Голова его горѣла, сердце билось; но отъ чего? Предстать предъ свѣтлыя очи Императрицы, окованной міръ чароподобными подвигами, красотою царственною и государственною мудростью; предстать яко первому русскому музыканту, съ громкимъ именемъ, съ блестящими надеждами, для прямой, патріотической цѣли; начать въ Россіи новую эпоху по части, едва тамъ извѣстной; дать русской музыкѣ тѣло и душу... А Матильда! Драматическій родъ былъ всегда не любъ для Березовскаго; но отомстить Ладичи, Систо, публикѣ; въ аріяхъ, нарочно придуманныхъ для голоса и средствъ Матильды, доставить ей вѣрную, несомнѣнную побѣду. — А Матильда?— Что-жъ, Матильда! Вѣдь не разставаться же съ нею; напротивъ; теперь чаще можно съ нею видѣться; мысль о любви, эта пошлая ежедневная мысль не появлялась въ головѣ такъ хорошо устроенной и настроенной. Максимъ Созонтовичъ съ тріумфомъ объявилъ своимъ дамамъ о порученіи графа: онѣ такъ обрадовались; съ возрастающимъ жаромъ, съ избыткомъ самодовольствія сказалъ онъ и о своемъ отъѣздѣ въ Россію, — и веселость дамъ исчезла; выраженіе тайнаго страданія разлилось по лицу Матильды; Лючія задумалась; Березовскій огорчился, что такое почетное назначеніе не радуетъ его друзей; онъ старался разогнать непріятное впечатлѣніе, самъ не понимая отъ чего и ему вдругъ стало грустно. Лючія поспѣшила на помощь и разговоръ возобно-

вился. Стали толковать о выборѣ сюжета. По естественному сочувствію и можно сказать по тогдашней модѣ, обратились къ Метастазіо, дѣлателю превосходныхъ либреттъ, но книги не было и Березовскій отправился къ Систо... Онъ не нашелъ его дома. Синьора Систо и синьора Ладичи завтракали съ двумя молодыми людьми; синьоръ Систо, само собою разумѣется, тутъ былъ лишній и по всегдашнему своему благоразумію и любви къ сценѣ отправился на репетицію. Миловидная дѣвушка, исполнявшая должность слуги, остановила Березовскаго и не позволяла войти въ столовую. Максимъ Созонтовичъ, узнавъ, что тутъ Ладичи, сказалъ служанкѣ, что онъ присланъ съ приказаніемъ отъ такого лица, которое не терпитъ никакихъ отлагательствъ и препятствій; велѣлъ служанкѣ не медля ни минуты сбѣгать за Систо, а самъ, къ немалому удивленію хозяйки и гостей, вошелъ въ столовую...

— «Синьоръ Массимо!»

— «Не безпокойтесь, синьора! Я васъ не потревожу; продолжайте ваши занятія, а я обожду...»

— «Но вы не можете отказать женщинѣ и не принять участія по крайней мѣрѣ въ бесѣдѣ...»

— «Обязательность ваша...»

— «Помилуйте! Какая тутъ обязательность,» сказала хозяйка, разгоряченная можетъ быть разговорами, а можетъ быть и виномъ. «Садитесь сюда, къ намъ, вотъ такъ!» и почти насильно усадила Березовскаго между собою и Ладичи. «Вы человѣкъ опытный...» продолжала она: «помогите

мнѣ просвѣтить вотъ этихъ новичковъ! Я ихъ увѣряю, что двумъ братьямъ никакъ не слѣдуетъ влюбляться въ одну и ту-же женщину...»

— «По крайней мѣрѣ неблагоразумно...» замѣтилъ Березовскій, разсматривая двухъ братьевъ новичковъ. Нельзя было по виду угадать, который изъ нихъ старше: и тому и другому было, какъ казалось, не болѣе двадцати лѣтъ; не смотря на молодость, они не могли щегольнуть наружностью, но одежда, булавки, пуговицы, перстни обличали богачей, а рѣчи — купцевъ ливорнскихъ...

— «Вотъ вамъ!» сказала хозяйка, продолжая разговоръ: «Я увѣрена, что синьоръ Массимо одобритъ и другую мысль мою; не должно любить женщину, которая насъ не любитъ...»

— «Ну, съ этимъ можно еще поспорить...»

— «А что, видите, прелестная Марія!» вскочивъ, сказалъ одинъ купчикъ: «видите?»

— «Вотъ напримѣръ...» сказалъ Березовскій, покраснѣвъ до ушей: «я знаю, что вы меня не любите, ненавидите, а я...»

— «Кто вамъ сказалъ? Какой вздоръ? Мы съ вами и видѣлись всего раза три, и то въ театрѣ... Мы объ этомъ никогда ничего и не говорили...»

— «А вы позволите поговорить съ вами о любви?..»

— «Да вы видите, что мы здѣсь говоримъ всѣ о любви; отъ чего же вы одни не можете...»

— «Но прежде я желалъ бы поговорить съ вашимъ мужемъ.»

— «Мужъ никогда не мѣшается въ дѣла жены;

въ этомъ отношеніи я завела у себя въ домѣ отличный порядокъ. Откушайте!..»

И Марія подала Березовскому добрый стаканъ вина, приправленнаго соблазнительнымъ взглядомъ и коварною улыбкой; Березовскій горѣлъ какъ ракъ, но вино выпилъ, поцѣловалъ руку Маріи и посмотрѣлъ на нее такъ пламенно, такъ проницательно, что Марія совершенно забылась; выдумала какой-то странный, неуклюжій предлогъ къ разлукѣ и купчики должны были уѣхать.

— «Послушайте!» сказала Ладичи съ важностью: «Вы, какъ вамъ угодно, но я не намѣрена терять такихъ богатыхъ обожателей. Вы обѣщали мнѣ уступить одного; вы хотѣли подѣлиться; а теперь и я и вы въ потерѣ...»

— «Полно, мой другъ! Оба твои! Оба! ручаюсь! Перестанемъ говорить объ этихъ несносныхъ торговцахъ. Обрадовались, что отецъ умеръ. Они полюбятъ еще десять разъ. Это дѣтская причуда. И еслибы я въ самомъ дѣлѣ искала ихъ знакомства, еслибы я любила эту буйную жизнь, о, я иначе направила бы ихъ дѣтскія чувства. Я не хотѣла имъ сказать на отрѣзъ: подите прочь! Мнѣ жалко ихъ молодости. Видишь, любезная, наше положеніе въ свѣтѣ даетъ пищу этой уличной дерзости. Ты очень молода еще! Хочешь ловить, а я наказывать... Перестанемъ говорить объ этомъ...»

— «Ахъ, нѣтъ, Марія! Нѣтъ! Объ этомъ тонкомъ наказаніи я люблю разсуждать. Я самъ человѣкъ мстительный и желалъ бы научиться...»

— «Чему? Полно, полно! Всѣ эти разговоры

для меня несносны. Станемъ лучше говорить объ искуствѣ; я потеряла голосъ, но любовь моя къ музыкѣ не угаснетъ... Когда-то, Массимо, мы васъ услышимъ!»

— «Сейчасъ!»

— «Неужели! Вы такъ добры...»

— «Для васъ, Марія!»

— «Пойдемъ къ клавичембаламъ...» Марія повела Березовскаго за руку въ другую комнату и по дорогѣ жала эту руку нещадно. Чудеса! Стыдливый Березовскій отвѣчалъ тѣмъ же. Усѣвшись за фортепьяно, Максимъ Созонтовичъ испугалъ уши слушательницъ мудреными переходами, въ каждомъ обнаруживая глубокую, окончанную ученость; но вдругъ этотъ хаосъ звуковъ прояснился, малосложный мелодической ритурнель проигранъ и свѣтлый, чистый, серебряный теноръ запѣлъ каватину, торжество и славу синьоры Ладичи. Прима-донна была поражена какъ громомъ; всѣ трудности, которыми она такъ гордилась, изливались изъ мужскаго горла съ такою легкостью, съ такою непринужденностью, какъ-будто ихъ выдѣлывалъ кларнетъ; расположеніе силы голоса на всю каватину вовсе не сходствовало съ манерой Ладичи; тысячи оттѣнковъ сообщали плохому музыкальному сочиненію интересный характеръ; какъ статуя, блѣдная, неподвижная, Ладичи стояла у клависина; къ концу аріи брызнули слезы досады; съ послѣдними аккордами ея уже не было въ комнатѣ...

— «Не понравилось!» со смѣхомъ сказала хо-

зяйка и, взявъ стулъ, присѣла къ Березовскому: «Ахъ, Массимо! Что я слышала! Мнѣ кажется, это пѣли ангелы! Не пойте больше! Не пойте! Я не снесу этого пѣнія; дайте къ нему привыкнуть! Но послушайте, Массимо, вы съ умысломъ пропѣли эту арію? Скажите, съ умысломъ... Не правда ли? Чтобы выжить эту несносную кокетку, чтобы остаться... Скажите...»

— «Вы угадали!.. Марія! Долго я боролся съ самимъ собой, долго противостоялъ вашимъ огненнымъ взглядамъ, вашимъ вздохамъ, приглашенію вашему: я боялся повиноваться; не правда ли, ихъ внушала...»

— «Вы угадали, Массимо! Вы угадали! Но винite судьбу, съ перваго взгляда я полюбила васъ... Массимо, вы меня не осуждаете?»

— «Вы простили невѣжу, который даже не отвѣчалъ...»

— «А вы получили эту безумную записку?..»

— «Вотъ она...»

— «Тише, тише, мужъ идетъ! Я его не боюсь, но...»

Березовскій заигралъ на фортепьяно тріумфальной маршъ, подъ который и вошелъ въ комнату Систо. — Импресаріо едва вѣрилъ глазамъ своимъ. Во все время пребыванія Березовскаго въ Ливорно, Систо не переставалъ докучать ему оперой; кромѣ академической Болонской славы, Систо разсчитывалъ и на патріотизмъ слушателей; и угожденіямъ, искательствамъ не было конца; въ театрѣ и Систо и жена его расточали вѣжливость,

ласки, даже нѣжности; Марія искренно помогала мужу; крѣпкое сложеніе придавало фигурѣ и лицу Березовскаго красоту марціальную; и хотя Марія уже не была способна любить по всѣмъ правиламъ страсти, но за то пылала, томилась жаждой минутныхъ восторговъ; частыя встрѣчи, равнодушіе къ ней Березовскаго, все это волновало Марію до безумія; она не устыдилась писать къ нему; была презрѣна — и не переставала обдумывать путей желанной цѣли. Мужъ, всегда въ этихъ отношеніяхъ спокойный по разсчету, на этотъ разъ былъ спокоенъ по убѣжденію, полагая, что поведеніе жены было плодомъ угодливости и корыстныхъ общихъ намѣреній. Онъ надѣялся на побѣду, но не ожидалъ видѣть ее такъ скоро и вотъ — Массимо у него въ домѣ какъ старый пріятель; возлѣ жены; играетъ, поетъ; твердый металлъ расплавился; теперь изъ него можно все сдѣлать, что́ угодно...»

— «Откуда этотъ маршъ?» закричалъ Систо.

— «А что, нравится?»

— «Да это просто чудо, прелесть, очарованіе, такъ и напѣвается! Ради Бога, откуда?...»

— «Изъ моей оперы!»

— «Что вы говорите! Вы пишете оперу! Наконецъ вы бросили пустыя предубѣжденія. Ага! Сценическая, громкая, живая слава задѣла васъ за живое?...»

— «Нѣтъ! Я не пишу оперы! А такъ иногда отъ нечего дѣлать, отъ томительной скуки на этомъ рынкѣ, который называютъ городомъ, и

мнѣ приходятъ на умъ оперныя шалости... Вотъ не хотите ли прослушать и каватинку; она безъ словъ; скажите только хороша ли форма, какъ вамъ понравятся украшенія; я спою ее своимъ голосомъ... Послушайте!»

Систо присѣлъ и вытянулъ уши; Березовскій импровизировалъ большую арію со всѣми современными причудами...

«Это будетъ нравиться не однимъ Русскимъ,» думалъ Систо, слушая пѣніе: «это во всей Италіи будетъ имѣть ходъ... У меня не спишутъ тайкомъ!... И всѣ будутъ ѣздить сюда, ко мнѣ, въ Ливорно... Этой оперы станетъ на два карнавала. Но надо скрыть чувство удивленія; а то станетъ дорожиться...»

— «Прекрасно!» сказалъ онъ громко, когда арія была окончена: «Право, хорошо! Ручаюсь за большой успѣхъ...»

— «Да что мнѣ въ немъ. Я не намѣренъ писать оперы.»

— «Почему же?»

— «Потому что не стóитъ! Что за нее дадутъ? Двѣсти, триста червонцевъ, а потомъ даромъ будýтъ разыгрывать на всѣхъ италіянскихъ театрахъ.»

«Чортъ его побери!» подумалъ Систо: «Двѣсти червонцевъ! За эту цѣну можно списать шесть оперъ. — Впрочемъ... Послушайте, синьоръ Массимо, объ этомъ предметѣ станемъ говорить безъ шутокъ...»

— «Станемъ!»

— «Во первыхъ: не спишутъ. Это ужъ мое дѣло. Но я желалъ бы, чтобы первая ваша опера была исключительною принадлежностью Санъ Себастіана...»

— «Пожалуй! Но въ такомъ случаѣ я получу отъ васъ пять сотъ червонцевъ!»

Систо уничтожился, присѣлъ и зажмурился.

— «Пять сотъ червонцевъ! запищалъ онъ: «вспомните, что карнавалъ у насъ тянется какой нибудь мѣсяцъ; я за всѣми расходами не выручу и половины.»

— «Полно-те! Выручите вчетверо.... Я это знаю...»

«Знаетъ! Истинно знаетъ...» подумалъ Систо: «и отъ того дорожится! — Положимъ, маэстро, положимъ, что я выручу эту сумму, но вспомните, что я весь въ долгахъ, отецъ семейства; а вы человѣкъ холостой, одинокій; зачѣмъ вамъ такъ много денегъ?»

— «Забавный вопросъ...» со смѣхомъ сказала Марія. «Я увѣрена, что Массимо шутитъ; а ты хотѣлъ говорить съ нимъ безъ шутокъ, и пускаешься въ торгъ. Скажи, что можно дать по твоему разсчету и я увѣрена..

— «Что можно дать... червонцевъ сто...»

— «И это вы говорите опять безъ шутокъ...»

— «Ужъ я прибавлю еще сто...» сказала Марія...

— «А я еще сто и это послѣдніе» отвѣчалъ Березовскій, всталъ съ мѣста и взялъ шляпу...

— «Послушайте, великій мужъ! Корыстолюбіе унижаетъ художника.

— «И содержателя театра, а трудъ долженъ быть заплаченъ. Я отправлюсь въ Миланъ и возьму вдвое...»

— «Помилуйте, Миланскій театръ раззорился.»

— «Я помогу ему поправиться...»

— «Тамъ въ этотъ карнавалъ будутъ пѣть оперу мальчишки; никто для Милана писать не хочетъ.»

— «Тотъ мальчишка — Моцартъ; я поставлю себѣ за честь сразиться съ такимъ соперникомъ...»

— «Двѣсти пятьдесятъ!»

— «Триста... Прощайте! —

— «Триста! Но одно условіе: на тотъ карнавалъ, потому что на этотъ уже все готово, и срокъ близокъ.»

— «Триста, и три условія: первое, деньги на столъ, когда принесу рукопись: второе, разучивать я не буду; я только посмотрю послѣднюю репетицію. Третіе, и самое главное: пѣть какъ написано; не передѣлывать по своему ни одной нотки. Теперь напишемъ контрактъ...»

— «Очень хорошо... А какой же сюжетъ? Какая опера? Seria, Buffa?...»

Seria! Слова Метастазіо...»

— «Постойте! Вотъ это прекрасная мысль; я нигдѣ не могъ достать музыки на Демофонта; говорятъ пустая; въ Вѣнѣ упала; но слова прелесть!.. Угодно...»

— «Съ удовольствіемъ...»

— «Ну, жена, ты займи гостя, а я сбѣгаю за нотаріусомъ...» И Систо съ особенною торопливостью убѣжалъ изъ комнаты.

«Чортъ возьми, триста!» думалъ онъ дорогою. «Все равно; перейдетъ къ женѣ; можетъ быть, его же деньгами заплатимъ; только бы Марія не оплошала. Надо ей дать время. Съ такими медвѣдями нелегко ладить. Чего же я бѣгу... Тише, тише, Систо! Шагомъ, шагомъ! Иногда медленность доводитъ къ цѣли скорѣе поспѣшности...»

Напрасно медлилъ Систо. У Маріи было слишкомъ много и мало времени, чтобъ окончить романъ свой. — «Ахъ, Массимо!» сказала она, когда ушелъ Систо: «Мы опять одни! Нашъ домъ точно рынокъ! Намъ могутъ помѣшать...»

Максимъ Созонтовичъ ходилъ большими шагами по комнатѣ и не слушалъ страстнаго лепета Маріи. Онъ разсуждалъ: хорошо ли поступилъ онъ, что не объявилъ Систо воли графа. Но червь самолюбія уже точилъ и это доброе сердце. Онъ былъ увѣренъ, что не могъ бы написать ни одной порядочной нотки, еслибы принятіемъ своей оперы на Ливорнскій театръ онъ былъ обязанъ силѣ и значенію графа. Обращеніе его съ Маріей до этого дня, безъ сомнѣнія, заставило бы ее употребить всѣ средства, угрозы и такъ далѣе, чтобы отклонить мужа отъ всякой съ нимъ сдѣлки; а синьора Ладичи помогла бы ей своимъ адскимъ усердіемъ. Надо было устранить, разрушить всѣ препятствія. Все удалось, какъ нельзя лучше. Но контрактъ еще не подписанъ, и Березовскій протянулъ руку

Маріи. Странно и удивительно, какъ женщина, эта гордая, недоступная повелительница всѣхъ нашихъ желаній, поступковъ, однимъ взоромъ посылающая мужчину на всѣ жертвы, на смерть, — въ тѣ мгновенія, когда рѣшается увѣнчать его пламень, становится не царицей, а рабой; не награду подаетъ она за жертвы и лишенія, а платитъ униженно дань своему повелителю, становится игрушкой его своенравныхъ восторговъ. И Марія дрожа и пылая цѣловала руку Березовскаго, влекла его въ объятія, но не увлекла...

— «Марія!» сказалъ онъ грустно: «Неужели и для меня нѣтъ исключенія! Я мечталъ, я надѣялся, что сердце твое чисто, что случай только, твое невыгодное для женщины положеніе въ обществѣ заставило, какъ ты называла, уличную дерзость распускать о тебѣ недостойные слухи... Да! Я долженъ признаться, долго боролся я съ этими слухами и бѣжалъ можетъ-быть счастія; но теперь... мы одни. Скажи, что увлекло тебя ко мнѣ, чѣмъ заслужилъ я твою любовь... Опера! Я пишу ее для тебя, я хочу высказать мои чувства въ звукахъ потому, что я не умѣю говорить словами.»

Безсмысленно смотрѣла Марія въ глаза Березовскаго, не понимала ни его, ни себя; и страсть и стыдъ метали сердцемъ; чтобы оковать новую жертву, надо было въ глазахъ его поддержать достоинство женщины, онъ еще несовсѣмъ ослѣпъ; взоры его отуманены красотою Маріи; но этого мало: надо помутить разсудокъ, надо притворить-

ся; не жрицей Киприды предстать его художническому воображенію, а тихою голубкой ворковать невинную повѣсть безгрѣшныхъ ощущеній.. Опытная женщина, въ самомъ разгарѣ страсти, способна изнасиловать сердце; отсрочить, чтобы не потерять навсегда вожделѣннаго торжества. И Марія ударилась въ слезы; Березовскій не испытывалъ еще въ жизни своей дѣйствій этого ужаснаго средства, но добрый геній берегъ его; онъ снесъ, выдержалъ пытку; слезы смѣнились упреками, упреки ласками и тихой повѣстью любви Маріи... Всѣ эти акты любовной комедіи поглотили много времени, больше, нежели сколько находилъ для того нужнымъ Систо. Во всѣхъ своихъ поступкахъ благоразумный и осторожный, Систо еще на лѣстницѣ сталъ говорить съ нотаріусомъ о невыгодахъ своего положенія такъ громко, какъ-будто пѣлъ бравурную партію.

«Diavolo!» прошипѣла Марія: «очень нужно спѣшить глупымъ контрактомъ. — До свиданія, Массимо, до свиданія...» и порхнула въ другую комнату.

Контрактъ написанъ, переписанъ и подписанъ. Березовскій исчезъ, пропалъ; изрѣдка видали его въ театрѣ, въ отдаленныхъ рядахъ; у Опанаса набралось множество записокъ разнаго формата, и всѣ покоились нераспечатанныя въ самомъ темномъ углу чемодана; Богъ знаетъ, почему, Опанасъ полагалъ, что онѣ когда-нибудь пригодятся; братцы, узнавъ волю графа, не безпокоились о постоянномъ отсутствіи Максима Созонтовича, котораго

видали разъ, два, въ недѣлю; пусть его пинетъ оперу; они тоже были заняты любовными похожденіями; по милости братца деньги и у нихъ водились. Чего же больше? А братецъ? — Въ виду оконъ Матильды, въ рыбацкой избушкѣ, усердно писалъ Демофонта. Къ веснѣ первый актъ былъ совершенно оконченъ. Партія прима-донны была испещрена, обременена самыми отчаянными вычурами, какихъ и не снилось Ладичи, но съ тѣмъ вмѣстѣ въ главныхъ драматическихъ мѣстахъ разливалось широкое, исполненное чувства, возвышенное пѣніе. Рисунки мелодій были столько же новы и правдивы, сколько украшенія нарядны и затѣйливы до роскоши. И какъ все это пѣла Матильда, какъ успѣхи ея превосходили всѣ надежды Березовскаго; объёмъ голоса, по его методѣ, распространялся болѣе и болѣе, и казалось терялъ уже естественные предѣлы діапазона... Наступила весна; встрепенулись морскіе орлы, распустили широкія крылья и улетѣли плавать надъ классическими водами старой Греціи; Ливорно опустѣло почти на половину народонаселенія; отправивъ братцевъ въ экспедицію, Березовскій распростился съ городомъ; разсчитался въ гостинницѣ, забралъ Опанаса съ прочими вещами и совершенно заперся въ своемъ уединеніи; только и ходилъ онъ каждое утро на урокъ къ Матильдѣ: пѣлъ съ нею и для ней Демофонта, который быстро приближался къ окончанію. Вечеръ посвящался труду и музыкальнымъ размышленіямъ; въ душѣ, полной лирическихъ думъ, Матильдѣ почти не было мѣста. Соли-

це садилось за далекія горы. Восточный вѣтеръ ложась струилъ адріатическія волны; темнѣло; Опанасъ стоялъ у открытаго окна

— «Полно-те, право...» говорилъ онъ громко: «Вотъ уже и на свѣтѣ Божіемъ темненько, а въ этой лачужкѣ зги невидно. Вы не кошка. Гдѣ же писать музыку въ потемкахъ...»

— «Сейчасъ, сейчасъ, Опанасъ... Остается только двѣ строки для духовыхъ... Не мѣшай...»

— «Вотъ ужъ духовыхъ бы я поменьше; городскіе дудилы такъ фальшатъ, что не приведи Господи. Намедни, какъ я былъ въ театрѣ, чуть не оглохъ отъ трубъ... Чуръ имъ... Правда, и на скрипкахъ больно нескладно наѣзываютъ, да ужъ куда не шло; то таки трудно; на то и скрипка; такой и штрументъ уже, что безъ фальши не заиграешь.

— «Кончено!» закричалъ Березовскій не своимъ голосомъ, и захвативъ лукъ исписанной нотной бумаги, безъ шляпы опрометью бросился къ заколдованному дому; видно и Лючія и Матильда сидѣли у окна; видно глядѣли въ ту сторону, гдѣ стояла рыбацкая избушка; видно, да ужъ не знаю почему, а объ поспѣшно бросились въ садъ, выбѣжали на улицу и встрѣтили Березовскаго тревожными вопросами: «Что съ вами, что случилось?» Матильда забылась совершенно, схватила его за руки и дрожа шептала: «Массимо, Массимо! Бога ради, не змѣя ли?..»

— «Опера!» отвѣчалъ онъ въ восторгѣ: «опера! Вотъ она отъ начала до конца, отъ первой

до послѣдней нотки; вотъ она: моя месть! вотъ она: торжество моей Матильды! Я сдержалъ слово! Я свободенъ! Я блаженъ! Пойдемте! Пойдемте! Вы увидите, какъ помогло мнѣ само небо!..» и всѣ бросились къ клависицу; когда поставили ноты на передокъ, расположились пѣть и слушать, тогда только замѣтили, что стало совершенно темно, а свѣчей не было! Подали свѣчи и финалъ удивилъ, привелъ въ восхищеніе всѣхъ, даже самого Березовскаго... Матильда, этотъ строгій, разборчивый, даже привязчивый критикъ, не нашла никакаго повода сдѣлать малѣйшее замѣчаніе, а прежде безъ этого не обходилась; она такъ заботливо хлопотала о Демофонтѣ, какъ-будто о собственномъ произведеніи; въ теченіи года, Матильда уже была посвящена въ тайны композиціи; трудная музыкальная математика въ изложеніи Березовскаго казалась ей наукою общественной игры въ родѣ лото или домино! но не эта математика руководила ея совѣтами и замѣчаніями; тайное, неопредѣленное чувство вкуса или чего хотите, вспыхивало какъ порохъ при удачномъ переходѣ, разливалось въ блаженствѣ при вѣрной и красивой мелодіи, кипѣло бурно при страстныхъ порывахъ звуковъ и также чувствительно оскорблялось пошлостью, тосковало при общихъ мѣстахъ, негодовало, когда въ музыкѣ замѣтно было безвдохновенное усиліе, напряженный трудъ или изысканность... И всѣхъ этихъ впечатлѣній не умѣла скрывать Матильда, и всѣ эти впечатлѣнія служили законами и нерѣдко вдохновеніемъ для Березовскаго.

Но онъ, счастливецъ, онъ не страдалъ отъ неудачъ; онъ только восхищался тѣмъ, что нравилось Матильдѣ. А чѣмъ она была недовольна, то равнодушно перечеркивалъ и радъ былъ случаю написать лучше, угодить Матильдѣ, себѣ доставить удовольствіе въ удовольствіи Матильды. А она? Поймите капризы женщинъ! Она въ тотъ день, когда Березовскій съ неудачнымъ нумеромъ весело возвращался въ рыбацкую избушку съ твердымъ намѣреніемъ замѣнить плохое изящнымъ и уже обдумывалъ перемѣны, — она съ печалію прощалась съ учителемъ, съ печалію провожала его взорами, съ печалію иногда до ночной тмы глядѣла на море, само собою разумѣется, въ ту сторону, гдѣ торчала рыбацкая избушка. Она сердилась на себя, зачѣмъ огорчила маэстро; зачѣмъ... и давала себѣ слово твердое не мѣшаться болѣе въ чужія дѣла, скрывать свои впечатлѣнія, и оставалась при обѣтахъ. На утро, когда Березовскій съ робостью входилъ въ завѣтныя ворота; когда явственно раздавались его обычные вопросы: встали? здоровы? Матильда дрожала; съ стѣсненнымъ сердцемъ выходила въ гостинную; она боялась за новую неудачу, за пошлую нотку, за поспѣшную небрежность аккомпаньемента.... Поймите капризы женщинъ! Я ихъ не понимаю, а разсказываю, и увѣряю васъ, что во всей операѣ финалъ доставилъ и маэстро и Матильдѣ и впослѣдствіи всей публикѣ наибольшее удовольствіе. Три раза повторили финалъ и задумались, да задумались такъ грустно, такъ печально, какъ-будто услышали горькую вѣсть; какая-то пустота томила

жаждой и Березовскаго и Матильду, какъ-будто они играли въ интересную игру и она кончилась въ ничью. Поймите капризы людей! Опера написана; во всѣхъ послѣдствіяхъ нельзя было сомнѣваться; да они и не думали о послѣдствіяхъ. Ну, чтожь, опера написана! Да! написана, но души, которыя предъ тѣмъ страдали надъ этимъ срочнымъ трудомъ, за окончаніемъ возложеннаго на нихъ порученія, остались праздными; невидимая нить, связывавшая два сердца однимъ общимъ дѣломъ, оборвалась; правда, они сидятъ такъ близко другъ къ другу, но это физическіе пустяки; наступила нравственная разлука; для этой тоски тѣсны духовные сосуды; чету разлучило море грусти... Лючія не могла участвовать въ этомъ разрывѣ, но дружба имѣетъ свойство угадывать чужія чувства чрезъ отраженіе; она почти поняла въ чемъ дѣло и поспѣшила нарушить это опасное, безмолвное спокойствіе...

— «Теперь...» сказала она, не безъ принужденія: «теперь вы не можете отговориться отъ насъ работой. Все кончено. Мы вмѣстѣ поужинаемъ...»

— «Да, кончено!» сказалъ онъ со вздохомъ. «Я свободенъ отъ труда, но никогда душа моя не требовала такъ сильно совершеннаго уединенія, какъ сегодня.»

— «Вотъ ужъ я этого не позволю. Такой счастливый день мы должны провести вмѣстѣ. Ступайте, погуляйте съ Матильдой по саду; въ комнатахъ душно, а я похлопочу объ ужинѣ...»

— «Лючія!» почти вскрикнули оба, какъ-будто боясь остаться на единѣ; но Лючіи уже не было. «Правда! Душно! Очень душно!» тихо сказала Матильда: «пойдемте!» и потупивъ головы, гуськомъ, и она и онъ вышли на небольшую террасу, уставленную цвѣтами.

Темно синее небо, усыпанное яркими звѣздами; благоуханіе цвѣтовъ и весенней зелени, торжественное безмолвіе ночи хоть кого расположатъ къ задумчивости, къ чувствамъ нѣжнымъ, грустнымъ; и безъ предшествующихъ поводовъ къ размышленію, можно задуматься, замечтаться, а у нашихъ друзей на сердцѣ стояла цѣлая ярмарка; шумъ, гамъ, толкотня, пестро, разнообразно; ничего не поймешь, ничѣмъ не уймешь! На террасѣ стало хуже чѣмъ въ комнатахъ; можно рѣшительно поручиться, что ни Березовскій, ни Матильда ничего не думали о любви до окончанія оперы... Но опера окончена и цѣпи страстей порвались какъ гнилыя бичевки и зашумѣла буря, ей же нѣтъ названія. Будущность, какъ это безконечное небо, разостлалась ковромъ передъ ихъ воображеніемъ, искрошилась въ вопросы: Что будетъ? Дадутъ оперу, а послѣ что? Много славы, да въ славѣ что? Пріятно, да какъ-то воздушно, неудовлетворительно? Что будетъ послѣ славы? Не вѣкъ же оставаться вмѣстѣ учителю и ученицѣ; но почему-же бы и не остаться? Что изъ этого будетъ? Но ему надо послѣ оперы тотчасъ ѣхать въ Россію, а ей надо стяжать не одну ливорнскую извѣстность; у нея много долговъ; надо ихъ за-

платить; и она такова, что за деньги заплатить только деньгами; она пожалуй и любить перестанетъ, если не въ состояніи будетъ разсчитаться. Да развѣ она уже любитъ? Кажется. Повѣсть раскроетъ истину; а теперь, на этой террасѣ, трудно добиться отъ нихъ слова. — Вздохи и больше ничего; глаза, полные слезъ, сверкаютъ тихимъ отблескомъ звѣздъ; вотъ и все тутъ... самая романическая бесѣда, и я никакъ бы не повелъ моихъ читателей на эту несносную террасу, еслибы не зналъ навѣрное, что всѣ серьозныя бесѣды начинаются краснорѣчивымъ молчаніемъ. Эти паузы необходимы въ житейской музыкѣ; безъ нихъ пришлось бы задохнуться музыкантамъ... Правда, речитативъ, которымъ прерывается это краснорѣчивое молчаніе, глупѣе самаго молчанія, но что же дѣлать. Всѣ речитативы глупы и есть законы, не терпящіе исключеній.

— «Чудная ночь!» сказалъ Березовскій съ глубокимъ вздохомъ.

— «Да, ночь прекрасна» отвѣчала Матильда: «прекрасна, хотя все-таки тяжело, душно...»

— «Да! не легко!»

Речитативъ затруднился. Послѣ краткой паузы:

— «Какую звѣзду вы больше любите, Матильда!»

— «Для меня всѣ равны, кромѣ вотъ этой... Я не могу смотрѣть на нее безъ страха...»

— «Это звѣзда моего холоднаго отечества!»

Матильда вздрогнула и рука, указывавшая на сѣверъ, упала, будто сломанная.

— «Отъ чего же этотъ страхъ, Матильда!» сказалъ Березовскій, садясь на скамью въ задумчивости: «И у меня бываютъ припадки безотчетнаго предчувствія. Матильда! Повѣрите ли, въ Ливорно и я познакомился съ небеснымъ сводомъ; прежде мнѣ до звѣздъ не было никакого дѣла; прежде море для меня было огромною лаханкой, безъ всякаго значенія... Теперь ропотъ его наводитъ на меня уныніе; звѣздное небо—тоже, а эти сѣверныя звѣзды вселяютъ тайный страхъ, который проходитъ только послѣ свиданія, то есть послѣ пріятной бесѣды. Неужели въ этихъ странныхъ ощущеніяхъ таится капля существенности...»

— «Не дай Боже!»

— «Никто какъ Богъ! Онъ тамъ за этими звѣздами; Онъ насъ видитъ теперь, Матильда; передъ лицемъ Его теперь много молящихся... О, звѣзды, мои звѣздочки! Я понимаю васъ! Вы съ упрекомъ сверкаете въ глаза мои; вы зовете меня на мѣсто, къ предназначенному подвигу... Я спѣшу! спѣшу! Я не уклонился отъ обязанности!»

— «Объ чемъ вы это говорите, Массимо? Вы...»

— «Матильда! У каждаго свои мысли и у меня свои; три любви на этомъ свѣтѣ: къ родной землѣ, къ родному искуству, къ роднымъ... Первая болѣй всѣхъ! Весь я, вся моя душа цѣликомъ должна лечь на службу отчизнѣ. И звѣзды зовутъ меня; нечему учиться мнѣ по своей части въ Италіи; да и возрастъ ученія миновался; надо учить; родное искуство мое—музыка; а тамъ у насъ въ

Россіи еще и учиться не начинали; на одного изъ меня пало счастіе—проникнуть въ это таинство; я нуженъ теперь государству, какъ генералъ, какъ судья, какъ купецъ; тѣхъ еще много, а я одинъ, и сижу въ Италіи, пишу итальянскія оперы, трачу время, принадлежащее моимъ соотечественникамъ.

— «Такъ вы почитаете это время потеряннымъ?...»

— «О, нѣтъ, Матильда! Тутъ есть и уступка отъ промысла въ пользу человѣка; это срокъ льготы, который мы должны употребить для родныхъ и я употребилъ его съ пользою. Я отдалъ все мое состояніе братьямъ; я обезпечилъ ихъ будущность; я былъ такъ счастливъ, помогъ раскрыться и развиться ваннимъ колоссальнымъ способностямъ. Вы теперь на безопасной высотѣ..»

— «Такъ вы и меня считаете родною?...»

— «Больше, Матильда! Больше! Клянусь небомъ...»

— «Пожалуйте ужинать! раздался голосъ Лючіи и бесѣда прервалась на самомъ интересномъ мѣстѣ; но послѣднихъ словъ Березовскаго было очень довольно для Матильды; она вошла въ столовую такая веселая, радостная; сіяла счастьемъ; улыбалась краше утренней зари; дышала блаженствомъ; разрумяненная внутренними ощущеніями, она была невыносимо прелестна и Березовскій понялъ наконецъ, что еще есть на свѣтѣ четвертый родъ любви, который эту новую родную отдѣлялъ отъ семьи кровныхъ и друзей. Съ этихъ поръ каждый день они проводили вмѣстѣ: сѣверныя звѣзды

возбуждали въ нихъ то же странное чувство страха, но эти ощущенія пролетали легкимъ облакомъ и небо блаженства ихъ опять было свѣтло и чисто. Само собою разумѣется, что Демофонтъ былъ между ними самымъ дѣятельнымъ посредникомъ. Матильда пѣла свою ужасную партію въ совершенствѣ; время летѣло быстро, и однажды, когда подъ вечеръ наши пустынники скромно ужинали на открытомъ воздухѣ и любовались видомъ шумнаго моря, на отдаленномъ горизонтѣ показались знакомыя вѣтрила. Легкій попутный вѣтръ несъ въ Ливорно цѣлое стадо кораблей; ближе, ближе; смерклось, и сумерки освѣтились вспышками пороха на корабляхъ, тишину ночи нарушили пушечные салюты: русскій флотъ воротился.

— «Неужели осень!» закричалъ Березовскій: «они пришли за мной! Матильда! Наше блаженство рушилось! Матильда, не выдавай меня...»

— «Что это значитъ?» спросила Лючія, изумленная выходкой Максима Созонтовича: «Опомнитесь, Массимо!»

— «Да! да! Вы правы!» отвѣчалъ Березовскій, потирая рукою лобъ. «Гдѣ права мои? Кто я! Что я! Бѣднякъ, служка, птица въ клѣткѣ... Да! да! Я и забылъ! У меня есть обязанности! О, я полечу, я ихъ исполню! Матильда, руку! На годъ, не больше! Прощайте, Матильда! Не пройдетъ и года! Имя ваше будетъ гремѣть въ Европѣ! Въ Петербургѣ итальянская опера; въ Петербургѣ любимѣйшіе композиторы Италіи! Надѣюсь, очистятъ мѣсто, когда прійдетъ его законный властитель.

Надѣюсь, они посторонятся передъ болонскимъ академикомъ и капельмейстеромъ, передъ русскимъ композиторомъ. Они должны уступить! Я ихъ заставлю, я.. О, тогда, Матильда, вы пріѣдете въ Петербургъ, вы уже будете богаты, я съ достаткомъ; мы будемъ обезпечены. Не правда ли?..»

— «Я васъ не узнаю, Массимо» сказала Лючія. «Я увѣрена, что Матильда никогда не согласится...»

— «Напротивъ! Напротивъ!» закричала Матильда въ свою очередь, вскочивъ съ мѣста. «Я принимаю твой вызовъ, Массимо! Вотъ тебѣ моя рука! съ ней и сердце и клятва въ неизмѣнной любви.»

— «Матильда!»

— «Массимо!»

И къ неописанному удивленію Лючіи, любовники безъ всякихъ церемоній обнялись, поцѣловались и, проливая радостныя слезы, бросились на шею Лючіи.

—

IV.

ОТЪѢЗДЪ.

Рано утромъ, въ знакомомъ турецкомъ кабинетѣ, графъ въ халатѣ принималъ поздравленія. Ему что-то нездоровилось. Онъ былъ всѣмъ и всѣми недоволенъ; въ отвѣтахъ своихъ онъ былъ необыкновенно коротокъ, сухъ; въ вопросахъ замысловатъ, страненъ; можетъ быть... Но въ этомъ отношеніи причины неудовольствія графа пусть раз-

гадываетъ исторія. Очередь пріема гостей дошла и до Березовскаго.

— «А. здравствуй! Что, опера готова? Хорошо разучили?»

— «До карнавала, ваше графское сіятельство, еще...»

— «Глупо! Я ѣду завтра! Оставайся ты тутъ съ своей оперой, а мнѣ некогда. Только смотри, чтобъ было хорошо. Не осрами и не осрамись. Вотъ тебѣ денегъ на подмогу, а по веснѣ пріѣзжай въ Петербургъ. Ну, прощай, любезный! Дай Богъ свидѣться въ Петербургѣ по-добру, по-здорову. Прощай!»

И Березовскій ушелъ безъ особенныхъ какихъ-либо ощущеній и отправился къ Систо. Тамъ господствовало великое замѣшательство и волненіе. Систо ходилъ большими шагами взадъ и впередъ по комнатѣ. На него съ коварной и злобной улыбкой глядѣла Марія; полуодѣтая, она покоилась въ мягкихъ креслахъ; возлѣ на табуретѣ безъ спинки вертѣлась Ладичи, перебраниваясь съ первымъ пѣвцомъ и другими сюжетами труппы; на полу были раскинуты цѣлые тюки нотъ; въ нихъ рылась подслѣповатая и неопрятно одѣтая фигура...

— «Ну, что, нашелъ?» спросилъ Систо. «Вѣрно, продалъ, мерзавецъ! Цѣликомъ продалъ! Я берегъ эту партицію на черный день, про случай, а онъ... Извергъ! и продалъ за бездѣлицу, за фульету испанскаго вина! — Посадилъ меня на мель, этотъ академикъ...»

«И меня!» подумала Марія. — «А ты, Систо, я думаю, и задатокъ отпустилъ въ полцѣны! Принялъ бродягу за академика и капельмейстера....»

— «Теперь ужъ не то время, чтобы отличить плута отъ честнаго человѣка. Уѣхалъ! Не велика бѣда, подумалъ я, времени много; поѣздитъ по разнымъ городамъ и воротится. . А онъ — хотя бы слово написалъ. Разорилъ, просто разорилъ, взялъ впередъ больше половины денегъ, связалъ меня, спуталъ.. . И безъ оперы! Тогда какъ... Боже мой! Синьоръ Массимо!»

Березовскій стоялъ посреди комнаты съ огромнымъ фоліантомъ подъ мышкой; Систо стоялъ передъ нимъ въ позиціи удивленія; Марія вскочила и онѣмѣвъ, оставалась въ неподвижномъ изумленіи; прочіе менѣе или болѣе раздѣляли то же чувство. Первый опомнился Систо.

— «И съ оперой» закричалъ онъ. «Право, съ оперой! Да здравствуетъ великій мужъ и его опера! Кресла сюда, клависинъ; кругъ, кругъ, становитесь въ кругъ, станемъ слушать...»

— «Не безпокойтесь! Клависина не нужно. Вотъ столъ, вотъ опера, пожалуйте по условію деньги...»

— «Какъ? Но...»

— «Я исполнилъ волю графа, исполнилъ условіе — теперь за вами очередь...»

— «Но все однако же надо просмотрѣть...»

— «Что это! Ужъ не собираетесь ли вы заняться разборомъ моего труда. Это не по вашей

части, Систе. Кончимъ! Я долженъ увѣдомить графа чѣмъ мы рѣшили...»

— «Давайте рѣшать!»

— «Давайте деньги!»

— «Деньги вѣрныя...»

— «Когда будутъ въ моемъ карманѣ. Опера еще вѣрнѣе; вотъ она, извольте смотрѣть, я васъ не обманываю... Не хотите ли взглянуть и на контрактъ; можетъ быть вспомните?...»

— «Я очень хорошо помню, но согласитесь сами, что не видавъ ни одной нотки...»

— «Прощайте! Мнѣ право некогда! Я доложу графу о вашей исправности и поѣду въ Миланъ, чтобъ не терять времени...»

— «Да что же это вы, изъ денегъ хлопочете, что ли? Стану я затрудняться такими пустяками; вотъ ваши деньги!...»

— «Вѣрно! простите!» и положивъ деньги въ карманъ, Березовскій хотѣлъ уйти...

— «Массимо!» раздался дрожащій женскій голосъ. Березовскій вздрогнулъ. Онъ не зналъ что сказать, какъ обойдтись и очень хорошо чувствовалъ всю неловкость своего поведенія. Марія во всякомъ случаѣ имѣла право на соблюденіе общественныхъ приличій, и Березовскій подошелъ къ ней, поклонился, хотѣлъ что-то сказать, но Марія его предупредила:

— «Гдѣ это вы пропадали, Массимо!»

— «Я провелъ эту весну и лѣто какъ лаццарони, на берегу моря, питался устрицами, улитками и музыкой; этихъ линіевій требовала опера...»

— «Надѣюсь, вы намъ пропоете что нибудь изъ этого образцоваго произведенія...»

— «Вы услышите его на сценѣ гораздо лучше...»

— «Но до карнавала далеко... Мы можемъ и вовсе не услышать...»

— «Не мой убытокъ, синьора! Я свое получилъ — и спѣшу изъ Ливорно. Возвращусь къ самому представленію; къ послѣдней репетиціи, но еще разъ напоминаю послѣднее условіе и прошу артистовъ не перемѣнять ни одной нотки! Простите!»

И Березовскій, неловко поклонясь, ушелъ; Марія, дрожа отъ злости, схватила за руку Ладичи такъ сильно, что та чуть не вскрикнула, и увлекла ее въ свою спальню.

— «Сто разъ я помогала тебѣ, Ладичи. Помоги мнѣ одинъ разъ... Не быть этой оперѣ на сценѣ во что бы то ни стало...»

— «Нѣтъ, Марія! Мстить, такъ ужъ позволь мнѣ... Дать оперу, дать, спѣть, разыграть, но какъ: все вверхъ дномъ; ни одной нотки живой не останется, все переиначу! На послѣдней репетиціи спою какъ слѣдуетъ; а на первомъ представленіи смѣхъ, стыдъ, поруганіе — вотъ что я доставлю этому гордецу... Не правда ли, моя месть умнѣе...»

— «Сто, тысячу разъ... Но, кажется, мужъ насъ подслушиваетъ» и Марія впотомъ досказала свои желанія и мысли.

Прошло около трехъ недѣль. Партіи были расписаны, тщательно перевѣрены, разосланы. Прошло

еще нѣсколько времени. Березовскаго нерѣдко видали въ театрѣ съ дамами, но дамы были въ маскахъ; ночевали въ гостинницѣ; утромъ, ни ихъ, ни Березовскаго уже не находили въ гостинницѣ; а искали? любопытные офицеры отъ нечего дѣлать, да Марія; чутко было ея сердце: опасны преслѣдованія и дамы перестали бывать въ театрѣ. Березовскій не скрылъ отъ нихъ прошедшаго. Братцы получили чины и награды, и кутили въ новыхъ званіяхъ и съ новыми средствами, какъ истинные побѣдители Турковъ, но уважали тайну братца, даже Опанаса не смѣли про нее разспрашивать. Все шло самымъ обыкновеннымъ и совершенно не романическимъ порядкомъ. Дни, недѣли мелькали; начались репетиціи, наступила послѣдняя; кромѣ Маріи, постороннихъ никого не было. Березовскій явился въ урочное время со всею важностью маэстро. Почтѣніе, съ какимъ привѣтствовалъ его Систо и всѣ артисты, показывало, что опера имъ понравилась. Березовскій держалъ въ рукахъ аффишку и капельмейстерскій жезлъ.

— «Мнѣ кажется» сказалъ онъ спокойно и сухо: «вы поспѣшили, Систо; объявили слишкомъ рано; поставили себя въ непріятную обязанность завтра дать Демофонта непремѣнно...»

— «Да отчего же нѣтъ? Опера идетъ какъ нельзя лучше!»

— «Посмотримъ, посмотримъ!»

«Какъ, великій мужъ, вы рѣшаетесь сами вести оркестръ...»

— «Разумѣется! Начнемъ же, господа!»

Все успѣлось, откашлялось, вооружилось инструментами и по мановенію палочки Березовскаго раздалась превосходная симфонія, замѣчательная эпитичною простотою и величіемъ; въ самомъ дѣлѣ, музыканты постарались и проиграли симфонію съ отличною отчетливостію; первыя сцены прошли недурно; вышла прима-донна и съ первыхъ пассажей Березовскій остановилъ репетицію.

— «Синьора!» сказалъ онъ съ кроткою улыбкой: «А условіе! Вы оставили почти одно нотное пѣніе; всѣ мои арабески пропали...»

— «Неужели ихъ можно пѣть?» тоже съ улыбкой сказала Ладичи и значительно взглянула на Марію, которая въ полумракѣ злилась и горѣла нетерпѣливою местью.

— «Видно, что можно, если написано! Потрудитесь пропѣть вполнѣ...»

— «Помилуйте! Да этого не съиграетъ и скрипка.»

— «А споетъ человѣческій голосъ.»

— «Кажется, я это лучше васъ понимаю...»

— «О нѣтъ, синьора! Я профессоръ пѣнія, я знаю возможности человѣческаго голоса... Такъ не угодно ли?»

— «Нѣтъ! Я съ этими украшеніями пѣть не буду...»

— «Въ такомъ случаѣ лучше вовсе не пѣть...»

— «По мнѣ пожалуй!..»

— «И по мнѣ тоже!..»

— «Что вы, что вы! Помилуйте!» закричалъ Систо: «завтра представленіе! Уже объявлено!..»

— «Вспомните условіе...»

— «Да если оно невозможно!»

— «Систо!» сказалъ Березовскій строго: «за кого вы меня принимаете! Развѣ я полуумный, что ли, и стану писать неисполнимое! Угождать капризамъ вашихъ пѣвицъ! Стыдиться труда своего! Отчего же другіе могутъ пѣть, а только одна прима-донна...»

— «Да когда всѣ эти ужасы и сидятъ въ моей партіи...»

— «Стыдитесь, синьора, говорить такія вещи! Вы пренебрегли партію, не дали себѣ труда поработать и не можете пѣть... Но я объявляю торжественно, что завтра же, если вамъ не угодно пѣть какъ написано, я остановлю представленіе на первой вашей перемѣнѣ и прикажу опустить занавѣсь!»

— «Такъ пойте же сами!» закричала Ладичи въ бѣшенствѣ, швырнула свитокъ съ партіей прямо въ лицо капельмейстеру и убѣжала; и Систо и Марія бросились за нею, а Березовскій спокойно поднялъ свитокъ, поправилъ свѣчу, настроилъ лежавшую возлѣ запасную скрипку и сталъ на свое мѣсто..

— «Не безпокойтесь, господа!» сказалъ онъ съ невозмутимымъ хладнокровіемъ: «станемъ продолжать репетицію. Все уладится. Покуда, я за прима-донну» — и репетиція пошла впередъ. Березовскій тщательно индѣ игралъ на скрипкѣ, индѣ пѣлъ партію Ладичи и опера шла какъ нельзя лучше... Въ финалѣ перваго акта съ крикомъ вбѣжалъ на сцену Систо.

— «Что вы!» кричалъ онъ: «Съ ума сошли! Пробуете безъ прима-донны! Ступайте къ ней! Молите! Просите! Мнѣ она сказала на отрѣзъ: Не буду пѣть!»

— «И не нужно! Молчите! Не мѣшайте!» грозно сказалъ Березовскій и продолжалъ финалъ. Систо, нѣмой отъ удивленія, смотрѣлъ то на капельмейстера, то на артистовъ. Ему казалось, что они всѣ сошли съ ума; то щупалъ себя за голову и не зналъ что подумать обо всей этой исторіи. Кончился первый актъ. Систо опять присталъ къ Березовскому.

— «Но подумайте, великій мужъ, какъ же это будетъ...»

— Ахъ, какой вы несносный, Систо! Будетъ хорошо, превосходно. Я и не знаю какъ благодарить господъ артистовъ... Въ Болоньи, въ Миланѣ мнѣ не удавалось встрѣчать такого согласія, такой твердости; восхитительно! Теперь, господа, кончимъ репетицію и не откажитесь со мной откушать во здравіе Демофонта!

— «Да здравствуетъ Демофонтъ и его родитель!..»

— «Право, они съ ума сошли!» кричалъ Систо: «всѣ до одного съ ума сошли, со мною включительно. Да вспомните, ради самого Бога, что у васъ нѣтъ прима-донны...»

— «Систо! говорю вамъ безъ шутокъ! отвяжитесь! Намъ не до васъ! Ступайте прочь, занимайтесь своимъ дѣломъ, приготовляйте костюмы, декораціи, лампы и побольше билетовъ; послѣ репетиціи приходите ко мнѣ обѣдать...»

— «Въ сумасшедшій домъ развѣ ..»

Но рѣчь его заглушилъ сильный аккордъ. Репетиція пошла своимъ порядкомъ. Во все время слышны были одобрительныя восклицанія музыкантовъ и плачь Систо.

Репетиція кончилась аплодисементомъ исполнителей оперы.

— «Теперь ко мнѣ, господа!» сказалъ громко Березовскій и страшный стукъ ящиковъ, и гулъ голосовъ смѣнили стройные звуки Демофонта. Березовскій уходилъ изъ театра, Систо бѣжалъ за нимъ и кричалъ по своему: «Шутки въ сторону, маэстро! Вы не знаете здѣшней публики. Мы съ нею не раздѣлаемся! Она готова убить меня и васъ.. »

— «До этого не дойдетъ, Систо! Но я вижу, что васъ нельзя унять. Послушайте! У меня есть братъ, который по несчастію .. вы меня понимаете, — превосходно поетъ сопрано... Чуръ, секретъ...»

— «Отсохни языкъ!.. но это все похоже на сказку...»

— «Слушайте! Онъ еще очень молодъ, женоподобенъ и красивъ... Но если вы меня выдадите!..»

— «Убей меня громъ небесный!»

— «Завтра пропоетъ онъ... Партію онъ уже знаетъ и пропоетъ безъ репетиціи... Такъ завтра онъ, а послѣ завтра, вы увидите, Дадичи у насъ же будетъ просить прощенія...»

— «Великій мужъ! Вы все предвидѣли! О, эти

Ладичи! она стóитъ такого урока, право стóитъ; сотремъ рогъ ея гордости...»

— Но вы видите, куда влечетъ меня авторское самолюбіе. Для славы моей я жертвую репутаціей моего брата. Понимаете? И потому вы должны первое: завтра на афишкѣ не ставить лицъ, а только роли...»

— «Весьма умно! Не поставлю ни одного лица, кромѣ вашего.»

— «Второе: сколько у васъ выходовъ со сцены?»

— «Два. Одинъ въ театръ, другой на подъѣздъ...»

— «Хорошо! Тамъ будутъ держать стражу мои люди. Ни Ладичи, ни ваша жена не должны быть пропущены на сцену...»

— «Я скажу, что вы взяли все на себя, скажу, что графъ не приказалъ; да ужъ я скажу, не бойтесь, а покуда...»

— «А покуда, и сегодня и завтра до самаго вечера настаивайте, чтобы Ладичи пѣла. Она не согласится, это вѣрно.»

— «Это такъ вѣрно, какъ то, что ваша опера чудо...»

— «Стращайте правительствомъ...»

— «А она притворится больною...»

— «И не придетъ въ театръ...»

— «И все сойдетъ съ рукъ, какъ нельзя лучше. Публика будетъ благодарна, что мы не остановили представленія... А что, вашъ братецъ, въ самомъ дѣлѣ, поетъ...»

— «Лучше, гораздо лучше Ладичи...»

— «Да это просто чудо, прелесть!» и Систо на площади хлопалъ въ ладоши, подпрыгивалъ, подбрасывалъ шляпу, къ изумленію артистовъ, выходившихъ изъ театра. Но вдругъ онъ стихъ, повѣсилъ голову и печально пошелъ за Березовскимъ — и неудивительно! Въ окнахъ своей квартиры онъ увидѣлъ жену и синьору Ладичи. Замѣтивъ радость Систо и спокойствіе Березовскаго, и зная, посредствомъ тайныхъ посольствъ служанки, что репетиція продолжалась, дамы не знали что гадать, что думать; подозрѣнія возрастали и могли навести на опасную догадку; но послѣ добраго обѣда явился Систо; вино придало ему смѣлости; онъ настаивалъ, грозилъ, — и дамы успокоились, душевно смѣясь надъ легкомысліемъ Березовскаго. На другой день рано по утру появились небывалыя афишки, прилѣпленныя на стѣнахъ домовъ, на всѣхъ перекресткахъ; онѣ возбуждали толки и привлекали толпу. Театръ былъ въ осадѣ, но Систо, всегда лично раздававшій билеты, почтительно кланялся изъ своей конурки и докладывалъ публикѣ съ гордостью, что билетовъ нѣтъ въ продажѣ. Весьма многіе молодые и богатые люди обращались въ подобныхъ случаяхъ къ женѣ Систо, къ прима-доннѣ и къ другимъ важнѣйшимъ членамъ труппы. Но каково же было ихъ удивленіе, когда Ладичи не принимала никого за тяжкимъ недугомъ, жена Систо не хотѣла никого видѣть... Вѣсть, что Ладичи не будетъ ввечеру пѣть, разнеслась по городу съ быстротою самой нелѣпой сплетни, значитъ быстрѣе молніи...

— «Слышали, господа!» кричали осаждающіе въ заднихъ рядахъ: «Оперы сегодня не будетъ.»

— «Будетъ!» ревѣлъ Систо во все горло.

— «Ладичи больна...»

— «Къ вечеру выздоровѣетъ!...»

— «Она при смерти...»

— «Это уже не въ первый разъ — и еще ни разу не умерла. На то есть мѣры.» Все Ливорно очень хорошо знало и вѣдало, что партія примадонны въ операхъ Березовскаго ужасно трудна, что кромѣ Ладичи спѣть ее некому, и потому не удивительно, что ввечеру, за часъ до урочнаго времени, въ С.-Себастіано съѣхались не только слушатели, получившіе билеты но и тѣ, которые не достали мѣстъ ни въ кассѣ, ни у факторевъ Систо за плату, иногда вдесятеро превышавшую установленную магистратомъ. Публика сидѣла и стояла въ потемкахъ, громко требовала огня, но Систо презиралъ подобныя требованія и зажигалъ одинокую лампу, освѣщавшую амфитеатръ ровно за десять минутъ до начала представленія; притомъ же ему теперь было не до внутренней публики; внѣшняя крайне его безпокоила: она огромными двумя толпами окружала оба театральныя крыльца, въ особенности заднее. Систо очень хорошо зналъ, что въ этихъ толпахъ скрываются такіе обожатели синьоры Ладичи, которые готовы взять театръ приступомъ и надѣлать тьму самыхъ непріятныхъ исторій; почему, забывъ объ лампахъ и костюмахъ, Систо бросился къ коменданту города; выпросилъ чуть не полкъ тосканскихъ драгунъ; они

оттѣснили объ толпы на приличное разстояніе, устроили просторную военную дорогу, по которой, немедленно по открытіи, четыре трактирные лакея пронесли въ закрытыхъ носилкахъ неизвѣстныхъ сѣдоковъ и выпустили ихъ прямо въ театръ. Уличная публика только и могла замѣтить, что одна изъ прибывшихъ въ носилкахъ особъ была въ греческомъ костюмѣ и маскѣ, другая въ мужскомъ плащѣ и также въ маскѣ. Огромныя двери заперлись; ключъ щелкнулъ два раза и площадь съ этой стороны опустѣла; но за то у выхода со сцены на театръ происходило сильное словопреніе между Опанасомъ и городскими щеголями. Привиллегированные посѣтители закулиснаго края напрасно истощали все свое краснорѣчіе и доказывали Опанасу, что еще праотцы ихъ имѣли свободный доступъ за кулисы. Опанасъ сначала опровергалъ ихъ права и притязанія; потомъ махнулъ рукой, сѣлъ на деревянный табуретъ у самыхъ дверей и на всѣ фигуры словъ и на всѣ монеты закулисныхъ гостей отвѣчалъ упорнымъ молчаніемъ. И съ этой стороны осаждающіе должны были отступить. Внизу, то есть по нашему, по нынѣшнему, въ партерѣ, при слабомъ свѣтѣ уже зажженной лампы, въ темномъ углу собралась партія Ладичи и условливалась насчетъ дальнѣйшихъ дѣйствій; но нѣсколько неосторожныхъ словъ ей измѣнили; братцы ихъ подслушали и подняли тревогу. Такъ какъ это было послѣ обѣда и разумѣется обѣда плотнаго, располагающаго къ великимъ подвигамъ, то и не уди-

вительно, что къ братцамъ пристали всѣ обѣдавшіе такимъ же образомъ и торжественно объявили, какъ будто другъ другу, но такъ, что заговорщики не могли не слышать, — что всякое поползновеніе къ зиканью, къ метанью гнилыми яблоками и ко всякимъ инымъ безпорядкамъ они принимаютъ на себя наказывать лишеніемъ уха, носа и другихъ частей человѣческой фигуры. Въ этотъ несчастный день, во всемъ театрѣ и его окрестностяхъ не было уголка спокойнаго. И на сценѣ артисты, собравшись въ кругъ, разспрашивали Систо: кто прима-донна? откуда? и такъ далѣе. Но Березовскій стоялъ близко и Систо пантомимой наказывалъ молчаніе... И Березовскій не былъ покоенъ. Какъ хотите, и Моцартъ и Мольеръ трепетали невольнымъ страхомъ передъ представленіемъ даже послѣднихъ своихъ произведеній; нельзя привыкнуть къ этому чувству; оно создано изъ особенныхъ ощущеній; не принадлежитъ къ психологическимъ каталогамъ чувствъ, и сходства съ другими чувствами въ немъ мало; а у Березовскаго двойной страхъ и за себя и за прима-донну; не смотря на всю увѣренность въ высокихъ достоинствахъ и своего труда и примадонны, Березовскій дрожалъ всѣмъ тѣломъ, холодный потъ выступалъ по лицу крупными каплями; ему хотѣлось бы и скорѣе начать представленіе и отмѣнить его вовсе; но послѣдняго сдѣлать нельзя и Березовскій, громко сказавъ: Пора! пошелъ въ оркестръ. Амфитеатръ заволновался, но съ первыми аккордами симфоніи затихъ и хра-

нилъ мертвое молчаніе до конца увертюры. Занавѣсъ поднялась при оглушительномъ громѣ рукоплесканій и опять наступила тишина, и нѣніе шло покойно, волнуя только искреннихъ любителей и знатоковъ прелестью, простотою и новостью мелодій; но вдругъ простота закудрявилась, оркестръ сыгралъ ритурнель въ высшей степени затѣйливую; вниманіе публики напряглось; во глубинѣ театра показалась прима-донна; по расположенію пѣсы, она должна была издали, чуть не за кулисами, начать свою арію. И звучный серебряный голосъ разсыпался подобно блистательной ракетѣ, на темномъ небѣ раскинувшей свои ослѣпительные блестки. Публика, будто одинъ человѣкъ, вздрогнула: прима-донна медленно приближалась къ аванъ-сценѣ; изъ полумрака рисовалась дивной стройностью и прекраснымъ ростомъ роскошная женская фигура; костюмъ увеличивалъ прелесть; ближе, ближе, и переднія лампы освѣтили очаровательное лицо Матильды, оживленное вдохновеннымъ выраженіемъ; плуоткрытыя уста, окончивъ первую часть аріи, сомкнулись небесной улыбкой — и амфитеатръ завылъ, оглушая трубы оркестра. Нѣсколько голосовъ кричало: Matilda! Matilda! Divina!... Волненіе въ оркестръ увлекло общее вниманіе на Березовскаго; ближайшіе музыканты, спѣшно оставивъ инструменты, подхватили его подъ руки; онъ плакалъ навзрыдъ слезами блаженства; умоляющій взглядъ Матильды привелъ его въ чувство; онъ схватилъ палочку и оркестръ загремѣлъ. Арія была докончена и пред-

ставленіе остановилось слишкомъ на четверть часа. Крики, стукъ, кошельки, цвѣты, платки, все это пришло въ движеніе и смѣшалось въ странный и общій хоръ; даже Систо и артисты до того забылись, что выбѣжали на сцену и громко кричали: Матильда, Матильда! Систо не преминулъ прибавить: «Убей меня громъ небесный, я этого не зналъ и не ожидалъ! Никогдабъ не позволилъ, никогда!...»

— «Прочь со сцены!» закричалъ Березовскій.

— «Прочь со сцены!» повторило сто голосовъ и опера пошла далѣе, постепенно возрастая въ успѣхѣ, такъ что послѣдній финалъ угрожалъ разрушеніемъ старому С.-Себастіану. Занавѣсъ упала. Вызовы окончились, но публика не расходилась, ждала, ждала чего-то долго и разбрелась уже въ потемкахъ, потому что Систо приказалъ потушить лампу. Замаскированная дама, въ сопровожденіи Лючіи въ мужскомъ плащѣ и маскѣ, въ тѣхъ же носилкахъ благополучно воротилась въ гостинницу, благодаря тосканскимъ драгунамъ. Толпы восторженныхъ слушателей провожали ихъ до гостинницы криками, пѣснями; и долго, долго, далеко за полночь бродили подъ тусклоосвѣщенными окнами... А Матильда? Она не раздѣвалась, она ждала кого-то, и дождалась. Максимъ Созонтовичъ вбѣжалъ въ комнату какъ полуумный и бросился въ ея объятія! Долго плакали всѣ трое безъ словъ, но голосъ Систо привелъ ихъ въ чувство...

— «Маэстро! Вы погубили меня! Вы разорили меня! Онъ уже узнали! Видите, на лицѣ моемъ

кровь — это жена моя; видите, у меня нѣтъ парика — это Ладичи; нога болитъ; я летѣлъ съ собственной лѣстницы, какъ падшій ангелъ; только и разницы что не въ адъ, а изъ аду. Что я буду теперь дѣлать?»

— «Что хотите! Мы свое сдѣлали! Вы нарушили условіе. Я требовалъ...»

— «Знаю, Господи Боже мой, знаю, да что я стану теперь дѣлать...»

— «Что угодно! Демофонтъ данъ! Публика довольна! Мы отомщены; теперь можете сжечь мою оперу; я объ ней не пожалѣю...»

— «Да я что буду дѣлать! На завтра всѣ билеты проданы; а кто будетъ пѣть, Ладичи не хочетъ...»

— «Заключите условіе съ Матильдой; она на этотъ карнавалъ, пожалуй, останется въ Ливорно...»

Систо стоялъ вытаращивъ глаза на Матильду и не зналъ что сказать, на что рѣшиться.

— «Ну, послушайте, Систо! Теперь уже поздно; дамамъ нуженъ отдыхъ. Пойдемъ ко мнѣ...»

— «Да пѣть-то кто будетъ?»

— «Ладичи или Матильда... Но если Ладичи, такъ по моему. Не прощу ни одной нотки... Пойдемте!»

И простясь съ дамами, Березовскій утащилъ Систо въ корридоръ...

— «Постойте, маэстро! Не ложитесь! Пойдемте со мною къ Ладичи, можетъ быть она согласится...»

— «Да мнѣ какое до этого дѣло? Если Матильда не будетъ пѣть, я и въ театръ не пойду.»

— «Не пойдете? Честное слово?

— «Пожалуй! Честное слово!

— «Ну, смотрите же, ни ногой! Вы дали честное слово! Простите пока» и Систо, какъ ни былъ разбитъ, бросился домой, но тамъ, о ужасъ! тамъ нашелъ цѣлую орлію. Жена его и Ладичи, въ неистовомъ бѣшенствѣ, не зная чѣмъ заглушить вопіющую злобу, пировали съ обожателями и покупали безумными ласками ужасныя клятвы отомстить Матильдѣ, Березовскому, Систо, всѣмъ, и отомстить завтра же. Домъ Систо, всегдашній притонъ тайнаго разврата, обратился въ открытый вертепъ самыхъ дикихъ, безстыдныхъ страстей. Очарованіе было слишкомъ сильно, по роскоши, прелестей главной вакханки Маріи. Необинуясь, она громко объявила, что не останется жить съ Систо, что убьетъ, зарѣжетъ его, какъ только увидитъ; что любовь ея тому наградой, кто чувствительнѣе отомститъ за ея подругу Ладичи; обѣты Ладичи были тѣ же: и молодость клялась и ликовала, торжествуя впередъ легкую побѣду. Какъ псы, бросилась вся компанія на Систо, какъ только его зачуяла, но страхъ на своихъ легкихъ крыльяхъ унесъ его отъ погони прямо въ гостинницу; Березовскій впустилъ его въ свой нумеръ, дрожащаго всѣмъ тѣломъ; онъ долго не могъ выговорить слова; но какъ только оправился, тотчасъ началъ старую пѣсню:

— «Да кто же будетъ пѣть завтра? Ладичи не будетъ! А билеты всѣ проданы!»

— «Я вамъ говорилъ, Систо! Матильда, только надо заключить контрактъ по всѣмъ правиламъ...»

— «Такъ слушайте же, разбудите ее, станемъ торговаться...»

— «Ничего этого не нужно! Я за нее... за карнавалъ тысячу червонныхъ — и дѣло съ концемъ...»

Напрасно Систо истощилъ всѣ способы убѣжденія, чтобы сколько нибудь облегчить участь С.-Себастіано и своего кошелька. Неумолимый Березовскій умѣлъ воспользоваться своимъ положеніемъ и къ утру условіе было написано, переписано, подписано передъ обѣдомъ засвидѣтельствовано всѣми и городскими властями. И Марія, и Ладичи, и обожатели ихъ, положившіе страшную клятву, еще спали, когда началось второе представленіе Демофонта, обезпеченное драгунами, Опанасомъ и братцами съ братіей. И Марія и Ладичи какъ львицы прибѣжали въ театръ посмотрѣть на паденіе Матильды, и были свидѣтельницами только ея законнаго торжества; мстители еще одѣвались, пудрились, охорашивались, когда Матильда единогласно была провозглашена первою пѣвицею Италіи и почти вся публика провожала ее въ тріумфѣ до крыльца гостинницы. На другой день всѣ почетнѣйшіе люди въ городѣ искали ея знакомства; записные волокиты всякаго рода и званія, въ томъ числѣ почти всѣ мстители, явились къ ней съ повинною головой, но, увы, уходили отъ нея влюб-

ленные по уши и безъ надежды, унося съ собою какое-то благоговѣйное уваженіе къ женской добродѣтели. Напрасно шипѣли злобой Марія и Ладичи; какъ змѣи въ травѣ, невидимыя и безвредныя, онѣ обливались собственнымъ ядомъ: съ каждымъ днемъ слава Матильды возрастала; Систо богатѣлъ; публика блаженствовала и незабвенный карнавалъ доставилъ Европѣ пѣвицу, какихъ не много видали на лучшихъ италіянскихъ театрахъ. Но всему есть срокъ въ этой срочной жизни. Во вторникъ на первой недѣлѣ поста ударилъ колоколъ, зовущій грѣшниковъ къ покаянію; Ливорно стихло; весенніе дожди и вѣтры обновили природу, флотъ русскій готовился къ отъѣзду; день разлуки Березовскаго съ Матильдой приближался. Они боялись даже говорить объ этомъ страшномъ днѣ, но благоразумная Лючія каждый разъ наводила разговоръ на эту тяжелую тему. Березовскій не сомнѣвался въ успѣхахъ своихъ въ Россіи; примѣръ Моцарта не могъ служить ему урокомъ, хотя онъ не разъ удивлялся, что Моцартъ, славный, знаменитый, истинное чудо въ своемъ родѣ, скитался безъ мѣста по родной Германіи; Березовскій былъ твердо увѣренъ, что въ Петербургѣ только и ждутъ его, что на другой же день онъ будетъ занимать первое музыкальное мѣсто, осмотрится и пріймется за реформу; Матильда въ это время успѣетъ удивить всю Италію; пропоетъ на важнѣйшихъ театрахъ, карнавалъ проведетъ въ Миланѣ и черезъ Вѣну, Дрезденъ и Варшаву пріѣдетъ съ торжествомъ въ Петербургъ и тамъ—и сердце Березов-

скаго замираю въ избыткѣ блаженства и Матильда раздѣляла всѣ эти надежды и чувства. Да и могло ли случиться иначе: контрактъ съ Миланомъ былъ уже заключенъ; другіе города звали ее на самыхъ выгодныхъ условіяхъ, гдѣ на мѣсяцъ, гдѣ на болѣе; Березовскій проводилъ Матильду до Венеціи, былъ свидѣтелемъ ея торжества, поручилъ свою невѣсту заботливой дружбѣ Лючіи, простился будто на одинъ день—и воротился въ Ливорно. Тамъ ужъ давно ждали его и на другой же день Березовскій въ красивой каютѣ на адмиральскомъ кораблѣ пустился въ дальній путь. Адріатическія волны и петербургскія надежды убаюкали его сномъ сладостнымъ; онъ проснулся. . . . .

. . . . . .

—

V.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Уже нѣсколько городовъ убѣдилось въ справедливости слуховъ насчетъ ливорнской пѣвицы. Матильда превосходила всѣ ожиданія: толпа волокитъ изъ города въ городъ преслѣдовала несравненную: но никакія хитрости, подкупы не удавались; самые отчаянные селадоны не могли добиться минутнаго свиданія съ Матильдой; навязчивыхъ, нахальныхъ гостей принимала и отправляла Лючія — и весьма естественно; Лючія была и казначейша и домоправительница; она заключала контракты, получала деньги, расписывалась, закупала все нужное; никто не могъ имѣть самаго ничтожнаго дѣла къ

Матильдѣ; но прелести ея были такого высокаго достоинства, что самыя непріятныя неудачи усиливали только, раздували людскія желанія и въ Веронѣ всѣ возможныя гостинницы, и множество забытыхъ, полуразрушенныхъ домиковъ на предмѣстьяхъ все было наполнено, набито пріѣзжими изъ другихъ городовъ обожателями. Знаменитая пѣвица не знала гдѣ остановиться въ обширномъ городѣ; все было заблаговременно нанято; принуждены были нанять загородную виллу; но и тамъ обожатели не оставляли ихъ въ покоѣ. Серенады раздавались подъ высокой оградой; письма кучами приходили въ руки Лючіи и отправлялись нераспечатанныя въ огонь; но вотъ пришло письмо съ почты; Лючія рѣшилась распечатать и бросилась на балконъ къ Матильдѣ.

— «Письмо отъ Массимо!» успѣла прокричать Лючія и Матильда уже читала:

«Петербургъ, 7-го Іюля 1775 года. Матильда! Здорова ли ты, Матильда! Хранитъ ли ангелъ Божій лучшее твореніе Божіе, мою Матильду? Каждый день молюсь! На кораблѣ въ однообразной тоскѣ морскаго пути душа моя пѣла молитву о тебѣ и напѣла эту тихую пѣсеньку, которую тебѣ и посылаю. Я въ Петербургѣ со вчерашняго дня. Девять лѣтъ такъ измѣнили нашу столицу, что узнать трудно. Я боялся за тебя; думалъ, что объѣхавъ лучшіе города Италіи и Германіи,. ты найдешь нашъ Петербургъ пустыней. Теперь не страшно. Само собою разумѣется, я не успѣлъ еще и осмотрѣться; остановился въ гостин-

ницѣ; Петербургъ пустъ. Всѣ въ Москвѣ; это у насъ другая столица, центральная и старая, гдѣ коронуются наши Государи и отъ времени до времени посѣщаютъ старушку; весь Дворъ тамъ. Празднуютъ миръ съ Турціей. Опера, виртуозы, артисты, капелла, всѣ тамъ и мнѣ рѣшительно нечего дѣлать, некуда пойдти. Ни души знакомой. Положеніе мое было бы незавидно, еслибы душа моя не носила въ себѣ неотлучной собесѣдницы, тебя, Матильда... Разлука—Богъ съ ней... это жестокое страданіе; слава Богу, что не съ кѣмъ говорить, нечего дѣлать. Разлука впрочемъ имѣетъ и хорошую сторону. Это мѣра нашимъ чувствамъ. Это время для самаго труднаго экзамена; я выдержалъ его, Матильда, и теперь во сто кратъ болѣе люблю тебя. Все къ лучшему. Вольтеръ не правъ. Право все къ лучшему.—Когда я пріѣхалъ въ Петербургъ почти мальчикомъ, мнѣ показалось, что меня привезли на кладбище, гдѣ и для меня уже готова могила. Когда я имѣлъ счастіе, въ старомъ деревянномъ дворцѣ, за обѣдней, въ плохомъ концертѣ, выпѣвать неумѣстное соло, я испугался своей будущности... Боже мой, Боже! думалъ я: только-то и цѣли въ моей жизни! Зачѣмъ? Развѣ я не могъ допѣть моей жизни и въ холмистомъ Кіевѣ? Но покойный Ціписъ самъ немного зналъ, однако же открылъ во мнѣ музыкальное дарованіе. Кто ему шепнулъ, что меня надо посвятить въ тайны композиціи? Не думай, Матильда, что я обрадовался предложенію Ціписа. О, нѣтъ, я испугался; но пріученный къ повиновенію старшимъ,

горячо принялся за ученіе. Когда рѣшили, что меня должно послать за границу, въ Италію, — я плакалъ съ горя, не спалъ ночи: мнѣ казалось, что Цописъ хочетъ уморить меня; но повиновался, пріѣхалъ въ Болонью, учился, работалъ, мучился — не понимая, не постигая зачѣмъ я все это дѣлаю. Въ трудахъ моихъ не было никакого вдохновенія; ничто меня не воспламеняло, не увлекало; въ искусствѣ моемъ я не видѣлъ цѣли; естественно, я сталъ изнемогать, трудъ обратился мнѣ въ казнь, я боялся за разсудокъ; на краю пропасти я самъ угадалъ необходимость дать занятіямъ своимъ какую нибудь систему, отыскать цѣль — и Богъ благословилъ меня высокимъ чувствомъ сознанія въ моемъ назначеніи для пользы и чести Россіи. Съ тѣхъ поръ мнѣ стало легче; но признаюсь, и это чувство заключало меня въ какомъ-то волшебномъ пустынномъ кругу; я жилъ будто не въ свѣтѣ, ни чѣмъ съ нимъ не связанный; и нерѣдко я сравнивалъ себя съ тучей — ходитъ высоко надъ землею, пьетъ воду, растетъ, тяжелѣетъ, чтобы разлиться дождемъ надъ буграми песку и исчезнуть. И грустно было мнѣ на этомъ свѣтѣ, грустно, такъ грустно, что и улыбки не видалъ на устахъ моихъ ни Атаназіо, ни Мартини. Пустота въ моей жизни стала для меня замѣтна. Я ходилъ около нея, какъ безсмысленная лошадь на мельницѣ, не понимая откуда и зачѣмъ этотъ однообразный стукъ колесъ и жернововъ, и отчего подъ ногами земля ходитъ. Я сдѣланъ академикомъ. Не думай, чтобы эта честь сколько нибудь

меня порадовала. Ни на волосъ. Я считалъ обязанностью въ отношеніи къ Россіи быть академикомъ не позже малолѣтнаго Моцарта; я не читалъ моего диплома и если бы не Атаназіо, то вѣрно бы не привезъ его съ собою въ Петербургъ. Письма братьевъ на мгновеніе оживили тоску мою, кровь заговорила. Я полетѣлъ къ нимъ на крыльяхъ, свидѣлся—и совершенно упалъ духомъ. Скажи, Матильда, зачѣмъ меня утащили изъ Кіева, зачѣмъ отправили въ Италію, зачѣмъ учили, къ чему Богъ мнѣ подарилъ голосъ и музыку?.. О тебѣ, Матильда, заботилось провидѣніе, и кто знаетъ, можетъ быть я уже болѣе не нуженъ на этомъ свѣтѣ. — Я не могу писать болѣе... Мнѣ грустно... Прости, Матильда!.. Нѣтъ! Я еще не могу съ тобою разстаться, Матильда! Я провелъ весь день на открытомъ воздухѣ; любовался великолѣпной, оживленной Невой! Случай навелъ меня на стараго знакомаго, товарища по капеллѣ; онъ спалъ съ голосу и теперь служитъ въ Сенатѣ. Ахъ, какъ онъ обрадовался встрѣчѣ со мною; мы проговорили съ нимъ цѣлый день, обошли почти всѣ невскіе острова пѣшкомъ; и признаюсь я порадовался за Петербургъ. Не смотря на отсутствіе Двора, всѣ рукава Невы покрыты большими лацъями; на нихъ то публика, то музыканты, то пѣсенники; со всѣхъ сторонъ слышались звуки рожковъ, кларнетовъ, фаготовъ; я тебѣ кое что разсказывалъ о нашей роговой музыкѣ, но самъ еще не имѣлъ объ ней порядочнаго понятія; на водѣ эффектъ этого оркестра поразителенъ, но

на бѣду играютъ піесы, вовсе несродныя этого рода инструментамъ; я дорогой, гуляя съ товарищемъ и слушая его разсказы, сочинилъ для роговъ концертъ; посылаю тебѣ его мотивы; напиши, что ты объ нихъ думаешь. Мой товарищъ ужасно забавенъ. Сначала мнѣ разсказалъ подробно разныя училищныя сплетни; потомъ, что у нихъ дѣлается въ сенатской канцеляріи. Представь, онъ не знаетъ, что я сдѣланъ академикомъ и капельмейстеромъ; на всѣ мои увѣренія качалъ головою сомнительно, и заключилъ опасеніемъ, что въ Петербургѣ я никогда не буду капельмейстеромъ. Чудакъ!» Полно, братецъ, полно» говорилъ онъ мнѣ: «Ты прежде не любилъ хвастать, теперь какъ по маслу...» Я не могъ обидѣться, а онъ продолжалъ: «Вѣрю, братецъ, что ты теперь знаешь больше, чѣмъ зналъ, да куда тебѣ до Чимарозы и Паэзіэлло; первые въ цѣломъ свѣтѣ! Такія пишутъ оперы, что просто на диво... «А ты думаешь, что я не пишу оперъ!» —Полно, братецъ, полно! «Да знаешь ли ты, что въ Ливорно играли мою оперу Демофонтъ!»— Онъ чуть не легъ со смѣху; признаюсь, это меня нѣсколько огорчило! Какъ! Знакомый, товарищъ, и тотъ не знаетъ, что я академикъ, капельмейстеръ, что я написалъ Демофонта! Но такъ какъ занятія по службѣ могли его отвлечь отъ искусства, я утѣшился и пересталъ разговаривать о музыкѣ.—Но вотъ уже и утро, то есть солнце, потому что ночи здѣсь нѣтъ — легкіе сумерки и только. Я измученъ прогулкой. Завтра, то есть сего-

дня, идетъ почта; прости, Матильда!—Да, милый другъ, если можно, сдѣлай моего Демофонта сколько нибудь извѣстнымъ въ Миланѣ, во время карнавала и когда будешь ѣхать черезъ Германію. Меня взбѣсилъ этотъ невѣжа! Итальянскихъ газетъ, какъ онъ сказывалъ, никто не читаетъ въ Петербургѣ; о миланскомъ карнавалѣ пишутъ и Нѣмцы; а это бы пригодилось по крайней мѣрѣ для сенатскихъ чиновниковъ. Жду отъ тебя писемъ по прилагаемому адресу... До свиданія, Матильда, когда-то мы увидимся! Весь твой М. Б.»

—

«Верона. 22 го сентября 1775 года. Другъ мой, Массими! Я не писала къ тебѣ такъ долго, потому, что все поджидала изъ Ливорно Демофонта. Но вотъ что случилось. Марія Систо, твоя любовь, и моя соперница, узнавъ, что я прислала за оперой не мало денегъ, ночью забралась въ кладовую, отыскала партитуру и всѣ голоса и предала нашего друга и наперсника огню. Не огорчайся, мой другъ, горю можно помочь; я нашла въ Веронѣ бывшаго капельмейстера въ Ливорно. Онъ увѣряетъ меня, что помнитъ всю оперу наизусть и уже, съ моею помощью, принялся писать партитуру. Пропусковъ и ошибокъ быть не можетъ, потому что я знаю оперу лучше его; мнѣ нуженъ только работникъ. Впрочемъ я не упускаю случая блеснуть Демофонтомъ. Въ знатныхъ домахъ и разъ на театрѣ я пропѣла мою арію — и всѣ были въ восхищеніи. Кому же ближе забо-

иться о славѣ твоей, доброй мой другъ и благо-
ѣтель. Ахъ! скоро ли эти холодныя имена замѣ-
яться священнымъ именемъ супруга. Массими,
Іассими, ты правъ! Разлука возвышаетъ и уси-
иваетъ любовь! На дняхъ я оставляю Верону,
еру моего капельмейстера и ѣду въ Парму. Пиши
рямо въ Миланъ, потому что въ Пармѣ я долго
е пробуду. Сдѣлай милость старайся поскорѣе
строиться и я полечу къ тебѣ на крыльяхъ. Безъ
ебя мнѣ скучно, очень скучно. Мнѣ кажется, я
пою хуже, и дурно играю, хотя добрая Лючія
увѣряетъ меня, что я дѣлаю успѣхи. Прости,
илый другъ; но кажется мы съ тобой не похо-
и ни на свѣтскихъ любовниковъ, ни на романти-
ескихъ героевъ. Я иначе о тебѣ не думаю, какъ
удто бы объ отцѣ, мужѣ и дѣтяхъ вмѣстѣ.
русть моя велика отъ заботливыхъ думъ; я знаю,
помню, ты уѣхалъ, у тебя не было и трехъ
отъ червонныхъ; деньги всегда нужны, съ ними
ебѣ и устроиться будетъ легче. Не прикажешь
и, Массими, прислать тебѣ пять, шесть сотенъ; у
еня набралась денегъ куча, уже за двѣ тысячи;
ы велѣлъ беречь эти деньги и мы не проживаемъ
ишняго ни павла. Лючія — истинный Колбертъ.
апиши только куда и какъ переслать. Я увѣ-
ена, что ты не разсердишься за это на твою
Іатильду.»

—

«Петербургъ. 15-го декабря 1775 года. Я
олучилъ письмо твое, Матильда, получилъ тог-
а, въ такую минуту, когда безъ этой небесной

помощи я не знаю что бы со мной сдѣлалось... Не знаю станетъ ли у меня духу, хладнокровія, чтобы разсказать тебѣ въ порядкѣ все, что со мною случилось. Не пугайся, Матильда! Буря стихла, но волненіе еще продолжается! Я едва стою на ногахъ. Это было въ день моего рожденія, 21-го сентября. Ты какъ будто знала и на другой же день спѣшила меня утѣшить неоцѣненнымъ письмомъ. Но могъ ли я этого надѣяться, могъ ли я думать, мечтать!... Да, не даромъ насъ пугали сѣверныя звѣзды... Надо было вѣрить небу... Надо было... Ахъ, Матильда, зачѣмъ я пишу къ тебѣ? Скажи, не безумецъ ли я? Клянусь Богомъ и всѣми святыми, я не хотѣлъ писать къ тебѣ; горя стыдомъ, я искалъ кого нибудь, чтобы излить мои страданія, но Атанасіо меня не понялъ, братья меня поздравили съ позоромъ; нѣтъ у меня ни живой души, которая бы могла понять мое положеніе. И какъ же ты хочешь, чтобы я не писалъ къ тебѣ. О, Матильда, но послѣ всего что случилось, могу ли, смѣю ли обращаться къ тебѣ... Признаюсь, я стыжусь объ тебѣ думать, когда сижу на своемъ новомъ мѣстѣ... Но будь что будетъ, Матильда! Прими мою исповѣдь и забудь меня. — Да, это было въ день моего несчастнаго рожденія. Очень нужно мнѣ было... Но... вотъ видишь. Я былъ одинъ, какъ всегда; запершись я доканчивалъ осьмиголосный концертъ: «Не отвержи мене...» Я чувствовалъ какое-то небесное удовольствіе отъ священнаго труда; ты, Матильда, право ты одна си-

дѣла у стола и улыбалась такъ ангельски вдохновенной работѣ, и звуки будто слышимо лились на бумагу. Вдругъ вошелъ Опанасъ и говоритъ: Царица будетъ завтра' — Ты почемъ знаешь? — Да пріѣхали пѣвчіе, комедіанты и дворская челядь. Печки топятъ, театръ снаряжаютъ. По счастію концертъ былъ совершенно окончанъ; оставалось дописать послѣднюю разрѣшительную каденцу; я бросилъ перо, наскоро одѣлся и пошелъ во дворецъ. Въ самомъ дѣлѣ, это огромное зданіе, все время стоявшее пустыремъ, вдругъ оживилось; вездѣ мыли окна, люди бѣгали по крыльцамъ, кругомъ разнообразные дорожные экипажи. Я справился. — Директоръ капеллы Сарти пріѣхалъ; онъ жилъ недалеко отъ дворца, тутъ же на Мойкѣ; я поспѣшилъ къ нему. Онъ принялъ меня сухо, гордо, невыносимо и объявилъ мнѣ, что для меня нѣтъ вакансіи. Всѣ помощники и его учителя въ комплектѣ, а мнѣ нѣтъ мѣста! Мнѣ! Да чье же мѣсто занимаешь ты, наемный пришлецъ? Мнѣ, Русскому, ты, чужеземецъ, не даешь пристанища въ моемъ же отечествѣ, у меня дома! Отвѣтъ его меня разсмѣшилъ. «Простите, маэстро» сказалъ я, принуждая себя къ учтивости: «Я совсѣмъ не за этимъ и пришелъ къ вамъ. Мѣсто мнѣ укажетъ Ея Императорское Величество, Всемилостивѣйшая Государыня, а я пришелъ къ вамъ только засвидѣтельствовать мое почтеніе какъ товарищу по ремеслу и свести необходимое знакомство.» Отвѣтъ ему не понравился; онъ гордо окинулъ меня взглядомъ съ ногъ до головы и ска-

залъ съ запальчивостью: «Императорскій пѣвчій, не забудьте, вы говорите съ своимъ начальникомъ.» Признаюсь, я не выдержалъ. «Кочующій музыкъ, не забудьте и вы, что говорите съ членомъ Болонской Академіи! Наше знакомство кончено. Прощайте!» Не знаю, хорошо ли я все это сдѣлалъ, но признаюсь я былъ и есмь доволенъ моимъ отвѣтомъ. Прошло нѣсколько дней. Я не выходилъ изъ дома, ожидалъ приказанія представиться Императрицѣ и сочинялъ рѣчи, какія намѣренъ былъ сказать Екатеринѣ; это было въ воскресеніе, какъ теперь помню; я дремалъ утреннимъ сномъ, досыпая до моего урочнаго часа; вошелъ Атанасіо и доложилъ, что пріѣхалъ изъ Царскаго Села, загороднаго дворца Императрицы, красный лакей. Я поспѣшно одѣлся; лакей вошелъ и подалъ мнѣ пакетъ: читаю — Боже мой, Боже, я хотѣлъ бы скрыть отъ тебя, Матильда, содержаніе этой страшной бумаги, но ты уже знаешь много, знай все — и забудь меня, ничтожнаго:

— Возвратившійся изъ чужихъ краевъ камеръ-пѣвчій Максимъ Березовскій сопричисляется къ пѣвческой Ея Величества капеллѣ, съ окладомъ по четыреста рублей въ годъ. О чемъ объявляя, предписываю вамъ явиться въ контору капеллы для полученія дальнѣйшихъ приказаній. Подписано италіянскими буквами: Sarti. — Что ты скажешь, Матильда, а? что ты скажешь на все на это? Забудь меня, забудь, я не достоинъ твоей любви; ничтожный музыкъ со всѣми моими заморскими титлами, со всею моею трансальпійскою славою.

Забудь меня, Матильда. До этой минуты я не зналъ, что я самолюбивъ; не видѣли, не слышали меня и уже рѣшили чего я стою; и кто же? Какой нибудь Сарти, которому такъ усердно дивится невѣжество, Сарти, который печатно не устыдился обличить себя въ незнаніи музыки: онъ цѣлой книгой доказывалъ, что Моцартъ не знаетъ музыки и пишетъ безсмыслицу! И этотъ Сарти за ухо посадилъ въ клѣтку твоего Массими, подвелъ подъ уровень съ толпою невѣждъ, ремесленниковъ самаго низкаго класса. Въ бѣшенствѣ я не зналъ что дѣлаю; съ добрую милю я бѣжалъ пѣшкомъ въ Царское Село; усталость заставила меня опомниться; меня догналъ какой-то кухонный придворный экипажъ; я сталъ проситься и меня привезли на дворцовую кухню; вотъ я и въ Царскомъ. Но къ кому обратиться, кому пожаловаться; кого и объ чемъ спросить? Я пошелъ куда глаза глядятъ; обошелъ я раза три весь дворецъ съ пристройками; было уже не рано: вижу музыканты одинъ за другимъ идутъ во дворецъ; я къ нимъ; начинаю говорить по-русски; качаютъ головами и уходятъ; наконецъ одинъ изъ нихъ отозвался на мой вопросъ довольно грубо: «Кого тебѣ нужно! Остерегись! Тутъ бродягъ не жалуютъ; тутъ и Хандошкину иногда нѣтъ проходу...» Вы Хандошкинъ! закричалъ я: «вы знаменитый русскій скрипачъ.» — Скриплю себѣ порядочно, а знаменитымъ, батюшка, насъ не смѣй называть. — Почему же? — Потому, батюшка, потому... Пусть послѣ скажу, — а съ кѣмъ, ба-

тюшка, не въ обиду будь сказано, принялось говорить... — Максимъ Березовскій. — Не слыхалъ, извини, родной отецъ, не слыхалъ!... — Матильда, скажи, нужно ли разсказывать тебѣ, какъ при этихъ словахъ заболѣло, закричало бѣдное сердце. Я стиснулъ губы, но глаза налились кровавыми слезами. «Что съ вами, батюшка!» спросилъ Хандошкинъ заботливо и поставилъ ящикъ со скрипкой на гранитную ступеньку. — Ничего, право ничего... Пусть послѣ скажу; кажется мы не смѣемъ называться знаменитыми, даже быть сколько нибудь извѣстными по одной и той же причинѣ. — А чѣмъ же вы батюшка знамениты? Простите невѣдѣнію. — Въ Петербургѣ пока ничѣмъ, а въ Италіи...» Ба ба ба! вспомнилъ, вспомнилъ! Графъ Алексѣй Григорьевичъ что то разсказывалъ. — А гдѣ графъ! — Да онъ здѣсь, вотъ тутъ за оранжереей въ небольшомъ домишкѣ. Нынче не для всѣхъ есть мѣсто...» Я это испыталъ не хуже графа... Простите! — Куда же вы? — Да къ графу. И не слушая что говорилъ Хандошкинъ, я поспѣшилъ къ указанному дому. Но графа не засталъ дома. Я пошелъ опять по дворцу, въ надеждѣ встрѣтить Хандошкина и свести съ нимъ знакомство покороче. Русскій, какъ ни грубъ, а все-таки свой. Смеркалось, изъ раскрытыхъ оконъ полились очаровательные звуки превосходнаго смычка. Я забылъ все, усѣлся на скамейкѣ и пилъ эту чудную музыку, исполненную высокой энергіи, великолѣпной простоты. Игра вполнѣ соотвѣтствовала сочиненію. Тутъ все было совершенно. Но

не прошло и получаса и все кончилось; прокричали браво, протрепали въ ладоши и музыканты стали расходиться. Почти всѣ проходили мимо меня, въ глубокомъ молчаніи, чуть не на цыпочкахъ. Опять послѣднимъ явился Хандошкинъ. «А! Вы все еще здѣсь. Видно поджидаете...» Васъ! — Меня! — Да кого же больше? Мы товарищи, мы должны познакомиться; потолковать... — Батюшка, помилуй, смерть хочу подкрѣпить себя пуншикомъ; тоска, скука такая; пусть ужъ познакомимся завтра.»

— «Да развѣ вамъ не все равно, выпить стаканъ пуншику у меня или дома?»

— «Батюшка благодѣтель, вотъ ужъ и видно что родной! Не согрѣшу отказомъ, а гдѣ твоя конурка?» Тутъ только я вспомнилъ, что у меня въ Царскомъ нѣтъ пристанища; по счастію кошелекъ былъ со мной и я отвѣчалъ что остановился въ гостиницѣ.»

— «Знаю, знаю» сказалъ Хандошкинъ: «кто не знаетъ обжогинскаго заведенія; ужъ на городскія харчевни не похоже. Пойдемъ!» и Хандошкинъ проводилъ меня въ деревянный домъ, довольно грязный; мы закупорились въ самомъ отдаленномъ нумерѣ; Матильда, я стыжусь тебя, я пилъ, я не могъ не пить; я горѣлъ; меня жгла неиспытанная жажда... Бесѣда пуще и пуще распаляла мое негодованіе. Я убѣдился изъ его ужасныхъ разсказовъ, что Итальянцы составили огромный заговоръ, съ цѣлію не давать Русской музыкѣ никакого хода; душить ея свѣжіе побѣги; если можно сгноить

ея зерно въ землѣ и обогащаться чужимъ достояніемъ. Итальянцевъ тутъ тма; заговоръ идетъ успѣшно, потому что Чимароза, Паэзіэлло, Віотти, Дельфини, Мара, Тоди, Маркези, Маркети — люди съ талантомъ; интрига умѣетъ благовидно прикрываться ихъ достоинствомъ... Ахъ, Матильда, Матильда! Какъ хочешь, я не доскажу чѣмъ кончился этотъ ужасный вечеръ... Нѣтъ, я не въ силахъ сказать... Да и къ чему тебѣ знать мой тяжкій грѣхъ! Я уже за него наказанъ; во многихъ домахъ уже громко называютъ меня пьяницей и положительно утверждаютъ, что за границу молодыхъ людей посылать не слѣдуетъ... Балуются, набираются дерзости, спиваются съ круга... Я покорился необходимости... Явился въ капеллу. — Вотъ уже третій мѣсяцъ—и только разъ поручили мнѣ пройдти съ пѣвчими одинъ концертъ моего сочиненія, присланный еще изъ Италіи. — Куда я ни обращался, вездѣ видѣлъ, что Хандошкинъ правъ. Мнѣ нѣтъ, не дадутъ хода; въ бездѣйствіи я просижу долго, долго, до смерти, потому что и года я не проживу въ такомъ униженіи. Мечты мои рушились! Матильда! Ты свободна; никогда я не захочу, не позволю, чтобы ты погубила славный свой жребій для ничтожнаго, заживо погребеннаго человѣка. Я пріучаю себя къ этой ужасной мысли. Вѣчная разлука, вѣчная! И это еще лучшая сторона моего положенія, потому что хуже будетъ, если я тебя увижу... Прости на вѣки!»

—

«Миланъ, 1-го марта 1776 года. Массимо, Массимо! Не нужно намъ никого и ничего! Ненавистенъ мнѣ театръ, мнѣ тяжка извѣстность; но я не сниму этого бремени, пока не соберу подати со всей Европы для и за тебя, Массимо. — Мой талантъ принадлежитъ тебѣ; я принесу тебѣ плоды твоихъ же трудовъ; мы утонемъ въ общемъ забвеніи, проснемся для истинной жизни. Твердости, Массимо, твердости! Я не узнаю тебя! Не ты ли говорилъ: нельзя взойти на гору, благоразуміе велитъ обойти ее; обойдемъ же, Массимо, эту пустую славу, не позволимъ гнѣвному самолюбію волновать сердецъ, назначенныхъ для семейнаго счастія. Знаешь ли что́ я придумала. Тебѣ нечего дѣлать. Напиши для меня оперу и пришли въ Вѣну; я поставлю на своемъ; опера будетъ дана. Слава твоя, заглушенная заговорщиками, воскреснетъ; станутъ писать въ газетахъ, дойдетъ до Петербурга и великая твоя Государыня обрадуется, что у нея въ Петербургѣ живетъ первоклассный европейскій композиторъ; отъ ея проницательнаго взора не укроется интрига; это событіе можетъ сломать все зданіе, удачно построенное корыстолюбивымъ коварствомъ. Право, такъ, Массимо! — О себѣ не пишу ни слова. Ты одна моя забота и прошу тебя, Массимо, не дурачиться, писать мнѣ каждую недѣлю, исправно, со всѣми подробностями, а чтобы тебя не отдали въ пытку нищетѣ и лишеніямъ, посылаю тебѣ тысячу червонныхъ изъ твоего же капитала. Найми себѣ порядочный домъ, заведи хозяйство, опрятную мебель,

хорошую прислугу. Это необходимо. Объ этомъ проситъ, молитъ твоя Матильда.»

—

«Петербургъ, 1-го мая 1776. Матильда, я уже простился съ вами навсегда; я уже начиналъ привыкать къ моему положенію, живой гнилъ, влюблялся въ ничтожество... Каждый день я убѣждалъ себя, что васъ и все прошедшее я видѣлъ во снѣ, въ сладкой горячкѣ. И вдругъ вы напомнили мнѣ, что все это было на самомъ дѣлѣ. Нѣтъ, неправда! Этого ничего не было! Клянусь этимъ стаканомъ англійскаго грока и пью его за мое ничтожество! Опера... Какой лукавый сонъ! И онъ уже снится не впервые; но какъ вы могли, какъ вы смѣли подумать, что я захочу, что я позволю себѣ жаловаться передъ ненавистною Европой на страстно любимое отечество. Оно ростетъ и процвѣтаетъ на глазахъ моихъ. Не одна музыка,— много, много отраслей знанія еще не начинались въ нашемъ огромномъ царствѣ. Такъ чтожъ за бѣда! Придетъ время и они выйдутъ изъ-подъ спуда, а музыка и подавнему. Тутъ нѣтъ никакой ошибки, развѣ та, что я родился слишкомъ рано, что полюбилъ музыку по свойственному мнѣ неблагоразумію, какъ полюбилъ васъ. Тутъ никто не виноватъ, кромѣ меня. Я все это очень хорошо понялъ, бросилъ въ печку всѣ мои сочиненія, купилъ себѣ геометрію, учусь математикѣ, хочу быть астрономомъ, чтобы заняться изслѣдованіемъ, какое имѣютъ вліяніе звѣзды на судьбу человѣ-

ческую. Не можетъ быть, чтобы столько вѣковъ вѣровало въ науку безъ сознанія. Желаю вамъ, Матильда, успѣховъ вездѣ и болыше всего при выборѣ человѣка... Деньги вамъ возвращаю; я не могу издержать и своихъ; братья уѣхали давно уже въ армію; Атанасіо я отправилъ въ деревню. Надоѣлъ своими нравоученіями. Я теперь совершенно одинъ. Мнѣ ничего не нужно. Надѣюсь, что вы перестанете думать о томъ, о комъ теперь уже рѣшительно никто не думаетъ. Съ глубокимъ почтеніемъ и всегданнимъ удивленіемъ къ вашему высокому таланту всегда останется вашъ покорнѣйшій слуга Максимъ Березовскій.»

—

«Петербургъ, 3-го іюля 1776. Надежда! Надежда. Она блеснула радужнымъ крылышкомъ! Матильда, я еще самъ не знаю, вѣрить ли моей радости. Но постой, я люблю все дѣлать и разсказывать въ порядкѣ. Ты не знаешь, что у насъ есть геніальный, колоссальный человѣкъ, графъ Григорій Александровичъ Потемкинъ; онъ любитъ Россію не меньше меня; здѣшнихъ чужеземныхъ обиралъ крѣпко не жалуетъ; у него строятъ Русскіе, поютъ для него русскія пѣсни; ѣстъ онъ по-русски. Словомъ на болыную руку русскій человѣкъ. На дняхъ его сдѣлали свѣтлѣйшимъ княземъ. Ты, я думаю, много слыхала про него въ Вѣнѣ. Его знаетъ и уважаетъ цѣлый свѣтъ. Надобно тебѣ сказать, что онъ еще въ прошломъ году назначенъ генералъ-губернаторомъ въ Южную

Россію, гдѣ такъ тепло, какъ у насъ въ Ливорно; отъ моей родины два шага; князь полагаетъ, и весьма справедливо, что музыкальная академія съ большимъ успѣхомъ можетъ существовать въ Малороссіи; что для удачи въ этомъ предпріятіи нуженъ русскій музыкантъ и меня зовутъ завтра по утру къ его свѣтлости. Прости что не пишу больше; почта скоро отходитъ, а мнѣ еще надо похлопотать, достать на прокатъ порядочный кафтанъ и другія мелочи. Прости, до слѣдующей почты. — Весь твой М. Б.»

—

«Петербургъ, 10 іюля 1776. Ура! Да здравствуетъ свѣтлѣйшій князь Григорій Александровичъ! Я, твой Массимо, я директоръ музыкальной академіи въ Кременчугѣ! Слушай, Матильда, и радуйся! Прихожу; лакеи то и дѣло отворяютъ двери; а я себѣ иду, да иду... Надо тебѣ знать, что я на себя похожъ не былъ: обритъ, вымытъ, въ хорошемъ парикѣ, въ хорошемъ платьѣ, выступаю себѣ по мытучнымъ полямъ, будто по улицѣ; ни какого страха; прошелъ комнатъ я думаю съ двадцать; вошелъ въ большой залъ; на серединѣ столъ стоитъ, подъ серебромъ трещитъ; на одномъ концѣ самоваръ, на другомъ кофейникъ, а промежду балыки, сельди, икра, сыры, пироги, ветчина, просто съѣстная лавка. Тутъ въ этой комнатѣ человѣкъ двадцать генераловъ военныхъ и статскихъ ожидаютъ князя, да молчатъ, не занепчутъ... Идетъ! кто-то сказалъ и точно по-

слышалась тяжелая походка; щелкали турецкія туфли. Князь вышелъ. На немъ была шуба изъ смушекъ, подпоясанная шалью, рубахи не было видно, на ней ничего, и туфли болтались на босыхъ ногахъ. Какой молодецъ! Вотъ вельможа, такъ вельможа! и ростъ, и черты лица, и взглядъ — богатырскіе. Кивнулъ всѣмъ гостямъ головой, да къ столу; то ветчины кусъ большой, то сыру ломоть, то редисы горсть, ѣстъ себѣ на здоровье, такъ что мы и послѣ завтрака были, а примѣтно всѣмъ ѣсть захотѣлось; тутъ гости стали по одиначкѣ подходить; одинъ поднесъ ему дипломъ и ордена въ футлярѣ; докладываетъ, что отъ польскаго короля, другой отъ датскаго, третій отъ шведскаго; онъ себѣ мурлыкнетъ сквозь зубы: «Спасибо,» такъ, что чуть разслушаешь, да и укажетъ на пустой столъ у стѣнки; то есть поставь покуда тамъ; теперь некогда, да и продолжатъ себѣ закусывать. Какъ дошелъ до кофе, тутъ пріостановился, налилъ себѣ чашку, потомъ сливокъ туда и сталъ, прихлебывая, съ гостьми разговаривать... — Я долженъ, господа, сказать вамъ новость.. » Мы всѣ уши и протянули, а онъ пошелъ опять по другой сторонѣ стола, гдѣ персикъ, гдѣ кусокъ ананаса захватитъ, тамъ малины тарелочку со сливками, дошелъ до самовара, тутъ кресло стоитъ, онъ и сѣлъ, налилъ себѣ большую чашку такого пахучаго чаю, что по всей комнатѣ ароматъ пошелъ; а мы все стоимъ, да новости ждемъ. «Вотъ, господа,» сталъ говорить, «вы Кременчугъ знаете. Тамъ будетъ музыкальная

академія — и вотъ я нарочно позвалъ его; мы съ нимъ по-русски, мигомъ кашу сваримъ. Какъ тебя зовутъ? — Максимъ Созонтовъ Березовскій. — Ну, хорошо, Максимъ, такъ ты останешься со мною. — Тѣ другіе видятъ, что аудіенція кончилась. Князь кивнулъ имъ головой, съ улыбкою такою странной, что и опредѣлить нельзя, посмотрѣлъ на столъ у стѣнки, допилъ чай, утерся рукою и разлегся себѣ на мягкой низенькой софѣ. «Ну, Максимъ, ты у меня человѣкъ свой и безъ глупой спѣси, такъ садись.» «Ваша свѣтлость...» Садись, говорятъ тебѣ. Дѣло народное; чванство въ сторону; ты знаешь за чѣмъ позванъ, такъ и говори что думаешь...» Я сѣлъ и молчалъ; князь лежалъ и насвистывалъ. Вотъ я и собрался съ духомъ и говорю: «Мысль вашей свѣтлости низпослана самимъ Богомъ. При настоящихъ обстоятельствахъ, русская музыка не можетъ родиться въ Петербургѣ; иноземцы употребятъ всѣ средства задушить первые отпрыски будущаго древа.» Князь кивнулъ головой одобрительно; я продолжалъ: «Положеніе Кременчуга таково, что со всѣхъ мѣстъ Южной Россіи могутъ туда безъ большихъ издержекъ съѣзжаться охотники до музыки, а уединенность города и отсутствіе всякихъ развлеченій представитъ учащемуся юношеству возможность заниматься наукой со всею необходимою внимательностію. Я не знаю, какія средства предполагать изволите для этого заведенія? — Какія нужны. — Въ такомъ случаѣ, я осмѣлился бы представить на благоусмотрѣніе вашей свѣтлости,

не угодно ли будетъ академію раздѣлить на двѣ части: одна открытая, въ которой будетъ преподаваніе для всѣхъ, кто только пожелаетъ учиться; другая часть закрытая, для избранныхъ учениковъ, принимаемыхъ на содержаніе заведенія. Этихъ надо учить гораздо болѣе и обезпечить въ будущности, не требуя отъ нихъ никакого возмездія, дабы не лишить ихъ бодрости и возбудить необходимое для всякаго искуства самолюбіе.» — Князь опять кивнулъ головой весьма ласково; я совершенно воодушевился и забылъ кто лежитъ передо мной. «Курсъ ученія, продолжалъ я, слѣдовало бы раздѣлить согласно назначенію учащихся. Въ открытомъ публичномъ отдѣленіи достаточно будетъ преподавать чтеніе нотъ для фортепьяно и голосовъ; главныя основанія генералъ-баса и шифрованный басъ; методу пѣнія съ нѣкоторыми важнѣйшими упражненіями — и на этомъ покончить; кто захочетъ учиться далѣе или играть на какомъ либо отдѣльномъ инструментѣ, можетъ въ томъ же Кременгугѣ имѣть учителей по вольнымъ цѣнамъ. Это усилитъ и средства наставниковъ и съ другой стороны освободитъ ихъ отъ излишняго и безполезнаго труда заниматься съ множествомъ учениковъ, которымъ, можетъ быть, нѣкоторыя части музыкальной науки будутъ вовсе непригодны. Въ закрытое отдѣленіе избираются тѣ изъ учениковъ, которые въ публичныхъ курсахъ уже обнаружили дѣйствительныя, неподверженныя сомнѣнію способности. Не стоитъ кормить, поить, одѣвать множество дѣтей, не вѣдая

еще что́ изъ нихъ выйдетъ и воспитывать будущихъ нищихъ. Неспособные къ музыкѣ пусть, пока не ушло время, обращаются къ другимъ ремесламъ. Въ закрытомъ отдѣленіи, я полагаю учредить четыре класса. Во всѣхъ ежедневное упражненіе въ избранной части; кто поетъ, пусть поетъ съ учителемъ ежедневно; кто играетъ на скрыпкѣ, пусть играетъ ежедневно; это упражненіе должно занять два три утренніе часа; тогда ученики отправляются въ классы. Въ первомъ генералъ-басъ въ самомъ обширномъ развитіи съ упражненіями; во второмъ инструментовка, то есть свойства разныхъ инструментовъ, ихъ ключи, и употребленіе. Тутъ же читать и писать партитуры на заданныя уже готовыя піэсы; въ третьемъ контрапункція, композиція и исторія музыки. Четвертый классъ или годъ посвящается исключительно практическимъ упражненіямъ, и сочиненію большой піэсы для полученія академическаго званія. Такимъ образомъ въ теченіи шести лѣтъ, — потому что я полагаю для публичнаго преподаванія два года, — такъ въ шесть лѣтъ воспитанники академіи непремѣнно достигнутъ полнаго музыкальнаго образованія, какого получить нельзя даже въ лучшихъ иностранныхъ заведеніяхъ. Само собою разумѣется, что пѣвцы и пѣвицы останавливаются на второмъ классѣ, если не пожелаютъ учиться инструментовкѣ, контрапункціи и композиціи; но за то слушаютъ исторію музыки вмѣстѣ съ другими, и все-таки во всѣ четыре года продолжаютъ методически упражняться въ пѣніи и въ сцени-

ческомъ искуствѣ, на академической сценѣ. Это главные курсы утренніе, на которые ученики могутъ употреблять съ пользою ежедневно только три часа. Вечернее время должно быть посвящено на слушаніе вспомогательныхъ курсовъ; въ самомъ больномъ талантѣ непріятно встрѣчать невѣжу; для дополненія воспитанія въ этомъ отношеніи, я полагалъ бы въ первомъ классѣ по вечерамъ преподавать русскій, итальянскій и французскій языки, во второмъ исторію и географію, въ третьемъ продолжать исторію, а въ четвертомъ прочесть энциклопедію. Право, никому не мѣшаетъ имѣть хотя поверхностныя свѣдѣнія обо всѣхъ наукахъ; по крайней мѣрѣ знать ихъ названія и чѣмъ каждая занимается. По выходѣ изъ академіи, каждый артистъ, сверхъ своихъ занятій, найдетъ еще очень много времени для пріобрѣтенія подробныхъ свѣдѣній въ той наукѣ, которой предметъ ему понравился. Если ваша свѣтлость не изволите скучать .. — Нѣтъ, нѣтъ, продолжай, Максимъ, я слушаю очень внимательно. — Насчетъ курсовъ я имѣлъ честь изложить мое мнѣніе. Насчетъ наградъ и поощреній я полагаю необходимымъ учредить слѣдующія три степени: воспитанникъ академіи, академикъ, и профессоръ. Первые обязаны въ послѣднемъ курсѣ исполнить пѣніемъ или на инструментѣ но три разнородныя піэсы съ перваго взгляда и публично. При удовлетворительномъ исполненіи имъ выдаются дипломы съ засвидѣтельствованіемъ ихъ успѣховъ и къ чему они на службѣ способны, и небольшая сумма денегъ для отправленія

въ Петербургъ, въ Москву или куда пожелаютъ, не обязывая ихъ ни чѣмъ относительно академіи; академикъ, кромѣ исполненія пѣніемъ или на избранномъ имъ инструментѣ трехъ разнородныхъ піэсъ, напишетъ три большія сочиненія: одно для голосовъ, другое для голосовъ съ акомпаньементомъ, и третье для полнаго оркестра: если въ этихъ сочиненіяхъ не найдено будетъ ошибокъ, выдаются дипломы на званіе академика, и академія уже сама озабочивается опредѣленіемъ удостоеннаго къ мѣсту. Званіе профессора получается исключительно академиками и воспитанниками академіи по конкурсу, назначаемому только въ случаѣ надобности, то есть когда профессоръ, преподающій въ академіи, оставитъ службу. Для конкурса предлагается написать концерто-гроссо, или симфонію, или со временемъ, когда число русскихъ музыкантовъ и пѣвцовъ умножится — даже оперу. Трудъ увѣнчанный даетъ сочинителю право на профессорское мѣсто и разыгрывается въ обѣихъ столицахъ и при академіи публично; собранная за то сумма раздѣляется поровну между соискателями, чтобы и они даромъ не трудились. Теперь ваша свѣтлость позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ и о составѣ академіи. Во первыхъ голова, директоръ... «Это ты!» сказалъ князь, и я чуть не полетѣлъ съ креселъ; голова у меня закружилась; я всталъ; не зналъ какъ благодарить достойнаго вельможу. «Полно, Максимъ!» сказалъ князь: «садись и докладывай! У меня для музыки времени немного!» И я кое-какъ собрался съ силами и продолжалъ:

Профессоровъ семь: двое — пѣнія; двое — генералъ-басса и фортепіанной игры; одинъ—контрапункціи и композиціи, одинъ инструментовки, и одинъ исторіи музыки. Учителей по возможности побольше для всѣхъ инструментовъ и вспомогательныхъ наукъ; первоначально профессоры должны быть выписаны изъ-за границы и преподавать по контракту въ теченіи семи лѣтъ; я ужъ буду тщательно смотрѣть за ними и ручаюсь вашей свѣтлости, что положу всего себя, но черезъ семь лѣтъ всѣ профессорскія и учительскія мѣста займутъ воспитанники академіи не по нуждѣ, а по достоинству. Но вотъ еще обстоятельство, на которое осмѣлюсь обратить вниманіе вашей свѣтлости: я назначилъ двухъ профессоровъ пѣнія, но какъ они должны образовать столько же пѣвицъ, сколько и пѣвцовъ, то я и полагаю, что одинъ изъ этихъ профессоровъ должна быть женщина, потому что въ женскомъ пѣніи есть трудности, неизъяснимыя безъ живаго примѣра. Вотъ, ваша свѣтлость, планъ музыкальной академіи въ общихъ чертахъ; подробностей еще множество; но всѣ онѣ зависятъ отъ главныхъ основаній и съ большею удобностью могутъ быть изложены на бумагѣ. «Такъ потрудись же, Максимъ, займись этимъ дѣломъ и когда будетъ готово, пріѣзди ко мнѣ прочесть. Спасибо, Максимъ! У меня большая на тебя надежда! Ну, прощай! Заслушался я твоихъ пѣсень, а дѣла тма...» и князь перевернулся на другой бокъ. Ужъ не знаю, заснулъ ли онъ или сталъ думать. Я на цыпочкахъ вышелъ изъ зала,

на крылышкахъ пробѣжалъ весь рядъ комнатъ домой; за перо и давай писать. Матильда! Проектъ почти конченъ. Каждую статью пересматриваю по сто разъ, за то ужъ будетъ и академія! Боюсь опоздать на почту и потому прощусь съ тобой, мой несравненный ангелъ, наскоро. — Весь твой М. Б.»

—

«Петербургъ, 17 іюля 1776. Милая Матильда, у меня дѣло кипитъ не по днямъ, а по часамъ. Я прочелъ князю черновую проекта. Онъ почти все одобрилъ; сдѣлалъ, правда, и замѣчанія, но такія, съ которыми нельзя не согласиться. Что это за человѣкъ этотъ Потемкинъ; глядя на него, слушая его рѣчи, веселѣе быть Русскимъ. Родятся же такіе тузы. Немногому онъ учился, а знаетъ все лучше профессоровъ. Кажется, всего два раза я имѣлъ счастіе говорить съ нимъ, а онъ уже разсуждаетъ о методѣ музыкальнаго ученія такъ здраво, что я передъ нимъ молчу и соглашаюсь. Ужасный умъ. Захоти, послѣ завтра будетъ астрономъ! Онъ приказалъ мнѣ исправить проектъ по его замѣчаніямъ и представить себѣ какъ можно скорѣе: да зайдти къ здѣшнему отличному архитектору Старову и объявить, что его свѣтлости угодно, чтобы Старовъ сдѣлалъ проектъ академическаго зданія по моему и смѣту издержкамъ; да ещё, чтобы я составилъ списокъ лицамъ, которыхъ думаю выписать на профессорскія мѣста. Ты угадаешь, что я нашелъ только одного профессора — тебя, Матильда... Я знаю въ Италіи весьма многихъ достойныхъ людей, которые были

бы полезны для всякой другой академіи, только не русской; здѣсь они невольно увлекутся губительною системой соотечественниковъ; незамѣтно пристанутъ къ заговору и на каждомъ шагу будутъ мѣшать моему дѣлу. Я долго думалъ, откуда взять людей, и вспомнилъ, что теперь музыкальная ученость, кромѣ отца Мартини и его сподвижниковъ, наилучше развита въ Прагѣ. Сверхъ того, какъ хочешь, а Богемцы Русскимъ съ родни; говорятъ схожимъ языкомъ; по-русски выучатся скоро; полюбятъ Россію какъ отчизну; съ Кременчугомъ и въ климатѣ нѣтъ большой разницы. Тамъ, въ Прагѣ, есть знаменитый ученый профессоръ музыки, Немашекъ; отецъ Мартини былъ съ нимъ въ перепискѣ и хвалилъ всегда его обширныя историческія и теоретическія свѣдѣнія. Другъ мой, Матильда, если можно, бросай Вѣну и поѣзжай въ Прагу; переговори съ богемскими профессорами, согласи ихъ на подпись общій, славянскій, прилагаю и отъ себя письмо къ Немашку, и какъ можно скорѣе увѣдоми меня, на какихъ условіяхъ они согласятся переѣхать въ Кременчугъ. Если тебѣ нельзя этого сдѣлать лично, такъ нельзя ли посредствомъ переписки. О, Матильда, Матильда, думалъ ли я, утопая въ мрачномъ ничтожествѣ, что я выплыву еще изъ этой бездны! что счастіе мнѣ улыбнется, покроетъ меня непроницаемой модніей. Страшно и подумать о прошедшемъ, но я чувствую, что тамъ было только безумное отчаянье; благодареніе Богу, я не успѣлъ занемочь страшнымъ, отвратительнымъ

недугомъ; я пилъ, Матильда, пилъ, но не пугайся, я теперь вижу всю гнусность этого средства заглушать ничтожныя огорченія; и не пью, и не тоскую; радуюсь, что не дошло до болѣзни; да мнѣ и некогда пить. Съ утра до вечера я занятъ моимъ проектомъ и справками. Теперь я совершенно понимаю, что ни на волосъ не принадлежу себѣ, а Россіи и тебѣ, Матильда! Дѣлитесь какъ знаете. Весь твой М. Б.»

—

«Петербургъ, 25 Іюля 1776. Проектъ совершенно оконченъ. Лежитъ переписанный на прекрасной бумагѣ, красивымъ почеркомъ, переплетенъ въ зеленый сафьянъ,— а я все медлю отнести его къ князю; поджидаю писемъ отъ тебя, плановъ и смѣтъ отъ Старова. Наша квартира, Матильда, будетъ хороша на чудо. Она расположена въ нижнемъ этажѣ, и вотъ какъ: все зданіе идетъ фасадомъ на сѣверъ; отъ него два огромные флигеля тянутся на югъ и въ стѣнахъ своихъ заключаютъ цвѣтники; тамъ идетъ уже рѣшетчатая ограда; за нею огромный садъ, раздѣленный высокою каменною стѣной на двѣ части: одна правая для учащихъ, другая лѣвая для учащихся; изъ каждаго флигеля ходъ прямо въ садъ; въ верхнихъ этажахъ размѣщены учебныя комнаты, библіотека, инструментальный музей, концертная зала и театръ; все это идетъ неразрывною цѣпью чрезъ главный корпусъ и флигеля; въ нижнемъ этажѣ главнаго флигеля квартиры для

профессоровъ, въ лѣвомъ спальни и столовая воспитанниковъ, а низъ корпуса, раздѣленный огромными сѣнями и лѣстницей, вмѣщаетъ контору, казначейство, музыкальный магазинъ — и нашу квартиру. Въ ней комнатъ множество: прихожая съ двумя выходами: одинъ въ залъ, другая въ мой кабинетъ, окнами въ цвѣтники; изъ зала ходъ въ гостинную, тамъ въ столовую, а изъ этой въ буфетъ и кухню; а изъ моего кабинета комнаты идутъ такъ: моя уборная; людская съ выходомъ на черный дворикъ, тутъ и черной ходъ на кухню; потомъ твоя уборная, спальня и кабинетъ. Пой себѣ сколько хочешь! Никто не помѣшаетъ. Вдоль моихъ и твоихъ комнатъ идетъ корридоръ и ведетъ въ дѣтскія и дѣвичьи съ особымъ выходомъ на тотъ черный дворикъ; наконецъ, корридоръ упирается въ столовую воспитанниковъ, откуда по круглой лѣстницѣ я могу подняться прямо въ корридоръ, на которомъ расположены классы. Совершенство, истинное совершенство размѣщенія! Не забудь, изъ оконъ парадныхъ комнатъ видѣнъ величественный Днѣпръ и весь городъ. Старовъ носилъ уже князю черновые чертежи; князь перечертилъ ихъ съ начала до конца своеручно; Старовъ спорилъ, но долженъ былъ уступить справедливости замѣчаній его свѣтлости. И по истинѣ —все къ лучшему. Старовъ въ этомъ самъ сознается и только удивляется. Когда дѣло дошло до нашей квартиры, князь сказалъ: «Ну, Максимъ, какъ онъ себѣ хочетъ, а ужъ для одной квартиры стоитъ жениться!». О, какъ бы я желалъ испол-

мнѣ совѣтъ князя какъ можно поскорѣе. Прости, Матильда; жаль, что писать нечего, а теперь такъ пріятно съ тобой бесѣдовать. Не забудь, душа моя, узнать въ Вѣнѣ, какіе инструменты музыкальные можно теперь сейчасъ достать у Штейна въ Аугсбургѣ; у него въ Вѣнѣ есть свои лавки. Справься что стоитъ такъ называемый vis-a-vis, двойной клависинъ, мелодиконъ и гармоника, то есть инструментъ съ клавитурой и со струнами для смычковъ; также средній органъ и обыкновенныхъ клависиновъ съ дюжину; такая огромная покупка должна доставить покупщику и значительную уступку; если они не могутъ рѣшить этого въ Вѣнѣ, пусть напишутъ къ старику въ Аугсбургъ, и доставятъ тебѣ отвѣтъ. Не забудь, что они должны принять на себя доставку по крайней мѣрѣ до Кіева; а тамъ ужъ, пожалуй, спустимъ нашъ караванъ Днѣпромъ. И безъ того надо начинать съ Кіева, ради многихъ причинъ. Всѣ эти инструменты мнѣ нужны сейчасъ: одни для ученья, другіе для музея. Лишніе, если окажутся, можно продать въ магазинѣ. Поэтому потрудись попросить Моцарта или Гайдна, чтобы отобрали для тебя коллекцію лучшихъ нотъ во всѣхъ родахъ, десятка три кремонскихъ скрыпокъ, десятокъ брачіи и шесть басовъ, но сдѣлай милость, проси всѣхъ о секретѣ; если узнаетъ Сальери, тотчасъ дастъ знать своимъ друзьямъ сюда въ Петербургъ, а мы отъ нихъ тщательно скрываемъ бурю, которая въ тишинѣ собирается на ихъ голову. За все за это, кромѣ штейновыхъ инструментовъ, можешь запла-

тить изъ своихъ денегъ, и выслать ихъ хотя сюда ко мнѣ. Да, мой другъ, ужъ и римскихъ струнъ; здѣсь въ Петербургѣ нельзя достать порядочныхъ. Наконецъ, что сама придумаешь. Пиши, ради Бога! Вотъ ужъ сколько написалъ я писемъ, ни на одно отвѣта — Весь твой М. Б.

—

P. S. Сейчасъ получилъ записку отъ Старова. Планы утверждены княземъ. Его свѣтлость изволилъ приказать изготовить все для доклада Императрицѣ; по утвержденіи, Старовъ отправится со мной тотчасъ въ Кременчугъ; я осмотрюсь въ краѣ, приглашу охотниковъ къ музыкѣ учиться; а Старовъ войдетъ въ условія съ подрядчиками и заготовитъ всѣ нужные матеріалы, такъ что зданіе будетъ готово къ сентябрю будущаго года; я открою академію въ день моего рожденія.

—

«Прага, 2-го сентября 1776. Ты не можешь пѣнять на меня, милый другъ, за мою неисправность; едва соберусь писать къ тебѣ, получаю новое письмо съ новыми порученіями, едва исправлюсь, опять письмо. Къ тому же и вѣнскій мой ангажементъ окончился только въ началѣ августа; но это время я употребила не безъ пользы. Всѣ ноты искуплены, съ помощію Гайдна, потому что Моцартъ, твой старый пріятель, сидитъ съ своимъ чудеснымъ сынкомъ въ Зальцбургѣ, и оба ровно ничего не дѣлаютъ. Поговариваютъ,

что они опять собираются въ Парижъ. Скрипокъ, брачій, басовъ и струнъ нельзя было закупить по весьма простой причинѣ: хорошихъ въ продажѣ весьма немного, но мой миланскій корреспондентъ, который по счастію случился въ Вѣнѣ, обѣщалъ мнѣ выбрать и выслать къ будущему карнавалу. Слѣдственно они пріѣдутъ къ тебѣ гораздо ранѣе чѣмъ я. Штейну я писала сама, потому что лавки его въ Вѣнѣ закрылись. Ты, любезный другъ, забылъ объ арфахъ; безъ нихъ нельзя и для оркестра и для насъ, бѣдныхъ женщинъ; намъ только и позволено играть, что на клависинѣ, да на арфѣ. Недавно мнѣ случилось слышать женщину-виртуоза на скрыпкѣ; я едва досидѣла до конца концерта — непріятно смотрѣть. Не сердись, я купила двѣ арфы; если будетъ мало, я пожалуй пожертвую и моею, что ты мнѣ подарилъ. — Въ Прагѣ я нашла дѣйствительно высокое образованіе. Это городъ виртуозовъ и знатоковъ. Здѣсь знаютъ музыку, какъ вечернія и утреннія молитвы; здѣсь не считаютъ этого знанія достоинствомъ, а обязанностію. Здѣсь даже Impressario Bondini не похожъ на нашихъ итальянскихъ жидовъ. Человѣкъ отличнаго образованія, простой, откровенный, любитъ Прагу какъ Богемецъ; мы съ нимъ условились въ десять минутъ, тогда какъ нигдѣ мнѣ не удалось заключить контракта въ теченіи трехъ дней; случалось торговаться недѣлю. Прага еще и тѣмъ хороша, что никто не влюбляется въ заѣзжихъ гостей: ни одной серенады, ни одного подброшеннаго стиха съ

пламенною ложью; тихо, скромно, но за то, признаюсь, я нигдѣ не была принята такъ хорошо, какъ здѣсь. Я боялась за успѣхъ, считала ихъ холодными умниками и ошиблась самымъ пріятнымъ образомъ. Вотъ бы гдѣ хотѣлось мнѣ спѣть твоего Демофонта, вотъ бы гдѣ хотѣлось мнѣ видѣть и тебя самого, Массимо, въ кругу этихъ почтенныхъ людей, прямыхъ служителей искуства. Они бы тебя оцѣнили, полюбили и не выпустили изъ Праги. Я знаю тебя, я узнала ихъ. Неманекъ пришелъ въ восторгъ отъ твоего предложенія. У Богемцевъ къ Русскимъ есть какое-то сочувствіе, влеченіе. Онъ взялся переговорить съ лучшими по его мнѣнію людьми для твоей цѣли, представить ихъ ко мнѣ на экзаменъ, словомъ устроить, уладить все какъ можно лучше, и черезъ три четыре года лично посѣтить насъ въ Кременчугѣ и полюбоваться *нашими* успѣхами. Это онъ такъ говоритъ: *нашими*. Онъ считаетъ твой подвигъ общимъ подвигомъ всѣхъ славянскихъ народовъ. Вотъ ужъ больше недѣли пишетъ къ тебѣ письмо; каждый день заходитъ ко мнѣ и говоритъ, что еще до конца далеко, потому что онъ хочетъ написать все, что знаетъ и думаетъ объ этомъ предметѣ. Хвалитъ твой проектъ до небесъ и утверждаетъ, что на этихъ же началахъ надо передѣлать и перестроить пражское гармоническое общество. Чудесный старикъ! Въ Прагѣ такъ весело, такъ пріятно, что я останусь здѣсь до тѣхъ поръ, пока не прикажешь ѣхать въ Петербургъ или Кременчугъ. Бондини проситъ меня о томъ же, а условія его го-

раздо выгоднѣе всѣхъ, какія доселѣ я имѣла. Теперь, мой другъ, слѣдовало бы тебя пожурить за два глупѣйшія письма; но ты былъ боленъ и Богъ тебя проститъ. Ты не знаешь своей Матильды!»

—

«Петербургъ, 5-го октября 1776. Ангелъ, которому нѣтъ названія и сравненія! Я чувствую всю вину мою и твое великодушіе. Я знаю тебя, Матильда, но ты не знаешь твоего недостойнаго Массимо; онъ своенравенъ, гордъ, самолюбивъ; вмѣсто крови, въ жилахъ его разлито нетерпѣніе. Самъ чувствую мои недостатки, но какъ же не бѣситься, когда вотъ уже второй мѣсяцъ прошелъ, а отъ князя ни слуху, ни духу. Мы съ Старовымъ справлялись; князь и не думалъ докладывать Императрицѣ; дѣло затягивается, тогда какъ оно должно кипѣть... У меня все готово. Я сижу какъ на кораблѣ и готовъ каждую минуту пуститься въ море; князь и не думаетъ о томъ, что́ бы могло доставить ему вѣчную славу и вѣчную благодарность. Я выдерживалъ мое достоинство; не хлопоталъ, не ходилъ къ князю; но общее святое дѣло останавливается; приходится не въ мочь; одиннадцать часовъ. Прощай! Я ѣду къ князю...»

—

«Петербургъ, 5-го октября 1776. О! Это уже нарочно пытаютъ меня! Шутятъ, издѣваются надъ моимъ чувствомъ! Я отослалъ письмо на почту, пошелъ къ князю, вхожу, стою въ пріемной, вы-

ходитъ, завтракаетъ, разговариваетъ съ генералами о Туркахъ и Татарахъ; между прочимъ, между кускомъ баранины и стаканомъ пива спрашиваетъ у меня... «Что, Максимъ, здоровъ ли ты, что подѣлываетъ твоя академія?» — «Ваша свѣтлость, мы имѣли счастіе представить...» — «Ахъ, забылъ, право упомнилъ. Хорошо, хорошо; я посмотрю и приплю за тобой на досугѣ.» — И я долженъ былъ уйдти! Матильда! Молись объ моемъ терпѣніи.»

—

«Петербургъ, 7 ноября 1766 года. Неужели надежды обманули меня; неужели мнѣ все это снилось. Ради Бога, напиши мнѣ, Матильда, какъ все это было. Кажется, мы хотѣли устроить академію въ будущемъ году; онъ говоритъ: Нѣтъ, не въ будущемъ, а когда позволятъ обстоятельства. — Но, ваша свѣтлость, вы уже хотѣли доложить Государынѣ. — Эхъ, Максимъ, твое дѣло не уйдетъ, стану я безпокоить Императрицу пустяками, когда есть на свѣтѣ Турки и Татары, когда...' да ты, любезный, не поймешь меня. Съ твоимъ дѣломъ можно и обождать, не испортится; да и деньги нужны на важные предметы. Музыка покуда пусть извинитъ...» Слышишь, Матильда, еще ждать, еще... Я не могу писать, Матильда! Мнѣ кажется, что я тебя никогда не увижу, какъ не увижу моей академіи; мнѣ чудится, что ты уже... Нѣтъ, Матильда, не могу писать. Молись объ моемъ разсудкѣ!»

—

«Прага. 15 декабря 1776 года. Не стыдно ли, Массимо! опомнись, четыре какихъ нибудь мѣсяца истощили твое терпѣніе. Хороша же будетъ академія съ такимъ директоромъ. Признаюсь, я не замѣчала въ тебѣ прежде такого малодушія и если позволишь, объясню его источникъ. Пріемъ, оказанный тебѣ въ Петербургѣ, уязвилъ тебя, нанесъ такую глубокую рану твоему самолюбію, что ты одичалъ и хочешь мести скорой, сейчасъ, сію минуту. Когда ты мстилъ за меня, у тебя каждый шагъ былъ обдуманъ, а теперь ты мечешься, плачешь какъ ребенокъ, и если бы я не знала твоего сердца, могла бы подумать, что ты не любишь, не хочешь, не умѣешь любить ни отечества, ни меня. Иди къ своей цѣли на проломъ, твердо, но не теряй бодрости отъ пустяковъ, связывай и то, что разорвется, благоразуміемъ и терпѣніемъ. Такія народныя дѣла въ одинъ день не совершаются. Настойчивостью неумѣстною ты можешь поселить въ князѣ отвращеніе къ предпріятію, для него совершенно побочному, которое, можетъ быть онъ и затѣялъ только для тебя. Можетъ быть, онъ скрываетъ передъ тобою и недостатокъ средствъ, щадитъ твою чувствительность. Массимо, вспомни обо мнѣ; жалѣю, что отпустила безъ себя, но извини, я скоро съ тобою увижусь... Твоя Матильда! P. S. Добрый Немчикъ! Онъ сдержалъ слово; профессора всѣ въ сборѣ, одинъ другаго ученѣе и благонамѣреннѣе, всѣ какъ ты. Это мое ежедневное общество. Я толкую съ ними и съ ихъ женами о нашей

жизни въ Кременчугѣ и время летитъ, и вѣрь мнѣ, все исполнится какъ нельзя лучше, по твоему желанію...»

—

«Петербургъ, 1 января 1777. Не пріѣзжай, Матильда, ради самого Бога, не пріѣзжай! Не за чѣмъ! Не за чѣмъ! Онъ ѣдетъ! Это уже рѣшено! Ѣдетъ въ Южную Россію... Я былъ у него. Скажу тебѣ, Максимъ, на прямки: теперь не время! Сиди смирно и жди моего возвращенія.» — Нѣтъ, я не дождусь его! Развѣ онъ не можетъ насъ взять съ собою; онъ будетъ въ Кременчугѣ; мы бы могли все кончить и рѣшить на мѣстѣ... Бѣдный Максимъ, ты обманутъ, ты обманулъ Матильду, ты обманулъ пражскихъ ученыхъ, всѣхъ, всѣхъ... Новый годъ, ты ударилъ; я слышу стукъ каретъ по улицѣ; ѣздятъ, поздравляютъ, веселятся.. Поздравляю тебя, Матильда, съ превосходнымъ годомъ. Но какъ ты себѣ хочешь, у насъ въ крещеніе долженъ быть балъ. Сдѣлай милость, закупи все что нужно и пріѣзжай поскорѣе. Жду и не могу тебя дождаться. Директоръ музыкальной Кременчугской Академіи, членъ болонской академикъ, капельмейстеръ, Максимъ Березовскій.»

—

«Кременчугъ. Новый годъ. 1777. Его свѣтлость проѣхалъ черезъ Кременчугъ двадцать минутъ тому назадъ. Я въ парадномъ мундирѣ, со звѣздой и шляпой съ перьями провожалъ его по всему заведенію; князь остался весьма доволенъ моею

распорядительностью, но разсердился, зачѣмъ у меня на окнѣ сидитъ черный котъ. — Это не котъ, ваша свѣтлость, это генералъ-капельмейстеръ Сарти. — А! Сарти! Очень хорошо! и остался очень доволенъ, что черный котъ былъ Сарти Потомъ мы поцѣловались съ княземъ; я велѣлъ подать карету въ мою комнату и онъ уѣхалъ въ это окно. Богемскими профессорами также очень доволенъ, и разспрашивалъ: гдѣ же Матильда Березовская? Я совершенно смѣшался, не зналъ что отвѣчать; сдѣлай милость, увѣдоми, гдѣ Матильда; я обѣщалъ князю донести о томъ рапортомъ. И правду сказать, безъ хозяйки въ этой огромной квартирѣ ужасная скука, пустота такая; ничего не умѣютъ ни подать ни приготовить. Какой-то трактирный мальчишка вмѣсто рому принесъ мнѣ прескверной французской водки. Не могу допить шестаго стакана. Ужасъ какой шумъ въ Петербургѣ; всѣ будто въ барабаны стучатъ, кричатъ: князь уѣхалъ. Конечно, уѣхалъ вотъ въ это окно... И я ѣду, но прежде запечатаю письмо...»

—

Матильда не дочитала этого ужаснаго письма, которое вполнѣ обличало состояніе разсудка Березовскаго... «И я ѣду!» закричала она. «Лючія, карету!» И точно, захвативъ деньги, брильянты, кое-что изъ бѣлья, въ почтовомъ экипажѣ. Матильда пустилась въ путь съ однимъ Піэтро, оставивъ Лючію въ Прагѣ для разсчета съ Бондини и устройства дѣлъ... Прошелъ мѣсяцъ, другой... Въ

Прагу поздно вечеромъ возвратился одинъ Піэтро, перепугалъ дѣтей и Лючію своимъ неожиданнымъ появленіемъ и своими ужасными вѣстями...

— «Гдѣ Матильда?» спросила Лючія въ ужасѣ.

— «Умерла на гробѣ сумасшедшаго...»

— «Массимо...»

— «Зарѣзался наканунѣ нашего пріѣзда въ припадкѣ бѣлой горячки...»

— «Матильда...»

— «Она доказала, какъ любила сумасброда. Упала на деревянный, неокрашенный даже гробъ Массимо. Я поднялъ трупъ и справилъ обоимъ похороны. Было мнѣ за чѣмъ ѣздить въ Петербургъ!»

ПОЗУМЕНТЫ.

—

I.

Какъ Богданъ Кирилловичъ не захотѣлъ быть почтмейстеромъ; и о Ѳедорѣ Ильичѣ нѣчто.

Тысяща семь сотъ десятаго года, Новгородскій почтовый станъ отстоялъ отъ города на сто богатырскихъ шаговъ, а какъ почтовая контора той же осени погорѣла, то Богданъ Кирилловичъ Чегликовъ, отставной сержантъ и дѣйствительный Новгородскій почтмейстеръ съ женою, двумя малолѣтными дѣтьми, конторою и двумя почталіонами, переселился на станцію, вновь поставленную и знаменитую тогда добрымъ строеніемъ и просторомъ. Не смотря на сильную стужу, а время было зимнее, уголокъ, въ которомъ мѣстилось семейство Чегликовыхъ, былъ теплый; Богданъ Кирилловичъ, осмотрѣвъ суму новоприбывшаго почталіона, повѣривъ съ регистрами пакеты, пріобщилъ свои, при особомъ спискѣ, всю почту обвернулъ въ огромный листъ, запечаталъ казенною печатью и положилъ въ суму. «На! Семенъ!» сказалъ онъ, отдавая суму старому инвалиду, который, не желая возвращаться во свояси, за увѣчьемъ, опредѣлился въ почталіоны къ Богдану Кирилловичу, по примѣру товарища своего,

Автамона, также инвалида, за увѣчьемъ и также вмѣстѣ съ нимъ служившаго нѣкогда подъ началомъ и сержантскою палкой Чегликова. «На, Семенъ, поѣзжай съ Богомъ; только не мѣшкай; тутъ есть и сенатскіе указы. Постой, на, выпей рюмку настойки! Хорошъ тулупъ сверху, да въ такую стужу животъ замерзнетъ; только уже Семенъ, пожалуй, дальше, на другихъ станціяхъ виномъ не грѣйся! Ну, съ Богомъ!» Семенъ укатилъ; колокольчикъ отъ быстроты не звѣнѣлъ, а какъ-то шипѣлъ по своему; пріѣзжій почталіонъ вытянулся у дверей и произнесъ тихо: «Счастливо оставаться, ваше благородіе!»

— «Куда ты, Ефимъ!» сказалъ почтмейстеръ, снявъ собственными своими натуральными щипцами длинный носъ нагорѣвшаго сальнаго огарка и растирая смрадный трутъ ногою: «Спать тебѣ сегодня врядъ ли придется; чай, черезъ полчаса, а можетъ и раньше, придетъ Питербурхская купеческая; у меня купеческихъ писемъ нѣтъ, такъ и задерживать тебя нечего. Я знаю Автамона и ямъ сосѣдній; донесутъ на крыльяхъ. Ты вотъ лучше намъ скажи, съ Ѳедоромъ Ильичемъ, что у васъ слышно про разбойниковъ.»

— «Да что слышно, ваше благородіе! Лучше было бы, кабы не слышно; какъ на Москву почту везешь, такъ отъ страха морозу не чуешь. Тутъ еще на новой, на Питербурхской дорогѣ, не такъ-то больно іналятъ; только одинъ Клинъ отъ нихъ въ напасти; заходили, правда, подъ Тверь; какого-то царскаго сыщика искали; да не нашли и

онятъ подъ Москву потянули; а тамъ, упаси Господи, что творится. Въ Клину, на Волоколамскомъ, въ Можайскѣ, такъ не вѣришь, что разсказываютъ. Вотъ ужъ, прости Господи, чертово племя! Наѣзжаютъ съ многолюдствомъ, со всякимъ боевымъ ружьемъ; домы помѣщичьи, села, деревни жгутъ; воруютъ въ волю; а унять некому...»

— «Съ нами крестная сила!» сказалъ Ѳедоръ Ильичъ и перекрестился.

— «Съ нами крестная сила!» повторилъ женскій голосъ за перегородкой.

— «Спите съ Богомъ, Настасья Ивановна!» замѣтилъ почтмейстеръ: «Не то дѣтей разбудите, а воры отъ насъ верстъ за триста. — Ну, Ефимъ! Такъ больно воруютъ?»

— «Не что, кабы только воровали, а то бьютъ людей до смерти; бабъ и дѣвокъ уводятъ съ собою, для ради ругательства; всѣ животы берутъ безъ остатку; а чего не возьмутъ, побьютъ до смерти, хлѣбъ на улицу изъ житницъ повыкинутъ, да коли разгуляются, такъ и зажгутъ въ придачу. Прежде малымъ ходили многолюдствомъ, а теперь со многихъ городовъ соберутся, да полкомъ идутъ. Больше все бѣглые драгуны, да корелы, да ямщики, что съ дороги проѣзжіе офицеры разогнали...»

— «А чего же смотритъ почтмейстеръ?» сказалъ Богданъ Кирилловичъ самодовольно: «дай волю господамъ офицерамъ, такъ они и тебя запрягутъ въ оглобли! А задашь двумъ, тремъ острастку, такъ и уймутся. Свѣтлѣйшій проѣзжалъ; онъ меня персонально знаетъ. Вмѣстѣ служили. Я

ему на барича Лаптева и билъ челомъ; случись и Лаптевъ тутъ. Свѣтлѣйшій къ нему: — «А какъ ты смѣлъ ямщика до смерти бить? — А тотъ: я его билъ не до смерти. — «Да онъ отъ побоевъ умеръ, подъ твоимъ кулакомъ.» — Подъ моимъ кулакомъ, потому что озорничалъ, а умеръ не отъ побоевъ, а по своей причинѣ. — «Я те дамъ по своей причинѣ! Государю доложу!»

— «Что это вы, право, Богданъ Кирилловичъ!» раздался женскій голосъ за перегородкою: «кричите, хуже свѣтлѣйшаго.»

— «Да я то чѣмъ виноватъ, что у меня голосъ гуще?»

— «Да Наташа проснулась.»

— «А коли проснулась, пусть не спитъ. Ей же хуже! — Ну, братъ Ефимъ, такъ больно воруютъ!»

— «Я ужъ докладывалъ вашему благородію!»

— «Правда, правда, плохое время!» сказалъ почтмейстеръ и зѣвнулъ, а Ѳедоръ Ильичъ всталъ и сталъ шарить въ темномъ углу. Почтмейстеръ догадался, что онъ ищетъ фуражки.

— «Что ты, что ты это?» вскричалъ онъ такъ сильно, что Настасья Ивановна опять заворчала: «помилуй, Ѳедоръ Ильичъ, куда ты въ такую стужу?»

— «Эхъ, Богданъ Кирилычъ, старому солдату морозъ потѣха. У меня, что принадлежитъ до лѣвой руки, такъ не совсѣмъ хорошо. Въ Польшѣ по самое плечо, такъ сказать, оторвало, а ноги...

могу похвастать. И теперь, безъ привалу, на три перехода хоть сей часъ.. »

— «Что ты это Ѳедоръ Ильичъ, право не по сосѣдски. Просидѣлъ со мной за полночь, компанства ради; я зѣвнулъ, а ты и обидѣлся.»

— «Богъ съ тобой, Богданъ Кирилычъ, зѣвай себѣ сколько хочешь; стану я обижаться. На всякое чиханіе не наздравствуешься...»

— «Такъ отчего же ты идешь?»

— «Иду, потому что пора. Боря у меня одинъ дома съ няней. Вѣдь мы не въ городѣ. Добрая верста до моей усадьбы. Безъ хозяина, всякое можетъ прилучиться. На людей не надѣйся! Прощай, Богданъ!»

— «Экой ты право! Когда-то еще пріѣдетъ Автамонъ, а я тутъ сиди одинъ. Ну, повремени, пока почта. Выпьемъ себѣ настоички, а если хочешь, такъ мы съ тобой *Московскіе Куранты* *) почитаемъ.»

— «Посидѣть, изволь посижу, а ужъ отъ курантовъ уволь. Право эти куранты не доброе; зачѣмъ народу знать, что за моремъ дѣлается. Добро бы еще сенатскіе, али другіе какіе нужные указы друковали, а то обо всякихъ нѣмцахъ пишутъ, что который по своимъ городамъ дѣлаетъ.»

— «Ну, братъ, извини! Тамъ иной разъ такое начитаешь, что во всю жизнь не только не увидишь, да и не услышишь. Ну, знаешь ли, примѣр-

*) Первыя газеты въ Россіи.

но, что Турскимъ султаномъ Перскому шаху штильштандъ аккордованъ?»

— «Да это братъ каждый солдатъ знаетъ, который былъ подъ Азовомъ.»

— «Ну, а что?»

— «Да извѣстно что —»

— «Не отвиливай, скажи что? —»

— «Да какъ же я скажу, когда Настасья Ивановна не спитъ...»

— «Ужъ это мой грѣхъ, говори...»

— «Ну, изволь, когда привязался; это значитъ: что Турскій султанъ приказалъ Перскаго шаха на колъ посадить.»

— «Какъ на колъ?»

— «Ну, да на колъ, на пиль; это, ради страмности такой, по-Нѣмецки и написано.»

— «Вотъ что, а я совсѣмъ другой толкъ давалъ... Автамонъ! право Автамонъ!»

Почтмейстеръ не ошибся. Почта пришла, въ Новгородъ писемъ не было; сумка осмотрѣна, передана пріѣзжему почтальону; уѣхала почта; Ѳедоръ Ильичъ поѣхалъ съ нею до своей усадьбы; Автамонъ улегся на полати въ кухни; почтмейстеръ осмотрѣлъ небольшой окованный сундучекъ, стоявшій подъ иконами, потушилъ свѣчу, перекрестился на иконы и легъ возлѣ жены. Настасья Ивановна притворилась спящею; она знала словоохотливость мужа, а черезъ щелку въ перегородкѣ видѣла, что настойки въ полуштофѣ и на полрюмки не осталось. Благоразуміе Настасьи Ивановны увѣнчалось успѣхомъ. Богданъ Кирилловичъ захрапѣлъ.

Поутру почтмейстеръ всталъ очень рано; одѣлся какъ слѣдуетъ въ форму, которую онъ покидалъ только ночью, и какъ на дворѣ было еще сѣро, ни свѣтъ, ни заря, свѣчки, экономіи ради, жечь даромъ не хотѣлось; Богданъ Кирилловичъ и подошелъ къ окошку и давай его оттаивать дыханіемъ и рукою. Между тѣмъ разсвѣло: день наступилъ богатый; ни облачка; морозъ такъ и трещитъ. Богданъ Кирилловичъ сѣлъ читать Московскіе Куранты, хотя онъ ихъ зналъ чуть не на изустъ, прочелъ послѣдній нумеръ, другихъ не было, отданы въ чтеніе городскимъ чиновникамъ; нечего дѣлать, почтмейстеръ вынулъ адрессные списки отправленнымъ письмамъ и прочитывая, выводилъ статистическія заключенія, какой Новгородскій купецъ съ какими Московскими и Петербургскими купцами имѣетъ ближайшія сношенія. Но вотъ проснулась Наташа, встала и Настасья Ивановна, запищалъ и Никита Богдановичъ въ колыбели... Пошелъ шепотъ за перегородкой, и скрыпъ колыбели, и шушуканье; этотъ поэтическій семейственный говоръ упоялъ счастливаго отца чистѣйшею радостію. «Спасибо Государю» подумалъ онъ» правда поцѣловала меня проклятая картечь въ ногу; орѣхъ кажется, а на всю жизнь окалечило; умирать приходилось; такъ нѣтъ на казенный коштъ вылечили... Спасибо свѣтлѣйшему! Слово сказалъ ямской канцеляріи — Богданъ почтмейстеромъ въ Новгородѣ, Богданъ въ почетѣ, Богданъ женатъ, Богданъ семь лѣтъ живетъ припѣваючи; у Богдана Наташа по седьмому году

красавица, у Богдана — наслѣдникъ есть, пойдетъ въ солдаты; если глупая картечь не задѣнетъ, махнетъ и въ генералы; нынче заслуга, что прежде родъ — сталъ и новый порядокъ; генералъ; почтъ-директоръ по всей дорогѣ почтмейстеровъ чуть не палкой взыскалъ, а Богдану спасибо. Не только мелкіе дворяне Богдану въ дружбу пошли, да и большіе, и чиновные, и богатые... Вотъ Ѳома Иванычъ Зябликъ и бригадиръ кажется, а всякій разъ къ себѣ въ Туровку зазываетъ въ гости, и ужъ не я буду, если не приготовилъ на каждое рыло наше по гостинцу. А что въ самомъ дѣлѣ Настасья Ивановна, нынче день не почтовый; почитай два дни никакой почты не будетъ; вторичная отошла, а пятничная въ субботу придетъ, а вторичная изъ Москвы раньше пятницы не будетъ. А у насъ пріемъ въ середу прошелъ, а до пятницы далеко. Какъ ты думаешь?..»

— «Не мое дѣло объ этомъ думать. У меня своя забота, надо Никитку искупать по вечеру; такъ и благо, что эти почтари холодитъ избы не будутъ.»

— «Да не то, Настинька! Я думалъ бы къ его высокородію, къ Ѳомѣ Иванычу съѣздить; здѣшній ямъ даромъ меня свозитъ, а вѣдь его высокородіе не безъ причины въ Туровку кличетъ. Видно желаетъ чѣмъ ни есть наше къ нему почитаніе наградить!»

— «Такъ что же! Вѣдь не я поѣду, не мое и дѣло; поѣзжайте съ Богомъ; расходу меньше.»

— «И то правда! Такъ я поѣду, Настинька!»

— «Поѣзжайте!»

— «Постой же, я Автамону скажу...» И почтмейстеръ распорядился. Вернулся Богданъ Кирилловичъ, одѣлся въ Автамоновъ тулупъ и кеньги; шапка зимняя своя была; подпоясался почтальонскимъ патронтажемъ съ пистолетами; Автамонъ про случай зарядилъ ихъ пулями, и сани готовы. «Ну, прощай, Настинька» сказалъ Богданъ Кирилловичъ и сталъ жену и дѣтей цѣловать; отцѣловалъ дѣтей, да хотѣлъ на иконы перекреститься. Глядь, сундучекъ стоитъ.

— «Послушай, Настинька, ты ларецъ-то прибереги, припрячь; тутъ за тысячу рублей казеннаго сбора.»

— «Ахъ ты Господи, бѣда какая, я отъ страху умру. Слышалъ ты, что вчера Ефимъ разсказывалъ.»

— «Вздоръ, Настинька, сущій вздоръ, воры далече, а я про случай Автамону накажу, чтобы не отлучался, а ты знаешь Автамона, не выдастъ. Да и подъ самымъ городомъ; ямщики тутъ же; двѣ пары почтовыхъ лошадей на конюшнѣ. Вздоръ...»

— «Такъ смотри же, Богданъ Кирилловичъ, не забудь Автамону сказать...»

— «Да вотъ Автамонъ въ конторѣ стоитъ. Слышишь, Автамонъ, тутъ за тысячу рублей казенныхъ денегъ, такъ не плошай, никуда не отходи; если пріѣзжіе будутъ, сюда никого не пущай; въ пріемныя комнаты пусть идутъ; станція велика! Слышишь!»

— «Слушаюсь ваше благородіе, не изволь безпокоиться; у меня топорикъ есть, за боевое всякое ружье справится.»

— «То-то же, гляди!»

Почтмейстеръ уѣхалъ, а Настасья Ивановна, сама не зная, за чѣмъ схватила ларецъ, потрясла, золотомъ и серебромъ отзывается; ей такъ стало страшно, что, ни приведи Господи, сѣла она на ларецъ да и давай Никиту качать, а Наташа съ куклой по своему лепечетъ... Прошелъ часъ, другой. Настасья Ивановна со страхомъ освоилась, только все ларчика изъ-подъ мышки не выпускаетъ; стала она и обѣдъ стряпать, а ларецъ все на глазахъ; то и дѣло Автамона кличетъ: «тутъ ли ты, Автамонъ?»

— «Тутъ, матушка, не бойся, двери на щеколдѣ, топорикъ точу про случай.»

И точно Автамонъ отпускалъ старую, ржавую сѣкиру съ особеннымъ усердіемъ. Чѣмъ чище становилось желѣзо, тѣмъ съ большею жадностію засматривались глаза Автамона на тусклое, широкое поле топора, на тонкую линію острія и старые глаза мутились, и топоръ выпадалъ изъ черствыхъ рукъ его.

— «Тьфу, ты нечистая сила!» бормоталъ Автамонъ. «Такого со мной, ни подъ Туркомъ, ни подъ Шведомъ не прилучалось.»

— «Съ кѣмъ ты тамъ разговоръ ведешь, Автамонъ?»

— «Такъ про себя бормочу...» отвѣчалъ онъ громко, а потомъ сказалъ тихо: «да, про себя!

Нѣтъ! Съ чортомъ! Сгинь, пропади нечистое наваожденіе!»

Автамонъ подошелъ къ дверямъ своимъ, посмотрѣлъ, плотно ли заперты, влезъ на полати, да и давай ко сну себя неволить; закрылъ глаза, а въ глазахъ искры, будто изъ кошки ночью огнемъ сыплетъ; тѣ искры часъ отъ часу круглѣе, крупнѣе, да и стали добрыми кружками, то серебренникомъ прокатится, то упадетъ златницей. Не спится Автамону; видитъ бѣда, да самъ не знаетъ какая. Затянулъ-было пѣсню во всю ивановскую; голосъ его отъ военныхъ невзгодъ былъ такой сиплый, будто вѣтеръ позднею осенью; перепугался Никитка, да и давай кричать. Почтмейстерша вышла въ почтальонскую избу, глянула на тѣпоръ, да чуть не обомлѣла, а съ полатей Автамонъ пуще кричитъ.

— «Полно, Автамонушка!» говоритъ почтмейстерша: «не пугай дѣтей!»

— «Просимъ прощенья! Виноватъ, что-то за сердце укусило, такъ я хотѣлъ злую муху пѣсней согнать. Ахъ, ты Господи, чудно право... Скоро ли-то баринъ воротится?...»

— «Э, Богданъ Кирилловичъ любитъ кутнуть! Я больно боюсь, чтобы ему не запоздать. Того гляди, къ пріему не вернется...»

— «Не изволь безпокоиться! Баринъ службу знаетъ и насъ службѣ училъ...»

Ушла почтмейстерша да и воротилась; вынесла Автамону стаканчикъ настойки, штей миску и добрую окраину хлѣба.

— «Кушай на здоровье!» молвила и пошла съ Наташей обѣдать.

Автамонъ молча стоялъ передъ настойкой и думалъ крѣпкую думу: «Пить или не пить! Экая, добрая! А отъ чего добрая? Недобраго боится; а въ другой день барина журитъ, зачѣмъ старому Автамону рюмку водки пожаловалъ, а рюмка-то съ наперстокъ. Право не знаю, пить или не пить! Да ужъ куда не шло; отъ стакана не охмѣлѣю.»

Проглотилъ Автамонъ стаканчикъ, да и рожу скорчилъ, будто нелюбо.

— «Ухъ, обожгло! А ты чего глядишь! Пошелъ прочь!» И съ неистовствомъ бросилъ сѣкиру подъ лавку. «Лежи тамъ, пока спросятъ.»

Сталъ Автамонъ шти хлѣбать, да за каждымъ хлѣбкомъ и вздохнетъ. Не доѣлъ Автамонъ, да и задумался; передъ нимъ рыжій мужикъ стоитъ, да усмѣхается; не то чтобы зубы у него изъ-подъ усовъ торчали, а кабаньи клыки; не то чтобы ногти на рукахъ, а длинныя рукавицы, да изъ-подъ тѣхъ рукавицъ черныя когти вылезли... а глаза не глаза: уголья; да ихъ будто кто изъ нутра раздуваетъ, такъ и пышутъ, да и огонь тотъ какой-то заколдованный; не то чтобы страхъ наводилъ, а будто въ стужу, банный духъ, такъ и нѣжитъ, всѣ косточки разбираетъ. Любо смотрѣть на рыжаго, а рыжій собой хуже всякаго пугала; постоялъ рыжій, постоялъ, да и нагнулся, взялъ топорикъ, да и хотѣлъ въ контору.

— «Незамай!» крикнулъ Автамонъ. «Я и самъ справлюсь.»

— «Оно и лучше!» сказалъ рыжій. «А деньгу, пожалуй, всю себъ возьми; у меня и своей довольно!»

— «Ой ли?»

— «Да! а на тысячу рублей нашему брату, простому человѣку, и вѣку не хватитъ столько денегъ изжить. Ну, такъ прощай! Сегодня встрѣнемся!» и ушелъ рыжій.

Автамона будто что укололо; проснулся; на дворѣ стукъ; возятся ямщики; сани закладываютъ; не успѣлъ онъ и въ окно поглядѣть, проѣзжій сѣлъ, да и уѣхалъ.

— «Гмъ! Да зачѣмъ же топоръ?» сказалъ Автамонъ: «И такъ отдастъ. Только развѣ для страха ей показать. А ужъ деньги мои... Заживетъ Автамонъ; а закричитъ, проклятый Сергѣй ямщикъ услышитъ; только одинъ и остался...»

Зазвенѣлъ колокольчикъ. Не прошло двухъ-трехъ минутъ, ямщикъ Сергѣй въ избу стучится.

— «Возьми, Автамонъ, ключи...» кричитъ ямщикъ. «Господинъ какой-то пріѣхалъ, никого нѣтъ, я барина повезу на моей парѣ, а съ той станціи ямщики ждать не хотятъ, говорятъ, что ужъ дома покормятъ; такъ возьми ключи...»

— «Пожалуй!»

Отворилъ Автамонъ двери, взялъ ключи, да за думой своей черною, забылъ двери запереть и сѣлъ въ избѣ на лѣсенкѣ, которая на чердакъ вела. Сидитъ. Смеркло, а сѣкира и въ темнотѣ свѣтится... Сталъ онъ озираться; показалось ли ему, али и за правду изъ запечки рыжій глядитъ, будто спрашиваетъ: «Что же ты, Автамонъ?»

— «А вотъ, сейчасъ, была не была!» И пошелъ въ контору.

— «Кто тамъ?» спросила Настасья Ивановна дрожащимъ голосомъ.

— «Да, что, родимая, право не въ мочь! Крѣпился, крѣпился, не могу, подай деньги!»

— «Деньги?»

— «Деньги, родимая, видишь руки дрожатъ, топорикъ подъ лавкой; сердце жжетъ; не супротивься; я тебя не трону; давай ларчикъ... Въ лѣсъ... Рыжій проводитъ.»

— «Что это съ тобой, Автамонъ! Ты честный служивой; Богданъ Кирилловичъ на тебя что на самого себя надѣялся...»

— «Да и надѣялся, да видишь не устоялъ!»

— «Да вспомни Автамонъ Бога! Вѣдь ты будешь хуже всякаго вора; вспомни, какой у насъ Царь и строгій и всезнающій, отъ него не уйдешь; вѣдъ ты же и крещеный, не какой нехристь, Автамонушка, ты у насъ что сынъ...»

— «Быть по твоему!» сказалъ Автамонъ, махнулъ рукой и пошелъ въ избу. Настасья Ивановна спрыгнула съ постельки, ларчикъ подъ мышку, да и бѣжитъ къ дверямъ; приложила ушко, слышитъ реветъ Автамонъ, видно Богу плачется; не тутъ-то было; опуталъ его нечистый: зло слезы выжимаетъ; схватился онъ съ прилавка, поднялъ сѣкиру, кричитъ: «Не могу! Суди меня Богъ и Государь, не могу!» и бѣжитъ въ контору.

Обмерла Настасья Ивановна, да за дверьми и притаилась, а онъ словно бѣшеный за перегородку.

Кричитъ: «Подай, вѣдьма, деньги, подай!» Тутъ Настасья Ивановна въ избу почтальонскую, да на лѣсенку, да на чердакъ, да дубовую дверь и задвинула...

— «Стара шутка!» кричитъ Автамонъ: «не уйдешь!» Да Никитку изъ колыбели за ноги ухватилъ, свѣчу взялъ, да на лѣсенку и лезетъ.

— «Подай деньги!» кричитъ: «не то хвачу твоего щенка объ стѣну! Подай деньги!»

— «Не могу!» кричитъ почтмейстерша не своимъ голосомъ: «Не мое, царское!»

Тутъ Наташа выбѣжала, видитъ или такъ не видя, что двери отперты, выскочила на дворъ, на улицу, кричитъ во все дѣтское горло... Анъ тутъ у воротъ сани; офицеръ какой-то спрыгнулъ.

— «Сюда, сюда!» кричитъ Наташа; офицеръ за нею, въ избу, а тамъ уже и ребенокъ и Настасья Ивановна въ крови плаваютъ; офицеръ шпагу наголо; Автамонъ не поддается; офицеръ пуще, пуще, да и прокололъ Автамона; вдругъ выстрѣлъ, завизжала пуля, офицеру въ самое сердце впилась, тотъ повалился на мертваго Автамона, да и духъ вонъ...

— «Вотъ тебѣ, разбойникъ!» сказалъ почтмейстеръ, держа въ рукахъ пистолетъ. «Бѣдный Автамонъ! Дорого ты за усердіе поплатился!»

Но каковъ же былъ ужасъ почтмейстера, когда Наташа кое-какъ, однакоже достаточно понятно, разсказала все дѣло; мертвая жена, разбитый ребенокъ, чужой человѣкъ, случайный защитникъ семейства почтмейстера, убитый его рукою; о! та-

кая чаша горечи не выпивается за разъ, и разсудокъ теряетъ свои силы... Богданъ Кирилловичъ упалъ на трупъ офицера и, обливая слезами, искалъ сердца его: не бьется ли? но шинель распахнулась — военный человѣкъ; почтмейстеръ угадалъ рангъ убитаго; хуже, онъ встрѣтилъ на груди его сумку, красивую, новую, плотно застегнутую; сорвалъ несчастный сумку, осмотрѣлъ ее весь дрожа, въ послѣдній разъ въ жизни пришлось ему осматривать сумку... тамъ собственноручный указъ Царя Петра, тамъ роковая подорожная... И все выпало изъ рукъ его.

— «Боже!..» закричалъ онъ, блѣдный, дрожа всѣмъ тѣломъ: «Что надѣлалъ я! Убилъ знатнаго слугу Царскаго!.. Остановилъ Государеву святую волю!.. Прощай, Наташа!»

И несчастный опрометью бросился изъ избы... Туда уже давно заглянули ямщики и почтмейстерскій и офицерскій, и видѣвъ кровопролитіе, побѣжали въ городъ, дали знать воеводѣ.»

— «Ѳедоръ Ильичъ!» сказалъ воевода: «хоть ты у меня и гость, а въ такой причинѣ надо свидѣтелей твоего десятка, честныхъ, служивыхъ, съ добрымъ именемъ; пойдемъ!»

— «Пойдемъ, ваше высокородіе. Только мнѣ что-то не вѣрится, кажется у насъ объ разбойникахъ ничего слышно не было. А пойти, пойдемъ. Я и такъ хотѣлъ завернуть къ Богдану Кирилловичу, да вотъ ты, ваше высокородіе, забесѣдничалъ; а пойти, пойдемъ...»

Очень трудно было произвесть точное слѣдствіе,

потому что единственною свидѣтельницей была Наташа, семилѣтній ребенокъ, и та съ перепуга говорила несвязно; всѣ ея рѣчи были тщательно записаны воеводой, засвидѣтельствованы другими чиновниками, набѣжавшими уже послѣ, и Ѳедоромъ Ильичемъ; мертвецы убраны, и размѣщены въ разныхъ комнатахъ станціи; бумаги и казна опечатаны, караулъ приставленъ, и всѣ, разсуждая о необыкновенномъ событіи, стали собираться по домамъ. Оставалась Наташа. Никто объ ней и не подумалъ. Только одинъ Ѳедоръ Ильичъ взялъ ее за руку и сказалъ по своему сурово: «Наташа, ты со мной пойдешь...»

Наташа плакала, но повиновалась. Вышли всѣ на улицу, и повернули въ городъ, а Ѳедоръ Ильичъ на большую дорогу.

Поднялъ онъ единственною рукою Наташу, подставилъ колѣнко, укуталъ въ свою шубу, опять подхватилъ рукою и понесъ, какъ будто кролика, на свою усадьбу. Дома у него еще не спали; Боря, единственный сынъ Ѳедора Ильича, сидѣлъ у няни въ комнатѣ и весьма исправно помогалъ ей ткать красивый ручникъ. Мальчику былъ двѣнадцатый годокъ на исходѣ и Ѳедора Ильича крѣпко кручинили женскія привычки Бори; но у отца не было никакихъ средствъ къ воспитанію сына, какъ прилично дворянину.

«Пусть живетъ подъ Богомъ,» думалъ Ѳедоръ Ильичъ: «а прійдетъ пора, проснется въ немъ дворянинъ, на службѣ перемѣнится.»

Входя въ комнату съ Наташей, зналъ Ѳедоръ

Ильичъ гдѣ искать Борю, и прямо пошелъ къ нянѣ.

— «Вотъ тебѣ, Боря, сестра!» сказалъ онъ, поставивъ Наташу на полъ. «Люби ее какъ родную. Акулина, дай-ка намъ закусить чего нибудь.»

—

II.

Какъ Ѳедоръ Ильичъ захотѣлъ опять на службу и о Борисѣ Ѳедоровичѣ нѣчто.

Воевода распорядился по своему; похоронилъ кого какъ — и донесъ обо всемъ кому какъ слѣдуетъ; а въ Московскихъ Курантахъ черезъ добрый годъ написали повѣстку, что «послѣ несчастной смерти почтмейстерши купно со младенцемъ, и послѣ пропажи почтмейстера Богдана Чегликова, какое движимое имѣніе оказалось, належито опечатано; а буде сыщутся ближніе родственники, то имѣютъ явиться съ документами къ опекунамъ оставшейся въ живыхъ малолѣтней Наталіи Чегликовой, сирѣчь: къ Новгородскому воеводѣ и отставному капитану Ѳедору Ильичу Шаплыгиину съ прописаніемъ жительства послѣдняго.» Каковъ былъ опекунъ воевода, неизвѣстно, но что касается до капитана Шаплыгина, то Наташа нашла въ немъ не опекуна, а истинно прекраснаго, добродѣтельнаго отца; накупилъ онъ ей куколъ въ рядахъ, можно сказать за послѣднія деньги, потому что имѣніе Шаплыгина состояло изъ довольно обширной усадьбы съ тремя огородами и большимъ фруктовымъ садомъ, да изъ четырехъ крѣпостныхъ людей, изъ

коихъ одинъ былъ садовникъ, два огородника, а четвертая, жена садовника, состояла няней при Борѣ, кухаркой и домоправительницей. У Шаплыгина было до тридцати дворовъ, но во время продолжительной службы его, до проклятаго случая, когда онъ потерялъ руку, деревня сгорѣла до тла, кромѣ одной усадьбы; жена со страха захворала и умерла; люди разбрелись, а вѣрными остались только четверо и то потому, что садовникъ былъ мужъ, а огородники родные братья Акулины, а няня Акулина такъ любила покойницу и своего питомца, что не хотѣла ни на шагъ отлучиться отъ усадьбы.

Безрукій капитанъ, какъ истинный стоикъ, оплакалъ жену, потужилъ объ деревнѣ, погоревалъ о глупыхъ крестьянахъ, и сталъ себѣ жить да поживать истинно по-философски. Три огорода, да фруктовый садъ кормили всѣхъ шестерыхъ, за однимъ столомъ; работать капитанъ не могъ за увѣчьемъ; однакоже не рѣдко помогалъ съ Борей садовнику собирать клубнику, малину и яблоки, а огородникамъ полоть и поливать грядки. Няня Акулина придумала завести домашнихъ птицъ, и мужъ ея къ Рождеству два раза возилъ въ Петербургъ живность и возвращался съ немалой деньгой; тогда Акулина придумала искупить барину добрую колымагу и господскую лошадь, но на такую расточительность капитанъ не соизволилъ, весьма справедливо доказывая, что онъ раненъ не въ ногу, а въ руку, а притомъ же и городъ недалече, и получаса пути нѣтъ; а предло-

жилъ съ своей стороны проектъ: искупить на тѣ деньги быка и двухъ коровъ. Предложеніе апробовано единогласно и скоты искуплены, отъ чего доходъ усадьбы значительно возвысился. Съ переселеніемъ Наташи въ Тетеры, такъ называлась усадьба, увеличились нѣсколько и расходы, правда, но Наташа была такое милое, доброе дитя, такъ понравилась Боринькѣ, что Акулина смотрѣла на все сквозь пальцы, даже и на то, что баринъ за послѣднія деньги покупаетъ ей всякую дрянь. Ѳедоръ Ильичъ былъ поведенія трезваго, характера молчаливаго и по наружности суроваго; привычекъ не имѣлъ никакихъ, но по званію своему, а больше отъ скуки, поддерживалъ связи, т. е. ежедневно послѣ обѣда ходилъ въ городъ пѣшкомъ въ гости къ тому или другому изъ городскихъ чиновниковъ, изъ коихъ и устроилъ себѣ очередь; всякій былъ радъ капитану и потому неудивительно, что онъ домой возвращался поздно, также пѣшкомъ, и ужъ развѣ только въ крайнихъ случаяхъ, съ почтой, причемъ однакоже всегда платилъ почталіону алтынъ, а ямщику двѣ деньги. Наступило уже пятое лѣто съ того печальнаго дня, когда Наташа осиротѣла такимъ страннымъ образомъ; Борѣ пошелъ семнадцатый годокъ, Наташѣ двѣнадцатый кончился. Акулина не могла налюбоваться на своихъ дѣтокъ, какъ она ихъ называла и безъ обиняковъ говорила, что какъ Борѣ стукнетъ двадцать, а Наташѣ пойдетъ шестнадцатый, такъ ихъ и обвѣнчаютъ у святой Софіи. Не смотря на возрастъ, въ которомъ иногда

очень хорошо знаютъ что̀ такое свадьба, ни Боря, ни Наташа не понимали, что этимъ хочетъ сказать няня, да и не допытывались, потому что считали вѣнчаніе какимъ ни есть обрядомъ, привязаннымъ къ означеннымъ годамъ; жили себѣ въ любви и дружбѣ, неразлучные, и не догадывались, что любятъ другъ друга безъ памяти. За обѣдомъ какъ-то случилось, что няня, журя за что-то Борю, и говоритъ: «Слушаться, Боря! Вотъ какъ будешь Борисомъ Ѳедоровичемъ, да женишься на Натальѣ Богдановнѣ, тогда...»

— «Что ты врешь, баба!» сказалъ капитанъ сурово, «что ты это мальчику такую дурь въ голову вбиваешь. Я не какой ни есть Царскій озорникъ; я свой долгъ, какъ свою молитву, знаю. Пора бабское дѣло бросить. Пора Царю и Царству службу справить, какъ надлежитъ каждому честному человѣку и дворянину особо. Вотъ какъ оповѣстятъ дворянъ; я Борю и отдамъ въ солдаты. А не оповѣстятъ, такъ и такъ отдамъ. Дай Богъ Наташѣ въ немъ жениха увидѣть, да безъ десяти лѣтъ царской службы и я его въ домъ не пущу. Скучно мнѣ и тяжело на этомъ свѣтѣ. Въ сверстникахъ есть у меня и генералы; а я то что? За пожáромъ — однодворецъ, за увѣчьемъ — инвалидъ; а тутъ еще рука теперь такъ докучать стала, будто горячимъ желѣзомъ по ней водятъ; ночи не сплю; сонъ пропалъ; безъ ропота подъ часъ смерти прошу у Бога, да вспомню про Борю, да и отпрашиваюсь, пока на службѣ его не увижу. — Такъ помни Боря что̀ я тебѣ сказалъ; знай

что у тебя не только одинъ отецъ былъ, а дѣдъ и прадѣдъ; всѣ на службѣ царской умерли, только мнѣ, калѣкѣ, этой чести не досталось. Ужъ бы хоть противъ разбойниковъ этихъ, что стали подъ монастыри наши подходить, лишь бы умереть на службѣ, какъ присяга велитъ.»

Въ этотъ день капитанъ былъ суровѣе обыкновеннаго; даже Акулина не смѣла противорѣчить и когда Ѳедоръ Ильичъ взялъ шапку и ушелъ въ городъ, няня только качала головою и приговаривала: «Ну не къ добру, не къ добру!...» Но и въ этотъ разъ счастливцы не поняли чѣмъ угрожалъ суровый старикъ; они еще не умѣли и времени мѣрить годами; Боря даже радовался, что онъ послужитъ Бѣлому Царю, что Наташа будетъ любоваться на его мундиръ и оружіе.

— «Десять лѣтъ прослужу, такъ что не увидишь» говорилъ онъ: «изо всѣхъ силъ, Наташа, служить буду, чтобы тѣ десять годовъ поскорѣе прошли; три-четыре города возьму, такъ и безъ сроку отпустятъ; вотъ батюшка про такіе случаи не разъ намъ сказывалъ...»

И служба ихъ вовсе не печалила. Гораздо больше испугала ихъ рѣчь капитана про разбойниковъ. Напуганные сказками той же Акулины, они приставали къ ней съ вопросами, какой именно разбойникъ пришелъ: Стенька, или самозванецъ какой, или Карло волшебникъ... Няня долго отнѣкивалась, да видитъ, не отстаютъ, перекрестилась, да и молвила: «Съ нами крестная сила! Чтобъ бѣды не накликать; говорятъ, да за правду никто не видалъ...»

— «А что́ же говорятъ, няня?...»

— «Извѣстно, всякую страсть, да можетъ со страху.»

— «Да чего же люди разбойниковъ боятся. Собраться всѣмъ честнымъ да добрымъ въ околодкѣ, монастырскихъ людей взять, да и пойти на нихъ міромъ...»

— «Что ты, что ты, Боря, Господь съ тобою. Бѣда коли такія рѣчи заслышатъ...»

— «Да развѣ они близко?...»

— «А кто ихъ вѣдаетъ. Можетъ, подъ поломъ гдѣ сидятъ, да и смѣкаютъ. Говорятъ въ Туровкѣ были; бригадира, самого бригадира обворовали...»

Недолго продолжалась страшная, но вмѣстѣ и занимательная для молодыхъ людей бесѣда. Капитанъ противу обычая воротился рано; не въ духѣ; разогналъ собесѣдниковъ; и не смотря на то, что солнце еще не закатилось, приказалъ ложиться спать. Оставшись одинъ, капитанъ осмотрѣлъ по обычаю всякое свое ружье, заперъ самъ ворота и улегся; но всю ночь ему не спалось; онъ вставалъ и подходилъ къ той комнатѣ, гдѣ спалъ Боря, прислушивался и казался довольнѣе, веселѣе. Къ утру и онъ маленько заснулъ, но первый лучь вошеднаго солнца, привыкшій всегда будить Ѳедора Ильича, и на этотъ разъ исполнилъ свою должность исправно. Капитанъ всталъ, почистилъ себѣ сапоги и платье, умылся, одѣлся и все это одною рукою, какъ будто у него никогда другой и не бывало. Разбудилъ онъ и Борю и

Наташу и Акулину. Всѣ встали хотя и не охотно, какъ будто предчувствуя что-то недоброе. Одѣлись. Шаплыгинъ и говоритъ сыну: «Боря! Ступай въ монастырь къ игумену Власію и отдай эту полтину отъ меня на молебенъ. Ступай Боря, не близко, и самъ за тѣмъ молебномъ помолись за всѣхъ за насъ, а пуще за Наташу.»

Впервые сердце юноши вздрогнуло на новый ладъ. Онъ смотрѣлъ на отца, будто спрашивалъ: что это значитъ, но капитанъ продолжалъ: «Ступай, ступай! Ея дѣло сиротское; объ ней надо больше молиться... Ступай!» Боря пошелъ, но чувство, единожды взволнованное, не скоро успокоится. Конечно, смѣшно бы и сказать, что Боря былъ влюбленъ въ Наташу, по всѣмъ правиламъ Овидія и нашего вѣка; онъ любилъ ее, какъ сестру, съ которою разлучиться на короткое время онъ бы еще смогъ, но навсегда... Но подобная мысль ему и въ голову не приходила; онъ опасался самъ не зная чего, долго еще оглядывался на усадьбу, наконецъ исчезъ въ волнахъ золотистыхъ нивъ... Капитанъ провожалъ его глазами.

— «Глупъ я былъ!» сказалъ онъ, потерявъ сына изъ вида: «Я долженъ былъ впередъ бѣду видѣть, а теперь какъ набѣжала, дай Господи только управиться. Ну, Наташа, вріодѣнься, пойдемъ въ городъ погулять...»

Наташа тоже посмотрѣла на него значительно съ примѣтнымъ недоумѣніемъ и пошла одѣваться. Капитанъ глубоко вздохнулъ.

— «Глупъ я былъ!» сказалъ онъ: «А теперь

передъ родными во лгунахъ; да что ты станешь дѣлать; языкъ на правду не поворачивается. Пойдемъ, Наташа!»

— «Не къ добру, не къ добру!..» ворчала Акулина, глядя во слѣдъ капитану и защищая рукою старые глаза отъ солнца. И точно не къ добру. Капитанъ скоро вернулся изъ города, но одинъ.

— «А гдѣ Наташа?» вскрикнула Акулина.

— «Не твое дѣло!» отвѣчалъ старикъ и, не слушая восклицаній Акулины, заперся въ своей комнатѣ. Акулина бросилась къ садовнику, тотъ кликнулъ огородниковъ и Акулина нѣсколько разъ сряду разсказала и про Борю и про Наташу. И послѣ каждаго раза всѣ трое восклицали: чудно! и снова слушали неумолчную Акулину. Между тѣмъ вернулся Боря; завидѣвъ усадьбу, онъ не шелъ, а бѣжалъ, и прямо къ отцу.

— «Что, Боря, исправилъ ли ты все, какъ наказано?»

— «Исправилъ.»

— «Ну, хорошо, ступай себѣ, спасибо.»

Боря въ дѣвичью, нѣтъ Наташи: Боря въ больную избу, нѣтъ Наташи; къ отцу и тамъ нѣтъ, опять въ дѣвичью, опять къ отцу...

— «Кого ты ищешь, Боря?» спросилъ капитанъ печально.

Боря покраснѣлъ до ушей и двѣ крупныя слезы блеснули на глазахъ его...

— «Милый сынъ!» сказалъ Ѳедоръ Ильичъ такимъ голосомъ, какого Борѣ слышать не уда-

валось. Казалось говоритъ не отецъ, а нѣжная мать въ часъ сердечнаго умиленія, не храбрый капитанъ, а растроганная баба. «Знаю кого ты ищешь! Но не забудь, что Наташа мнѣ не дочь, тебѣ не сестра. Богъ мнѣ поручилъ ее; а тутъ пріѣхалъ родной ея дядя; говоритъ: подай Наташу. И горько было, тоска всего изломала, а удержать нельзя; родные прежде насъ. И человѣкъ онъ не простой! Царскій чиновникъ! Я было къ воеводѣ — и тотъ говоритъ: подай, чужаго не удерживай! Самъ ты знаешь, какая намъ она чужая?... Отдалъ, отдалъ! Боря! Я отдалъ Наташу!...» И вся военная твердость капитана исчезла; онъ обнялъ сына послѣднею рукой и оба горько и долго плакали.

— «Не кори меня, Боря!» сказалъ истинно жалкій старикъ; онъ въ эту минуту постарѣлъ десятью годами; такъ слеза тихаго, добраго, житейскаго чувства безобразитъ лицо богатыря. «Не кори меня, Боря! Видитъ Богъ, отстоять не могъ... Не ходилъ я никогда и никогда не пойду противу закона!...»

— «Успокойся, родимый, ненаглядный ты мой, успокойся!» въ свою очередь, рыдая, заговорилъ Боря. «Хорошо, что ты мнѣ намекъ далъ про Наташу; я такъ молился, что ужъ развѣ Богъ не услышалъ, а не то...»

— «Услышалъ, сынъ мой, услышалъ!»

— «Ну, такъ будь спокоенъ, Наташѣ за моей молитвой худа на этомъ свѣтѣ не будетъ. Да кто же нашъ злодѣй?»

— «Говорятъ тебѣ, родной дядя, царскій коммиссаръ, на Питербургѣ казенною фабрикой заправляетъ; тамъ у него всякую парчу и позументы дѣлаютъ изъ царскаго золота и серебра. Видишь, въ какой онъ у Царя вѣрѣ.»

— «Да какъ же онъ про Наташу свѣдалъ?»

— «Куранты, проклятые Куранты, чортова выдумка! Говоритъ: отъ сосѣда взялъ, скуки ради, за старые годы, да и начиталъ, чтобъ у него глаза...»

— «Да развѣ тамъ написано...»

— «Все написано, чтобы тѣмъ друкарямъ добра не было, у нихъ самъ сатана на послугахъ, все знаютъ и друкуютъ на пагубу честнымъ людямъ.»

— «Эхъ, родимой, да вѣдь и эти Куранты по царской волѣ.»

Это замѣчаніе остановило капитана. Печаль его унялась. Онъ самодовольно посмотрѣлъ на сына, поцѣловалъ его въ лобъ и молвилъ съ гордостью:

— «Спасибо, Боря, спасибо! глупъ я сталъ. Учи, учи отца тому же, чему я тебя училъ. Молодецъ, Боря. Твоя правда. Нѣтъ въ Курантахъ зла, коли на то царская воля. Зла царю не нужно, а тутъ видно, такъ Господу угодно, а мы передъ Нимъ смиримся и помолимся.»

Въ это время вбѣжала въ комнату Акулина запыхавшись и объявила, что изъ города сила валитъ, такое многолюдство, что и счету нѣтъ, ратный строй съ воеводой, полкъ не полкъ, а много полковъ въ одномъ... И отецъ и сынъ выбѣ-

жали на крыльцо, и точно: ратные люди, да въ маломъ числѣ, а за ними всякій сбродъ, инвалиды, дворяне безъ мундировъ, монастырскіе служки, мужварье съ дубинами, боярскіе дѣти и всякаго рода служилые люди, кто на конѣ, а больше, пѣшіе, а впереди точно не то воевода, не то полковникъ, на дрянной клячѣ. И у самыхъ воротъ Ѳедора Ильича весь этотъ сбродъ остановился; полковникъ слезъ съ своей клячи и вошелъ въ калитку...

— «Батюшка свѣты!» закричалъ капитанъ: «Ѳедосѣй Юрьевичъ, ты ли?»

— «Что, Ѳедоръ Ильичъ, узналъ не бойсь!»

— «Откуда, дружище?»

— «А вотъ погоди, узнаешь. Прежде служба, а потомъ дружба. Не вѣдаешь ли ты, Ѳедоръ Ильичъ, гдѣ либо по сосѣдству, или не слышалъ, не обрѣтаются ли тати, воры и разбойники, и буде есть, то гдѣ пристань держатъ?..»

— «Нѣтъ, ваше высокоблагородіе, Ѳедосѣй Юрьевичъ, придти въ нашъ уѣздъ, пришли, а гдѣ пристань держатъ, не вѣдаю, и то говорю по святѣй Христовой непорочной Евангельской заповѣди Господней: ей-же-ей вправду.»

— «Ну, дружище, такъ значитъ до нихъ еще далече и значитъ наши языческіе толки правду молвили, и значитъ про насъ заслышали и оглобли поворотили, да мы ихъ на становищахъ и пристаняхъ всѣхъ изловимъ, лишь бы народу служиваго собрать побольше.»

— Такъ ты, Ѳедосѣй Юрьевичъ, ваше высокоблагородіе... царскій сыщикъ!..»

— «Полно, братъ, чиниться; не оторви у тебя руки, ты бы надо мной начало имѣлъ. Ну, признаюсь, радъ что засталъ дома; а то какъ свѣдалъ я отъ воеводы, что ты здѣсь, да послѣ обѣденъ на прогулку ходишь, — весьма опечалился. Служба царская; ждать до утра нельзя, а хотѣлось свидѣться...»

«Такъ что же мы это на крыльцѣ? Для такого гостя и ратафія найдется...»

И усѣлись старые друзья за бутылочкой ратафіи и разговорились, и по дружбѣ полковникъ капитану царскую инструкцію показалъ; тотъ попросилъ прочесть, а тотъ и давай читать, да какъ дочитался полковникъ до того мѣста, гдѣ указано сыщику Ѳедосѣю Юрьевичу Козину съ собою имать по всѣмъ городамъ у воеводъ отставныхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и всякихъ служилыхъ людей, Ѳедоръ Ильичъ весело схватился съ мѣста и сказалъ: «Постой, постой, прочти-ка еще: кого съ собою имать тебѣ?» — Полковникъ повторилъ.

— «Довольно!» закричалъ капитанъ: «довольно! Спасибо Государю, что онъ въ часъ нужды старыхъ своихъ служивыхъ не забываетъ.»

Съ этими словами капитанъ ушелъ, но скоро воротился при шпагѣ, держа въ рукахъ военную шляпу.

— «Что съ тобой!» закричалъ Козинъ.

— «Что̀ указано! Радъ я радехонекъ, что на поганомъ пуховикѣ умереть не удастся... Государь Великій! Не забудь моего сына! Пойдемъ!..»

— «Да куда же?»

— «Съ тобой на татей, воровъ и разбойниковъ, но Государеву глаголу...»

Напрасно полковникъ, Боря, Акулина и вся дворня уговаривали его остаться дома. Капитанъ былъ неумолимъ; только и согласился на предложеніе огородника, старшаго брата, взять бурую лошадь, что́ на огородѣ служитъ; подвели ему бурую лошадь. Капитанъ благословилъ сына и сказалъ: «Ну, Боря! жди меня, да не тужи, а не дождешься, ступай самъ куда Богъ велѣлъ, на честную службу Царю Прощай!»

И армія тронулась въ путь! И Боря не дождался отца, а ужъ зимою, вмѣсто отца, пріѣхалъ полковникъ Козинъ, одинъ, на почтовыхъ, нашелъ Борю за ткацкимъ станкомъ и немало удивился. Первыя мгновенія отчаянія и рыданій миновались. Капитанъ Щаплыгинъ, послуживъ главнѣйшимъ орудіемъ къ уничтоженію Можайскихъ злодѣевъ, почти при самомъ окончаніи военныхъ дѣйствій, попался въ засаду, самъ третей съ двумя боярскими дѣтьми. Число было слишкомъ не равное. Но капитанъ, положивъ на мѣстѣ четырехъ злодѣевъ, преслѣдовалъ остальныхъ до цѣли; ни одинъ не избѣгъ поимки; но капитанъ въ ту же ночь умеръ отъ ранъ, полученныхъ въ этой стычкѣ.

Борисъ прослушалъ разсказъ полковника въ глубокой печали и сказалъ:

— «Всѣхъ? Изловили всѣхъ?.. Жаль!»

— «А почему?» спросилъ изумленный полковникъ.

— «Потому что не на комъ теперь моего горя выместить.»

— «Ну, что же ты, Боря, будешь теперь съ собою дѣлать.»

— «Что отецъ указалъ. На службу!»

— «Такъ поѣдемъ со мной?»

— «Спасибо, полковникъ.»

Коротки были сборы Борисовы; онъ простился съ людьми, какъ съ родными, надѣлъ отцовскую шубу и шапку, сѣлъ въ сани и покатилъ въ Питеръ.

— «Въ какой же ты полкъ запишешься?» спросилъ полковникъ дорогою.

— «На позументную фабрику...»

— «Куда?»

— «На позументную фабрику...»

— «Что ты Боря, да дворянское ли это дѣло?..»

— «Мое дѣло, полковникъ, а служба Царю, вездѣ Царю служба.»

— «Да...»

— «Да ужъ сказано, будетъ и сдѣлано! У меня отцовскій нравъ. На своемъ поставлю.»

—

III.

Какъ Борисъ Ѳедоровичъ Шаплыкинъ познакомился съ тѣми персонами, кои ему были нужны, и о тѣхъ другихъ персонахъ нѣчто.

На острову Свѣтлѣйшаго Князя Меньшикова, который впрочемъ и тогда, какъ и нынѣ, люди звали Васильевскимъ, противу деревянной церкви, гдѣ

теперь Андрей Первозванный, это придется около 6-й нынѣшней линіи, набросано было множество домовъ мелкаго разбора и такого дряннаго строенія, что съ перваго взгляда можно было замѣтить, что всѣ они поставлены только ad interim, на время. Тамъ жили разнаго рода художники и ремесленники; между старыхъ деревъ торчали вѣхи, указатели новой планировки этой части города; одно мѣсто было уже радикально разчищено и между двухъ вѣхъ поставлено доброе голландское строеніе въ два жилья. Въ этомъ домѣ, подъ неуклюжею крышею, во второмъ жильѣ помѣщался коммиссаръ позументной фабрики, Ардаліонъ Кирилловичъ Чегликовъ, а черезъ сѣни въ другой квартирѣ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вурстъ, позументный мастеръ; въ нижнемъ жильѣ, въ двухъ палатахъ, жили ученики, числомъ десять, да во флигелѣ одинъ подмастерье, изъ Нѣмцевъ, кухня и другія хозяйственныя принадлежности; отъ того флигеля шла дощатая ограда съ каменными столбами вокругъ небольшаго сада и, обогнувъ главное зданіе полисадникомъ, примыкала опять къ флигелю, по сю сторону чернаго двора.

Рано по утру Ардаліонъ Кирилловичъ, выкушавъ по нѣмецкому обычаю чашку кофе и надѣвъ мундиръ, отправился по дѣламъ службы на адмиралтейскую сторону. Наташа убирала вмѣстѣ со служанкой комнаты и съ безпокойствомъ поглядывала на двери.

— «Да не бойся, Наташинька,» сказала Марѳа, то есть служанка. «При мнѣ окаянный не посмѣетъ

подлипать къ тебѣ; вѣдь я не посмотрю, что онъ нѣмецъ: такъ щеткой съѣзжу, что въ кренгель свернется, точь въ точь, что на вывѣскѣ.»

— «Слышишь, слышишь, Марѳа, уже на лѣстницѣ!»

— «Не бойся!»

Марѳа стала въ позицію; двери отворились, вошелъ Боря, и какъ удивилась Марѳа, когда съ крикомъ радости Наташа бросилась къ молодому человѣку и повисла у него на шеѣ. Марѳа оперлась на щетку, разинула ротъ, и качая головою, смотрѣла въ оба на счастливую чету.

— «Ты ли это, Боря!»

— «Я, душенька Наташинька!

— «А я ужъ думала, что никогда тебя не увижу.»

— «А я ужъ этого не думалъ; я далъ себѣ слово и сдержалъ, и до конца то слово сдержу...»

— «Какое же то слово?»

— «Молода ты больно, дай годокъ, другой, сама смѣкнешь, а я пока возлѣ тебя служить буду...»

— «Какъ служить!»

— «Да ужъ такъ, у дяди твоего подъ началомъ, на позументной фабрикѣ ученикомъ...»

— «Ученикомъ! Да какая же это служба, тутъ только бѣдные сироты ремеслу учатся...»

— «А мы съ тобою, Наташа, кто?.. А выучусь, дальше пойду. Спасибо Акулинѣ, ткацкое дѣло разумѣю; пригодилось... Ну, гдѣ же твой дядя?»

— «А Богъ его знаетъ; пошелъ куда-то. Сказалъ, что черезъ часъ вернется.»

— «Ну, такъ я обожду. Только знаешь, Наташа, у меня есть до тебя тайная просьба.. »

— «Говори, говори, Марѳа не скажетъ; такая добрая, что твоя Акулина...»

— «Вотъ ужъ Наташа не годится стараго друга такъ обижать. Авось пригодится...»

— «Да я такъ только, потому что мнѣ тутъ, кромѣ Марѳы, любить некого; а тамъ я другихъ больно любила. Да въ чемъ же твоя тайная просьба?...»

— «А вотъ въ чемъ: дядя твой не могъ знать, что мы вмѣстѣ выросли, кто я; будемъ жить, будто незнакомые, пока не прійдетъ часъ воли Божіей...«

— «Какъ! и не разговаривать, и не гулять; такъ зачѣмъ же ты ко мнѣ пришелъ? .»

— «Гмъ! Погоди годокъ, другой, сама смекнешь. И я думалъ по твоему, да горе на иной ладъ разумъ перевернуло... Такъ что же, Наташа, быть по моему?...»

— «Да зачѣмъ же я съ тобою не стану разговаривать; мнѣ и такъ гулять не съ кѣмъ; вышли мы разъ съ Марѳой на перспективу, что князь строитъ; дядинька какъ увидѣлъ, меня на замокъ, а Марѳу побилъ; такъ я съ тѣхъ поръ и не гуляла, чтобы Марѳушу въ бѣду не ввести. Лучше бы я тебя не видала, чѣмъ...»

— «Ну, хорошо, Наташа, коли ты не хочешь дать слова, такъ прощай; иду въ солдаты, прощай!»

— «Изволь, изволь, Боря, слушаюсь, возьми слово, только какъ же мнѣ быть. Я, право, не умѣю...»

— «Ахъ, какая ты, Наташа! Ну, не смотри на меня...»

— «И не смотрѣть! Господи, да зачѣмъ же онъ ко мнѣ пришелъ...»

— «Тише, Наташа, идутъ, помни слово...»

Наташа хотя и объявила, что притворяться не умѣетъ, однакоже въ одно мгновеніе обернулась лицомъ къ окну и стала въ садъ смотрѣть; Марѳа видно также притворяться не умѣла, стала полъ мести со всеусердіемъ, а Борисъ умостился въ уголъ и, опустивъ глаза, стоялъ чинно, какъ слѣдуетъ просителю. Двери отворились и вошелъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вурстъ; на немъ былъ коричневый кафтанъ и черные шелковые исподни; одинъ чулокъ, по модѣ того времени, красный, другой синій; жабо или манжеты, изъ чистаго голландскаго холста и крахмала; лицо у него было дряннное, скуловатое, ноги длинныя-предлинныя; при каждомъ его шагѣ, являлось подобіе Колосса Родосскаго; роста былъ онъ крайне высокаго; но когда шагалъ, казался меньше средняго; прочихъ достоинствъ фигуры Вурста не описываемъ; все было въ гармоніи съ ногами. Когда Ѳедоръ Ѳедоровичъ вложилъ одну ногу въ комнату коммиссара, Марѳа подняла щетку вверхъ и стала въ позицію; Борисъ, полагая, что столь торжественно можетъ входить только одинъ хозяинъ, двинулся-было впередъ, но Наташа не утерпѣла. «Это не онъ,»

сказала она торопливо: «это г. Вурстъ, здѣшній главный мастеръ...»

— «Не онъ?» спросилъ значительно Вурстъ: «а кто же этотъ онъ?»

— «О чемъ тутъ споръ?» спросилъ коммиссаръ, входя въ комнату: «ты за чѣмъ тутъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ?»

— «Я приходилъ за матеріяли; никакое золото неесть.»

— «Ну, а ты за чѣмъ?» спросилъ Чегликовъ, искоса поглядывая на Бориса...

— «Я пришелъ къ тебѣ, ваше благородіе, на фабрику, въ ученики проситься...»

Чегликовъ осмотрѣлъ Бориса съ ногъ до головы, почесался въ затылкѣ, да и сказалъ съ приличной важностью:

— «Знаемъ мы вашу братью: въ ученики просишься, а потомъ учителя или коммиссара проведешь; ухъ, какъ знаемъ; а не коммиссара, такъ коммиссаршу; и это знаемъ; помнишь Ѳедоръ Ѳедорычъ?» Тотъ значительно кивнулъ головой. Чегликовъ продолжалъ: «Нѣтъ, братъ, отваливай! Ты для нашей фабрики больно того... то есть молодъ... или старъ... какъ хочешь... только не годишься!...»

— «Я, ваше благородіе, ткать умѣю...

— «Знаю, знаю, что ты все умѣешь! А потомъ, того гляди такую штуку выкинешь, покажешь что умѣешь того... Нѣтъ, нѣтъ, ступай, не хочу.»

— «Да за что же, ваше благородіе, ты меня гонишь, когда я изъ дворянъ, да по доброй охотѣ...»

— «Наше ремесло не дворянское. Ужъ и видно, что злой умыселъ, ступай! Вотъ Богъ — а вотъ двери!»

— «Такъ ты ужъ никакъ принять меня не хочешь?»

— «Да пошелъ же вонъ!»

— «Иду, только ворочусь, ваше благородіе!» сказалъ рѣшительно Боря, и ушелъ.

Время было зимнее; по Большому проспекту Васильевскаго Острова, который въ то время не только соперничалъ съ Невскимъ, но имѣлъ предъ нимъ совершенный преферансъ, до того, что Невскаго съ Большимъ неудостоивали и сравненіемъ, — такъ по этому проспекту изъ гавани катилось много саней прямо ко дворцу Свѣтлѣйшаго. Борисъ былъ ослѣпленъ богатствомъ поѣзда, одеждой сѣдоковъ, больше всего удивлялъ его необыкновенный привѣтъ, которымъ пѣшеходы встрѣчали поѣздъ. Не смотря на сильную стужу, всѣ снимали шапки и кланялись въ поясъ. Боря, само собою разумѣется, не считая проѣзжихъ своими знакомыми, не разсудилъ за благо снять шапки, и больше занятъ будучи размышленіемъ: какъ бы опредѣлиться на позументную фабрику, подивился, подивился, да и задумался. Вдругъ, откуда ни возьмись, налетѣли на него сани, остановились у самаго такъ сказать носа.»

— «Эй ты, тетеря!» кликнулъ изъ саней какой-то генералъ....

— «Кого это онъ кличетъ!» подумалъ Боря, да и смотрѣлъ въ оба на генерала, а тотъ будто

дѣло дѣлаетъ, такъ и заливается, ругается на сто ладовъ, да и говоритъ:

— «Ты развѣ не видѣлъ, кто проѣзжалъ!»

— «Видѣлъ! Важно проѣхали, и убранство отмѣнное.»

— «Да что ты дуракомъ прикидываешься, али и за правду дуракъ?»

— «Нѣтъ, ваше благородіе, не изволь дворянина такимъ словомъ взыскивать, а лучше скажи изъ чего ты ко мнѣ привязался?»

— «Ахъ, ты олухъ Царя небеснаго! Да развѣ ты не вѣдаешь, что проѣхалъ Государь съ Резидентами!»

— «Государь, самъ Государь! Правду говоришь, ваше благородіе, олухъ я за правду; прозѣвалъ Царя, а у меня до него важное дѣло.»

— «Какое же у тебя дѣло? Подай; я Государю доложу...»

— «Видишь какой! Я братъ, ваше благородіе, и самъ сказать съумѣю, лишь бы гдѣ съ Царемъ повстрѣчаться.»

— «Коли я позволю.»

— «Стану я очень у тебя спрашиваться. Пойду да и скажу.»

— «Анъ не скажешь! Царя запрещено безпокоить...»

— «Разсказывай! Слыхалъ я довольно про Царя; къ нему всякой приходи, только съ правдой, а мое дѣло простое; скажетъ слово, свѣтъ послушается; а тутъ и слова то не надо; только глазкомъ мигнулъ и я счастливъ.»

— «Послушай, чудакъ, добро что ты ко мнѣ попался; я вѣдь генералъ-полицеймейстеръ, такъ ужъ извини, по должности моей поступить обязанъ.»

— «А поступай себѣ по должности! Такъ и слѣдуетъ!»

— «А коли такъ слѣдуетъ, такъ, пожалуй, ко мнѣ въ сани садись.»

— «Зачѣмъ?»

— «А я тебя повезу.»

— «А куда ты меня повезешь?»

— «Въ Съѣзжій Домъ Полиціи.»

— «Зачѣмъ?»

— «Тамъ тебя на хлѣбъ на воду посажу...»

— «Спасибо; у меня есть и своя копѣйка, на хлѣбъ станетъ, а въ водѣ, въ Питербургѣ нѣтъ недостачи. Спасибо! Не изволь трудиться...»

— «Такъ я изъ тебя и плеткой добуду, за чѣмъ въ Питербургъ пожаловалъ.»

— «Не изволь трудиться; я и самъ скажу, только не тебѣ. Ты моему дѣлу не помочь; тебя Ардаліонъ Кирилловичъ не послушаетъ.»

— «Ой ли! Ну-ка, ну-ка, не изволь власти противиться; садись!»

— «Да гдѣ же твоя власть, покажи!»

— «Изволь! Эй, часовой, возми-ка этого парня за шиворотъ, да усади ко мнѣ въ сани.»

Часовой въ одно мгновеніе исполнилъ приказаніе Дивіера, такъ что Боря не успѣлъ и оглянуться, какъ уже сидѣлъ въ саняхъ, возлѣ генералъ-полицеймейстера...

— «Право, чудно!» разсуждалъ Боря громко: «какіе тутъ у васъ въ Питербургѣ смѣшные порядки. Каждому встрѣчному и поперечному изволь разсказывать, за чѣмъ къ Государю пріѣхалъ! У меня отецъ былъ капитаномъ, да иного не спрашивалъ. А ужъ вѣрно у меня отецъ былъ постаріе тебя! Сыщикъ Козинъ, даромъ что полковникъ, а со всякимъ почетомъ былъ къ отцу; Шаплыгинъ въ сборномъ полку, послѣ полковника, былъ первый.»

— «Такъ ты сынъ Шаплыгина?»

— «А то кто же? Борисъ Ѳедоровъ сынъ Шаплыгинъ. А ты и этого не зналъ? Ну, у насъ по всѣму околодку, да что въ околодкѣ, по всему Новугороду Борю знали. Чай и Государь про Шаплыгина слышалъ.»

— «Какъ же не слышалъ! И держитъ память его въ почетѣ.»

— «Вотъ видишь, самъ говоришь, а сына обижаешь.»

— «Да чѣмъ я тебя обижаю; къ Государю везу; Его Величество радъ будетъ тебя видѣть; вѣрно въ Семеновскій, а можетъ и въ Преображенскій полкъ запишетъ...»

— «Ну, послушай, генералъ, ты видно не такой крутой, какъ мнѣ сначала показался; такъ, ужъ сдѣлай дружбу, не вези меня къ Государю, потому что Царь добра мнѣ хочетъ, я это знаю; у него такой норовъ; изъ того и бьется, чтобы пока живъ, побольше добра надѣлать.»

— «Такъ отчего же ты къ нему не хочешь?..»

— «Отчего! Знаешь, иной разъ человѣку нужна бичевка, а ему золотой позументъ дарятъ; что ему въ томъ позументъ, коли нужна бичевка? Развѣ повѣситься?..»

— «Такъ видно ты службы бѣгаешь?»

— »Эхъ какой ты, право, безтолковый. Не службы! Я за службой сюда пришелъ, да хочу службы по моимъ силамъ и умѣнью, а Царь какъ увидитъ меня, да больно обрадуется, да сгоряча, не взначай въ Преображенскій меня и запишетъ. Ужъ тогда мнѣ не приходится противу царской воли идти. Царскаго слова назадъ вернуть нельзя, а я и въ дуракахъ, на всю жизнь горемыка, и себѣ и Царю безъ пользы...»

— «Такъ гдѣ же ты хочешь служить, въ подъячихъ что ли?»

— «Ну, ужъ это ты для другихъ прибереги, а у меня есть свое ремесло. Была не была, скажу тебѣ, только покажи молодца, выпроси у Государя указъ, да полно ты ведешь ли разговоръ съ Государемъ?»

— «Каждый день по два раза непремѣнно, а иногда по десяти и болѣе...»

— «И ты не лжешь?»

— «Ей-же-ей, вправду,» сказалъ Дивіеръ, душевно восхищаясь простодушіемъ Бориса, который смотрѣлъ на Дивіера въ оба, съ примѣтнымъ сомнѣніемъ...

— «Чудно!» сказалъ Боря: «да ужъ видно такъ Богу угодно; хуже не будетъ; авось не продашь. Такъ послушай: Царю лишь бы служба,

лишь бы мы, дѣти его, для его пользы трудились и выгоды его берегли, и объ нихъ радѣли ..»

— «Умница ты, право, умница; сколько сѣдыхъ бородъ, а такъ умно не разсуждаютъ.»

— «Насилу-то смекнулъ: ну, такъ не все ли ему одно, что я буду Преображенскимъ солдатомъ или позументнымъ мастеромъ. Солдатъ-то съ меня плохой, а ткатъ—такъ я тебѣ и теперь лучшую скатерть вытку. — Вотъ я и ходилъ къ Ардаліону Кирилловичу, въ ученики на фабрику сталъ проситься; онъ меня чуть не по шеямъ; я осерчалъ, да и пошелъ къ Государю. И хорошо что не дошелъ, а то бы Царь ни за что, ни про что, въ богатыри упряталъ. Ну, что же ты на это скажешь? Что мнѣ дѣлать? Можешь ли ты мнѣ помочь?»

— «Могу и помогу. А ты у меня въ дому посиди. Коли Царь въ духѣ, такъ еще сегодня пойдешь на фабрику...»

— «Ну вотъ теперь я вижу, что ты большой царскій слуга. Всякому добра хочешь. Всегда такъ дѣлай ..»

— «Спасибо за совѣтъ! Постараюсь.»

— «Только Бога проси, поможетъ, а на свою гордость не надѣйся.»

— «И за это спасибо!»

— «Не за что. Всякой тебѣ то же скажетъ.»

Между тѣмъ сани остановились у крыльца огромнаго дома, который на то время въ Петербургѣ былъ великолѣпнѣйшимъ и, въ своемъ родѣ, почти единственнымъ строеніемъ. На Невѣ толпилось множество народа; по обѣ стороны дома на площадяхъ

стоялю саней за двѣ сотни; у свѣтлѣйшаго князя былъ обѣденный столъ для иностранныхъ резидентовъ, возвратившихся съ зимней прогулки на Котлинъ островъ, гдѣ они пробыли весь вчерашній день вмѣстѣ съ Государемъ. Музыка уже играла въ обширной залѣ.

— «Вотъ тебѣ разъ!» сказалъ Дивіеръ: «Это уже они прикладываются къ водкѣ; съ морозу чай обогрѣваются. Ну, Борисъ, такъ ты ступай ко мнѣ на домъ, а я вернусь послѣ обѣда.»

— «Нѣтъ, ужъ позволь мнѣ тутъ на народъ поглазѣть. Для меня вѣдь диковина все, что́ у васъ ни дѣлается... А ты себѣ ступай, кушай на здоровье, а я по вечеру къ тебѣ зайду; чай, ямщикъ твой знаетъ, гдѣ ты живешь.»

Дивіеръ улыбнулся, сказалъ: «Хорошо, быть по твоему,» и поспѣшилъ во дворецъ Меншикова...

—

IV.

Какъ Борисъ Ѳедоровичъ потерялъ фамилію.

Рано по утру Аѳанасій Кирилловичъ курилъ трубку; Наташа, заплаканная, распухлая, варила въ кухнѣ кофе, а Марѳа подкладывала подъ кофейникъ трески. Шмыгъ на кухню Ѳедоръ Ѳедоровичъ Вурстъ, да къ огню, да трубку свою фаянсовую приложилъ и закуриваетъ; да мимо, потому что Ѳедоръ Ѳедоровичъ не на огонь смотрѣлъ, а на бѣдную Наташу...

— «Это вы, кажется, плакали.

— «Нѣтъ!» отвѣчала Наташа.

— «Какъ нѣтъ? Вы имѣете красны глазы.»

— «Ну, а хоть и плакала» отозвалась Марѳа: «да тебѣ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, какое дѣло! Не про тебя, а про себя плакали.»

— «Я очень жалѣить...»

— «Поди ты съ своей нѣмецкою жалостью во свояси. Коли любишь чортово зѣлье сосать, такъ держи про него кремень да огниво, какъ у барина; и барина ты испортилъ, а ужъ на кухнѣ злаго духа терпѣть не приходится...»

— «Ты, Марѳуша, всегда очень грубъ.»

— «Счастіе твое, что баринъ дома, а то бы я тебя половою щеткой, кочергой, ополовникомъ, чѣмъ ни наесть, а нагрубила бы такъ, что другой разъ носу бы къ намъ не показалъ.»

— «Да что ты, Марѳуша, такой мой непріятель!»

— «Знаетъ кошка, чье мясо съѣла! Больно къ дитяти подлипаешь! Пусть только Ардаліонъ Кирилловичъ смѣкнетъ, такъ онъ тебя тростью, а я кочергой...»

— «Хм!» съ усмѣшкою сказалъ Вурстъ, выставивъ осанисто лѣвую ногу, которая въ этотъ день была въ бѣломъ, а правая въ желтомъ чулкѣ: «Тростью! Хм! Мы увидимся.»

— «Да что же ты, трубку закурилъ, такъ и проваливай. Ахти, Господи, и кофе бѣжитъ, а ты, Наташинька, такъ задумалась!» Сказала это Марѳа, да кофейникъ съ огня схватила и будто ненарокомъ погнула; кофе Вурсту на ногу. И обожгло и замарало...»

— «Ахъ ты мерзкій баба!»

— «Самъ ты мерзкій Нѣмецъ! Чего ты въ чужой кухнѣ незваный торчишь. Неси-ка. Наташинька кофе, готово!»

Наташа ушла...

— «Послушай, Марѳуша!» сказалъ Вурстъ, глядя умильно вслѣдъ Наташѣ: «Зачѣмъ ты на меня сердита, а я тебѣ самый лучшій позументъ въ карманѣ принесъ.»

— «Чтобъ тебѣ на томъ позументѣ повѣситься!»

— «Погляди, какой позументъ, первфый сортъ.»

— «Отстань, Ѳедоръ Ѳедорычъ, не то, право барину скажу.»

— «А позументъ на сарафанъ — очень хорошо...»

— «Ну, коли не отстанешь, такъ я вотъ сейчасъ къ барину...»

— «Малыши, малыши!» И Вурстъ торопливо ушелъ, а Марѳа понесла въ комнаты нѣмецкій крендель на тарелочкѣ. Ардаліонъ Кирилловичъ былъ Русскій европеецъ, какихъ и нынѣ много на святой Руси. Курилъ трубку, пилъ кофе и пиво, ходилъ въ пикейномъ халатѣ и въ колпакѣ, не крестился передъ обѣдомъ, а равно и послѣ обѣда; носилъ туфли, нюхалъ табакъ и считалъ себя человѣкомъ, вполнѣ образованнымъ по-европейски. Онъ походилъ на философа, который, не зная слова по-нѣмецки, но снабдивъ главу свою субьективностью и объективностью, и другими терминами нѣмецкой философіи, отправился въ Берлинъ, слушать Шеллинга въ оригиналѣ.

— «Гутъ моргенъ Наташа!» сказалъ Ардаліонъ

Кирилловичъ: «Какъ ты почивала? Гутъ или негутъ? У тебя что-то глаза красны...»

— «Отъ дыму, дядюшка, да и голова что-то всю ночь болѣла.»

— «Нихтъ гутъ! Надо въ аптеку послать.»

— «Зачѣмъ?..»

— «Это ихъ дѣло; ужъ они знаютъ что прислать противъ головы; мази какой, али помѣся своей аптекарской... Вѣдь это нѣмцы, обману нѣтъ, отпустятъ хорошій товаръ. Слышь, Марѳа, сходи...»

Марѳа по обычаю собиралась противорѣчить, да не успѣла; по лѣстницѣ кто-то бѣжалъ опрометью, такъ, что самъ Вурстъ не утерпѣлъ и съ трубкой выскочилъ. Но Борисъ прошелъ, мимо его, къ Чегликову въ комнаты, да прямо къ Ардаліону Кирилловичу и сунулъ бумажку какую-то въ руку, которую онъ было-протянулъ, чтобы взять кофе; Наташа вздрогнула и чуть-было не уронила подноса; Марѳа закашлялась, потому что спорнымъ словомъ поперхнулась; для дополненія картины въ полуоткрытыхъ дверяхъ показалась физіономія Вурста и желтый чулокъ.

— «Видишь какой!» сказалъ Ардаліонъ Кирилловичъ. «Видно рекомендацію досталъ; да напрасно трудился; у меня протекція ни почемъ; я и читать не стану.»

— «Однако же!» отвѣчалъ Борисъ: «Потрудись, ваше благородіе, письмо письму рознь...»

— «Да и это не поможетъ; пожалуй я прочту, да послѣ, а ты себѣ ступай и на порогъ мой ни

ногой. Вотъ я и сосѣда хочу отучить отъ глупаго обычая. Дома ли я, не дома ли, а онъ то и дѣло торчитъ въ моей квартирѣ. Ну, прощай, пока добромъ изъ дому выпрашиваю, а не то...»

Желтый чулокъ и физіономія исчезли, а Борисъ сказалъ:

— «Не изволь напрасно гнѣваться, ваше благородіе! Я и вчера и сегодня прихожу къ тебѣ не по доброй волѣ. Самъ я знаю, что не дворянское дѣло позументному художеству учиться, да коли такъ указано...»

— «Какъ указано?» спросилъ Чегликовъ, развернулъ бумажку, да очковъ не было; онъ и подалъ записку Наташѣ, а та и прочла дрожащимъ голосомъ:

«Государь указалъ мнѣ объявить, а тебѣ принять подателя сего въ ученики на фабрику, на Царскій Его Величества контъ, а Ѳедору Вурсту учить его всякому позументному мастерству, какъ контрактомъ обязался. Дивіеръ.»

— «Ну, тутъ спорить нечего!» сказалъ Чегликовъ. «По неволѣ аккардовать должно; только тутъ у меня въ нижнихъ цимерахъ — самые дѣти живутъ; а ты не то чтобы подростокъ, ты совсѣмъ выросъ: такъ тебѣ съ ними не компанія. Марѳа, сходитъ-ка, позови подмастерью, а ты, Наташа, безъ дѣла не стой; ступай-ка въ спальню; ну, а ты, молодецъ, подай-ка мнѣ свои бумаги.»

— «Какія жъ у меня бумаги. Я челомъ билъ на словахъ!»

— «Да челобитной не нужно, когда указъ есть, а видъ какой ни есть, кто ты, откуда?»

— «Да зачѣмъ же видъ, когда указъ есть.»

— «Да вѣдь надо же тебя какъ ни есть въ регистры внести и въ рапортахъ прописывать. Какъ твое имя, отчество, фамилія?»

— «Имя?.. Борисъ...» И Шаплыгинъ пріостановился. Ардаліонъ Кирилловичъ записывалъ.

— «Ну!» сказалъ онъ, приготовляясь писать дальше.

— «Что?»

— «Что?... Отчество, фамилія, родъ и такъ далѣе.»

— «Отчество?.. Ѳедоровъ...»

— «Ѳедоровъ. — А фамилія?..»

— «Фамилія! —»

— «Ну да! Что прежде было прозвище, а нынче фамилія?»

«Вотъ тебѣ разъ!» подумалъ Борисъ: «Да этакъ онъ съ разу смѣкнетъ про Наташу. Круто ей за меня придется. Ахъ ты, Акулина, Акулинушка, зачѣмъ ты меня лгать не научила; а теперь бы и пригодилось.»

— «Ну, какъ же твое прозвище?»

— «Да причина со мной, ваше благородіе, приключилась!» сказалъ Борисъ, покраснѣвъ до ушей: «Я своего прозвища не знаю.»

— «Какъ не знаешь?»

— «Хоть убей не знаю! Всегда меня и отецъ и сосѣди сначала Борей, потомъ Борисомъ, а ужъ передъ самымъ отъѣздомъ Борисомъ Ѳедоровымъ кликали. Только у меня и прозвища было.»

— «Такъ можетъ быть ты и есть Ѳедоровъ.»

— «Да какъ же не Ѳедоровъ, настоящій Ѳедоровъ!»

— «Такъ и запишемъ!» сказалъ Ардаліонъ Кирилловичъ: «А изъ какого званія?»

— «Дворянинъ...»

— «Какой губерніи?»

— «А вотъ ужъ этого право не вѣдаю. Городъ нашъ пребольшой, а возлѣ того города наша усадьба.»

— «Да какъ же зовутъ тотъ городъ?

— «Городомъ, такъ и зовутъ.»

— «Какъ городомъ! Да вѣдь не только у каждаго города, у каждой деревни, монастыря есть ранга и титулъ.»

— «Это ты лучше знаешь, ваше благородіе; ты человѣкъ ученый и знатный царскій слуга, а намъ какъ знать въ захолустьѣ, какая у нашего города ранга. Коли отецъ, али другой кто, туда сбирается, говоритъ: пойду въ городъ, — а какъ его кличутъ во всемъ околодкѣ, никто не знаетъ.»

— «Ну, хорошъ! Да ты чай изъ сибирскихъ или изъ черкаскихъ городовъ?»

— «Должно быть изъ черкаскихъ, потому что Сибирь отъ насъ, говорятъ, далече; дальше Москвы.»

— «Да ты по этому не дворянинъ, а шляхтичъ, али вольный казакъ.»

— «Что́ ты, право, ваше благородіе, ты этакъ скоро меня драгуномъ сдѣлаешь.»

— «Ну, послалъ Богъ тетерю!» сказалъ комиссаръ, закрывая книгу и смѣясь во все горло:

«Такого не прилучалось и видѣть. Послушай, мейнъ-герръ подмастерье! Вотъ тебѣ обрубокъ, изволь его оболванить и отполировать; всякой политикѣ научить, чтобы не стыдно было показать Государю; того для и жить ему съ тобою вмѣстѣ и держать тебѣ его во всякомъ страхѣ и ученіи; а Ѳедору Ѳедоровичу я самъ про него скажу... Пошелъ!»

Вошедшій при окончаніи сего разговора подмастерье Максимъ Ивановичъ, выслушавъ приказаніе въ дверяхъ, сдѣлалъ знакъ рукою Борису, поклонился и ушелъ съ новопоступившимъ ученикомъ прямо во флигель. Максимъ Ивановичъ былъ предобрый человѣкъ. Но къ несчастію добрые люди бываютъ иногда глупы; Максимъ Ивановичъ тоже былъ глупъ, работалъ чуть не день и ночь, но не смотря на то и на пятьдесятъ два года, особымъ искуствомъ въ своемъ художествѣ не отличался; собственно онъ не былъ нѣмецъ, а нѣчто въ родѣ нѣмца; говорилъ по-русски чисто, но ходилъ въ кирку, курилъ табакъ, пилъ кофе и пиво, ѣлъ преимущественно молочный супъ, картофель во всевозможныхъ видахъ и, только по смѣшанной породѣ своей, изрѣдка кислую капусту съ сосисками; сверхъ того въ число доказательствъ, что онъ былъ нѣмецъ, можно привести необычайную опрятность его во всемъ и экономію. Собственно на себя онъ издерживалъ по три или четыре алтына въ день, хотя самъ себѣ назначилъ ежедневнаго жалованья по пяти; пятый алтынъ обращался на вспомоществованіе бѣднымъ; добрый Максимъ Ивановичъ умѣлъ читать и писать, и тщательно

записывалъ только расходъ; приходъ сохранялся въ умѣ; и весьма справедливо, приходъ состоялъ изъ опредѣленнаго жалованья, всегда былъ одинъ и тотъ же; зачѣмъ же записывать, зачѣмъ истрачивать бумагу? Максимъ Ивановичъ сверхъ того отличался безкорыстіемъ, отъ чего зимою всегда и ложился спать и вставалъ въ потемкахъ, тогда какъ ему весьма было бы легко воспользоваться казеннымъ освѣщеніемъ фабрики, и забирать съ собою огарки; но онъ видѣлъ, что этимъ доходомъ пользуется фабричный сторожъ и предпочиталъ честную тму неправедному свѣту. Какъ только Максимъ Ивановичъ привелъ Бориса въ свою квартиру, тотчасъ предложилъ сѣсть на своей постели, а самъ на скамью и за работу. Борисъ не долго смотрѣлъ на него; задумался; его мучила мысль, что онъ обманулъ коммиссара — и еще два раза!! Не смотря на то, что Максимъ Ивановичъ вовсе имъ не занимался и даже не глядѣлъ на него, Борисъ безпрестанно краснѣлъ и вздыхалъ. Чувства, пробужденныя свиданіемъ съ Наташей, какъ-то оправдывали его, но опять подымались сомнѣнія, и Шаплыгинъ пуще краснѣлъ и охалъ.

— «Что съ тобой?» спросилъ Максимъ Ивановичъ, продолжая гонять челнокъ по золотымъ нитямъ: «видно хочешь перекусить, да я дома съѣстнаго не держу, а ученики скоро за столъ сядутъ и тебя позовутъ; повремени маленько...»

— «Нѣтъ, мастеръ!» отвѣчалъ Борисъ: «Мнѣ скучно безъ работы. Учиться, такъ учиться! Позволь-ка я за тебя сяду, а ты погляди: такъ ли?»

— «Куда ты сядешь?»

— «А вотъ за твой станокъ!..»

— «Та та та! Этотъ позументъ не для науки; это широкій, первый сортъ; тебя прежде посадятъ золотую нитку крутить, а тамъ тонкіе снурки вязать, а тамъ уже въ ткацкую; моли Бога, чтобы черезъ пять лѣтъ перенять нашу хитрость...»

— «Э, вздоръ! Давай ка челнокъ, я уже присмотрѣлся...»

— «Полно, пожалуй полно, сдѣлай милость полно, не балуй, мастеръ основу самъ ставилъ дня три или четыре; испортишь, взысканіе, а я этого терпѣть не могу; преглупое наказаніе: виноватъ, такъ на то есть палка, а деньги все-таки отдай. Эхъ, братъ, сдѣлай милость отстань, заболтался и плохо вышло... Мейнъ Готтъ, мейнъ Готтъ! И поправить нельзя!»

— «Вотъ ужъ и нельзя! Самый вздоръ!»

Борисъ въ одно мгновеніе перетянулъ нитки и поправилъ ошибку подмастерья, да не позволяя ему очнуться отъ удивленія, давай ткать дальше съ такимъ проворствомъ, ловкостью и умѣньемъ, что Максимъ Ивановичъ только ахалъ и приговаривалъ разныя нѣмецкія слова, которыя въ переводѣ не могутъ достаточно выразить мѣры и силы его изумленія.

Скоро молодой ученикъ пріобрѣлъ уваженіе не только учениковъ и мастеровъ, но и самого коммиссара. Ученье не шло, а кипѣло. Не прошло мѣсяца, Шаплыгинскіе галуны отличались необыкновенною чистотою и плотностью, мастеръ то и

дѣло увеличивалъ его работу; Шаплыгинъ не уставалъ, неутомимо трудясь иногда до поздней ночи. О поведеньи и говорить нечего: трезвость и трудолюбіе, повиновеніе и особенное расположеніе къ уединенію во время отдыха до того приводили въ восторгъ коммиссара, что онъ сомнѣвался: Русскій ли Борисъ? и не разъ громко объявлялъ о своей догадкѣ. Какъ ни больно было это слушать Наташѣ, но связанная словомъ, она молчала, надѣялась отъ всего этого чего-то добраго, была весела, здорова, а при такихъ условіяхъ, если уже молодая дѣвушка имѣетъ расположеніе быть красавицей, то хорошѣетъ не по днямъ, а по часамъ.

Стукнуло Наташѣ и тринадцать лѣтъ, пошелъ четырнадцатый; въ день рожденія Наташи, коммиссаръ пригласилъ гостей; обѣдали, гуляли, перепились и шумѣли. Борисъ слышалъ изъ садика, ночью, какъ весело кипѣлъ пиръ у коммиссара; время тогда было уже лѣтнее; онъ сидѣлъ на скамѣечкѣ подъ деревомъ и будто ничего не думалъ; а куда тамъ ничего! Только и думы, что про Наташу; все, казалось, случилось по его желанію: вотъ онъ уже больше полугода на позументной фабрикѣ; Шаплыгинскіе позументы Царь знаетъ, а онъ еще и не подмастерье, — онъ простой ученикъ, за котораго коммиссаръ никогда не выдастъ Наташи. Для того надо быть по крайней мѣрѣ мастеромъ, если не такимъ же коммиссаромъ, какъ и Ардаліонъ Кирилловичъ. Другая кручина пуще первой мучила Борю. Какъ это Наташа не нашла, въ семь слишкомъ мѣсяцевъ, никакого случая съ нимъ пови-

даться. Какъ, по крайней мѣрѣ, не переслать ему добраго слова съ Акулиной. Мысль о любовныхъ запискахъ само собою не могла тогда еще имѣть мѣста въ головѣ Бориса... Больно, горько стало Борису; онъ съ досадой посмотрѣлъ на коммиссарскія окна, изъ коихъ только два глядѣли въ садикъ, и тѣ были въ конторѣ, а не въ жилыхъ покояхъ. Посмотрѣлъ и затрепетало сердце; окно тихо отворялось, женская рука бережно поднимала половинку, чтобы не скрипнула: то была Наташа, Борисъ не могъ обмануться; та же рука опустилась и держала что-то; Борисъ подбѣжалъ и въ рукахъ его очутилась порядочная окраина заливнаго пряника.

— «Наташа? Ты ли! Что съ тобой? Здорова ли ты?.. Любишь...»

Но Борисъ не кончилъ вопроса. Окно опустилось. Наташа исчезла. Счастливецъ, онъ восхищался своимъ пряникомъ, будто блистательнѣйшимъ подаркомъ, даже устами коснулся его, не для того чтобы откусить, а чтобы поцѣловать милую ковригу... Онъ запряталъ его подъ тюфякъ и воротился въ садикъ. Но, увы! въ конторѣ уже горѣли свѣчи, дымъ валилъ столбомъ изъ открытыхъ оконъ, два собесѣдника играли въ шашки, а прочіе съ трубками, окруживъ игроковъ, внимательно слѣдовали за ходомъ игры. Изъ гостей онъ узналъ одного Вурста; Ѳедоръ Ѳедоровичъ безпрестанно отзывалъ Ардаліона Кирилловича въ сторону; но коммиссаръ кричалъ во все горло:

«Отстань, пожалуй, отстань! При всѣхъ осрамлю. Куда тебѣ! Не вашего поля ягода...»

— «Да послюшай!..»

— «Нихтъ! Нихтъ! Вотъ тебѣ! Пошелъ!»

—

Такъ встрѣтилъ Борисъ памятный для него день рожденія Наташи; заутра все вошло въ обыкновенную колею свою; наступила и осень; пріѣхалъ въ столицу Государь и потребовалъ къ себѣ всѣхъ учениковъ позументной фабрики; въ третьемъ часу по полудни они явились въ кунсткамеру съ мастеромъ. Государь, разсмотрѣвъ работы всѣхъ учениковъ, въ особенности остался доволенъ Шаплыгинымъ — и, вынувъ изъ стола узоръ, приказалъ ему, по данному образцу, сдѣлать къ Рождеству сто аршинъ позумента; Шаплыгинъ хотѣлъ-было сказать что-то, но Вурстъ не далъ ему говорить, вырвалъ образецъ изъ рукъ и сказалъ торопливо:

— «Будетъ какъ два капель вода!»

— «Такъ ступайте же съ Богомъ, и за работу...»

Точильное колесо завизжало; Государь приставилъ къ нему кость, а позументная фабрика in согроге должна была удалиться...

— «Помилуй, Ѳедоръ Ѳедорычъ» сказалъ Шаплыгинъ уже на улицѣ: «да какъ же я сдѣлаю, когда я не умѣю стана приготовить. Право я всему искусился, только ты мнѣ эту послѣднюю мудрость открой...»

— «Мы увидимся! Еще рано! Еще будетъ время.»

— «Ну ужъ Богъ вѣдаетъ, когда это время прійдетъ!»

— «А вотъ какъ я жениться будетъ.»

— «Да ужъ нельзя ли Ѳедоръ Ѳедорычъ тебѣ жениться поскорѣе.»

— «Нельзя! Невѣстъ очень молодъ, шерезъ одна годъ.»

— «Годъ!»

— «Меньши! Будушее лѣтомъ!»

Борисъ вздохнулъ. Тайна была въ рукахъ Вурста! Онъ приготовлялъ станы въ особой комнатѣ, куда не пускалъ даже Максима Ивановича и самого коммиссара; не рѣдко Вурстъ тамъ просиживалъ цѣлыя ночи, а по утру раздавалъ ученикамъ работу, заставляя не только ихъ, но и Максима Ивановича ткать по готовымъ основамъ. И на этотъ разъ Вурстъ заперся на нѣсколько дней въ тайную рабочую; только и выходилъ къ пищѣ, и въ недѣлю съ небольшимъ выдалъ работу Шаплыгину; тотъ нѣсколько дней не могъ приняться за челнокъ; глядѣлъ, разсматривалъ какъ устроенъ станъ, добивался на ученическихъ станкахъ, какъ сдѣлана основа; но не могъ открыть тайны. Вурстъ замѣтилъ, чего добивается Шаплыгинъ, сталъ погонять его къ работѣ, безпрестанно торчалъ надъ нимъ, и до того боялся его усердія и смѣтки, что рѣшился взять его на верхъ въ свою квартиру для ночлега, чтобы онъ ночью какъ нибудь не отгадалъ опаснаго секрета. Тогда Вурста могли бы отпустить на волю, тогда прощай знатное жалованье, тогда прощай... Но мы уви-

димъ, чего больше всего опасался Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

Позументы были изготовлены за цѣлый мѣсяцъ до срока; но Государя не было въ столицѣ и Ѳедоръ Ѳедоровичъ запряталъ ихъ въ комодъ и когда уходилъ, всегда запиралъ даже комнату, гдѣ стоялъ комодъ. Но въ случаяхъ, когда Вурсту приходилось отлучиться съ фабрики куда либо въ городъ, онъ бралъ съ собою и Бориса. Вурстъ зайдетъ куда къ знакомому, а Борисъ жди его на улицѣ. Смерть надоѣла Борису такая жизнь: онъ бы ушелъ съ фабрики, если бы не Наташа и не географическія выгоды, которыя доставило ему переселеніе изъ флигеля на верхъ, въ квартиру Вурста. Онъ только и ждалъ удобнаго случая и не сомнѣвался, что этотъ случай представится. Однажды пошли они съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Вурстомъ слона смотрѣть, который жилъ тогда въ особомъ сараѣ, за Почтовымъ дворомъ. У самаго крыльца Почтоваго двора стояло трое саней, нагруженныхъ всякою живностію. На крыльцѣ, Акулина отогрѣвала замерзшія руки и объ чемъ-то распрашивала сторожа.

— «А кто его знаетъ!» говорилъ сторожъ басомъ: «Мало ли кого въ Питерѣ нѣтъ, такъ на Почтовомъ дворѣ всѣхъ и вѣдай. На то есть другія мѣста.»

— «Да какія же, батюшка, мѣста?»

— «Да разныя: канцеляріи, господа сенатъ, коллегіи, полиція, мало ли у насъ какихъ мѣстовъ нѣтъ!...»

— «Ахъ ты, батюшка мой, кормилецъ, да вѣдь Боря-то на почтовыхъ поѣхалъ съ сыщикомъ, такъ гдѣ же ему, окромя Почтоваго двора, и быть!»

— «Вотъ дурище! Пошла прочь, стану я съ такой безтолковой морозиться. Ищи Борю гдѣ хочешь, а здѣсь нѣтъ, и не бывалъ...»

— «Ну, Ермолаичъ!» сказала Акулина: «Чудно, право! Въ Новгородѣ хоть воеводу спроси, всякой укажетъ, а тутъ погляди какіе спѣсивые!»

— «Да что, жена? Лучше мы гдѣ на постояломъ пристанемъ, а тамъ, дастъ Богъ слѣдъ найдемъ.»

— «Да что ты это, Ермолаичъ, право? Вѣдь я моего сердечнаго два года не видала. Что жъ, моимъ трудамъ, пропадать, что ли? Я и такъ до Питера чуть дотерпѣла, а тутъ еще и въ Питерѣ терпи. Хоть бы развѣдать, гдѣ тутъ воевода, тотъ на вѣрно вѣдаетъ. Постой, вотъ съ Невы господа идутъ; не обидятся, чай, коли про молодаго барина спрошу... Батюшки свѣты! Поглядика Ермолаичъ, старымъ глазамъ моимъ не вѣрю, не онъ-ли?»

— «Вотъ ужъ и онъ. Боря поменьше былъ, только право капитанскій тулупъ.»

— «И шапка-то Ѳедорова Ильичева. Право такъ. Послушай, Ермолаичъ, чтобы намъ въ просакъ не попасть, ты, знаешь, гаркни такъ, будто на вѣтеръ: «ахъ ты Господи, гдѣ то намъ искать Борю Шанлыгина» да погромче!...»

Но этой уловки не было нужно; молодые Бо-

рисовы глаза тотчасъ узнали Акулину; въ три прыжка онъ уже былъ на почтовомъ крыльцѣ и какъ родную мать обнималъ со слезами Акулину...

— «Великъ Богъ!» кричала Акулина: «Бѣдненькій охъ, а за бѣдненькимъ Богъ! Отогрѣлась, право отогрѣлась! Ай да Акулина, куда старость ушла! Погляди, мой ненаглядный, каковы-то индюшки; въ полпуда каждая; а поросята, перебила я ихъ, корму много идетъ, да ужъ за то не скажешь, что не молочные; а кабаны, такъ повѣришь ли, въ Новѣгородѣ, на мѣстѣ, по два рубли давали. Курей немного; два сорока; да ужъ за то гусей то, гусей: съ верху утокъ паръ двадцать, не больше; а тамъ все гуси, кормленные, жирные; одного сала будетъ на много лѣтъ; масла не много привезла, такъ только для обиходу пудовъ пять, а что ни было масла у меня, сыровъ, все въ городѣ продала; хорошую цѣну взяла; да, знаешь, денжонками-то я мало тебѣ привезла, надо было искупить лошадей; бурая-то съ Ѳедоромъ Ильичемъ не воротилась; замотали окаянные; такъ объ одной лошади, нечего и въ Питеръ ѣздить, да и коровъ-то у меня нынче пять, а ужъ какъ промыслила! Удача, просто удача! А съ огородовъ доходъ, и за то и за это лѣто, весь со мной. Ахъ ты, мой Боря, богатырь! Опозналась, право опозналась бы, еслибъ не Ѳедорова Ильичева шуба, да шапка; а знаешь ли, на твоей, да на Натанинной яблони, помнишь, что капитанъ сажалъ, какъ Натаину принялъ, такъ вотъ этакія,

больше моего кулака, яблоки уродило; сердись не сердись, всѣ засушила, да тебѣ привезла. Да какіе яблоки, будто съ одного дерева...»

— «Матушка ты моя, Акулина! Богъ тебя наградитъ...»

— «Что ты это, ненаглядный, красное мое солнышко, гляжу на тебя и будто лѣто для меня стоитъ на дворѣ. А Наташа? Что Наташа, гдѣ она, моя ненаглядная! Чай у дяди не то что у насъ: и не досмотрятъ, и не докормятъ, забыла чай свою Акулину, да гдѣ ей теперь обо мнѣ старухѣ помнить; чай, что ни шагъ, такъ на нее служивые богатыри засматриваются; ну, а наше бабье дѣло извѣстное; про себя скажу: бывало и старый какой хрѣнъ зубы оскалитъ, глядя на меня, такъ сердце и запрыгаетъ, а ужъ если молодой парень, бѣда: ничего не вижу, въ жаръ броситъ, краска по лицу бѣжитъ, да и въ глаза заглянетъ! Охъ, стара стала Акулина, ужъ теперь и память не та, а прежде не только того, что мнѣ любовное слово скажетъ, да и того, кто взглянетъ на меня ухмыляючись, всѣхъ помнила... Да, ненаглядный ты мой! Такъ что жъ твоя Наташа?»

Этотъ оборотъ разговора не понравился не только Борису, но и Вурсту. Онъ измѣнилъ позицію Колосса Родосскаго и вытянулся въ миногу. Борисъ понялъ его движеніе, взвѣсилъ всю опасность свиданія Акулины съ Наташей и какъ уже въ столицѣ онъ пробылъ не мало, то, ни сколько не обинуясь, собирался: какъ бы поискуснѣе отолгаться и предупредить опасность.

— «Эхъ, Акулина» сказалъ Борисъ съ притворною горестью: «Не нашелъ я Наташи въ Питерѣ; она съ дядей уѣхала, а куда, Богъ вѣдаетъ. Видно не суженый я, а вотъ какъ обогрѣемся, такъ я тебѣ покажу мою невѣсту.»

— «Другую? И видѣть не хочу! Грѣхъ, Борисъ Ѳедоровичъ! Право грѣхъ! А если она по тебѣ до смерти изноетъ?»

— «Да гдѣ же ее взять, Акулина? Если я эту брошу, да пойду другую искать, такъ Параша до смерти изноетъ. Той не найду, а эту потеряю... Я только объ томъ и думалъ, какъ бы сотеньку накопить, да и за свадебку...»

— «Сотеньку?» закричала Акулина торжественно: «Сотеньку? А три сотеньки не хочешь? да живности всякой на годъ; да... Нѣтъ! Постой! Лучше ты деньгу прибери; ночи не спала, чтобы мѣшечковъ не повынимали, да не поотрѣзали. Вотъ...»

— «Постой, Акулинушка! Видишь слезы у меня на глазахъ; ты вижу только для меня и на этомъ свѣтѣ жила; чай сама не доспала, не доѣла, а я тебя тутъ что таракана морожу; зайдемъ въ почтовую австерію; тамъ и выпьемъ, и закусимъ и обогрѣемся, и что̀ дѣлать, разсудимъ. Ѳедоръ Ѳедоровичъ, не откажи пожалуй рюмочку ратафіи; самъ видишь какая у меня радость; мнѣ теперь не до слона; а я тебѣ за то заморскаго вина флягу поставлю, да пару гусей на праздники подарю...»

Вурстъ пріятно улыбнулся и, глядя на Акулину, сказалъ съ ужимкой:

— «Мы старый друзья! Вае пополямъ! Онъ у мене и живетъ на кватиръ. Отказаитъ я не смѣй...»

И всѣ отправились въ почтовую австерію, которая въ это рабочее время дня была совершенно пуста. Усѣлись около стола всѣ четверо; т. е. Борисъ, Вурстъ, Акулина и Ермолаичъ; при саняхъ остался огородникъ, меньшой братъ; подали и водочки простой, и ратафіи, и поросенка подъ хрѣномъ, и того, и другаго; Акулина не могла ѣсть на радости, а Борисъ ее уговаривалъ закусить, а пока не закуситъ, отказывался съ нею бесѣдовать; Акулина стала ѣсть черезъ силу; а Борисъ все своему мастеру знай подливаетъ.

— «Что, Ѳедоръ Ѳедорычъ?» спросилъ Борисъ послѣ десятой или одиннадцатой рюмки: «Вѣдь ты охмѣлѣешь.»

Вурстъ моталъ головой и улыбался.

— «Да ты и теперь уже по одной доскѣ не пройдешь.»

— «Пройдетъ!»

— «Нѣтъ, не пройдешь.»

— «Зматри!»

И Вурстъ сталъ шагать по комнатѣ весьма неправно; въ это время Борисъ нагнулся къ Акулинѣ и сказалъ шопотомъ:

— «Душа моя, родная ты моя, ни о чемъ не спрашивай, дѣлай все что́ я ни скажу — не то пропала моя головушка.»

Акулина всплеснула руками, хотѣла-было спросить что-то, да языкъ отнялся отъ страха; между

тѣмъ Вурстъ, по ошибкѣ ли, а можетъ нарочно, вмѣсто рюмки протянулъ къ Борису стаканъ. Тотъ ему до вѣнчика ратафію изъ полуштофика всю выцѣдилъ; Вурстъ хлопъ, молодцемъ осушилъ, усѣлся, да и давай Акулинѣ объяснять братскую любовь свою къ Борису. Та не совсѣмъ хорошо понимала ломаный языкъ Вурста, отъ котораго и мы уволимъ нашихъ читателей, потому что подобное подражаніе природѣ никогда не можетъ казаться вѣрнымъ, какъ бы оно ни было близко къ подлинникамъ. Всякій иностранецъ ломаетъ нашъ языкъ по своему; мы постараемся сохранить только содержаніе рѣчей Вурста, а эти рѣчи откуда брались; такъ и льются, а Борисъ такъ и подливаетъ. Въ припадкѣ откровенности Вурстъ открылъ часть своихъ намѣреній; съ ужасомъ объ нихъ услышалъ Шаплыгинъ: Наташа была ихъ цѣлію. Одно его утѣшало. Коммиссаръ постоянно не соглашался на предложеніе Вурста.

— «Да это не поможетъ!» продолжалъ Вурстъ, разгорячённый и виномъ, и прелестнымъ предметомъ бесѣды: «Есть у меня средства. Онъ отдастъ племянницу, если ему не нравится путешествіе въ Сибирь, или палки, или другое наказаніе.»

Борисъ обомлѣлъ и пересталъ поить мастера.

— «Полно, Ѳедоръ Ѳедорычъ!» сказалъ Борисъ: «Коммиссаръ — человѣкъ честный.»

— «Честный, только бѣдный, а въ бѣдности — соблазнъ великъ. Сумма у него на рукахъ. Рапорты онъ пишетъ исправно; да въ наличности того нѣтъ, что́ написано; это я знаю.»

— «Полно, Ѳедоръ Ѳедорычъ, что̀ такое сто, двѣсти рублей. Конечно деньги не малыя, да за нихъ въ Сибирь не пошлютъ.»

— «Сдѣлай одолженіе, казенная конѣйка хуже чѣмъ приватная тысяча, а въ конторѣ должно быть теперь тысячу четыреста рублей, полтина, семь алтынъ и двѣ деньги .. это я знаю...»

— «Сколько?»

Вурстъ повторилъ.

— «Такъ чтожъ?» сказалъ Борисъ: «Коли должны быть, такъ и есть.»

— «Нѣтъ!»

— «Ужъ будто ничего нѣтъ!»

— «Есть, да безъ четырехъ сотъ семи рублей!»

— «Куда же коммиссаръ дѣвалъ ихъ?»

— «Ну ужъ куда дѣвалъ, не знаю; да изъ жалованья не скоро пополнитъ; а не отдастъ Наташу, такъ...»

— «Ѳедоръ Ѳедорычъ, а еслибы заморскаго бутылочку. Я отродясь не пилъ; говорятъ слаще меду...»

— «Меду? Медъ только можетъ пить русская глотка. А наши рейнвейны — цари пьютъ. Это не вино. Это такой напитокъ, что только развѣ на свадьбѣ бываетъ такъ пріятно...»

— «Такъ что же, Ѳедоръ Ѳедорычъ, выпьемъ?»

И бутылочку рейнвейну Вурстъ осушилъ, одинъ, потому что Борисъ вовсе не пилъ, а няня Акулина отвѣдала и выплюнула. «Кислятина!» сказала она: «Не пей, Ермолаичъ!» А Ермолаичъ былъ мужъ comme il faut; уже было и рюмку къ гу-

бамъ поднесъ, какъ сказала жена не пей — онъ поскорѣе рюмку назадъ, да за ратафію обѣими руками ухватился.

Вурстъ былъ вполнѣ доволенъ, счастливъ и пьянъ; но, не смотря на свою опасную позицію, никакъ не терялъ ни памяти, ни равновѣсія, и весьма обрадовался, когда Борисъ сталъ проситься, чтобы ему не идти на фабрику, а остаться съ Акулиной и озаботиться о ея пристанищѣ и другихъ хозяйственныхъ надобностяхъ. Вурстъ кивнулъ головой въ знакъ согласія, пошелъ домой, осмотрѣлъ комодъ, перемѣрилъ позументы, заперъ всѣ три двери на замокъ и заснулъ богатырскимъ сномъ.

—

V.

Какъ Борисъ Ѳедоровичъ безъ недуга былъ боленъ.

Наступилъ и праздникъ Рождества, на фабрикѣ перестали работать. Было время вечернее. Борисъ сидѣлъ дома, сложа руки; Вурстъ приглашалъ его пойти прогуляться; но Борисъ отговаривался нездоровьемъ.

— «Богъ вѣдаетъ, что́ со мной творится, Ѳедоръ Ѳедорычъ!» говорилъ онъ: «Мнѣ кажется, что я умру ученикомъ и никогда не буду подмастерьемъ. Знаешь, что я жалѣю, зачѣмъ не послушался Акулины и не уѣхалъ въ свою усадьбу съ нею вмѣстѣ. Дастъ ли Богъ съ нею увидѣться?»

— «И полно! Зачѣмъ такія мысли! Вотъ я же-

нюсь на Наташѣ, ты на Парашѣ, мы и разъѣдемся; я свою фабрику заведу, а ты свою, и заживемъ господами.»

— «Нѣтъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ! На то не похоже. Меня жжетъ въ груди. Сердце крѣпко болитъ; хотѣлъ въ аптеку сходить, да ноги не носятъ.»

— «Да ты бы лучше легъ въ постель...»

— «Нѣтъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ, лучше я перемогусь...»

— «А мнѣ кажется лучше лечь.»

— «Ложись, Ѳедоръ Ѳедорычъ; я ужъ и умру ходя.»

— «Какъ же это умирать ходя; должно быть право неловко.»

— «Не знаю, а вотъ, какъ умру, такъ и увижу.»

Вошелъ коммиссаръ и объявилъ, что со дворца истопникъ прибѣжалъ; приказано сейчасъ какіе-то заказные позументы принести. Вурстъ въ минуту одѣлся, схватилъ позументы и побѣжалъ чуть не опрометью во дворецъ.

— «Послушай, Борисъ Ѳедоровъ!» сказалъ коммиссаръ значительно, оставшись одинъ съ Борисомъ въ квартирѣ Вурста: «Вѣдь ты не Ѳедоровъ, а Шаплыгинъ; такъ тебя и Государь кличетъ.»

— «Коли такъ Государь кличетъ, такъ вѣрно я Шаплыгинъ; я почемъ знаю. Какимъ чиномъ Государь меня не пожалуетъ, останусь доволенъ.»

— «Да это не чинъ, а фамилія.»

— «А пусть себѣ и фамилія. Мнѣ все равно; знаю только, что мнѣ умирать приходится.»

— «Какъ умирать! Пожалуй, не умирай! Намъ за тебя отъ Государя достанется.»

— «Тебѣ-то за что? Не ты меня кормишь!»

— «Эхъ, Борисъ, за то́-то мнѣ и достанется, что я, ради интересу, нѣмцу позволилъ взять тебя къ себѣ на фуражъ; а онъ тебѣ какого ни есть зѣлья въ пищу и подмѣшиваетъ.»

— «Должно быть что подмѣшиваетъ, такъ и мутитъ, такъ сердце и поджимаетъ.... Плохо, плохо!...»

— «Ахъ, ты Господи! Постой же, я въ аптеку схожу, да и спрошу: чѣмъ тебѣ помочь; а ты бы въ постелю легъ, да плотно укрылся, пропотѣлъ бы, авось полегчебъ стало...»

— «Спасибо за твою отцовскую заботу. Мнѣ право и жить не хочется, и сны-то у меня такіе страшные; вотъ вчера причудилось мнѣ, будто сыщики у тебя вездѣ по сундукамъ роются...»

Чегликовъ поблѣднѣлъ. Борисъ продолжалъ:

— «Порылись они довольно, не досчитались, а Ѳедоръ Ѳедорычъ на тебя и указываетъ, а ты на меня, да и говоришь сыщикамъ: вотъ я, Христа ради, больнаго его къ себѣ взялъ, а онъ меня и обворовалъ. Сыщики на меня. Цапъ царапъ; скрутили; я говорю: да помилуйте, меня Ардаліонъ Кирилловичъ на порогъ не пускаетъ; по чистой лѣстницѣ не велитъ ходить; Богъ его знаетъ, али онъ ревнуетъ, али норовъ такой дикой, такъ какъ же мнѣ деньги съ конторы стащить?... Не послушали меня сыщики, потащили, я сталъ отъ нихъ выбиваться, да и проснулся...»

— «Мудреный сонъ!» сказалъ Ардаліонъ Кирилловичъ, мрачно, изъ подлобья глядя на Бориса, а тотъ смотрѣлъ въ окно съ покойнымъ, но болѣзненнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Размышленія обоихъ были прерваны возвращеніемъ Вурста; Ѳедоръ Ѳедоровичъ пришелъ не въ духѣ; бросилъ шляпу на полъ и сказалъ Борису съ неудовольствіемъ: «Ступай къ Государю! Сейчасъ ступай къ Государю!»

— «Къ Государю?» спросилъ Борисъ радостно и чуть не измѣнилъ себѣ. Но привыкшій къ принужденію и притворству, онъ тотчасъ опомнился и сталъ охать.

— «Ахъ, ты Господи!» возопилъ Ардаліонъ Кирилловичъ: «Посмотри, Ѳедоръ Ѳедорычъ, что ты надѣлалъ? Государь видѣлъ Бориса молодцомъ; какъ посмотритъ теперь, что онъ скажетъ?»

— «Не тревожься, Ардаліонъ Кирилловичъ, я Государю скажу, что отъ работы истомился, что какъ Его Царскій заказъ теперь покончилъ, да поотдохну, такъ и оправлюсь.»

— «Умница ты, Борисъ, право умница?— Ужъ только этотъ разъ не выдай, а тамъ я тебя приберегу; мѣста нѣтъ у меня, такъ живи себѣ въ конторѣ; а кушать будешь съ моего стола. Марѳа тебѣ носить будетъ всего, всего!»

— «Такъ простите же, отцы мои родные!» съ поклономъ сказалъ Шаплыгинъ, одѣлся и потащилъ ноги, будто къ нимъ пудовики были привязаны; кашлялъ онъ еще на лѣстницѣ; кашель ослабѣвалъ, наконецъ затихъ.

— «А позволь спросить Ардаліонъ Кириллóвичъ» сказалъ Вурстъ: «почему въ конторѣ и почему не у меня?»

— «Такъ! Есть резоны; казенный интересъ того требуетъ; я тебѣ рапортовать не обязанъ; твое дѣло ихъ учить, а мое кормить, поить, одѣвать. и помѣщать по усмотрѣнію... Прощай!»

— «Постой, Ардаліонъ Кирилловичъ! Хорошо что мы одни. Натанъ ..»

— «Нихтъ. Нихтъ! И слушать не хочу.»

— «Такъ по неволѣ будешь слушать; не то я доносъ подамъ.»

Чегликовъ струсилъ.

— «Какой доносъ?»

— «Полно, полно, Ардаліонъ Кирилловичъ! Много ли у тебя казенныхъ денегъ?»

— «Это мое дѣло.»

— «А если завтра обревизуютъ?»

Чегликовъ совершенно растерялся.

— «Вотъ видишь, Ардаліонъ Кирилловичъ, если бы мы были въ родствѣ, такъ на всякую ревизію мѣшокъ рублей и можно бы найти у племянника...»

— «Я подумаю, Ѳедоръ Ѳедорычъ. Вѣдь нельзя же тебѣ сейчасъ жениться; молода больно.»

— Ну, ужъ не такъ-то и молода; полгода повременить можно; а пойдетъ пятнадцатый, просимъ прощенія. дальше терпѣть не будемъ.»

— «Такъ и поговоримъ тогда.»

— «Нѣтъ! Теперь — дай слово, а тогда — женимся.»

— «Да что ты это пристал! Успѣемъ!»

— «Я знаю, что ты успѣешь ее за другаго засватать. Такъ знай же, что если ты сейчасъ не дашь мнѣ слова, не поклянешься передъ своими иконами, не объявишь меня женихомъ Наташѣ, такъ я сію же минуту иду къ Государю; а вотъ и доносъ. У меня все готово.»

И руки и ноги у Чегликова дрожали будто струны; Вурстъ вырвалъ у него роковое слово, и не Чегликовъ Вурста, а уже Вурстъ Чегликова повелъ къ Наташѣ.

Между тѣмъ больной, отъ свѣжаго воздуха, или отъ другихъ причинъ, выздоровѣлъ на дорогѣ, пріѣхалъ во дворецъ бодръ, свѣжъ, веселъ; отъ Государя уѣзжали сенаторы; остался только одинъ, но этотъ гость не принадлежалъ къ чиновнымъ людямъ и не имѣлъ въ Петербургѣ своей квартиры, а тѣмъ паче своего дома. Онъ жилъ во дворцѣ, въ особомъ концѣ, который по его милости и назывался Кузнецкимъ. Шаплыгинъ вошелъ въ дубовый кабинетъ въ самое то время, когда Государь отпускалъ на покой своего гостя...

— «Прощай, Демидычъ!» говорилъ Царь Петръ, держа его за руку: «Спи съ Богомъ! Не хочешь съ нами святокъ проводить, поѣзжай, да не забудь, Демидычъ, ищи побольше золота и серебра; вотъ и этому молодцу дорогихъ металловъ много нужно... Прощай!»

— «Храни тебя Богъ!» отвѣчалъ Демидычъ: «а искать сыщемъ, только бы гора золото носила!»

Гость умолъ, а Государь обратился къ Шаплыгину и сталъ хвалить его работу.

— «Что, надежа-Государь, мнѣ отъ тебя такой чести и принимать не слѣдуетъ!»

— «Какъ не слѣдуетъ?»

— «Да что я? Ткачъ простой. Максимъ и другіе то же сдѣлаютъ, когда имъ готовые станы поставятъ.»

— «Да развѣ ты самъ стана поставить не сможешь?»

— «Не могу и не умѣю.»

— «Такъ чему же васъ мастеръ учитъ?..»

— «Ничему. Ткать я еще въ деревнѣ умѣлъ, а станы Ѳедоръ Ѳедорычъ готовитъ, запершись, ночью, а намъ готовые даетъ ткать...

— «Да онъ по контракту обязался въ семь лѣтъ научить васъ всему, что́ до позументнаго дѣла принадлежитъ, а теперь уже восьмой пошелъ.»

— «Эхъ, Государь-надежа! Пожалуй, онъ намъ и покажетъ что́ полегче, а что́ похитрѣе, спрячетъ; не выманишь у него ничѣмъ. Ужъ я его и деревенской живностью дарилъ, и ратафію ему ставилъ; до заморскаго вина доходило; ничѣмъ не беретъ!»

— «Да изъ какихъ же ты это доходовъ?.. Отецъ тебѣ ничего не оставилъ?»

— «Нѣтъ, Государь, оставилъ добрую усадьбу и добрую няню Акулину; такъ передъ Рождествомъ всего навезла и наличной деньги не мало. Вижу—корысть его не беретъ, такъ я на хитрость

пустился. Не осерчай, Государь; я весь замыселъ мой такъ распорядилъ, что и не оглянется Ѳедоръ Ѳедорычъ, а я у него все мастерство высмотрю. Ахнетъ, да будетъ поздно. Только ты мнѣ позволь, Государь, да не мѣшайся въ наши дѣла до времени.»

— «Быть по твоему!»

— «А теперь, Государь, нѣтъ ли у тебя самыхъ трудныхъ образцевъ, да разныхъ: каждаго образца закажи мнѣ пожалуй сажени по три, больше не нужно; а я ужъ смѣкну... Мое дѣло!»

— «Спасибо, Шаплыгинъ! Быть по твоему. Только когда все исправишь, скажи мнѣ. Прощай!»

—

VI.

Какъ Борисъ Ѳедоровичъ изобрѣлъ зрительную трубу домашняго устройства.

Борисъ, едва передвигая ноги и кашляя, поднимался на лѣстницу; въ самое то время въ комнатахъ Чегликова раздавался громкій женскій плачь, а на кухнѣ хлесткая ораторская рѣчь Марѳы, украшенная всѣми фигурами кухоннаго краснорѣчія. Борисъ остановился и сталъ прислушиваться:

— «Видишь?» кричала Марѳа, одна на кухнѣ, и въ сердцахъ переставляла пустые горшки со стола въ печку и обратно, какъ будто дѣло дѣлала. «Нетопырь безхвостый ласточку ловитъ. Цапля, право, цапля длинноногая, а туда же, окаянный, жениться, будто человѣкъ! Дура я, право дура, надо было давно кочергой голову проло-

нить! А теперь поди, поздно! сговору добивается; гостей позови, всѣмъ и каждому разскажи свое безчестіе. Ахъ ты, подъячій какой! А этотъ-то, этотъ! Доигрался въ молчанку; изъ-подъ носа невѣсту дрянной нѣмецъ утащилъ... Нюня, право, тетеря, а съ виду и мнѣ молодцомъ показался.»

— «Ага!» сказалъ Борисъ: «это ужъ, Марѳа, ты мнѣ на орѣхи прикинула, да не на таковскаго напала; меня не подожжешь; а я самъ справлюсь. Благо на то Государь вóлитъ... Охъ!..» Да какъ сталъ Борисъ стонать да охать, такъ всѣ услышали; первая выбѣжала Наташа и кричитъ во все горло: «Пропала моя головушка! Боринька!..»

— «Не бойся, Наташа!» сказалъ Борисъ шопотомъ; «все это пустякъ; алтына не стóитъ; держи только слово твердо. Тсъ! Охъ!..»

— «Что съ тобой, Борисъ!» спросилъ Ардаліонъ Кирилловичъ, выходя изъ комнаты съ примѣтнымъ безпокойствомъ: «Сюда, сюда, въ контору; ужъ хоть мы и родниться собираемся. Ѳедоръ Ѳедорычъ, а ужъ извини, я тебѣ Бориса не довѣрю, Царь его жалуетъ. Ну, что́ сказалъ тебѣ Государь?»

— «Спасибо!»

— «И только?»

— «Только. За недугомъ не хотѣлъ держать меня дольше.»

— «Видишь, видишь, Ѳедоръ Ѳедорычъ! Въ контору! Борисъ, въ контору! Тамъ тебѣ Марѳа постельку постелетъ, напоитъ чѣмъ ни есть теплымъ, прикроетъ.»

И Борисъ помѣстился въ конторѣ на коммиссарскихъ креслахъ; Марѳа ворча стлала постель; Ардаліонъ Кирилловичъ и Ѳедоръ Ѳедоровичъ раздѣвали больнаго, а онъ постоянно больше и больше терялъ силы. Прибѣжалъ на слухъ и Максимъ Ивановичъ, посмотрѣлъ на Бориса, да и ахнулъ; постоялъ, постоялъ, да и заплакалъ; Борисъ, въ знакъ признательности, протянулъ руку, а это еще болѣе растрогало Максима Ивановича; онъ разрыдался; наступила истинно великая картина; точь въ точь смерть Британика: Максимъ Ивановичъ изображалъ жену героя; и какъ жена къ мужу ближе другихъ, то Максимъ Ивановичъ и предложилъ сходить за лекаремъ. Борисъ перепугался.

«Ахъ, ты Господи!» подумалъ Борисъ: «Войдетъ же въ голову Максиму такое зло. Прійдетъ знахарь, такъ сейчасъ и смѣкнетъ, гдѣ у меня недугъ; выдастъ, выдастъ...»

— «Такъ чего же стоишь? Ступай!» сказалъ коммиссаръ: «У Свѣтлѣйшаго на дворѣ чай пять нѣмцовъ такихъ, что всякой недугъ знаютъ... Ступай!»

— «Не ходи, Максимъ!» закричалъ больной не своимъ голосомъ: «Не хочу лекаря. Вотъ только заслышу, что̀ по лѣстницѣ идетъ, такъ на мѣстѣ и умру... Не ходи!»

— «Не ходи, не ходи, Максимъ!» повторилъ коммиссаръ: «Видно ужъ недугъ такой злой, что̀ лекаря не сноситъ. Да чѣмъ же тебя на ноги поставить?»

— «Бузиной, Ардаліонъ Кирилловичъ!» произ-

несъ больной слабымъ голосомъ: «Бузиной! Такъ и снится бузина, будто паръ отъ нея идетъ, да носъ щекочетъ: и во рту у меня вкусъ будто отъ бузины...»

— «Слышишь, Марѳа, бузины!»

— «Такъ ко сну и клонитъ, Ардаліонъ Кирилловичъ!»

— «Засни, Борисъ, а какъ бузина будетъ готова, такъ ты проснись. Видно ужъ такъ тебя сама натура лечитъ... Ну, прощай. А будетъ худо, крикни, я черезъ двери все услышу.»

Оставили Бориса одного. Тотъ, не долго думая, зѣвнулъ раза два, да и заснулъ такъ крѣпко, что Марѳа съ трудомъ его бузиной разбудила. Больной выпилъ стакана три, на всѣ вопросы Марѳы не отвѣчалъ ни слова, только на двери указывалъ, за которыми, по всѣмъ примѣтамъ, сидѣлъ коммиссаръ; укутался и опять заснулъ.

— «Экой злой недугъ!» сказала Марѳа: «Самая черная горячка; знай спитъ, а бузину пьетъ и слова не вымолвитъ.»

Рано по утру, коммиссаръ прокрался въ контору на цыпочкахъ; глядитъ, Борисъ проснулся, глаза у него мутные; онъ такъ глупо смотритъ, будто голова не въ порядкѣ...

— «Что Борисъ?» спросилъ коммиссаръ со страхомъ.

— «Слава Господу, полегче стало, весь испотѣлъ, перестало мутить, только всего изломало. Ни ноги, ни руки поднять не могу. Будь милостивъ, Ардаліонъ Кирилловичъ, приподыми подуш-

ку... голова низко лежитъ, а самъ не могу поправить.»

— «Ну, это слабость, послѣ сильнаго недуга, всегда и у всякаго. Будешь здоровъ. Прощай, Борисъ, надо мнѣ къ Государю идти; опять прибѣгалъ истопникъ; зовутъ и меня и мастера; за тобой Марѳа пока присмотритъ. Прощай!»

Только того и нужно было Борису; онъ внимательно слушалъ, пока щелкнетъ огромный замокъ въ калиткѣ; щелкнулъ; Борисъ на ноги, давай одѣваться; одѣлся; выходитъ въ сѣни; пусто; Марѳа на рынокъ пошла; онъ сѣни засовомъ заперъ; въ квартиру коммиссара; заперта на замокъ, да на счастье изъ кухни окно было въ сѣни; перепуганная Наташа скоро пришла въ себя, видя Бориса и здрава и одѣта; отперла окно; тотъ прыгъ въ кухню; тутъ безъ всякихъ обиняковъ чмокъ другъ друга въ губы, да и давай оба отъ радости плакать. Поплакали и перестали. Стали смѣяться. Посмѣялись и перестали. Давай объ дѣлѣ говорить.

— «Гдѣ ты спишь, Наташа?» спросилъ Борисъ....

Наташа въ слезы; обидѣлась.

— «Что ты это, Боря?» говоритъ: «Видишь, каковъ сталъ! Ужъ мы съ тобой не дѣти. Многое я отъ Марѳы слышала. Спасибо, Боря, что ты напрямки вздумалъ меня безчестить.»

— «Что ты, Наташа! Какъ тебѣ не стыдно. Мнѣ надо знать, гдѣ ты спишь, вотъ для чего: много я думалъ и раздумывалъ, и вотъ мнѣ что

сдается, будто мастерская Ѳедора Ѳедорыча какъ разъ подъ твоей спальней.»

— «Велика бѣда! Какъ разъ подъ моей спальней! Да вѣдь лѣстницы нѣтъ...»

— «Эхъ не то, Наташа! Тамъ онъ станы ставитъ.»

— «Велика бѣда! Слышу каждую ночь, какъ онъ возится, да рѣчи не доходятъ; развѣ пѣсню запоетъ, да я по нѣмецкому не разумѣю...»

— «Все не то, мой другъ! Мнѣ надо высмотрѣть, какъ онъ станы ставитъ. У меня въ сѣняхъ за дровами буравъ припасенъ. Пока они отъ Государя вернутся, я себѣ въ мастерскую окно сдѣлаю, а ночью все и высмотрю...»

— «Ночью!..»

Наташа покраснѣла, и чуть-чуть не задохлась отъ внутренняго волненія.

— «Что съ тобой, Наташа?»

— «Духъ отняло! И не думай, Борисъ! Срамъ да и полно.»

— «Да какой же срамъ? Какъ я высмотрю все, Вурста по шеямъ, я самъ буду мастеромъ, и тогда чай коммиссаръ счастью нашему поперечить не будетъ. А безъ того, прощай, Наташа!»

— «Какъ прощай! Что же съ тобой будетъ?..»

— «Что будетъ? Бѣда! Я тогда ужъ безъ шутокъ слягу и безъ шутокъ умру. Безъ тебя не хочу я жить на этомъ свѣтѣ.»

— «Ахъ, ты Господи, Господи! Да самъ ты подумай: Борисъ, какъ же можно, ты будешь ночью въ моей комнатѣ сидѣть?..»

— «Да что же, я вѣдь не для тебя, а для царскаго дѣла въ твоей комнатѣ сидѣть буду...»

— «Такъ бы ты и сказалъ, Борисъ! Для царскаго дѣла... Да какъ же ты въ мою комнату пройдешь? Между нами стѣна, а кругомъ надо черезъ дядинкину комнату проходить.»

— «Очень нужно! А зачѣмъ вокругъ всего втораго жилья карнизъ идетъ?»

— «Какой карнизъ?»

— «Выпускъ, да еще жестью окованъ: пройду къ тебѣ, какъ кошка...»

— «Да подумай, Боря. Теперь зима. Окна двойныя...

— «Да хоть бы и тройныя, велика бѣда; у меня, въ конторѣ, Ардаліонъ Кирилловичъ выйметъ, а у тебя я; а на день, у тебя силенки на столько хватитъ; раму приставишь цвѣточными горшками, подопрешь; будетъ держаться. Милая Наташа! зѣвать нечего. Надо сейчасъ за дѣло приниматься...»

— «Ахъ, Боже мой, Боже мой! Да нельзя ли высмотрѣть тебѣ все это днемъ?»

— «Какая ты, Наташа! Будто я тебя безъ нужды стану позорить. Ну, такъ я иду за буравомъ...»

— «Да нельзя ли завтра, Боря?..»

— «Сегодня или никогда!» сказалъ Борисъ строго, принесъ буравъ и подъ самою кроватью Наташи провертѣлъ наискосокъ добрую дыру. Наташа стояла у окна на часахъ, и тихо плакала, а Борисъ наслаждался удобствами своего телескопа....

— «Идутъ!» закричала Наташа. Борисъ бросился къ окну; точно шли, только не коммиссаръ, и не Вурстъ, а два трубачиста. Борисъ принялся за окно; и едва-едва успѣлъ окончить работу, какъ на перспективѣ заподлинно онъ увидѣлъ коммиссара и Вурста. Не смотря на опасность, онъ не забылъ поцѣловать Наташу, отодвинуть засовъ и въ три мига, больной, раздѣтый, онъ лежалъ весь въ поту отъ усталости и металъ подушками и одѣяломъ.

— «Ну что, каково?» спросилъ коммиссаръ, входя въ комнату.

— «Жарко, душно, Ардаліонъ Кириллычъ, задохнусь, право не могу выдержать!»

— «Да помилуй, сегодня здѣсь и не топили.»

— «Да отъ твоихъ хоромъ духъ сюда идетъ. Не могу, право не могу! Вели меня вынести на лѣстницу; тамъ полегче!..»

— «Да что ты, Борисъ! Тамъ вода мерзнетъ!»

— «Э, я привыкъ въ холодной горницѣ спать; чай отъ того и недугъ приключился... А ужъ если ты меня въ сѣни не пустишь, такъ вели хоть одно оконко вынуть. Право не могу; отъ духоты умру...»

— «Вотъ что дѣло, то дѣло. Вотъ я сейчасъ позову сторожа.»

Вынули окно. Больному стало легче, да все-таки онъ не могъ ни руки, ни ноги поднять; лежалъ себѣ недвижный; языкъ у него плохо поворачивался, за что въ особенности на такой злой недугъ сердилась Марѳа. Наступилъ и вечеръ; больной слышалъ, какъ Вурстъ за ужиномъ у бу-

дущаго тестя любезничалъ съ Наташей; какъ Марѳа ругала его на кухнѣ, какъ Ардаліонъ Кирилловичъ вздыхалъ; кончилась трапеза; Вурстъ ушелъ, не домой, а по лѣстницѣ внизъ; комиссаръ заглянулъ къ Борису; видитъ что спитъ, и самъ ушелъ спать; все утихло; только одна Марѳа ворчала, укладываясь на кухнѣ. Нельзя было терять времени; Борисъ наскоро одѣлся, въ окно, на карнизъ, шагъ, два, а жесть проклятая отстала, гудитъ и хлопаетъ... Наташа, въ ужасѣ, не раздѣваясь, потушила свѣчу, и бросилась на колѣни передъ иконой... А тутъ въ окнѣ показалась черная тѣнь. Обомлѣла Наташа. А Борису ни слова сказать нельзя; того гляди свалится. Конечно невысоко, да все-таки кости поломаетъ; постучаться нельзя, коммиссаръ услышитъ... Просто между небомъ и землей... Самъ не знаетъ, что́ дѣлать. Между тѣмъ помолясь святымъ иконамъ, Наташа нѣсколько пріободрилась; бережно отняла горшки: съ трудомъ опустила на полъ тяжелую раму, отворила окно; Борисъ влезъ подъ кровать, но Наташа не смѣла лечь и все прислушивалась, что́ дѣлаетъ Ардаліонъ Кирилловичъ. Ужасъ ея возрасталъ больше и больше. Коммиссаръ сквозь сонъ безпрестанно повторялъ: «Четыреста два рубля... ровно 402 рубля! Нѣтъ, столько не будетъ. Надо справиться!» сказалъ онъ почти громко и всталъ. Наташа, задыхалась отъ слезъ и стыда, и укутавъ голову въ висѣвшую надъ нею лисью шубу, умирала каждую минуту. Тяжелые и ровные шаги коммиссара раздались въ смеж-

ной комнатѣ; сквозь щелку замочную прокрался лучь отъ свѣчьки; исчезъ; коммиссаръ рылся въ бумагахъ; листы шелестѣли; счеты щелкали...

— «Ровно четыреста два рубля! Бѣдный Богданъ! Гдѣ ты, Богданъ! Ты и не знаешь, что тебя оправдали!... Не повиненъ ты въ крови честнаго офицера! Но за то я многогрѣшный повиненъ суду Божію и Государеву... Четыреста два рубля!... Плохо, плохо, какъ невзначай сундукъ посмотрятъ... А этого бѣдняка за что губить? И такъ тяжкій недугъ несетъ...» И опять шелестѣли листы и скрипѣло перо и вдругъ все затихло. Ни живъ, ни мертвъ лежалъ Борисъ подъ кроватью; объ Наташѣ и говорить нечего: она, хоть и въ потмахъ, но съ упрекомъ смотрѣла въ ту сторону, гдѣ скрывался Борисъ, и молилась Богу; Боря рѣшился наконецъ оставить засаду, тѣмъ болѣе, что Вурстъ уже ушелъ изъ мастерской. Наташа задрожала всѣмъ тѣломъ, и не безъ удовольствія смотрѣла, какъ черная тѣнь медленно и осторожно уходила въ окно; ушла; Наташѣ стало легче, но хлопанье жести опять бросило ее въ жаръ; затихла и жесть, и скоро въ смежныхъ комнатахъ конторы и Наташи водворилась совершенная тишина...

«Вотъ въ чемъ штука!» думалъ Борисъ, лежа и кутаясь отъ смертельнаго и добровольнаго холода въ плохое одѣяло: «Сдавалось мнѣ, что ни вѣсть какая мудрость, а дѣло плевое; надо только на станкѣ перевѣрить, то ли? Вотъ та причина пуще? Четыреста два рубля... А что если я... Ну, да утро вечера мудренѣе.»

На другой день Ардаліонъ Кирилловичъ былъ пріятно изумленъ совершеннымъ выздоровленіемъ Бориса. Шаплыгинъ непремѣнно хотѣлъ одѣться и идти на фабрику работать. Коммиссаръ рѣшительно запретилъ подобную неосторожность, а чтобы Борису не было скучно, приказалъ принести ему станокъ и принадлежности въ контору; Борису того только и нужно было; въ недѣлю онъ совершенно убѣдился, что онъ повысмотрѣлъ въ одну ночь всѣ пріемы и тайны мастерства Вурста; но, по окончаніи каждаго опыта, имѣлъ осторожность уничтожать все сдѣланное, такъ что самъ Вурстъ, посѣтивъ больнаго, посмотрѣлъ насмѣшливо на станокъ, потрепалъ Бориса по плечу и сказалъ съ гордостью. «Нѣтъ, Шаплыгинъ! Эта мудрость не для твоей головы.»

— «Да куда намъ!» отвѣчалъ Шаплыгинъ смиренно: «Я-то и ремесло хочу бросить; пойду въ солдаты; у меня и недугъ-то отъ сидѣнья прилучился.»

— «И конечно!» замѣтилъ Вурстъ: «Для дворянина тамъ карріеръ лучше.»

— «Точно! Вотъ я и собираюсь къ Государю.»

— «Хочешь, я тебѣ и оказію дамъ. Отнеси позументы по новому образцу.»

— «Давай!»

И Шаплыгинъ отправился во дворецъ. Пробылъ тамъ недолго, воротился и объявилъ, что Государь завтра поутру самъ на фабрику будетъ. Ни какому мѣсту, отъ мала до велика, Царское по-

сѣщеніе не было въ диковину. Но на этотъ разъ оно казалось комиссару страшной гибельной грозой, да и Ѳедоръ Ѳедорычъ Вурстъ не совсѣмъ хорошо себя чувствовалъ.

— «Какъ хочешь, Ѳедоръ Ѳедорычъ!» сказалъ комиссаръ, запершись въ спальнѣ своей съ Вурстомъ: «А по условію подай деньги; четыреста и два рубля; неравно Государь заглянетъ...»

— «Что ты это, Ардаліонъ Кирилловичъ! Извини, ужъ это совсѣмъ не по условію! Прежде выдай за меня Наташу, а тогда уже денегъ спрашивай. И отъ чего же ты струсилъ? Вѣдь ревизія тебѣ необъявлена. Подозрѣній никакихъ нѣтъ; съ чего Государь станетъ кассу осматривать; безъ доноса, Онъ не станетъ обижать своего чиновника.»

— «Да вѣдь деньги твои не пропадутъ. Полежатъ въ сундукѣ, и воротятся.»

— «Эхъ, Ардаліонъ Кирилловичъ, гдѣ это видано, чтобы деньги назадъ приходили?»

— «Такъ чтоже, ты ко мнѣ кредиту не имѣешь?»

— «А ты ко мнѣ имѣешь кредитъ? Будто я не знаю, что ты съ Наташей ходилъ къ Лукьяну Андреевичу на крестины, и хозяину говорилъ, что не дурно бы Наташѣ жениха побогаче пріискать. Зачѣмъ ты Наташу чужимъ людямъ показывалъ? А? Развѣ я не женихъ? А? Ты слово далъ, чтобы только глотку мнѣ зажать, отъ доноса избавиться. Такъ знай же, Ардаліонъ Кирилловичъ, что если ты завтра самому Государю не скажешь, что за меня Наташу отдаешь, такъ я тутъ же, при тебѣ доносъ подамъ...»

— «Да ужъ нечего дѣлать, скажу, только ты деньги подай!»

— «А вотъ, какъ скажешь, такъ я тебѣ хоть при Царѣ мѣнокъ въ руки.»

— «Тогда будетъ уже поздно!»

— «А теперь рано!»

— «Такъ не дашь?»

— «Недамъ!»

— «Чортъ же тебя побери!»

— «Прежде онъ за тебя ухватится...»

Но Ардаліонъ Кирилловичъ послѣднихъ словъ уже не слышалъ; онъ шелъ домой; въ сѣняхъ наткнулся на Бориса, который изъ кухни несъ въ контору клей въ черепкѣ. Прошелъ Борисъ, а комиссаръ остановился въ задумчивости посреди сѣней и не зналъ на что рѣшиться.

— «Не легко солгать, а придется! Скажу: онъ одинъ въ конторѣ сидѣлъ, болѣзни ради; отъ нечего дѣлать, отъ скуки, а можетъ быть отъ злаго умысла деньги изъ сундука и стащилъ; а у меня цѣлы были... Или ужъ и ключь ему подложить... Что будетъ, то будетъ!... Авось и такъ обойдется...»

Ардаліонъ Кирилловичъ, не только весь вечеръ, да и ноченьку всю проходилъ по комнатамъ своимъ; разговаривалъ самъ съ собою, считалъ на счетахъ, поминалъ Богдана, на что-то рѣшался, но не могъ рѣшиться. Наступило и утро, и застало его не раздѣтаго. Но какое утро? Темное, такъ что ни зги не видно; наше зимнее, Петербургское утро; въ пятомъ часу ученики, подма-

стерье и самъ мастеръ сидѣли на фабрикѣ за работой; Шаплыгинъ вынесъ въ сѣни станокъ, постель, очистилъ и убралъ контору, сошелъ внизъ и усѣлся въ большой рабочей палатѣ на своемъ мѣстѣ; только и шума было что отъ челноковъ, да отъ ткацкаго пристука, да когда ученики у свѣчъ носы снимали. Топотъ копытъ и стукъ въ большую калитку возвѣстили о прибытіи Государя. Комиссаръ встрѣтилъ Его Величество въ коридорѣ. Царь Петръ прошелъ прямо въ большую мастерскую палату; видъ его былъ грозенъ; чело наморщено; съ неудовольствіемъ посмотрѣлъ онъ на мастера и всѣхъ учениковъ.

— «Что это значитъ, Ѳедорычъ?» сказалъ Государь гнѣвно: «Когда ни приду, все ткутъ, а становъ нестановятъ. Вели-ка, Ѳедорычъ, при мнѣ пускай свое мастерство покажутъ; семь лѣтъ прошло. Пора!»

Ѳедоръ Ѳедорычъ просто одурѣлъ; у него отъ страха глаза закатились; бормоталъ онъ что-то, бормоталъ, да никто не могъ понять, что̀ онъ говоритъ. Максимъ Ивановичъ, желая выручить начальство, по добротѣ своей, вытащилъ порожній станъ на середину, да и глядѣлъ, что̀ за симъ повелитъ мастеръ; но Вурстъ только хлопалъ глазами и не могъ выговорить слова.

— «Ну, что же, Ѳедорычъ? Пускай Шаплыгинъ ставитъ.»

Шаплыгинъ вышелъ впередъ покойно и принялся было за дѣло... Но Государь остановилъ его.

— «Я тебя во дворцѣ проэкзаменую!» сказалъ

Государь: «А ты, Ѳедорычъ, за безчестные поступки лишаешься мѣста и предаешься суду. Ты не исполнилъ контракта, только семь лѣтъ времени у меня уворовалъ, обманывалъ меня, пусть же судъ тебя, по винѣ твоей, и оштрафуетъ.»

Ардаліонъ Кирилловичъ ужасно обрадовался что избавился отъ Вурста, не утерпѣлъ и закричалъ:

— «Вотъ что дѣло, то дѣло! А я тебѣ, Ѳедоръ Ѳедорычъ, говорилъ: будетъ худо, а ты мнѣ на каждое слово свои резоны и экскузы сыпалъ. Анъ и поймали!»

— «Не радуйся чужой бѣдѣ!» заговорилъ Вурстъ какимъ то адскимъ голосомъ: «Государь и тебя мнѣ дастъ въ компаньоны подъ судъ; только въ кассу заглянетъ.»

— «Что это значитъ Кирилычъ!»

Комиссаръ поблѣднѣлъ.

— «Такъ и ты мнѣ не поправдѣ служишь? Замотался!»

— «Великій Государь!» сказалъ Шаплыгинъ смиренно! Это поклепъ на Ардаліона Кирилловича, а чтобы тебѣ въ сумнительствѣ на слугу своего не оставаться, удостой Самъ кассу освидѣтельствовать, коли досугъ.»

— «Пойдемъ!»

Государь пошелъ въ контору, тамъ все было чисто убрано; комиссаръ не могъ надивиться порядку; съ трепетомъ подалъ ключь; дрожа всѣмъ тѣломъ, притащилъ книги; казна сосчитана; все на мѣстѣ, до копѣйки. Комиссаръ самъ себѣ не

вѣрилъ; слезы лились у него изъ глазъ ручьемъ, Государь посмотрѣлъ на него гнѣвно...

— «Тутъ что то было не такъ, да не мое дѣло; передъ закономъ Кирилычъ правъ, а ложному доносщику будетъ худо. Шаплыгинъ! Сегодня послѣ обѣдень, изволь ко мнѣ во дворецъ придти со станкомъ и съ матеріаломъ. Посмотримъ твое мастерство!»

Государь уѣхалъ. Вурстъ бросился въ свою квартиру, чтобы успѣть припрятать деньги и кой какія вещи; да за жадностью и опоздалъ; и то ему хотѣлось удержать, и другое утаить; копался, спѣшилъ, сбивался, а тутъ прикатилъ самъ Дивіеръ; квартиру Вурста опечаталъ, а самаго въ сани, да и увезъ раба Божія въ безопасное мѣсто.

— «Вотъ тебѣ и Вурстъ!» Сказала Марфа, провожая глазами изъ кухни плѣнника: «Вотъ тебѣ и Ѳедоръ Ѳедорычъ! Поѣзжай соболей ловить! Туда тебѣ дорога! И безъ кочерги обошлось. Вотъ тебѣ и Вурстъ, вотъ тебѣ и Ѳедоръ Ѳедорычъ! Надо барину сказать, что Ѳедоръ Ѳедорычъ изъ сосѣдства выбылъ, а пуще барышнѣ, нѣтъ лучше барину. Я порядокъ знаю.»

И пошла въ контору, да какъ увидѣла, давай плакать отъ радости и Наташу кликать. Ардаліонъ Кирилловичъ со слезами обнималъ Борю; а сундукъ отпертъ; тамъ куча денегъ; Ардаліонъ Кирилловичъ кается, что онъ хотѣлъ было всю вину на Бориса сложить, воромъ сдѣлать, что деньги издержалъ на подъячихъ, чтобы брата Богдана въ убійствѣ оправдали; да на бумагу, да на то, да на

другое; на силу на великую Богдана въ монастырь на покаяніе присудили. Скажетъ слово Ардаліонъ Кирилловичъ, да и зарыдаетъ, у Бориса прощенія проситъ, а тотъ ему въ ноги, да себѣ давай каяться, и про Наташу разсказалъ, и про окно, и про рѣчи Ардаліона Кирилловича, и про деньги, что Акулина привезла, да еще въ придачу въ Питеръ за живность выручила, да про кружокъ въ сундукѣ; такой счастливый сукъ прилучился, что и не замѣтно; цѣлковики туда спустилъ, да потомъ сучокъ съ клеемъ заложилъ, обтеръ, никто и не увидитъ; каялись, каялись, да и свели рѣчь на Наташу; та какъ про себя заслышала туда же каяться; покаялись да и свели на любовь и свадьбу... Ударили по рукамъ, положили, какъ стукнетъ Наташѣ пятнадцать, свадьбу играть. И счастіе поселилось снова въ обители, гдѣ такъ недавно бушевали смуты и сердечныя бури.

Поѣхалъ Шаплыгинъ во дворецъ, да и пропалъ; что-то съ недѣлю его не было. Воротился Борисъ; Наташа его чуть не за версту узнала. Комиссаръ, племянница, Марфа, Максимъ Иванычъ и всѣ ученики на улицу встрѣчать его выбѣжали; а онъ себѣ въ жалованомъ царскомъ кафтанѣ гоголемъ по перспективѣ идетъ, лѣвой рукой въ карманѣ цѣлковиками постукиваетъ, а встрѣчные, то встрѣчные, подъ самую церковь дошли, и Церковь отперта. Борисъ подошелъ, поклонился Ардаліону Кирилловичу и молвилъ:

— «Благословилъ меня Богъ; милостію Государь взыскалъ; знатный я Ему кусокъ въ недѣлю вы-

ткалъ. И не смѣй меня никто въ лобъ цѣловать; Государь меня за службу царскимъ лобызаніемъ въ чело осчастливилъ, въ подмастерье произвелъ, платьемъ наградилъ, десятью цѣлковыми пожаловалъ. Борисъ, не гордись, лучше Богу помолись. Эхъ, родимые, благо Церковь не заперта. Богу за Царя помолимся!»

И всѣ, безотвѣтно, заливаясь слезами радости, пошли въ деревянную Церковь. Тамъ уже обѣдня отходила; Борисъ молебна попросилъ; начался и молебень; а на клиросѣ какой-то монахъ стоитъ, да съ дьячками поетъ, только голосъ у него такой, что всю душу пронимаетъ; такъ сердце отъ него и плачется... Отошелъ молебень; стали къ образамъ прикладываться. Наташа идетъ отъ образа, взглянула на монахи и ахнула. Всѣ къ ней, а Наташа стоитъ на колѣнахъ, только ручки къ монаху протянула; а монахъ сошелъ съ крилоса, скорбнымъ голосомъ сказалъ: «Благослови тебя Господи, Наташа, а я не смѣю.» И ушелъ...

— «Богданъ!» закричалъ Ардаліонъ Кирилловичъ: «братъ Богданъ!» но монаха нигдѣ не было, и нигдѣ отыскать не могли... Только уже черезъ полтора года безъ малаго, когда комиссаръ Питербурхгской казенной позументной фабрики Борисъ Ѳедоровичъ Шаплыгинъ, въ пятнадцатый день рожденія Наташи, въ той же церкви, вѣнчался съ Наталіей Богдановной Чегликовой, племянницей сенатскаго оберъ-секретаря Ардаліона Кирилловича Чегликова, послѣ церемоніи, когда молодые также прикладывались къ образамъ, тотъ же монахъ бла-

гословилъ молодыхъ супруговъ именемъ Господа и скрылся на вѣки. Больше объ немъ и не слыхали.

О дальнѣйшей жизни и подвигахъ нашего героя извѣстны только два слѣдующія обстоятельства: на свадьбѣ Бориса и Наташи присутствовали Акулина съ мужемъ садовникомъ и двумя братьями огородниками; въ тотъ же день всѣ четверо получили отпускныя и въ даръ Шаплыгинскую усадьбу. А второе обстоятельство, что, при уничтоженіи казенной позументной фабрики Императоромъ Петромъ II, Шаплыгинъ остался въ званіи комиссара при прежнемъ окладѣ и на той же квартирѣ, гдѣ и умеръ въ тысячу семь сотъ шестьдесятъ пятомъ году, проживъ достохвально на семъ свѣтѣ шестьдесятъ и шесть лѣтъ.

Вѣчная ему память!

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ:

II.

X. Прокуроръ. . . . . стр. 4.

XI. Антоніо . . . . . » 28.

XII. Капустинъ. . . . . » 69.

XIII. Корделія. . . . . » 109.

XIV. Сказаніе о Синемъ и Зеленомъ Сукнѣ . . . . . » 156.

XV. Часовой . . . . . » 213.

XVI. Максимъ Созонтовичъ Березовскій. » 353.

XVII. Позументы. . . . . » 495.

3 2044 020 038 790

DEC 5 '7
4198018
JAN 10 '72H
CANCELLED
CANCELLED
MAY 10 1976
12
5244548
3806607
JUL 13 '72 H
CANCELLED
BOOK DUE WID
6036530
APR 8 1978
CANCELLED
3292503
SEP 12 '77H
CANCELLED
WIDENER
SEP 1 0 1998
BOOK DUE